НЁМАН

5/2012
МАЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. Н. Макаренко*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкая*

Подписано к печати 14.05.2012 г. Формат 70 ×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 25,48. Тираж 3307. Заказ 1296.
Цена номера в розницу 13 600 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

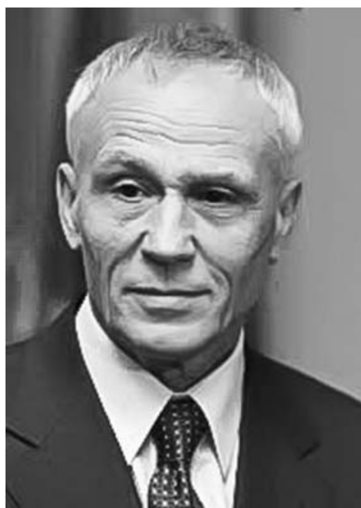
Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

«Сябрына»:
Беларусь — Россия

Уважаемые читатели журнала «Нёман»!



Есть особое удовольствие в том, чтобы в наше время высоких технологий, тонких компьютеров и удобных ридеров взять в руки литературный журнал для раздумчивого чтения. Не на бегу, не для того, чтобы «быть в курсе», а чтобы, неспешно переворачивая страницы, попробовать на вкус, оценить современную литературу, авторскую манеру, мысль. Именно для этого когда-то создавались такие издания.

Ради этого они существуют и в эпоху торжествующего Интернета, который, в отличие от бумаги, все стерпит.

Не скажешь лучше, чем когда-то сказал про белорусов Александр Сергеевич Пушкин: «Народ издревле нам родной».

Родные люди и чувствуют всегда одинаково. Скажем, поэтические строки Якуба Коласа: «Мой родны кут, як ты мне мілы! Забыць цябе не маю сілы…» и Сергея Есенина: «Гой ты, Русь моя родная, Хаты — в ризах образа... Не видать конца и края — Только синь сосет глаза» созвучны и белорусу, и русскому.

Тонко распознававший талантливую молодежь Алексей Максимович Горький когда-то дал точную характе-

ристику не просто будущим классикам Якубу Коласу и Янке Купале, а, кажется, всей стилистике белорусской «большой литературы»: «Просто пишут, так ласково, грустно, искренно».

Новая Россия недавно определяла, какой исторический персонаж особо любим и уважаем ее народом. В опросе участвовали сотни тысяч людей. Достойных кандидатов было много, но безусловным лидером стал один. Князь Александр Невский. Его судьба кровно переплетена с соседним народом. Князь был женат на полоцкой княжне Александре, дочери князя Брячислава Васильковича. На белорусской земле у него родился сын, который рос и воспитывался в Витебске.

Невозможно поделить тех, кто составляет особую гордость Беларуси и России. Да и не нужно.

В биографии П. А. Столыпина недолгой была пора губернаторства в Гродно, где по инициативе Петра Аркадьевича были открыты ремесленное, женское приходское и двухклассное еврейское училища, учреждена именная стипендия для лучших учеников Гродненской мужской гимназии. А в апреле этого года я побывал в здании, где год трудился Столыпин, — там проходила Коллегия Пограничного комитета Союзного государства. История не заканчивается, она продолжается, даже пройдя через многие испытания. Не зря бытует выражение:«Друзьями не бросаются».

Союзное государство — интеграционный проект, у которого многое впереди. Но это проект живой, проект для людей, с сильной гуманитарной составляющей. Между Беларусью и Россией нет границ, у нас единое пространство — территориальное, экономическое и культурное. Издаются общие газеты, журнал, работает телерадиокомпания. Номер журнала, который вы держите в руках, — тоже часть жизни этого государства.

В Союзном государстве отрабатываются многие механизмы, которые потом получают развитие в рамках СНГ и Таможенного союза. Да, наши страны не подписали пока конституционного акта, но и сейчас у нас большое поле для интеграции.

В рамках Союзного государства нам удалось обеспечить равенство прав белорусских и российских граждан на свободу передвижения, выбор места жительства, получение образования, трудоустройство, медицинское и пенсионное обеспечение.

Из года в год растет товарооборот между двумя странами. В 2011 году он составил 38,6 миллиарда долларов США, что является самым большим показателем в истории взаимоотношений двух стран. Рост равен 37,7 процента к уровню 2010 года. Такой скачок обусловлен принятыми мерами в рамках двусторонних отношений.

Конечно, в развитии интеграционного процесса России и Беларуси приоритеты отдаются экономике. Но очень велико значение и культурной составляющей этого процесса — ведь именно общие исторические, духовные и культурные основы позволяют нам лучше понимать друг друга и общаться как близким родственникам.

Политика Союзного государства основывается на взаимообогащении и развитии культур белорусского и российского народов при сохранении их этнической самобытности и направлена на создание единой интеллектуальной среды.

У Постоянного Комитета Союзного государства большие планы: хочется поддержать молодых писателей, очень плодотворны образовательные проекты для детей, ведется большая издательская деятельность. Культурное, интеллектуальное притяжение двух народов не ослабевает, а удваивает наши силы.

Счастья вам, здоровья и процветания!

Государственный секретарь
Союзного государства
Григорий Алексеевич РАПОТА

ЮРИЙ САПОЖКОВ

Россия

За деревней откроются дали.
Написать бы России портрет.
Купола я бы взял как детали,
Без которых и дали-то нет.
Я, признаться, давно уже понял —
Не от них так Россия светла.
Но закрою глаза — лес да поле,
Да под солнцем поют купола.
Передать, как в душе от росинки
Разгорается утренний свет.
Это был бы рассказ о России,
Без которой меня просто нет.

Матери

Ты со мной и в радости, и в горе.
Точно так, как давней той порой.
Ты тогда, огромная, как море,
Заслоняла целый мир собой.
Но сейчас твоей чудесной силой
За такою маленькой тобой
Все растет, растет во мне Россия,
Заслоняя все одной собой.
Вот теперь я, мама, понимаю,
Почему большим мне нужно быть —
Чтоб суметь, в свой полный рост вставая,
Всю ее собою заслонить.

ГЕОРГИЙ КИСЕЛЕВ

Я — русский белорус

Здесь, слава Богу, не трясет,
И за рубеж не рвусь
Поклонником чужих красот.
Я — русский белорус.

Здесь все под солнцем и дождем
Растет на добрый вкус.
И хоть в России я рожден,
Душою — белорус.

Работой мысли заняты,
За дело я берусь
Без робости и суеты,
Как русский белорус.

О Беларусь! Родной предел,
Где счастье гнезда вьет.
В единстве помыслов и дел
Величие твое!

Народ, который мудр и прост,
Чтит мирных предков прах.
И здесь у счастья столько гнезд
На крышах и столбах!

И вдохновляют в унисон
Народною судьбой
Меня Грюнвальдской битвы звон
И Куликовский бой.

Спасают часто от тоски,
Зовут в край Белых Веж
Купалы, Коласа стихи,
Максима нежный верш.

О Беларусь! Сосудов, жил
Сплетенье; неделим
Полжизни я в тебе прожил
И сыном стал твоим!

И пусть ты недрами скромна,
Горжусь, да — гонорюсь
Цветением твоим, страна,
Я, русский белорус!

Горизонт не кончится никогда

...Это живет в памяти, не отпускает: день 70-летия начала Великой Отечественной войны писатели России решили встретить сразу в двух легендарных местах — городе-герое Смоленске и крепости-герое Бресте. Белорусские писатели охотно поддержали идею совместного Пленума «Писатели против искажения истории Великой Отечественной войны. Роль творческой интеллигенции в пропаганде патриотизма, уважения к ветеранам войны и воспитания молодежи в духе любви к Родине». В Смоленск приехала представительная белорусская делегация во главе с председателем Витебской областной писательской организации Тамарой Красновой-Гусаченко, в Бресте делегацию российских писателей ждали писатели братского государства во главе с председателем Союза писателей Беларуси и сопредседателем Союза писателей Союзного государства Николаем Чергинцом.

До этого летом 2010 года мы провели совместный Пленум в Курске, а еще ранее, в декабре 2009 года, провели учредительный съезд и создали Союз писателей Союзного государства. Даты, уже ставшие историческими: объединены были не только экономическое пространство и Таможенные союзы двух стран, но были подтверждены наши единые взгляды на духовные ценности.

Но тогда, 22 июня 2011 года, в 4 часа ночи мы принесли венок с зажженными свечами к Днепру, чьи волны катят из России в Беларусь и Украину. Вечная слава героям! И вслед за нашей памятью, нашим сердечным желанием приехали в Брест, чтобы склонить головы перед нашей общей Историей, почтить память наших прадедов, жертвенно и велико вставших на пути врага. И оставили на вечное хранение в Брестской крепости не только копию Знамени Победы, что вручил совместному Союзу писателей фронтовик-минер писатель Михаил Годенко, но и свои сердца.

При открытии учредительного съезда председатель правления Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев сказал, характеризуя наше творческое стремление быть вместе: для полета птице нужны два крыла. Наши совместные мероприятия, в том числе и этот единый выпуск журнала «Нёман», лишь подтверждают: мы прочно становимся на крыло, мы переборем встречающиеся на нашем пути непогоды и наберем еще большую высоту. Мы этого желаем сами. Мы устремлены к горизонту. А он, как известно, не кончается никогда.

Николай ИВАНОВ,
заместитель председателя правления Союза писателей России,
член Президиума Союза писателей Союзного государства.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Без права на славу

Главы из романа

Глава 1

Холод никуда не спешил.

Жертва, оставленная ему на прокорм, прикована к стене. Стена — в пещере. Пещера — в горе. Гора — среди кишащей гадами колумбийской сельвы. Кощею Бессмертному нескончаемо маяться, а не придумать места, где можно надежнее спрятать свою смерть.

И времени — до утра. Много времени — сто звезд упадут с небес, промелькнув отражением в священном озере Гуатавита, в котором смывал с себя позолоту вождь Эльдорадо[1].

Остатки тепла и света в пещере поглотит ночь. И хотя под горой проходил экватор, затянувший жарким поясом расползающееся брюхо Земли, она не обращала внимания на эту географическую причуду никакого внимания и не позволяла солнцу прогревать свои каменные внутренности: что творится на земле, неба не касается.

В жертву был принесен человек. Роста небольшого, поэтому охранникам, которые привели его сюда, пришлось на одно звено удлинять цепь, оставшуюся после предыдущего узника. Это не сильно облегчило жизнь пленника, но теперь он имел возможность хотя бы чуть-чуть касаться ногами пола.

Почему пленник здесь, холоду знать не интересно. Да и странные они существа — люди. На одном языке говорить не научились, но при этом все спорят, кто из них ближе к Богу. Только ведь Всевышний охранной грамоты на главенство никому не выдавал…

Едва охранники вышли, холод коснулся оголенных рук пленника. Сбитые в кровь, жилистые, они не понравились на вкус и запах. Тронул лицо, ощупывая скулы, изучая разрез глаз, трогая жесткие черные усы. Попытался понять, конкистадору[2] из какой страны оно может принадлежать. Угадывались черты перса, но это наверняка был внешний обман, давно разгаданный физиономистами: чужестранец способен приобрести черты народа, среди которого живет. Секрет в том, что произношение букв и слов на местном языке заставляет напрягать определенные группы мышц, которые и формируют облик.

---

[1] Реальный обычай чибча-муисков, когда нового правителя этого колумбийского племени натирали смолой и покрывали золотым порошком. На восходе солнца, сверкая в лучах, он плыл на плоту на середину озера и бросался в воду, смывая с себя золото в дар Гуатавита.

[2] По-испански — завоеватель. Как правило, европеец, которого гнала в Южную Америку жажда наживы, романтика золота. Именно конкистадоры первыми начали искать сказочную страну Эльдорадо, прослышав о ритуале прихода к власти вождя племени чибча-муисков.

К тому же холоду слишком часто предоставлялась возможность именно здесь, в тюрьме-пещере, общаться с людьми, которые в паспорте значились под одним именем, а потом признавались в совершенно иных. На каком языке человек станет молить о пощаде сегодня?

Пленник попытался размять лицо левой, свободной от наручников рукой. На какое-то мгновение оно раскраснелось, согревшись изнутри. Холод чуть отступил, но не из-за страха перед ожогами, а чтобы сосредоточиться: а ведь где-то он уже видел такие раскрасневшиеся лица, где-то встречал на земле этот жест. Где-то на севере, потому что тут, в Колумбии, особой надобности учить северные движения нет. К сожалению, темнота вползла в грот полноправной хозяйкой, и какие-то детали, позволившие бы раскрыть тайну с ходу, разглядеть не удалось. Да и важно ли, в конце концов, чья кровь начнет застывать в несчастном теле?

Переждав минуту, холод подступился к жертве вновь. Одежда на ней, хотя и летняя, для жаркого дня предназначенная, все же мешала завладеть пленником сразу и полностью. Но ведь и ночь только начиналась...

И все же холод проспал свою ночь.

Он не помнил, в какой момент прикрыл глаза, дав себе передышку в борьбе с человеком. Но когда спохватился, выход из пещеры оказался отрезан: проснувшееся солнце, пусть и на ощупь, босой ножкой, но уже заступало в подземелье. Темнота, еще вечером набивавшаяся в жены, улизнула из пещеры в одиночку, не предупредив о рассвете ни вздохом, ни выдохом. Видать, женщинам если и страшно одиночество, то лишь ночью…

Зато человек висел на цепи без движения, пристроив голову около вздернутого правого плеча. Можно было еще раз подступиться к сонному, потерявшему бдительность чужаку и пощипать его хотя бы в отместку за ночную неудачу. Но мудрость временная победа не красит. Не все песчинки на дне священного озера Гуатавита успеет осветить и пересчитать солнце, а день уже кончится. Жертву же, судя по всему, привезли сюда надолго. Так что время позабавиться еще наступит.

У входа в пещеру послышался скрежет гравия. Холод юркнул в первую попавшуюся расселину, и вовремя: вошедший охранник освещал себе путь жарким факелом. Подвернись такому под руку — бока подпалит, не спросив фамилию.

Пришелец проделал это с человеком, без слов ткнув смердящий огонь под его вздернутую руку. Пленник, вмиг проснувшись, отбил факел свободной рукой. Охранник остался недоволен, но играть огнем перестал. О чем-то заговорил. До расселины, где затаился случайный свидетель пыток, донеслось лишь одно разборчивое слово — «советский», и холод, едва не выдав себя, хлопнул по лбу ладонью: точно, его ночной соперник — из России. Как же он сразу не догадался! Именно там при его появлении трут носы и щеки. Там в стодавние времена его измеряли не в градусах, а в смешных записях «зело» или «не зело холодно». А когда придумали термометр и научили красный ртутный шарик скользить в стеклянной трубке, опять же там требовали от наблюдателей «смотреть накрепко, чтобы в близости оного инструмента никакая чужая теплота, кроме той, которая по воздуху чинится, не была». Уважали. Ценили его в России. По большому счету, там его историческая родина.

Но какие ветры занесли человека с края света в самый центр Земли, на экватор? И стоит ли подтверждать догадку тому, с факелом? Не полу-

чится ли, что вместо благодарности самому ткнут в лицо огнем, требуя подробности?

— Е-гор Бу-е-ра-шин.

Голос с акцентом, а главное — тихий, вкрадчивый. Так сдерживают радость, когда узнают тайну. А тайна — как раз в имени...

— Е-гор Бу-е-ра-шин, — повторилось с еще большим ехидством, но теперь уже над самым ухом пленника.

Тому прятаться за опущенными веками больше не имело смысла. Открыл глаза, но постарался сделать вид, будто очнулся не от собственного имени, а от воспитанности, которая не позволяет спать при посторонних.

Факел рисовал на стенах мало кому понятные разводы. В их дрожащих завитках прятал свои щупальца и холод, с интересом разглядывая на свету жертву, у которой оказалось имя. Нынешнюю ночь русский неустанно разминал ноги, массировал пальцы рук. Словно не согревал тело, а готовил его к основательной работе. Теперь холод боялся пропустить это действо.

Однако на деле пленник оказался настолько слаб, что буквально повис на руке, не имея сил распрямить колени и упереться носками в пол. Да, прозвучавшее имя открыло ему глаза, но веки в тот же миг вновь бессильно опустились, оставив для света лишь тончайшую сеточку из ресниц. Возможно, чтобы увидеть приближающуюся смерть.

Охранник, освобождая ей место, ушел, воткнув факел в расселину. Огонь потянулся следом, но оторваться от маслянистой, пузырящейся пакли сил не хватило. Оглянулся на того, с кем предстояло коротать время, и несказанно удивился перемене, вдруг произошедшей с пленником. И колени у того выпрямились, и ноги обрели упругость, и пальцы вновь заработали, сжимаясь в кулаки. Значит, все происходящее с ним — обман?

Но едва охранник вновь появился в пещере, русский обмяк, повис на наручниках, склонил обессиленно голову на грудь.

— Смотри не подохни, падаль, — пригрозил конвоир.

Сказал на своем языке, но понятно и для оставшегося сиротой огня, и прижившегося в пещере холода, и несчастной жертвы. Но отметили все: вместе с пренебрежением к пленнику в голосе звучала и тревога. Скорее всего, в планы сторожей не входило иметь подвешенный на наручниках труп. Значит, лицедейство русского, изображающего близкую смерть, удалось.

— Эй, ты жив?

«Жив, — бессловесно откликнулся тот, кого назвали Буерашиным. — Но ты подойди, посмотри».

Умолял не зря: вплотную полицейские приближались, если действовали в паре. Это случалось раз в сутки, вечером, когда снимали с петли — вывести в туалет и дать лепешку с чаем. Сейчас день, и охранник зашел один: пленник хирел на глазах, и требовалось наблюдать за ним чаще.

Колумбиец приблизился настолько, что Егор почувствовал запах чеснока и перегара. Света не хватало, и охранник сделал еще один шажок. В ту же секунду пленник выбросил вперед ноги, обхватил ими шею врага. Тот запоздало попытался отпрянуть, но свободной рукой Буерашин уже ухватил его за волосы. Правая рука обрывалась на цепи, не выдерживая двойную тяжесть, но пленник продолжал

тащить к себе отбивающегося тюремщика. И едва позволило расстояние, замкнул ноги на горле у чесночного пьяницы.

Захрипели — один от боли, второй от напряжения. Победителем мог выйти только один, и когда под коленкой Егора мягко хрустнуло, тело охранника мгновенно обмякло.

— Стоять! — зашептал Егор, заваливая мертвеца себе на грудь.

Труднее, чем совладать с колумбийцем, оказалось удержать его на весу, не дать упасть: ключ от наручников лежал в кармане, и теперь предстояла не менее сложная задача — достать его.

— Стоя-ять, — уговаривая и угрожая, шипел Егор в ухо мертвецу.

Тело удержалось, и пленник смог опереться на одну ногу, дал передышку правой руке, по которой текла кровь от содранной кожи. Осторожно заскользил рукой к карману, боясь оплошного движения и падения трупа.

Сумел. Дотянулся до вожделенного схрона, мелким воришкой запустил внутрь пальцы. Ухватил щепоткой нить, на которой — он помнил всегда! — висели два блестящих, словно от шифоньера, ключа. На этом силы кончились, и он опустошенно стряхнул с себя тюремщика. Теперь можно, теперь весь мир под ногами, когда в руках ключи от собственной свободы.

Передохнув и прислушавшись, Егор встал на труп. Не церемонились с ним, бьется за жизнь и он. Дотянулся до наручников, не с первого раза, но попал ключиком в отверстие.

Рука, освобожденная из металлического захвата, упала вниз. От нее, покалеченной, помощи ждать не приходилось, и Егор сунул ее меж оборванных пуговиц рубашки к животу: греться, лечиться.

Еще пару секунд потратил на то, чтобы обшарить одежду убитого. Оружия не оказалось, обнаружился лишь складной нож, а в нагрудном кармане куртки — плоская зажигалка да завернутый в фольгу кусок недоеденной шоколадки.

— Спасибо, — порадовался находкам Егор. Пленнику вредно мечтать о будущем, у него нет и прошлого. Чтобы они возникли, надо подчиняться только настоящему. А оно звало к выходу.

Первым почувствовал тревогу факел, остающийся в пещере в одиночестве. Он заметался от страха, потянулся за сокамерником — возьми с собой. Но от выхода сеялось зыбкое свечение наступающего дня, и это было бывшему заключенному на руку: ночью в сельве делать нечего, к темноте нужно готовиться, чтобы проснуться утром живым, а не ублажать брюхо койота или крокодила.

Густеющий с каждым шагом свет манил, но Егор как мог сдерживал порыв. Свободы еще нет, она лишь приподняла вуаль со своего прекрасного личика. Существует ли внешняя охрана пещеры? С какой целью его прячут в сельве? От кого? Сколько времени прошло после ареста: неделя, две, месяц?[1]

Недалеко от входа послышались голоса, но охрана, на счастье, занималась утренней приборкой лагеря, так что пропавшего сотоварища еще не хватились. Но как узнали его имя? Кто из группы не выдержал?[2]

---

[1] Разведчикам, находящимся в тюрьмах иностранных государств, день засчитывается за шесть.

[2] Группу Е. Буерашина вскрыло РУМО — военная разведка США, после того как советские боевые пловцы, обеспечивая скрытый заход наших субмарин в Карибское море, «заглушили» американские контрольные буи, установленные на морском дне. К сожалению, более подробно о действиях советских боевых пловцов за пределами страны говорить ещё рано.

Егор осторожно осматривал местность. Перед гротом преданной свернувшейся собачкой лежала небольшая поляна. Справа — сборно-щитовой домик. Дверь распахнута, словно приглашает в гости. Спасибо, как-нибудь в следующий раз. И желательно не в этой жизни. А вот налево должна уходить тропинка к туалету — это Егор помнил по ночным выводам. Где-то внизу протекает ручей — водили мыться. Туда по склону легче бежать, но спецназовец юркнул за пещеру. В густую, даже на вид непроходимую, влажную лесную гущу.

Глава 2

Ручей то подныривал под поваленные деревья, то протискивался меж скал и волочил себя по камням, чтобы через несколько метров увязнуть в топи с надеждой отдышаться, дать отдохнуть своему побитому, изломанному телу. Но наглотавшись болотной тухлятины, сам же и вытаскивал себя из вязкой тины, чтобы вновь биться лбом о новые стволы и скалы. Ему бы угомониться, свернуться калачиком в каком-нибудь укромном местечке и стать озерцом на радость себе и природе…

Но манила горный ручей неведомая даль, ждала его у подножия Анд почтенная дама бальзаковского возраста — Магдалена, считающаяся самой большой рекой Колумбии. Ради встречи с ней ручей и готов был настырно выбираться из сельвы на просторы льянос[1].

Ручьям и рекам в сельве другая напасть: как ни прячься в заросли из бамбука, кокосовых и слоновых пальм, под коряги каучуконосов, как ни старайся идти гладью, без шума, но в любом случае к ним приползет, прискачет, прилетит великое множество всякой твари по паре. Не считая потомства. И за право припасть губами к влаге, а значит, за право выжить в сухой сезон на берегах идут жестокие схватки.

Жить хотел и человек-шатун, спускающийся вместе с водой в долину. Ручей в горах — единственно верный проводник, которому можно безоговорочно верить, потому что течь он может только в долину, только к еще большей реке, только к океану.

Опасность для человека таилась еще в одном. Кроме зверья берега рек облюбовали и люди. И если поселения полукочевых племен индейцев беглец обходил достаточно спокойно, лишь по необходимости лакомясь на их полях бобами, маисом, ячменем, то когда на пути представали плантации из кустарников коки[2] и опийного мака, он уходил резко в сторону. Наркодельцы, в отличие от пещерных тюремщиков, даже именем интересоваться не станут. Для них проблема свидетеля исчезает только вместе с ним.

Судя по разбитой обуви, перетянутой лианами, шатун шел по чаще довольно долго. За спиной ожерельем висели нанизанные на прут мальки, превращаясь на влажном солнце в тарань — для разнообразия пищи и в запас. Кто знает, сколько еще той дороги, куда выведет?

Вывела к широкой пойме, на дне которой, повторяя полукруг берега, теснился к океану город. Над ним колыхалось марево, искажая предметы и скрадывая расстояние. Человек, раздирая в кровь тело, покатился по крутому склону к этому миражу, но в какой-то момент сумел остановить себя.

[1] В Колумбии так называют саванну.
[2] Из листьев коки добывают кокаин.

Он не смог бы рассказать, какие растения укрывали его от сторонних глаз, какой живностью питался, какой сегодня день и месяц и даже в какой стране он на данный момент находится. Но зато ведал иное: самое страшное в разведке — это потерять бдительность на последнем шаге. Когда кажется, что все позади и начинаешь беспричинно улыбаться, уверовав в удачу. А под ногой — ловушка. Капкан. И все сначала — плен, пытки...

Человек присел на корточки, тщательно огляделся. На слух отыскал увильнувший в сторону ручей. Нашел в его извилистом, зажатом камнями теле укромный изгиб. Разделся. Сначала постирал одежду, потом тщательно вымылся сам, используя вместо мочалки песок. Распушил бороду, придавая ей пристойный оклад. Затем, как товар на прилавок, выложил ее на ствол слоновой пальмы, постарался поровнее отчекрыжить ножом лишнюю длину. Развеял волосы среди тростника.

Не потому он смог оторваться от погони и обойти кордоны, что преследователи оказались плохими ищейками. Настоящий охотник не гонится за зверем, он перехватывает его близ водопоев, на перевалах, у переходов через реки и ущелья. И задача у него одна — водворить беглеца на прежнее место. К прежним оковам. Но уже на обе руки. И на ноги тоже. И шею. Чтобы каждое утро затягивать на них болты на четверть оборота. Сначала это покажется незаметным. Но со временем именно рассветы превратятся в ожидание очередной ступеньки в ад.

Не дождавшись, когда до конца просохнут рубашка и брюки, облачился в них и медленно поспешил вниз. Бездомные и нищие, слава Богу, в Латинской Америке на каждом шагу, и до темноты следовало просочиться в город, затеряться в его толчее. Чтобы утром проснуться уже жителем пока еще незнакомого ему города.

Марево над городом тем временем стало рассеиваться, давая более четкую картинку. Однако путник все свое внимание обратил на берега реки — практически единственном месте, по которому возможен безопасный сход с гор. И где его могут ждать.

Долго ли, коротко, но шатун вознаградил свое долготерпение: около одной из излучин мелькнули две фигуры в песчаной одежде. Это могли быть рыбаки, путешественники, туристы, обыкновенные горожане, — издали разобрать не представлялось возможным. Но звоночек прозвучал, тетива натянулась: на пути в город находятся люди. Разведчик застыл, не сводя глаз с опасного места, и не успели они заслезиться, увидел парочку вновь — она возвращалась тем же маршрутом.

«Пост парный, по обе стороны реки, на видимом расстоянии, ночью усиленный, с использованием приборов ночного видения и сторожевых собак», — выдал беглец возможную характеристику засады. По крайней мере, он бы организовал патрулирование именно так. А если часовые двигаются по берегам методом «ножниц», навстречу друг другу, то скоро мелькнут опять.

Мелькнули. Угадал. Ура! В смысле, ничего хорошего.

— Ничего хорошего, — прошептал беглец по-русски, и это стало пока первым подтверждением того, что тюремщики находились на верном пути к его разоблачению.

Взгляд зацепился за песчаную полосу вдоль воды, на которой млел на солнце крокодил с раскрытой пастью. Около застывших челюстей скакал на тонюсеньких ножках коричневатый, с бело-черной полоской, чибис. Временами он исчезал в пасти бронированного ящера, выхватывая застрявшую меж клыков пищу или присосавшихся пиявок. Нет среди зверья более

прочного союза, чем эта нежданная парочка. Одна — универсальная зубная щетка, другой — склад пищевых продуктов. Уж они нашли бы способ скрытно преодолеть любой пост. Хоть по отдельности, хоть вместе...

«Вместе»...

Путник застыл от нежданного озарения: не вместе, а вместо! И как он мог забыть «Закон крокодила», по которому учат жить спецназ ГРУ: не возвращайся по тому пути, по которому пришел. Как ни сильно бронированное чудище, охотники за его шкурой прекрасно знают главный недостаток рептилии: в воду он возвращается только по своему следу…

Теперь для разведчика самую большую опасность представлял верткий и осторожный чибис. Он не только чистит зубы аллигатору, но еще является и непревзойденным сторожем. В отличие от полицейских, птица бдительности не теряет, и если вспорхнет, крокодил тут же сомкнет все тридцать клыков и бросит тело в родную водную стихию.

Спецназовец вытащил нож, потрогал заостренный конец лезвия, похвалил чесночного полицейского, не поскупившегося на хорошую сталь. Отыскал в траве корявый сук. Проткнул его лезвием. В траве бесшумно подползти к сладкой парочке не удастся, самый оптимальный, но и самый опасный путь — по воде. Это приблизительно тридцать метров. При этом зная, что крокодилы не сразу поедают свою жертву, а затаскивают ее в подземные пещеры и дают время размокнуть, чтобы потом рвать кусками. Бр-р-р-р...

Охотник передернулся, но ступил в воду, держа наготове нож с уродливой рукояткой.

Поначалу шел, согнувшись, вдоль берега, разрешая воде обгонять себя. Оставшийся десяток метров, не рискуя тишиной, погрузился в воду, расслабился, поддаваясь ее течению. «У дороги чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется, чудак», — вспомнилась школьная песенка. На уроках пения каждый ряд в классе исполнял по одному куплету. Поневоле знали начало всех песен...

У самого берега ногу обожгло чье-то прикосновение. Скорее всего, о тело споткнулся какой-нибудь малек, но пловец поторопился на сушу. Кажется, это в Африке о попавшем в пасть крокодилу спокойно говорят: «Хаизуру схаури йя мунгу — Ничего не произошло, на то была воля Божья». Но не надо такой высшей воли! Нам желательно вкопать деревяшку с торчащим ножом в след, оставленный на песке аллигатором...

Вкопал. Отполз обратно в воду. Отплыл вниз по течению. Прихватив со дна камень поувесистей, восстановил дыхание и с шумом выскочил на берег. А вот теперь давай, чижик-пыжик, поднимай тревогу!

Чибис вспорхнул так стремительно, что едва не оставил свои лапки меж клыков. А вот крокодил оказался глупцом. Ему бы развернуться к реке сразу, когда только выполз на берег. Теперь пришлось сначала разворачиваться на сто восемьдесят градусов, потом бросаться к воде. Достичь ее в один прыжок с коротких задних лап не смог, и тогда сильным гребком подтянул себя незащищенным брюхом к реке — да по песку, да по торчащему острию ножа. Из раскрывшейся пасти раздался утробный звук, ящер попытался вырваться из боли, жгущей снизу, но резкое движение только усугубило ее. Спасение ждало его только в воде, и из последних сил зверь вновь потянулся к плещущейся мутной кромке.

Боясь, что добыча уйдет, человек бросился к раненому чудищу, что есть силы ударил камнем меж глаз-перископов. Тут же отскочил, опасаясь удара хвостом. Вовремя — острый наконечник едва не достал ног.

«Сябрына»: Беларусь — Россия

Охотник схватил новый камень, бросил его в открывшуюся навстречу пасть. Хвост вновь взмахнулся, но уже не чувствовалось в замахе стремительности и неотразимости. А спецназовец все бросал и бросал в голову, в пасть камни. И коряга под нож, видать, попалась удачная, держалась в песке хорошо, причиняя животному дополнительные страдания при каждом новом движении.

Когда обессиленный крокодил оставил попытки вырваться из западни, человек сел неподалеку и, подобно чибису, принялся сторожить его. Теперь он знал, что делать. Сначала выпотрошит внутренности, закопает их в песок, чтобы они не попали в воду и не привлекли запахом новых рептилий, потом залезет внутрь и на рассвете проплывет меж полицейских постов...

...Рано утром по залитому солнцем, провонявшему рыбой городу бродил глухонемой старик. До него никому не было дела, и это помогало бродяге исподлобья изучать дорогу в порт.

Там кипела своя прибрежная жизнь: люди скандалили, что-то меняли, продавали, попрошайничали, готовили еду. Бродячие музыканты выщипывали из гитарных струн популярную здесь мургу, выдували трели на чиримиях. Детвора гоняла в футбол, бородатые метисы, особо не прячась, предлагали прохожим белые пакетики с наркотиками. А в воздухе витал, царствовал божественный запах касуэла-де-марискос — тушеных морепродуктов. Здесь легко было затеряться на года, но в толпу старик не пошел. Он отыскал себе местечко в тени пальмы, где никто не мешал оглядеть и изучить флаги на кораблях, стоявших на рейде и под погрузкой. Утешительного, судя по всему, ничего не увидел, и тогда позволил переключить внимание на себе подобных бродяг, рыскающих вокруг порта в поисках еды. Свернул к ним.

Глава 3

Июльским вечером в одном из колумбийских портов встал под погрузку сухогруз под редким для этих мест советским флагом. Корабль, тем не менее, ждали: слабосильные портовые краны, покачиваясь от напряжения, без особых проволочек начали переваливать через борт контейнеры. По сходням под контролем полицейских и таможенников зашныряли грузчики, таскавшие в трюмы коробки с провиантом.

Загорелый молоденький капитан, для солидности не выпускающий зажатую меж пальцев трубку, поглядывал то на часы, то на клонящееся к закату солнце. Капитана поджимали сроки, но более всего он рвался услышать звуки фанфар в родном Владивостоке по случаю завершения первого самостоятельного рейса на другой континент с пересечением экватора.

Экватор сейчас и подводил более всего: солнце здесь убегало с раскаленного неба столь стремительно, что два раза затянулся трубкой — и волны уже прячутся в собственной тени. А в открытый океан хотелось выйти не в темноте.

В порту тоже не имели нужды затягивать время: на погрузке-разгрузке деньги делаются как раз на количестве обработанного груза. Так что сходни скрипели без устали, и капитан, успокаивая себя, стал поглядывать на гуляющих по набережной мулаток и гремучих самбо — потомков негров и индейцев.

Зато скорейшего наступления ночи желал глухонемой грузчик. Он медленнее всех сбегал по гнущемуся трапу на берег, невольно задерживая

«Сябрына»: Беларусь — Россия

общую цепочку, дольше всех устраивал грузы в трюме и даже улучил минуту, чтобы перекусить маисовым блином, доставшимся еще утром от немецких туристов. А когда на него прикрикнул бригадир, и вовсе исчез. Таможенников и полицейских отношения среди грузчиков не волновали, зато бригадир позлорадствовал: поглядим, что промычишь при расчете. Из жалости взят в команду, без жалости будет и вышвырнут из нее.

Команда сухогруза успела отдать швартовы за мгновение до того, как солнце коснулось водяного горизонта. Океан от соприкосновения с ним не вскипел, не прогнулся, и тогда к месту их неспешного поцелуя устремился, набирая обороты, корабль с красным флагом на мачте.

Едва вышли за рейдовые бочки, в машинное отделение с капитанского мостика нырнула по металлической слуховой трубе команда: «Стоп, машина!» Именно здесь капитаны прощаются с местным лоцманом, после чего на судне полностью восстанавливаются законы той страны, под чьим флагом идет судно.

Отправив на катере лоцмана к берегу, капитан спустился к себе в каюту и смог, наконец, избавиться и от представительской трубки. Прежде чем взяться за сортировку документов, подвинул к себе портрет девушки на ромашковом лугу. Подмигнул ей, намерился поднести фото к губам, но вдруг почувствовал, что на него смотрит кто-то посторонний. Войти в каюту мог только старший помощник, но стука не было, и капитан, заранее улыбаясь наваждению, обернулся. И вскочил, увидев в двери глухонемого портового грузчика.

— Я свой, — поднял тот руки, всем видом призывая в ответ не делать резких движений.

— Откуда? Почему? Как? — выгадывая время и приходя в себя, капитан схватился за курительную трубку. Хотя хвататься, конечно, требовалось за трубку телефонную...

— Я свой, — еще раз попытался успокоить хозяина каюты на чистейшем русском глухонемой бородач. — Надеюсь, кроме меня, никто не зайдет к вам без вызова?

Он отошел в сторону, предлагая капитану самому закрыть дверь на защелку. Однако тот наложил палец на селекторную кнопку:

— Я вызываю старшего помощника. Кто вы?

— Для вас — сотрудник одного из наших силовых ведомств. Мне необходимо нелегально вернуться в СССР. И, если возможно, срочно выйти по закрытой связи на Москву. В экипаже обо мне никто лишний не должен знать.

— Ваши документы, — потребовал капитан, не принимая условий.

Бородач, оглядев свою рваную одежду, усмехнулся, и капитан настаивать на своем требовании посчитал излишним. А в мыслях уже выстраивались предположения. Первое — он спасает разведчика, и к лаврам покорителя океана ему прибавляется медаль на грудь за участие в спецоперации. И второе — это, несомненно, провокация, и вместо триумфа на Родине его ждут наручники в нейтральных водах.

Версии тащили капитана в противоположные стороны, и тогда он, несмотря на молодость, решил поделиться то ли славой, то ли ответственностью со своим помощником. Которого к тому же не без оснований подозревал в тесных отношениях с особым отделом пароходства. Да-да, в игре пятьдесят на пятьдесят лучше и ни медали, и ни наручников.

— Я вызываю старшего помощника, — вновь предупредил нежданного гостя капитан. И когда тот пожал плечами — смотрите, я все необходимое

сказал, и отныне вся ответственность ложится на вас, — нажал клавишу на пожелтевшей от времени и солнца подставке с пыльной мембраной:

— Старший помощник капитана, зайдите ко мне в каюту.

И на всякий случай развел руками перед грузчиком-разведчиком-провокатором: извините, у меня своя служба.

Настороженность стала пропадать лишь по мере удаления американских берегов, а когда до Владика остался один шаг циркулем по карте, капитан и вовсе спокойно вздохнул. Корабль выходил из нейтральных в территориальные воды Советского Союза, провокации не случилось, а значит, таинственный незнакомец, которого и портовое начальство по радио приказало беречь пуще корабельного компаса, — и в самом деле разведчик!

— Теперь вам можно выходить на палубу и не прятаться от экипажа, — разрешил капитан таинственному бородачу.

Тот не преминул воспользоваться свободой и торопливо поднялся на палубу. Вечерело, прямо по курсу надвигалась гроза, но разведчик поспешил на нос корабля.

— Домой, — сжав кулаки, прохрипел незнакомец. На просьбу капитана укрыться от непогоды он улыбнулся и выбросил руку вперед: — Домой.

Капитан, озабоченный подступающим штормом, радости не разделил. Остановился рядом, облокотился на леера:

— До дома еще дойти надо.

Пассажир и сам понимал, что родные берега еще далеко. Но разве это важно, когда все пережитое навсегда осталось позади?

Глава 4

Не зря, наверное, преграждали Егору Буерашину морские штормы путь на Родину. За время заточения он как-то подзабыл о политических страстях, кипевших в Москве, а ступил на родную землю, — и оказалось, что ничего главнее их в стране нет. Даже показалось: не вывернись он сам из плена, никто всерьез им бы заниматься не стал.

В Домодедово его встречал Юрка Черемухин, с кем вместе начинали службу в КГБ и строили планы на нелегальную работу. Да только уже через пять лет им обоим поставили в личном деле красный штамп: «Известен противнику».

Обиднее всего, что сами они нигде не засветились и собирались свято исполнять главный принцип контрразведчика:

Увидел — молчи.

Сказал — не пиши.

Написал — не подписывай.

Подписал — откажись.

То есть я — не я, а что такое КГБ — вообще понятия не имею.

Но какая-то сволочь из Управления кадров переметнулась к американцам, и мгновенно на всех, с кем соприкасался предатель или чьи личные дела брал в руки, ставился жирный крест. В виде того самого красного штампа, после которого работа за границей не светила контрразведчику ни при каких обстоятельствах.

«Проштампованный» народ поник, заскулил, стал приглядывать новые должности. Егора попытались переманить аналитики, но носить

по кабинетам пусть и умные, но бумажки его не прельстило, и через бывших сокурсников он предложил свои услуги ГРУ — главному разведуправлению Генерального штаба, благо там начинают рассматривать кандидатов как раз после пяти лет службы в погонах.

— Зачем? — попытался отговорить Юрка Черемухин, точно так же засветившийся, но остающийся на Лубянке работать в архиве. Ему спецназ не выгорал из-за «минус пять» на каждый глаз, поэтому он, как в курсантские годы, старался прикрыть свой физический недостаток излишней грубоватостью: — Ветра в заднице много?

— Хорошо, что Бога нет, а то бы он тебя наказал, — успел Егор щелкнуть по носу будущего архивариуса прежде, чем тот отпрянул, придерживая новенькие, чуть великоватые очки. — Давай лучше не теряться. И пожелай мне удачи.

Просьба оказалась не лишней, ибо Егору в новом ведомстве нервы пощекотали основательно. Не в смысле проверки на благонадежность — комитетская чистка считается одной из самых надежных в мире, а он своего прошлого не боялся: отец и мать в войну партизанили, старший брат Иван — чернобылец. Так что озабоченность у новых командиров могла лишь идти по части его психологических, оперативных и физических способностей.

Намекали на работу медкомиссии, и особенно на встречу с психологом, который после многочисленных тестов обязан найти наиболее слабые точки и давить на них в беседе. Если в течение пятнадцати минут руки у кандидата не вспотеют, допускают к этапу следующему.

У Егора не вспотели, потому что ему разрешили передохнуть и даже посмотреть какой-то безобидный американский фильм. Интереса он особого у Егора не вызвал, втихаря уже даже хотел вздремнуть в полутемном небольшом кинозале, но тут вспыхнул свет и ему поднесли блокнот и ручку: а напишите-ка, товарищ старший лейтенант, сколько машин, каких марок и какого цвета проехало в увиденном вами отрывке. Сколько машин остановилось, кто из них выходил, кто садился. В чем одеты, что держали в руках…

И только после этого Егора без денег и документов стали забрасывать на машинах и в самолетах в какие-то лесные дебри с задачей выбраться из них и незамеченным вернуться в Москву. Он стрелял, плавал, дрался, изучал дельтаплан и акваланг, боевую машину пехоты и малую саперную лопатку. Учился давить отвращение, поедая личинок, извлеченных из-под коры деревьев. Затем спал привязанным к этим самым «санитарно-обработанным» стволам. Делал самому себе уколы. Утром мины обезвреживал, а вечером подрывал ими опоры мостов или цистерны. Отцеплял вагоны на ходу поезда. Учил языки. В отличие от Лубянки, в военной разведке главный принцип формулировался намного короче: «Пришел — увидел — уничтожил».

— Тяжко? — хитро улыбались новые сослуживцы, когда-то сами прошедшие этими же тропами.

— А мне присяга иного и не обещала.

Испытания выдержал, и его представили разведзверям ГРУ. И сразу в группу дальней заброски, элиту спецназа. И хотя в ней существовали лишь офицерские должности, то, несмотря на погоны старшего лейтенанта, в качестве рядового бойца.

— У нас много своих законов. Но уясни главный — закон крокодила, — полагая, что новенький обязательно должен знать его, предупре-

дил «кап-раз» — грузный капитан первого ранга с аккуратными седыми усиками, от которого зависело окончательное «добро» на службу.

Он же определил новенького на южное, «песчаное» направление к «каплею» Максиму Оличу. Капитан-лейтенант, за какие-то диверсионные морские дела дослужившийся до командира группы, тоже не преминул напомнить о крокодиле. Но уже более конкретно:

— Никогда не ходи по тропам, где однажды уже ступал. Зашел в одном месте — выйди в другом. В широком смысле — не дай поставить на себя капкан. Знаешь, как ловят крокодилов?

Вскинул голову, а на скуластом лице самодовольная улыбка: откуда вам, на Лубянке, знать настоящее боевое искусство во время броска «на холод»!

«Холодом» в ГРУ почему-то обзывались операции, сопряженные с риском для жизни. По большому счету, Егор мог в ответ щегольнуть чем-нибудь фирменным от «Комитета Глубокого Бурения», но грушники ему понравились, и он промолчал. Придет время, и Лубянка покажет, как и чем хлебают щи. Так что там крокодил?

— Он возвращается в реку обязательно по тому пути, по которому выполз на берег. Охотники за их шкурами и вкапывают в этих местах ножи, о которые несчастные и глупые рептилии распарывают себе брюхо.

В «песчаной» группе почему-то оказалось много моряков, потому они, скорее всего, и баловались всякими страстями о пресноводных.

Хотя основным предметом для изучения оказалось так называемое страноведение — детальное изучение государств, где спецназовцы в силу каких-то обстоятельств могли очутиться. В какой мечети какой мулла служит, кто любимая жена у наследного принца и когда она забеременела, сколько лошадей или верблюдов у владельца центрального рынка, какие газеты что печатают, пофамильные списки физиков и лириков — эти сведения должны были отлетать от зубов по каждому городу и более-менее значимому аулу на южном направлении.

Сведения, надо полагать, обновлялись постоянно. Если спутник засекал какую-то новую постройку, резиденту шла шифрограмма: доразведать объект. Появлялась новая трасса — куда ведет и что соединяет? В местной прессе упомянули на первой полосе новое имя — кто такой? Якобы восторженные якобы туристы якобы случайно засняли уголок интересного объекта — а давайте сделаем его привязку к космической фотосъемке.

Подобной сетью опутывался весь мир, и страноведы, собери их вместе, могли бы рассказать о земном шаре увлеченнее и глубже телевизионного Сенкевича. Разве что не коснулись бы, наверное, Антарктиды. А там шут его знает, гарантировать в разведке ничего нельзя: о ней уважающие себя страны никогда ничего и не подтверждают, но и не опровергают. Есть такой гениальный уход от проблемы — по умолчанию…

Первое серьезное испытание Егору Буерашину не заставило долго ждать и пришлось на «Бурю в пустыне», то есть войну в Персидском заливе американцев против Ирака в самом начале девяностых годов.

Трудно сказать, чем думали на «Военно-грузинской дороге»[1] советские политики и чьи интересы блюли, но «грушный» спецназ вдруг

[1] После назначения в 1985 году Э. Шеварднадзе министром иностранных дел улицу Арбат, соединявшую МИД и здание Генерального штаба, стали называть Военно-грузинской дорогой.

запрягли в упряжку к янки. И не просто участвовать в совместной морской блокаде Ирака, а досматривать идущие в эту страну корабли. Американцам оставалось лишь принимать доклады советских десантников, самим оставаясь как бы чистенькими: мы ни при чем, это русские ищейки лазят в корабельных трюмах.

Лазить послали как раз группу Максима Олича. Аукнулось, что в командирах ходил моряк. Спецназовцы подлетали на вертолетах к обнаруженному в море судну, по фалам скользили на палубу и принимались щупать тюки и нюхать углы. Экипажи презрительно глядели на них, а надсмотрщики, опуская от стыда головы, докладывали по рации сидящим в вертолетах американским офицерам:

— Судно осмотрено, груз стратегического назначения не имеет.

О-о, и как плевались, оставаясь одни. Как поносили даже не звездно-полосатый флаг, а Москву, улегшуюся калачиком на этом полотнище: откуда такое подобострастие и унижение самих себя?

И тогда Егор Буерашин стукнул кулаком сам. Обнаружив при очередном осмотре в утробе ветхого рыбацкого суденышка ящики из-под зенитных снарядов, тем не менее процедил по рации:

— Груз стратегического назначения не имеет.

Ирак отбивался от американской авиации из последних сил, и боеприпасы ему были необходимы не меньше, чем советским офицерам чувство гордости за собственную страну.

Но на этот раз на палубу спустился и американский подполковник: скорее всего, наводка на подозрительное судно все же к ним прошла. Глянул высокомерно на Буерашина, вылезшего из трюма, квакнул что-то сквозь зажатую в зубах сигару.

— Перепроверить! — перевели его команду. — И снова доложить.

Качки на море не ощущалось, но Егор стал, расставив ноги и закрыв собой трюм. И хотя только что бросил курить, выхватил у кого-то из своих сигарету, тоже вбил ее себе в зубы:

— А пошел он...

Подполковник побагровел, выдавая прекрасное знание русского языка. Выхватил сигару, подошел вплотную. Тыча ею русскому спецназовцу в грудь, процедил:

— Ты — еще раз!

Егор не сразу понял, что команду отдали на его родном языке. А когда дошло, взвился окончательно. Обернулся на своих:

— Так они здесь нас еще и за чмо болотное держат?

Не ведая о последствиях, шагнул навстречу американцу, спасательным жилетом сминая его сигару.

— Еще раз тыкнешь, смою через клозет за борт. — И свою сигарету, хоть и тонкую по сравнению с американской, и лишь куцый бычок ее, но выставил навстречу орлу, распластавшему крылья над карманом у кремовой рубашки подполковника. — Это ты тоже, надеюсь, понял.

Еще как понял! Глаза сначала вспучились, налились кровью, потом сузились в щелочку. А Егору что бык, что японец. Ему ни вожжа под хвост не попала, ни водки он не перепил, ни на солнце не перегрелся. Просто достали: когда воду греют, она поневоле начинает кипеть. И Олич, который мог бы осадить, работал с другой группой на другом суденышке.

Так и замерли, сжав кулаки, на палубе иракского кораблика: советский старший лейтенант и американец в подполковничьих погонах. Ирак-

ские рыбаки ждали своей участи на носу судна, зато разведзвери ГРУ вмиг разделились: одни оказались за спиной у взвившегося сотоварища, другие — у подполковника. Вскинулись автоматы. Бунт. На чужом утлом суденышке, на чужой войне СССР, похоже, впервые за горбачевские годы выпростал коготки. «Наверх вы, товарищи...»

Сумасбродного демарша тем не менее оказалось достаточно, чтобы янки дрогнул. Несмотря на кружащие в воздухе вертолеты, главенствующую должность, не посмел перепроверить трюмы или послать лейтенанта туда же, куда сам только что был отправлен. Мертвецки бледные рыбаки-контрабандисты-оружейники глядели на Егора, как на бога, и он сказал себе тогда: никогда, нигде и ни перед кем больше не опущу голову. Я — советский офицер и сын партизана. И плевать на иное.

Усмехнулся американцу: и на тебя плевать тоже. Это в старости подумал — и забыл. В молодости же сказал — и сделал!

Хотя в действительности Егор сплюнул за борт. Все же хотелось, чтобы снаряды дошли до Ирака.

А вот брызги полетели по закону ветра: его за выходку, естественно, по головке не погладили и из Персидского залива срочно отозвали. Готовился к худшему — даже рапорт на увольнение загодя написал, чтобы не выслушивать нравоучения от начальства. Однако вместо международного разноса ему, пусть и втихаря, но досрочно, бросили на погон еще одну звездочку — ходи капитаном.

Так поверил, что даже среди руководителей остаются люди, которые продолжают сражаться за интересы Отечества.

«Отдыхал» недолго.

— На «минус два», — отдал ему команду «Кап-раз» спускаться на два этажа под землю в их здании.

На «минус два» располагалась «гардеробная», в которой скрупулезно, годами собирались одежда и вещи для любых целей и задач в любой точке мира. Значит, готовность номер один. Куда? К какому шкафчику подведут? Ни одного намека на принадлежность к СССР не должно быть, даже пломб в зубах, не говоря уже о клейме советских прачечных на белье.

— Готовься в Латинскую Америку, — подвел Егора «Кап-раз» в самый угол помещения. Пощипал усы, распахнул шкаф с летними песчаными костюмами. — Пойдешь «на холод»…

И вот «холод» кончился, и он вправе был рассчитывать хотя бы на теплый прием личного руководства. Только Юрка вот встретил едва не у трапа, а от их конторы никого пока нет…

— Да тут без тебя напряженка непонятная по всем линиям, — уловив разочарование на лице друга, попытался оправдать опоздавших «грушников» Черемухин.

«В любом случае не такая, как была у меня», — поджал губы Егор. Детская обида переполнила сердце. Герой не герой, но по-человечески встретить могли бы, не каждый раз вырываются разведчики из плена, да еще самостоятельно. Надежду на жизнь, конечно, давал негласный закон всех разведок мира: поскольку разведчики являются военнослужащими, то их физическое уничтожение приравнивается к нападению на страну. Тюрьма — да, перевербовка — да, но под расстрел подвести не должны были. Но это если бы держали официально, и в тюрьме, а не в пещере в сельве…

— Да вон бежит кто-то из твоих, — вычислил Юрка в аэровокзальной суматохе родственную душу.

Бежал сам «Кап-раз». Он схватил Егора в объятия, приподнял, словно через легкую тяжесть веса подчиненного убеждаясь, что перед ним не призрак. Хлопнул по спине.

— Я рад. Но остальное все потом, — отстранился командир и с надеждой посмотрел на Юрку. — Подбросишь товарища до дома?

Не дожидаясь ответа, еще раз прижал к себе Егора. Успел шепнуть:

— Сидеть дома, никуда не высовываться и ни во что не вмешиваться. Ждешь только моей команды.

Хотел уже бежать, но глаза залучились, снова наклонился:

— Тебе бумаги на большую награду готовим. Высшую. Только т-с-с. И без меня никуда и ни во что.

Ошарашил — и исчез столь же стремительно, как и появился.

— Я же говорил, что у вас какой-то напряг, — обрадовался собственной дальнозоркости близорукий Черемухин.

Егор застыл посреди зала. Ему — на награду? А почему, собственно, и нет? Чай, не к теще на блины ездил. Но что случилось в конторе? В честь чего напряг?

Взгляд зацепился за электронное табло: 18 августа 1991 года. Не тринадцатое и вроде не пятница...

Глава 5

Томившийся от безделья и неизвестности Егор целые сутки тупо смотрел в телевизор, пока по нему не стали показывать балет «Лебединое озеро».

Ничего не понимая в нем, переключил каналы, но по всем трем программам танцевали одно и то же. Такая синхронность могла повеселить или удивить любого другого, но если ты прослужил в разведке, то для тебя однообразие столь же тревожно, как и общая неразбериха.

Вышел в коридор, присел к столику с телефоном. Дежурный по управлению не поднял трубку, чего в принципе не могло произойти, и Егор вновь вспомнил календарь: может, страна отмечает какое-то событие, о котором он запамятовал? 19 августа, понедельник. Праздники обычно по воскресеньям…

Когда балет на экране сменился мертво застывшей заставкой о проведении в Останкино регламентных работ, Егор, одевшись попроще, заторопился на улицу.

Она информации не прибавила. По крайней мере, он не заметил тревоги на лицах людей, транспорт ходил исправно. Тянулась очередь к газетному киоску, но пресса, видимо, ничего не успела написать из происходящего, люди пожимали плечами и расходились по своим делам. Если что и вершилось в стране, то, наверное, в пределах Садового кольца. А оно — не Россия.

Поспешил обратно в общежитскую комнатку, боясь пропустить звонок со службы.

«Регламентные работы» в очнувшемся телевизоре закончились, и экран стал показывать длинный стол, за которым сидело человек восемь. Диктор бесстрастным голосом назвал их ГКЧП — Государственным комитетом по чрезвычайному положению. Вице-президент Янаев стал зачитывать заявление Горбачева, который в связи с болезнью слагал с себя полномочия Президента СССР.

Егор впился взглядом в экран. Болезнь, конечно, чушь. Но неужели говоруна убрали? «По России мчится тройка — Мишка, Райка, перестройка»… Вместе со вздохом облегчения, что наконец-то в стране нашлись люди, взявшие на себя ответственность за ее судьбу, отметил с сожалением Егор и нервозность новых руководителей страны, их заискивающие ответы на вопросы иностранных журналистов, дрожащие руки и опущенные головы.

Но все равно — дело сдвинулось с мертвой точки и должны уже идти необходимые команды для исполнителей. А уж среди них найдутся люди, которые проявят и решительность, и профессионализм в наведении порядка. Только бы не опоздали эти команды…

Стала, наконец, ясна и причина нервозности в аэропорту капитана первого ранга. А он приказал ждать его команды. Приоткрыл дверь, чтобы не пропустить звонок телефона. А по телевизору начали показывать московские улицы, наполнявшиеся народом. Толпы, судя по репликам, направлялись на Лубянку.

Выбежал в коридор, торопливо набрал номер Юрки Черемухина:

— Как у вас?

— Только что не лезут в окна.

И с неожиданной надеждой, которой минуту назад у него не прослушивалось ни в одной букве, попросил:

— Ты можешь быстро подскочить?

— Совсем плохо?

— А ты глянь в телевизор.

Экран бесстрастно фиксировал, как к памятнику Дзержинскому подогнали кран и Железному Феликсу набросили на голову петлю из троса[1].

— Только быстрее, — поторопил Юрка, уже ни на кого, видимо, не надеясь.

Но «Кап-раз» приказал ни во что не вмешиваться… Или он рассчитывал на иное развитие событий? Тогда — все можно.

— Быстрее, — еще раз попросил Юрка и сам положил трубку.

Особо быстро не получилось: слишком большие толпы уже бродили по Москве. Но равнодушных — занятых собой и внуками старушек, подметавших улицы дворников, целующихся влюбленных было все равно больше. И именно в этом равнодушии людей, которые никуда не побегут, никого не станут свергать или защищать, могло оказаться спасение для страны. Может, и Юрка зря паникует? Подумаешь, собралась горстка перед Лубянкой. Две пожарные машины с водометами вперед — и через полчаса особо ретивые сидят по домам, сушат одежду. Завтра, одумавшись, спасибо скажут, что не дали замутить бузу…

Черемухин встретил на тыльных воротах центрального здания, протянул в узкую щель внутрь двора.

— Здесь загружено полторы тысячи личных дел агентов и находящихся в разработке фигурантов, — Юрка кивнул на грузовик-фургон с надписью «Хлеб». Рядом валялись выброшенные лотки, что говорило об истинном, а не камуфляжном предназначении машины. Очки у Юрки были все те же, слегка великоватые, и после заботы об архиве он постоянно занимался их охраной на носу. — Надо прорваться на спецобъект. Иначе, представляешь, что будет?

[1] Это была последняя услуга Ф. Дзержинского своему ведомству: когда демонстранты направились громить здание КГБ, переодетые комитетчики перенаправили гнев толпы именно на памятник. И тем самым спасли Лубянку.

Представить списки агентов в газетах не было особой сложностью. Времена для прессы наступили такие, что многие редакторы ради сенсации готовы в уголке юмора публиковать отчеты о похоронах собственной матери.

Хотя публикация списков иным митингующим как раз и поубавила бы пыл. Еще будучи в Комитете, Егор сопровождал однажды правозащитницу, на всех углах требовавшую немедленно открыть архивы КГБ. Устав доказывать пагубность подобного, пригласили ее на Лубянку и, как понял Буерашин, показали личное дело отца, чье имя долгие годы выставлялось как символ борьбы с тоталитаризмом.

Ознакомившись с ним, женщина на цыпочках вышла из «Детского мира»[1] и как будто цементного раствора глотнула. Причина оказалась более чем банальна и грустна: по оговору ее отца в тридцатые годы было расстреляно более десяти человек, его же друзей.

Ох, не плоской была история страны, не только черно-белой…

Только ведь наряду с подобными стукачами, которых, в принципе, как-то можно понять с позиций нынешнего времени, в картотеках имелись имена тех, кто предупреждал о терактах, безалаберности, антисоветчине. Кого внедряли в преступные группировки и подсаживали в тюремные камеры к воровским авторитетам, убийцам и насильникам. «Подбрасывали» к иностранным посольствам. Кто закрывал каналы с наркотиками, похищениями людей. Аксиома, существующая во всех странах мира: государство обязано защищать свои интересы, свой государственный строй, своих граждан. В том числе и негласными методами.

В первую очередь имена таких негласных сотрудников и спасал Юрка. И Буерашин молчаливо протрубил ему гимн.

— Охрана внутри фургона, — опередил Черемухин главный вопрос друга, от волнения раз за разом поправляя очки. — Стреляем без предупреждения по каждому, кто приблизится. На крайний случай — взрываем.

О-о, какая же несусветная глупость посетила Юркину доселе светлую голову! Взрыв разметает листочки по всей округе, а «секретка» обязана уничтожаться до последней буковки в документе. В ГРУ на этот случай держат напалм...

Но Юрке было не до подобных тонкостей. В своем окопе он остался один, держал свой фронт и сопротивлялся как умел.

— В фургон или рядом поедешь?

— Не рядом, а за рулем.

Стащить с шеи галстук, оторвать козырек у кепки и, извозив ее по пыльному колесу, нахлобучить на самые глаза, засучить рукава рубашки и бросить в зубы сигарету, — и чем не водила из пятого или четырнадцатого автопарка? А очкарик рядом — это бухгалтер. С накладными на хлеб. Легенда безупречная, бригада круглосуточная. Вперед, на пекарню!

Ворота медленно отворились. Словно почуяв добычу, от толпы на площади отделились с десяток разогретых парней, готовых по той же самой методике сексотов[2] останавливать или записывать номера выходящих из лубянского комплекса машин. Даже хлебовозок.

Егор, как и полагается водиле из пятого или четырнадцатого автопарка, выплюнул им под ноги бычок и дал по газам.

---

[1] Так называют комплекс зданий госбезопасности сами комитетчики по магазину-соседу.

[2] Понятие «сексот» поначалу имело более благородную окраску, так как происходило от оперативного термина «секретный сотрудник».

А Москва упивалась свободой кричать что вздумается, ходить там, куда вчера не пускали, ломать то, что не строили. Благодать: милиция загнана в подворотни, комитетчики дрожат по кабинетам, армию заперли в казармах. Как же сладка запретная выпивка! И кто заранее думает о похмелье…

Впрочем, столице всегда не хватало мудрости. Да и откуда ей взяться, если сюда веками ползли поближе к власти проходимцы и лизоблюды, постепенно занимая места своих хозяев. И не прощая после этого никому своего предыдущего унижения.

«Кап-раз» выражался проще:

— К дирижерскому пульту прибежали барабанщики. С искренним убеждением: кто громче бьет, тот в оркестре и главный.

Главным, судя по транспарантам и речевкам митингующих, мог стать Ельцин. Что явно было не худшим вариантом, этот порядок в два счета наведет.

Пока же Егор и Черемухин ехали по враждебной Москве молча. Да и о чем говорить, когда за спиной фургон с личными делами фигурантов, а впереди — полная неизвестность и разбитая дорога, в которой даже Юрка плохо ориентировался.

Однако за Химками он после некоторых раздумий попросил уступить ему место за рулем. А потом и вообще вылезти из машины и подождать возвращения на дороге. Ясно: боялся выдать объект. Егор поначалу хотел обидеться, но остановился: не в бирюльки играют. Напялил Черемухе кепи и, снимая с него чувство вины, поторопил:

— Только мухой. Туда и обратно.

«Бухгалтера» никогда не отличались классным вождением: грузовик неуверенно дернулся, рывками набрал небольшую скорость и скрылся в незаметный поворот среди только-только начинающих желтеть кленов. Спецобъект — он и есть спецобъект, посторонний глаз не привлекающий.

Зато разгрузился и вернулся настолько быстро, что Егор не успел соорудить себе сидушку из лапника.

— Надо в Зеленоград, — высунулся через опущенное стекло кабины Юрка.

Очки на переносице оказались наспех перетянуты синей изолентой: все же потерял бдительность и наверняка уронил при разгрузке. Но это не мешало архивариусу пристально смотреть сверху вниз: если ты не согласен, я еду один. Честно сказать, Буерашин не ожидал, что в дохляке Юрке окажется столько твердости и ответственности. Но куда ему одному при минус пять на каждый глаз?

— Надо! — твердо повторил Юрка, возвращаясь к реальности.

Зеленоград слыл самой демократической зоной Москвы — именно оттуда приезжали на митинги самые многочисленные и по-военному организованные колонны с зелеными полотнищами транспарантов. Победа над ГКЧП могла добавить им агрессивности, и тут даже Ельцин не успеет всех привести в чувство. А на трассе уже появились танки. Чьи? За кого?

— Начальник местного отдела получил сведения, что с минуты на минуту ожидается штурм его здания. Просит помочь вывезти архивы.

— А что, на все КГБ — ты один? С украденной хлебовозкой? — удивился Буерашин. А скорее, выплескивал раздражение от вида застывшей танковой колонны. Не зря дрожали и опускали глаза на пресс-конференции

члены ГКЧП. Так и не нашлось среди них никого решительного, идущего до конца. И Юрка прав — пора спасать хотя бы тех, кто помогал стране…

Черемухин вздохнул, подержался за дужку очков. А вот ему было стыдно за контору, еще вчера приводившую в трепет весь мир, а сегодня вдруг оказавшуюся в растерянности. Но поскольку Егор тоже числился выходцем из Лубянки, горько исповедался:

— Перед твоим звонком, извини, увидел в туалете одного генерала. Он рвал какие-то бумаги, бегал по толчкам и спускал в них обрывки. Грешным делом подумал, что уничтожает документы, но оказалось, избавлялся от рукописи собственных воспоминаний. Где, я думаю, как раз и поносил демократов. Таким нынче стало КГБ, Егор.

Зря Юрка стыдился — Буерашин сам опустил голову: чай, погоны получал в Комитете. Не знал, что творилось на данный момент в ГРУ, но если и там генералы дрогнули, то куда возвращаться и кому верить? Или быстрее бы уж Ельцин брал всю власть в руки, чтобы утвердить порядок.

Зеленоградского комитетчика нашли мятым, небритым и, кажется, под градусом. Увидев хлебовозку, сразу обмяк: так бывает, когда приходит уже не ожидаемая помощь. Чтобы вывести его из прострации, Буерашин поинтересовался:

— Сто грамм есть? Меня зовут Егор.

— Серега, — легко поддержал знакомство хозяин кабинета.

Сдвинули почерневшие от чая разнокалиберные чашки — не на поминках. Тост предложил капитан, выдавая свою родословную:

— Казак пьет в двух случаях. Первый — когда есть огурец. И второй — когда огурца нет. До дна.

Спирт, затушенный не менее обжигающим льдом, пробудил Серегу к действиям.

— Предлагаю: то, что не очень существенно, перебросить в ментовку, с начальником отношения нормальные. Но мешков семь надо бы вообще сжечь.

Все трое невольно представили костер в лесу, на свет которого наверняка подскочат какие-нибудь вояки. Да хотя бы из тех же танков, что опоясали Москву. И неизвестно, кто окажется командиром.

— Открытое место нежелательно, — похоронил Егор чью-то удачу на выслуживание. Там, где участвует он, халява не пройдет...

Капитан потянулся к телефону, доставая из пиджака потрепанную записную книжку со множеством вложенных записочек. Найди такую на улице, ни за что не догадаешься, что она принадлежит главному зеленоградскому контрразведчику. Но он отыскал в ней нужные цифры практически мгновенно — дольше набирал номер на таком же колченогом, как холодильник, аппарате:

— Борисыч? Что плохого в этой жизни?.. Молодец, и я про то же. Слушай, подошли ко мне свою аварийку. И жди меня, я к тебе на ней подъеду. Все потом. Давай.

Поправил, словно удачливую колоду карт, листочки в книжице, вернул ее в лоснящуюся щель кармана. И только после этого соизволил пояснить:

— Тут у меня на крючке начальник теплосетей. Сделает все.

Начальник ТЭЦ сработал быстро. Контрразведчики в спешке побросали в желтый проем аварийки утрамбованные под завязку, опечатанные сургучной печатью мешки. Через минуту им гореть в топке,

а все равно от инструкции ни на шаг. Если в Книге рекордов Гиннесса есть раздел «педантизм», то КГБ явно просился на первую строчку.

На воротах ТЭЦ встречал сам Борисыч — сухонький мужичок в тесноватом, в катышках на животе, пуловере. Сереге хозяин кивнул несколько раз, чем подтвердил свои какие-то прегрешения перед конторой. На попутчиков, сидевших на мешках, лишь покосился: более всего осведомители опасаются расширять круг знакомств.

— Надо сжечь, — кивнул на груз комитетчик. Икнул, поморщился от рыбной отрыжки, но довел задачу до конца: — Срочно. При нас.

Борисыч поник, сделался еще более сгорбленным и маленьким, и оказалось, что пуловер ему вообще-то впору. А катышки на нем оттого, что старик от волнения постоянно трет ладони о живот...

— Что так? — недовольно поднял голову Серега. Видать, сильно был обязан Борисыч органам, если тамошний представитель и мысли не допускал о невозможности выполнить просьбу.

— Сделаем, — со вздохом согласился поделиться огоньком начальник теплоцентрали. Махнул водителю, гусаком вывернувшему голову из кабины: — Подъезжай к главному корпусу.

Корпус оказался не чем иным, как тюрьмой-ангаром для томившейся внутри огромной глиняной избушки на металлических лапах. В ее оконцах бушевало пламя, но мощные газовые форсунки все продолжали и продолжали выжигать ей нутро. Бедная Баба Яга! Говорят, при матриархате она ходила в жрицах и была прекрасной девушкой, и это мужики в отместку за свое прежнее унижение переиначили ее в чудище. А тут еще посягнули и на ее кров...

Серега, ухватив мешок за чуб, потащил его по металлическим ступеням вверх, к смотровому лазу. Запечатанные в смертный саван документы не желали мириться со своей участью и цеплялись углами папок за стертые ступени, боковые прутья перил. Ни Золотая Орда, ни инквизиция не тащили так людей на костры, как Серега, не обращая внимания на рваные раны мешковины, торчащие белые кости папок, кровавые пятна корешков-переплетов, в пьяной решимости взбирался к гудящей печи.

Около заслонки, один в один похожей на окошко в тюремную камеру, уже возился Борисыч, металлическими штырями, согнутыми и худыми, как он сам, поднимая накалившиеся от огня запоры. Когда и Егор затащил свою ношу наверх — на плечах, не желая повторять изуверство контрразведчика, — металлический квадрат оконца с грохотом откинулся на спину. Изнутри полыхнуло, обдав собравшихся жаром.

— Отлично, — порадовался Серега всепожирающей мощи огня.

Приподнял свой мешок, примерился и, последнее мгновение посомневавшись, швырнул его в попытавшееся вырваться из огненного ада пламя.

— Быстрее! — прокричал сквозь гул Борисыч. — Давление уходит.

Словно в подтверждение, из операторской будки под самой крышей ангара выбежали две женщины в белых халатах. Увидев начальника, застыли у ограждения, но Борисыч махнул им: все в порядке, возвращайтесь к приборам. А когда Буерашин, сменив забронзовевшего от натуги, жара и решимости капитана, расстался с последним мешком, начальник ТЭЦ все тем же металлическим прутом вернул дверцу на прежнее место. Вытирая о живот руки, подошел к глазку, словно мог увидеть через него, как сгорают чьи-то истории и судьбы...

Ночью Егору, наконец-то опьяневшему, снилась эта печь. Смотровые глазки в ней оказались широкими, и потому он отчетливо наблюдал,

как корчатся, обугливаются фотографии из личных дел зеленоградских фигурантов. А полузнакомый генерал в это время бегал среди унитазов и дергал веревочки в сливных бачках. Выходила противная мелодия...

Наутро, увидев в новостях победоносное возвращение в Москву счастливого Горбачева, он поехал на Полежаевку. С рапортом. На увольнение. Подобное в армии следует делать по команде, но Олич, его непосредственный начальник, так нигде и не проявился, и Буерашин пришел к «Кап-разу»: вы меня принимали на службу, вы и выгоняйте.

Начальник сидел понурый и рвать с ходу листок не стал. Долго вглядывался в него. Хотя что всматриваться: формат А-4, плотность бумаги до 80 граммов на метр квадратный. Для ксерокопирования. Экземпляр единственный. Копий не снималось. Только адресату.

Командир встал, прошелся по кабинету. Остановился в углу, около огромного глобуса. Повертел его. Земля закрутилась, замелькала материками и океанами. Где-то в этом круговороте крутился он сам, Егор, Юрка Черемухин с хлебовозкой. Горбачев с Ельциным. Все вместе, в космос никто не улетел…

Командир вернулся к столу. Выдвинул ящик, задумался. Егор не видел, что там находилось, но подумал: пистолет или собственный рапорт. Власть в те дни оставила служивым людям небогатый выбор: кому-то умирать вместе со страной, кому-то поднимать тосты за победу над ней.

— Служи, — «Кап-раз» медленно порвал листок с нервными ночными каракулями. Выбросил бумажки в урну. — Страна-то остается. Люди остаются...

— Но я не желаю снова ступать в это болото...

— Будешь желать! — вдруг резко перебил моряк, повысив голос. — У нас сейчас на плечах не погоны, а судьба страны. И что, ее тоже коту под хвост? Не дождутся. Неделя отпуска, а там разберемся. Куда поедешь?

— Домой.

Глава 6

По возвращении в столицу Егора ждал срочный вызов к начальнику управления.

— Просят человека в охрану Ельцина. Пойдешь? При этом гарантий никаких по твоему обратному возвращению сюда, если окажешься профнепригоден.

«Кап-раз» взгляд не отвел, и Егор понял: вопрос с переходом из ГРУ в Службу безопасности Президента России ему решать самому. При этом догадываясь, что разведуправлению желательно иметь своего человека около Тела[1].

— Имею право спросить: за что?

— Свои люди везде нужны, — наконец произнес «Кап-раз» ключевую фразу, за которой и скрывалась глубинная суть нежданного предложения.

Взял стоявший у глобуса военно-морской вымпел, подержал его на весу, словно прощаясь, — и в самом деле протянул Егору. Смысл мог быть двоякий: если на флоте вымпел вручают кораблю, который готов к самостоятельному плаванию, то в разведке самый высший пилотаж — это войти в стан противника под чужим флагом.

[1] «Тело, Дед, Хозяин» — Б. Н. Ельцин в разговоре между охранниками.

Не заговор и не новое ГКЧП, естественно, подразумевались: в этом плане людей в погонах приучили служить «за», а не «против». Скорее всего, Генштаб в самом деле боялся уничтожения разведки как таковой и потому спешно выставлял глаза и уши в любых местах, откуда могла исходить угроза — рядом с Горбачевым, Ельциным, где-то в окружении Буша, у самого черта на рогах. Геральдисты, определяя в эмблему ГРУ летучую мышь, накрывшую распахнутыми крыльями земной шар, оказались крайне дальновидными[1]. Только вот сам Егор, похоже, подпал под девиз нелегальной разведки: «Без права на славу во славу Отечества». Без права на славу…

— Когда и куда прибыть? — вздохнул обреченно Егор.

— В четверг в 9.45. Белый дом на Красной Пресне. Метро «Баррикадная»… Что улыбаешься?

— Интересное словосочетание — красные, белые, баррикады, — поймал игру слов Буерашин.

— Только не революция, — поднял руку «Кап-раз».

...В Белом доме с капитаном Буерашиным долго не разговаривали. Возможно, новым командирам требовалось лишь удостовериться, что кандидат жив-здоров.

Когда его наличие подтвердилось воочию и не вызвало отторжения, встретивший новичка сухощавый подвижный майор прямо в фойе «БиДе» расписал ему ближайшую карьеру:

— Пойдешь сначала «под сосну», затем поработаешь «мешком».

Судя по названиям, таящим в себе профессиональную тайну, должности Егору светили не очень престижные. Но, памятуя о наказе «Кап-раза», от уточнений воздержался.

И кажется, зря, потому что даже рядом с Президентом имелись не просто низшие, а откровенно тупые должности, от которых он мог еще при собеседовании отказаться.

— Стоишь на этом повороте, — взявший над Егором кураторство майор самолично привез его в какой-то лес и выставил на обочину.

— Задача?

— Просто стоишь. На случай, если здесь поедет президент.

— Как долго?

— Неделю, три, месяц, полгода...

— И все?

— Все.

Это было даже не мелководье, где рыба чувствует близкую погибель. Здесь Егора целенаправленно выбрасывали на берег. Два-три взмаха жабрами — и останешься навеки с открытым ртом.

Увидев поникшее лицо подчиненного, «рыбак» снизошел до объяснений:

— Пост круглосуточный, поскольку охрана — процесс непрерывный. Если в ней существуют промежутки, ее смысл теряется. В 18 часов сменят. А пока стой под сосной и пиши стихи.

Стихи не слагались. Бросил рифмы еще в суворовском училище, когда занялся рукопашным боем и стрельбой. Скорее всего, последнее сейчас как раз и приглянулось. Но зачем же опускать столь низко?

А после смены и вовсе духом пал. В общаге включил телевизор, а над Кремлем реют уже два флага. Красный, советский, — над Горбаче-

[1] При этом в каждом подразделении ГРУ эмблемы имеют свои отличия. У боевых пловцов место летучей мыши занимает лягушка.

вым, оставшимся сидеть «на уголке»[1], и новый российский «полосатик» — над Ельциным, въехавшим в четырнадцатый корпус Кремля[2].

Два президента, люто ненавидящие друг друга, ужиться в одной берлоге не могли ни при каких обстоятельствах, так что времена ждали страну наверняка лихие.

И все понимали — развязка неминуема. Ельцин мог поделиться последней бутылкой водки, но ни при каких обстоятельствах — завоеванной властью. И что одним четырнадцатым корпусом в Кремле он не удовлетворится. При неумении Горбачева держать удар исход противостояния определялся заранее.

Новая должность позволяла Егору иметь сутки отдыха, и он регулярно вырывался на Полежаевку, добросовестно пересказывал новости, касающиеся Президента России. Но в какой-то момент вдруг почувствовал, что его слушают вполуха, что жизнь и контакты Ельцина «грушникам» до лампочки. Вывод напрашивался парадоксальный: «Кап-раз» засунул его в охрану не в качестве засланного казачка, а чтобы элементарно спасти. Как ни странно, около Ельцина оказалось самое спокойное место: здесь никого не трогали, а власти наваливалось столько, что любое шевеление пальчиком приближенных Ельцина приравнивалось к постановлению ЦК КПСС и подлежало немедленному и безоговорочному исполнению. «Кап-раз», вручая вымпел, предполагал его сохранность, сбережение, а отнюдь не выставление напоказ в бою…

А тут сбылось и предсказание майора из «БиДе» насчет выдвижения. Не успел Егор пересчитать все сосны в зоне ответственности, как его выдернули на очередную ступеньку тупости — в «мешки». Отныне его обязанностью становилось сидеть в машине сопровождения президента с единственной обязанностью: выполнять команды старшего экипажа.

Ельцин на скорость и охранные предписания не обращал никакого внимания. Он говорил, где и в какое время ему требовалось быть, и охрана сама выбирала и маршрут, и скорость. Сидеть у президентской машины «на хвосте» или идти перед ней «лидером» — это для охранников роли не играло, заменяемость шла полная. Только теперь капитан Егор Буерашин перестал быть просто «мешком»: он стал тщательно анализировать маршруты движения Хозяина, состояние трассы — кюветы, придорожные столбы, парапеты, повороты. Все, что могло помочь ему в час «Х». Ну, а потом... Потом, если жив останется, позабудет и имя свое.

Глава 7

— И как служба?

«Кап-раз», даже если и хотел выразить сочувствие Егору, добился обратного. Уж кто-кто, а он прекрасно знал настроение бывшего подчиненного, и потому вопрос можно было отнести к разряду издевательских. Но раз командир отыскал его в выходной день, предложил погу-

[1] На жаргоне охраны — резиденция Президента СССР.

[2] Этот, советский флаг, последним развевавшийся над Кремлем и тайно снятый ночью 25 декабря 1991 года, выкупят потом немцы и вывесят над одним из зданий в Берлине. Для истории. Или насмешки, ведь по мирному договору с Германией красный флаг вечно должен был развеваться над рейхстагом. Чтобы этого не было, все послевоенные годы купол рейхстага находился на реконструкции. Впоследствии немцы выкупят и мемориальную доску с дома Л. И. Брежнева.

лять в Сокольниках и поинтересовался службой — пора потирать руки? Курок, надолго оставленный во взведенном состоянии, или заклинивает, или у него происходит самопроизвольный спуск…

— В Белоруссии бывал? — вдруг поинтересовался командир.

— Пролетом, проездом.

— В начале декабря планируется встреча Ельцина и Шушкевича. В Минске.

Егор слышал о ее подготовке, но мало ли с кем встречается Президент России. Имеет право. Но только и командир спецназа ГРУ о лишнем, второстепенном заводить разговор не станет. Пришло время «Х»? И что еще не сделано в этой жизни? Кому чего и сколько должен? Эх, и Героя так и не успел получить.

По телу пошла мелкая дрожь, и Егор, согреваясь, глубоко засунул руки в карманы полупальто. Сжал там кулаки. Но плечи все же передернуло от озноба, и «Кап-раз» внимательно посмотрел на него сбоку. А что смотреть? Чай, не каждый день выходишь на острие копья, которое... Которое — что?

— Мне напрашиваться на мероприятие? — достаточно определенно Егор дал понять о своей готовности действовать. Но при этом хотя бы чуть-чуть заранее знать, что от него потребуется…

Командир остался доволен реакцией бывшего подчиненного, продолжил:

— Встреча планируется в Минске, но прошла команда готовить резиденцию в Вискулях, это небольшой охотничий домик в Беловежской пуще. И не на двоих — Кравчук с Украины ожидается тоже.

Пока из всего сказанного Егор вычленил для себя роль информатора. Слово для гражданских из разряда крайне пренебрежительных, тянет на «стукача», зато для разведки первичные сведения — это ключ для дальнейших действий. Правильных действий.

— И что они могут нашептать друг другу? — осторожно начал выуживать уже для себя информацию капитан.

«Грушник» растер уши, то ли согревая их теплом ладоней, то ли невольно намекая, что о разговоре не должен прослышать ни один человек. Ответил, словно зачитал справку:

— Анализируй. В августе Ельцин издает Указ и переподчиняет себе всю исполнительную власть СССР, включая Министерство обороны, МВД, ГКБ, печать, правительственную связь. Бред, но Совету Министров РСФСР предоставляется право приостанавливать любое распоряжение Кабинета министров СССР. В октябре под юрисдикцию России переходят вся наука и высшая школа СССР. Ноябрь. К России переходит Госбанк, вся прокуратура, включая военную. Продолжать?

— Скоро от СССР останется только должность Горбачева, — согласился спецназовец.

— В состав российской делегации вкупе с Ельциным включены Бурбулис, Гайдар, Шахрай. Все ненавидят советскую власть. Ориентирован на Запад Шушкевич. Референдум на Украине вообще прошел в пользу отделения от СССР, и Кравчук с этого конька теперь не слезет. Так что желательно знать обстановку на встрече из первых уст.

— А Горбачев что?

Усмешки командира в прокуренные усы хватило, чтобы Егору самому согласиться: с президентом страны каши не сваришь. Если не пересолит, то сожжет.

— Против Горбачева и играют. А он сопли жует. Поработай.

Что ж, приказы иногда отдаются и вот так, обыденно, без стойки «смирно» и металла в голосе. Тем более, «Кап-раз» уже и не командир Буерашину, и вообще — не дело Главного разведуправления Генерального штаба расшифровывать словоблудие политиков. Спецназ — он там, где война, где реальный противник...

— Сам ничего и ни при каких обстоятельствах не предпринимай. Но когда вернешься — встретимся.

Господи, а Вискулей-то этих оказалось — три запорошенных снегом деревянных коттеджа, банька, хозблок да сам охотничий домик, построенный в 1957 году по указанию Никиты Хрущева. И двигала им не блажь, но зависть. Однажды во время визита в Югославию его вывезли на охоту, организация отдыха превзошла все ожидания, и Хрущев, не сделавший ни одного порожнего выстрела, возжелал заиметь что-либо подобное и у себя в СССР.

Для высокосветских утех и охотничьих забав выбрали урочище Вискули — самое высокое, под 200 метров над уровнем моря, местечко в центре Беловежской пущи. Оригинальными не оказались: в этих местах бродили в свое время с ружьишком и литовские князья, и польские паны. Заезжал сюда и Александр II.

Павильон Никите Сергеевичу не понравился. Проведя в нем всего одну ночь, он буркнул:

— В этой комнате только спьяну можно выспаться.

Имел в виду сырость — комнату из-за спешки попросту не успели просушить. Но слова Первого секретаря ЦК КПСС не забылись, и ко второму его приезду на охоту в Вискулях уже стояли два деревянных коттеджа.

Поохотился в Беловежье и Леонид Ильич Брежнев. Стрелял он всегда метко и, надо отдать должное, кабанов к деревьям перед выстрелом ему не привязывали. Ценил эти места и любимец народа, многолетний руководитель Белоруссии Петр Машеров, для которого построили еще один деревянный коттедж. Но что могло потянуть в заснеженные белорусские леса Бориса Николаевича? Какая охота? Вся страна знала, что Ельцин увлекается теннисом, а отдыху предпочитает хорошее застолье.

Впрочем, эти проблемы — не для охраны, ее дело — зачистка. Проехать от военного аэродрома «Засимовичи», где сядет самолет с российским Президентом, до Вискулей: осмотреть качество дороги, оценить безопасность поворотов. Деревья, которые теоретически могут упасть на кортеж, — спилить. Это сажать в Беловежской пуще ничего нельзя, лес должен оставаться девственным, самовоспроизводящимся, иначе исключат из списка ЮНЕСКО как заповедный. А пилить потихоньку — можно.

У съездов на лесные тропы, если оттуда возможно появление лыжников или даже зайца, выставить гаишников — конечно же, переодетых в милицейскую форму сотрудников КГБ. Вынюхать все углы в здании, где будет находиться Дед. Вычертить схему ходов-выходов, окон, дымоходов и печных труб. Перекрыть, замуровать, опечатать, зачистить лишние. Проверить всех живущих в округе. А в первую голову тех, кто окажется приближен к Телу — егерей, истопника в бане, поваров. Впрочем, кухню обязался прислать Минск, что значительно облегчало задачу.

В российской охранной команде набралось человек двадцать, так что свою зачистку провели за полдня. К вечеру 6 декабря подкатил прислан-

ный из Москвы персональный ельцинский ЗИЛ. Поскольку мороз крепчал, машину от греха подальше загнали в теплый гараж, выдворив на холод белорусские «Волги».

Шушкевич прислал пятерых охранников, которые не посмели что-либо возразить россиянам. Кравчук оказался чуть «подороже» — от Украины прибыло с десяток парней, но они держались особняком, словно подчеркивая: все, ребята, отныне табачок и сало врозь. С тем и разошлись переспать ночь по закоулкам резиденции.

...Утром первыми поскакали прогревать заиндевевшие машины сябры. Официальный протокол неизменен: первым на объект прибывает хозяин резиденции, чтобы самолично потом встречать гостей у трапа самолета или у крыльца.

Несмотря на то, что белорусская делегация во главе с Шушкевичем и премьер-министром Кебичем оказалась достаточно многочисленной, больше всего мельтешили в ней корреспонденты и официантки. Это чуть успокоило Буерашина: на тайную вечерю свидетелей обычно не приглашают. Да и с чего «Кап-раз» взял, что встреча может таить опасность? И какую? Для кого? Сработало профессиональное недоверие к тем, кто исподтишка тявкает на хозяев? Но достаточно взять хлыст, и любая моська подожмет хвост, заюлит и, если не примется лизать руку, то заползет под диван. Или командир боится, что Горбачев хлыст взять как раз и не способен?

Вторыми схватились за рации украинцы — на подлетном времени находился самолет Кравчука.

— Берите наши машины, — кивнул им Шушкевич. А когда украинская десятка выбежала на улицу, обернулся к стоявшему за спиной премьер-министру: — Все же прибыл Макарыч. Никуда не делся.

— Не в Москву же. Это туда он ни ногой, — ответил Кебич известное обоим. И вздохнул в предчувствии проблем: — Но надо ждать, что будет настаивать на чем-нибудь более серьезном, чем просто разговоры.

За плечами Президента Украины был референдум, где 60 процентов населения проголосовали за самостийность. Этому откровенно завидовал Шушкевич, уважая политическую силу соседа. У Кравчука — сила, у Бориса Николаевича — дурь… Вздохнув, пошел на второй этаж глядеть помещения для гостей.

В резиденции имелось четыре комнаты, пригодные для жилья. Ельцину отводились самые комфортабельные апартаменты, предназначавшиеся некогда для Хрущева. Для самого Шушкевича усиленно протапливали деревянный, «машеровский» коттедж, оставшиеся два других держали «под парами» на непредвиденный случай.

Егор Буерашин, памятуя о разговоре с командиром, старался вникать во все детали, отлавливал обрывки любых фраз. Но они пока ничего не проясняли. Или политические реверансы намного хитроумнее армейских тактических уловок? В бою уже знал бы, куда вызывать огонь артиллерии, где самому поднимать людей в атаку. Как ни крути, а войны выглядят более честным занятием, чем реверансы политиков. Наверное, прав был Рузвельт, когда умолял не идти в политику тех, у кого кожа тоньше, чем у носорога…

В любом случае оставалось ждать с аэродрома Кравчука, а по большому счету — Деда. Как бы ни старались президенты Украины и Белоруссии строить из себя равных братьев, именно от состояния и настроения Ельцина начнут крутиться дела.

— Только бы держался на ногах, — переговаривались меж собой телевизионщики. — Из минской встречи так и не смогли выбрать ни одного трезвого кадра.

Приметив Егора, прикусили языки, уткнулись в камеры. Парадокс: политика страны определяется тем, насколько пьян ее правитель...

Кравчук оказался значительно ниже ростом, чем виделся по телевизору. Этот зрительный обман, несомненно, играл для политиков исключительно положительную роль, подкрашивая и лакируя их образы, превращая едва ли не в недосягаемых божков. А на деле, оказывается, они такие же, как все — чихающие, сморкающиеся, мерзнущие человечки. Отведи от них телекамеры, пусти по улице без охраны — ни одна собака не гавкнет, потому что не обратит внимания.

Подобное открытие не то что порадовало Егора, а позволило стряхнуть оцепенение пред сильными мира сего, ухмыльнуться их потугам играть роль ежесекундно заботящихся о подданных. Лучше заходил бы быстрее в резиденцию, не выстуживал ее.

— У кого-нибудь случайно нет казахстанского флажка? — метался по резиденции шеф белорусского протокола. — Может, кто-нибудь помнит, хоть как он выглядит?

Значит, на встрече ждали и Назарбаева. Егор невольно пожалел об этом: казахстанский президент казался мужиком рассудительным, без националистических вывертов. А может, это к лучшему: возьмет нагайку и по-азиатски прочистит славянские мозги?

Мороз крепчал, снег за высокими окнами резиденции продолжал медленно падать, сооружая для каждого пня персональную шапку Мономаха. Время клонилось к вечеру, а из аэропорта по их, российскому борту № 1, по-прежнему не поступало никаких известий. Зато нашли зеленый флажок с восходящим казахстанским солнцем. Все же не зря, видимо, «Кап-раз» положил на белорусскую встречу глаз: в послепутчевское время сход подобного формата, да еще без приглашения Горбачева, ожидался впервые. Ясное дело, в Пуще на каждом суку должны сидеть ребята из КГБ. А может, и сидят.

Когда наружная охрана закоченела, а внутри резиденции — измаялась, пришло, наконец, время напрячься и российской «девятке»: самолет с Первым на подлете.

— Кравчука займите, дайте ему поохотиться, что ли, — торопясь к машине, бросил на ходу Шушкевич указание своему сопровождению.

От длинного хвоста свиты отстали нужные люди, подозвали директора заповедника Сергея Сергеевича Балюка. Тот спокойно пожал плечами: проблема, что ли, с лишним кабанчиком? Выгоним... А что у Президента Украины не оказалось своей машины, Шушкевичу вышло на пользу: Кравчук и Ельцин терпеть не могли друг друга, и вместе их свела только еще большая ненависть к Горбачеву. Так что чем дольше гости не будут видеться, тем спокойнее Беларуси.

Ельцин, к сожалению, оказался верен себе. Даже Шушкевич отвел взгляд, когда в проеме самолета обозначилась покачивающаяся фигура его российского коллеги. Дело усугубилось тем, что на военном аэродроме не оказалось нормального трапа, и к борту лайнера приставили техническую стремянку. Ее со всех сторон придерживала аэродромная обслуга, но под неустойчивой тяжестью гостя она все же заскользила вдоль самолетного борта. А тут еще прибывшие машины подсветили

фарами трап, и ослепленный, теряющий устойчивость российский президент кувыркнулся вниз.

Но «личка» великое дело — телохранители рядом с охраняемым лицом! Вот кто не дает небожителям прилюдно падать лицом в салат или на бетонку аэродрома! Не позволяет им оставаться самими собой, проявить истинную суть. Вот кто надежнее телеэкрана лакирует и выставляет на обозрение свой объект в наиболее выгодном свете.

Успела охрана ухватить, удержать свое непутевое «дитя». Замахали руками — уберите свет, как будто это он стал причиной конфуза. Уж на что Егор, никогда не уважавший «всенародно избранного», — и тот вслед за Шушкевичем отвел взгляд, стараясь не замечать усмешек белорусов.

Не спасли ситуацию и полтора часа, отведенные Ельцину для отдыха в резиденции. По крайней мере, на ступеньках маршевой лестницы он появился со сбитым набок галстуком и вылезшей из брюк рубашкой. Один из фотокорреспондентов вскинул камеру, но тут же получил по рукам от собственной, белорусской охраны. Пишущая братия, поняв рамки дозволенного, на всякий случай поспешила убрать в карманы даже блокноты.

Самого Бориса Николаевича публика внизу чем-то не устроила. Ни слова не сказав и даже не кивнув для приличия, он прямым ходом направился в зал, где мелькали в белых передничках официантки. За ним вынужденно тронулись остальные, выталкивая вперед Шушкевича: хозяин отвечает не только за стол и кров, но и за поведение приглашенных.

— Часа на два ужин, потом баня, — кто-то за спиной у Буерашина шепотом расписал распорядок предстоящего вечера. «Кап-разу» потребовался очередной компромат по пьянке? Что-то дешево… — А тут бы минут по шестьсот на каждый глаз, — не унимались за правым плечом.

— И граммов по триста на них же, — добавили уже из-за левого. Может, впервые сатана и ангел нашли точки соприкосновения.

Кто кого в итоге услышал, роли уже не играло: президентская троица гуськом пропетляла меж сугробов в баньку, всех остальных отправили отдыхать в гостиницу.

В ней оказалось холоднее, чем на улице, и корреспонденты, народ более ушлый и коммуникабельный, набились в одну комнату. Принялись группироваться и охранники. Егор в своей группе близко никого не знал, пить не хотелось, и потому ушел в свой номер. Поначалу даже привычно разделся, однако через несколько минут снова облачился в свитер, а затем и в полупальто. Это не спасло, и спать улегся в подвязанной под подбородком шапке, укрывшись сдернутым со второй кровати матрацем. Знала бы охрана того же Буша, в каком виде пребывает «личка» Президента России, — посинела бы от зависти.

К утру посинел сам Буерашин. Вкупе с корреспондентами и «личкой» сразу трех президентов, хотя они и спали вповалку там, где грелись. Небритые, покормленные в дымном буфетике теплой коричневой водичкой, названной чаем, и яичницей с зеленым горошком, они выдвинулись к переполненному огнями, запахом кофе и тепла охотничьему домику, — пусть как к мачехе, но в надежде получить хоть немного обогрева и пищи.

Внутри здания лунатиками бродили с листочками бумаг такие же невыспавшиеся, небритые Козырев, Гайдар, Шахрай и Бурбулис — молодая поросль российской политики. Они вычитывали какие-то тексты, морщились от их корявости, черкали слова, согласовывали друг с другом варианты и уносились на второй этаж. Создавалось впечатление, что текст документа нужен был только российской делегации. Или, в

крайнем случае, его написание удачно спихнули более сообразительные украинские и белорусские коллеги, которые продолжали нежиться в постелях.

— А что, телефон не работает? — вдруг поинтересовался вечно любопытный фотокорреспондент, заставив всех озадаченно переглянуться: чтобы в резиденции Главы республики не имелось связи?.. Впрочем, пример с Горбачевым в Форосе во время ГКЧП был слишком свеж.

— Буерашин! — позвал со второго этажа старший группы, всю ночь продежуривший у дверей Ельцина.

Егор поднялся по ступеням, отрапортовал и перевел взгляд на худощавого мужчину, стоявшего рядом с полковником. Лишних в домике быть не могло, и начальник, подтверждая это, кивнул:

— Это здешний лесничий, Георгий Константинович. Поедете с ним в деревню Каменюки, привезете машинистку. И не забудьте захватить бумагу и копирку. Естественно, машинку тоже. Чего дрожим?

— Северный полюс, — дал характеристику гостинице Егор.

— А что, не знаем, как согреваться? — удивился полковник.

— Я на службе, — напомнил командиру свое место старший лейтенант.

Тот едва не сорвался: «А мы?», но в это время из комнаты напротив вышел Кравчук.

— Как Борис Николаевич? — с ехидной усмешечкой поинтересовался он у российского охранника.

— Выспался, бодр, уже работает, — заученно отчеканил тот.

Кравчук снова усмехнулся, предупредил:

— Если вдруг поинтересуется мной, я на прогулке.

Вместе с украинским президентом Егор стал спускаться вниз. На последних ступеньках отстал, чтобы не открывать дверь Кравчуку: в швейцары не нанимались. Тем более к таким, как Леонид Макарович. Хочется самостийности — отныне и толкайте свои двери сами.

Уазик из местного гаража уже ждал у крыльца, и, объехав заваленные сугробами клумбы, посыльные нырнули в узкую лесную дорожку. Снег здесь расчистили под одну колею, и приходилось надеяться, что навстречу никто не попадется.

— Далеко ехать? — спросил Егор у лесничего. Уазик, хотя и обтянутый внутри утеплителем, напомнил комнату в гостинице, и хотелось побыстрее вернуться в тепло.

— По птичьему полету — километров десять, напетляем все двадцать, — завидно кутался на заднем сиденье в полушубок лесничий. В таком одеянии хоть сотню накручивай на колеса...

— Что тут у вас интересного, помимо зубров? — попробовал отвлечься от холода старший лейтенант.

— Обитают еще 55 видов млекопитающих, 214 — птиц, 7 — пресмыкающихся...

«И еще три вида поселились сегодня ночью», — отметил про себя Егор, особо не вникая в пространный ответ лесничего.

Утренний снежок прекратился, и стало видно, как под его тяжестью шлагбаумами нависали над дорогой березки. Сейчас, зимой, было особенно видно, что они так и не смогли загореть за лето; впрочем, женская белизна всегда привлекала сильнее, чем загар. Зато удручающий вид представляли собой участки со старыми соснами, потерявшими

хвою, — словно высветились у леса ребра, обглоданные зверьем. Спасала картину мельтешившая среди просветов легкая серебристая изморозь — так летом при заходе солнца вьется столбиками мошкара.

На скорости проскочили центральное здание заповедника. Лесничий лишь успел показать в замерзшее окошко памятник, на гранитном постаменте которого застыл за «максимом» пулеметчик:

— В сорок первом трое солдат в соседнем квартале в полном окружении положили роту эсэсовцев.

«И теперь трое собрались, да еще ровно через 50 лет», — вновь машинально и без какой-либо связи отметил Егор. Командировка не нравилась ему ни по каким параметрам, а уж если исходить из бытовых условий, то лучше добывать воду в песках Аравийского полуострова, чем хранить остатки тепла в родном советском уазике посреди Европы.

Каменюки оказались селом небольшим, но основательно вытянутым вдоль центральной улицы. И, конечно же, по закону подлости секретарша директора жила на самом дальнем краю. Видать, собирались «беловежские зубры» в Вискули все же спешно или, скорее всего, не намечали ничего подписывать, ежели не захватили собственных машинисток. А вот после ночной баньки, видать, спохватились: если не появится пусть и дежурного, но письменного сообщения о встрече, у Москвы и народа возникнет вопрос: о чем шептались? Это в разведке молчание означает жизнь, а для политиков закрытый рот — смертельный приговор...

— Все, Юра, тормози, — попросил водителя лесничий, когда поравнялись с раскрытой калиткой в одном из палисадников. В доме, выкрашенном в голубой цвет, из трубы валил густой дым, во дворе слышались голоса. Вроде рановато для села хозяйничать всей семьей.

— У-у, пенек, — стукнул себя по лбу лесничий. — Какой сегодня день?

— Восьмое декабря. Суббота. Выходной, — перечислил водитель все параметры наступившего дня.

— У ее мужа сегодня юбилей, 60 лет! — сконфузился Георгий Константинович, захлопывая обратно дверцу кабины. — Хуже татар будем.

Он посмотрел на старшего лейтенанта, признавая его за старшего и испрашивая совета. Егор пожал плечами: если есть замена, давай возьмем другую машинистку. Хотя приказали везти именно секретаршу директора, с собственной машинкой...

«Ничем не могу помочь», — развел руками Егор, торопя Константиныча. Знобило все сильнее, и Егор испугался: не хватало еще заболеть!

Глава 8

Евгения Андреевна Потейчук разглаживала ладонями скатерть, примеряя ее к будущему праздничному столу, когда в сенцах завозились с дверной ручкой. Не справившись с ней, постучали в дверь кулаком.

— Андреевна, ты дома? — раздался голос главного лесничего заповедника. — Здравствуйте вам в хату.

— Заходи быстрей, не студи дом, — впустила хозяйка неожиданного утреннего визитера. Муж хотя и не работает в дирекции, а вот начальство приехало поздравить. Приятно...

— Павел Григорьевич, с юбилеем, — протянул гость в знак особого расположения к хозяину обе руки для пожатия. — Извини, что без

подарка, — всю ночь на работе. И супружницу твою на часок-другой велено привезти.

— Кому там неймется в выходной, что за срочность? — удивилась Евгения Андреевна.

— Да директору позарез потребовалось отпечатать какой-то документ. Думаю, ненадолго. Назад, не волновайся, привезем.

Хозяйка обернулась на невестку, протиравшую фужеры. Та махнула краем переброшенного через плечо полотенца: езжайте, справимся, до прихода гостей еще половина дня.

Евгения Андреевна набросила шубу, надела шапку и теперь уже сама подтолкнула басурмана к двери — только быстрее. По привычке вознамерилась сесть впереди, но рядом с водителем располагался сумрачный незнакомый парень, она поздоровалась с ним и поглядела на коллегу: кто? Лесничий постарался незаметно махнуть рукой — все потом.

В кабинете директора, Сергея Сергеевича Балюка, их никто не ждал, но хотя сопровождающий незнакомец остался в машине, Константиныч продолжал играть роль простачка:

— Нам тут взять лишь машинку и листы с копиркой. Балюк в Вискулях.

— Так что сразу не сказал! Это же не ближний свет, — расстроилась Евгения Андреевна. Выйдешь из себя, когда говорят полуправду. Вроде и не обманули, а рассчитать время возврата к гостям не можешь.

Лесничий молча взял со стола синюю «Оптиму». Вилка в разболтанной розетке подгорела, и шнур не желал выдергиваться, отпускать машинку с исконно рабочего места. Уметь бы хоть кому-то из них расшифровывать предсказания…

— Темнишь что-то, Константиныч, — собрав папку с бумагами, пожурила коллегу секретарша. Помогла справиться с розеткой.

— Сама все увидишь, — не стал отрицать тот важности вызова, но и язык проглотил еще глубже. История научила: его не вырывали только немым.

А увидела Евгения Андреевна в Вискулях тех, кто не сходил с экрана телевизора. Слушок по дирекции ходил, что могут приехать высокие гости, но их перевидали в Беловежье столько, что если всех запоминать, места для таблицы умножения не останется. Но тут оказались такие чины и такие персоны, что щипай себя за руку — синяки останутся. Потому что не во сне...

— Машинистка? — подошел к ней незнакомый полный мужчина. — Сюда.

Провел в небольшую комнатку возле центрального входа. За ними боком, боясь наступить на волочившийся по полу шнур, внес «Оптиму» Константиныч. Не успели разложиться, влетел с исписанными листами в длинных пальцах Бурбулис — уж его-то острое лицо с близко посаженными глазами нельзя было спутать ни с каким другим. Как и тонкий, нудный с первой фразы голосок.

— Вам как лучше — диктовать или сами разберетесь? — шныряя глазками сразу по нескольким листочкам и всем углам комнаты, спросил он.

С сомнением, но дал Евгении Андреевне возможность заглянуть в бумаги. На всех листках почерк оказался разный, но одинаково неряшливый, с множеством вставок и зачеркиваний, и она осмелилась:

— Лучше диктовать.

Бурбулис намерился сразу начать работу, но вошел молчаливый парень, который сопровождал ее в машине. Помог снять шубу. Протянул руку и за шапкой, но Евгения Андреевна вспомнила, что не успела причесаться, и трогать головной убор не осмелилась. Подвигала машинку, устраивая ее поудобнее. Вот теперь готова. Однако Бурбулиса позвали со второго этажа, он взглядом настоятельно попросил охранника выйти, и Евгения Андреевна, оставшись в одиночестве, уже спокойно заглянула в оставленные листки. Сначала выхватила несколько фраз, но потом они сложились в текст, и руки, зависшие над клавиатурой, задрожали. Испуганно оглянулась: знают ли другие, какие бумаги ей дали печатать? А Союз ССР — это СССР? «Союз ССР как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекращает свое существование...»

Как прекращает? Когда? В честь чего? Глупость какая-то.

Рядом вырос очередной незнакомец в строгом темном костюме. А раз в пиджаке и при галстуке, то либо высоко партийный, либо из КГБ.

— Ну что, теперь по всем Каменюкам будешь рассказывать, что печатаешь?

Она еще ничего не печатала. Но потому, что назвали пренебрежительно на «ты», что испортили юбилей мужа, что ничего не сказали заранее, что в шапке становилось жарко, что документы государственные, а не для заповедника, а подошедший даже по телевизору незнаком, — огрызнулась:

— Будь слишком разговорчивая, не работала бы тут.

— Извините, — понял свою ошибку надсмотрщик и сам огляделся по сторонам: не заметил ли кто из начальства нервозность машинистки? Нервничают нынче все, но при каком-либо срыве нагоняй получит крайний...

Вместо Бурбулиса в комнатку бочком протиснулся министр иностранных дел России Козырев. Бочком же, как сова, посмотрел на бумаги. Она отметила его крючковатый и словно бы прищемленный нос — будто однажды просунул его куда не надо, а дверь взяли и захлопнули.

Но то были личные проблемы министра, а ей требовалось печатать. Только вот руки продолжали дрожать.

— Соглашение, — немного гнусаво начал диктовать Козырев. — Принимая во внимание...

Заглянул мимоходом знакомый охранник. Его лицо с красными воспаленными глазами выражало озабоченность, по обстановке в комнатке он хотел понять, какой важности документ печатает его попутчица, но Евгения Андреевна постаралась никак не проявить свои эмоции. Уткнулась в машинку со стертыми до металлического блеска краями у клавиатуры. Кто тут чего удумал — ее дело маленькое, она из Каменюков, ей не тягаться с верхушкой из Москвы, Минска и Киева. Чай, не дурнее ее. А охранничка жалко — похоже, заболевает. Чаю бы с медом ему и поспать в тепле…

Пожалела и своих, домашних, — как там без нее соберут стол? И сколько времени ей придется здесь пробыть? Надо выкроить минутку позвонить домой, предупредить о задержке...

Козырева вновь сменил Бурбулис. Не успев начать диктовку, вернулся на чей-то возглас обратно. Нервозность гостей передалась и ей, стало доходить, что документ, который она печатает, — это серьезно, очень серьезно, то есть по-настоящему. А люди, ее окружающие, то же

самое ГКЧП, за который потом всех посадили... Нет, не может быть! Прямо вот не нашлось во всем Советском Союзе на такой документ машинистки, кроме как в Каменюках!?

— Печатаем дальше, — раздалось за спиной, и Евгения Андреевна вздрогнула: в комнатке незаметно обосновался небольшой человечек с черными усами. По телевизору тоже не раз его видела, но фамилия сразу не вспомнилась, потому что даром была не нужна.

Незнакомец прочел из-за ее плеча уже отпечатанное и безошибочно продолжил текст, который она ждала с наибольшим страхом:

— «...констатируем, что Союз ССР как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекращает свое существование...»

Далее перечислялись еще более многозначительные и непонятные пункты, статьи, ссылки и уверения всех в вечной дружбе. После последнего, четырнадцатого пункта, в котором столицу нового государства переносили в Минск, диктовщик крикнул в дверной проем:

— Ну что, оставлять подпись под Назарбаева?

— Оставляй. Он уже в Москве.

— Надо заканчивать, — скорее для себя, чем невидимого собеседника, проговорил усач и так резко вырвал отпечатанные листки из каретки, что валик взвизгнул.

Наэлектризованная копирка не хотела отлипать от бумаги, и Шахрай — да-да, точно Шахрай, она вспомнила, по-украински это еще означает «мошенник», смеялись над фамилией, — нетерпеливо стал сдирать ее с документа ногтями. Та взамен притянулась к его волосатой руке, и «мошенник» принялся отмахиваться от черных листков, как от дьявольских меток.

— Вам принести кофе? — на этот раз в комнатку заглянула официантка с подносом, и Евгения Андреевна торопливо кивнула — да-да, дайте попить. А еще лучше — отпустили бы домой. Там гости, там семья, там все понятное и родное, и соседи по ночам топоры и косы друг на друга не точат...

— Машинистку отпускать? — вновь кто-то «позаботился» о ней.

— Пусть посидит. Ждем до последнего, вдруг Назарбаев все же решится...

До последнего ничего не сообщали и журналистам, которых захватил по личной инициативе в Вискули премьер Белоруссии Вячеслав Кебич. Отправив их ночевать в гостиницу, обратно, в отличие от охранников, не привозили до тех пор, пока не расставили все запятые в тексте Соглашения: чтобы не путались под ногами, не задавали лишних вопросов и раньше времени не проговорились.

Вообще-то подписывать на встрече ничего не планировалось. Поговорить узким кругом о том, как урезать права доставшего всех Горбачева, — да, тут желание у всех совпало: хватит ставить жизнь миллионов людей в зависимость от одного, невнятного, невразумительного человека. Собравшиеся наивными не были, под «миллионами» понимался в первую очередь сам Ельцин, который не мог простить Президенту СССР свои предыдущие унижения.

А уж тут подсуетились те, кто ходил под Борисом Николаевичем, — в этом плане тот мог погордиться своим окружением. Шахрай выдвинул саму идею — Советский Союз как бы легально существует, но уже ничем не управляет. Бурбулис пошел дальше и осторожненько, испыты-

вая реакцию окружающих, выстроил фразу про то, что СССР как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекращает свое существование.

Едва фраза была произнесена, во всех трех делегациях онемели — даже Кравчук, ратовавший за наибольшую самостийность. Посмотрели на Ельцина, ожидая от него громы и молнии на голову зарвавшегося Госсекретаря. Но Президент России ни ухом, ни глазом не повел: или вообще не слушал, или просто не дошел после ночной бани смысл произнесенного. Тут даже белорусы возмутились: раз русским ничего не надо, то им — тем более.

Замешкались на другом — очень хотелось подтянуть на подпись хотя бы еще одного президента из республик. Более всего подходил Назарбаев, авторитету которого в стране отдавал должное даже Ельцин. Ради этого даже изменили заглавную формулировку Соглашения: вместо первоначально одобренной фразы «Союз славянских государств» записали — «независимых».

Однако время шло, а вестей от казахстанского президента, которого все втроем попросили срочно прилететь, не поступало. Приходилось соглашаться с очевидным фактом: Нурсултан Абишевич или по-восточному хитро решил выждать на стороне, или его самолет просто не выпускают из Москвы, где он приземлился на дозаправку. Так что машинистку можно отпускать: под документом, к сожалению, останутся лишь три подписи. Точнее, шесть — для большей его легитимности решили присовокупить к главам государств и премьеров.

Где-то к четырнадцати часам в фойе стали заносить столы. В центре установили бело-красно-белый флажок Белоруссии, по правую руку — российский полосатик, по левую — жовто-блакитный Украины.

— Авторучки, надо положить на стол авторучки. Вдруг у них не окажется.

— Попросите на всякий случай у журналистов.

— Куда подевали папки?

— Кто отвечает за журналистов? Никаких вопросов Ельцину! Никаких!

Ельцин как раз спускался по лестнице с левого крыла анфилады, нависавшей над фойе. Как ни хорохорились, ни старались держать независимый вид Кравчук и Шушкевич, главным действующим лицом оставался Борис Николаевич. Подними он сейчас на смех ночное эпистолярное наследие своих помощников, выгони их взашей на мороз прочистить мозги, и все дружно закивали бы — возможно, даже с облегчением, что затея сорвалась. На то и утро, чтобы быть мудрее себя вчерашних...

Но Борис Николаевич молча направился к своему флажку. К столам торопливо шагнули и Кравчук с Шушкевичем: у Ельцина что с правилами протокола, что с нормами приличия всегда было туговато. Плюхнется хозяином на стул первым, а ты потом мельтеши, двигай своими табуретами...

Успели, порадовав телевизионщиков синхронностью. Шефы протоколов подсунули папки с документами. Ни речей, ни гимнов, ни благодарности, ни сожаления. Шесть размашистых подписей — и все! Заместитель главного редактора белорусской «Народной газеты» Валерий Дроздов по журналистской привычке зафиксировал время подписания документов, а по сути, распада СССР — 14 часов 17 минут. По иронии судьбы на циферблате его часов были прорисованы контуры Советского Союза...

— Ну, а что же никто ничего не спрашивает? — удивился, явно красуясь перед журналистами, Ельцин.

Зная непредсказуемость российского президента, Кравчук и Шушкевич тоже вышли вперед. Вопросов, согласно предварительной установке, не возникло, и тогда Ельцин сграбастал врагов-единомышленников к себе, позируя перед телеобъективами: вот так мы всегда будем вместе.

Из столовой выплыли официантки с подносами, на которых стояли фужеры с шампанским. Раздался хрустальный звон, приглушенные здравицы. Веселья тем не менее не получалось, торжественности тоже. Вольно иль невольно, но делегации стали группироваться вокруг своих лидеров, магнитами отталкивающихся друг от друга.

Из здания первыми вышли директор заповедника Сергей Сергеевич Балюк и наконец-то освободившаяся машинистка.

Медленно, боясь поскользнуться, они сошли на вычищенный к приезду гостей тротуар, направились к воротам, за которыми их ждал заиндевевший уазик. Осознание того, что они оказались первыми, кто узнал о ликвидации Советского Союза, что своими глазами и ушами все видели и слышали, а более того, и печатали основной документ, повергло их в глубокое смятение. Но молчать оказалось еще тягостнее, и Евгения Андреевна, распахнув от удушья шубу, по-бабьи взяла вину на себя:

— Развалили мы с вами Советский Союз, Сергей Сергеевич.

Похоже, она оказалась единственной, кто пожалел в тот вечер о случившемся.

А у противоположных ворот, которые вели к аэродрому, мерз, подкашливая, Егор Буерашин. Едва поняв суть беловежской встречи, он выскользнул из резиденции и перекрыл отход заговорщиков к самолетам. Не сомневался: раз о встрече знали в Москве и, скорее всего, догадывались о возможных решениях, то с минуты на минуту в Вискулях должны появиться десантники или обыкновенная зековозка. И прекратить цирк.

Но время шло, гул в доме нарастал, а никто не летел и не ехал. Опять Горбачев надеется, что все рассосется само собой? Тогда где КГБ? Под каким кустом, на какой ветке сидят и прячутся? В крайнем случае, почему молчит «Кап-раз» со спецназом ГРУ? А если изначально был политически бессилен, зачем послал его сюда? Констатировать факт? Завтра в газетах обо всем можно прочесть, не влезая в тапочки.

А пока… пока он готов, как те три советских солдата, бившихся с эсэсовцами, стоять здесь до последнего. Лишь бы подошли главные силы. Или заговорщиков будут брать на аэродроме? Или каждого в отдельности по прибытии в Москву, Минск и Киев? И неужели еще кто-то будет носить им сухари в Лефортово? А уж памятника, как солдатам у въезда в заповедник, им точно никогда не поставят…

Ельцина, Кравчука и Шушкевича занимало несколько иное: кому и как сообщить о свершившемся? А иначе Соглашение как бы не фиксировалось, не обретало силу. Какие ноги ему приделать, какие крылья прицепить и в какую сторону запускать гонцов? Ельцин показал рукой на второй этаж, и Кравчук с Шушкевичем пошли, как на Голгофу, вверх по ступенькам в номер российского президента.

Дождавшись, когда закроется дверь, Ельцин не без удовлетворения назвал первого адресата:

— Я думаю, теперь надо и Михаилу Сергеевичу сообщить.

При этом усмешкой дал понять: лично я этого делать не стану. Кравчук стоял с каменным лицом: основное для меня сделано, больше

я ни в чем не участвую. Ельцин, прекрасно поняв Леонида Макаровича, запустил бильярдный шар в белорусскую сторону:

— Станислав Станиславович, ты с ним больше всех разговариваешь, позвони. Ну, и мировую общественность, наверное, надо проинформировать. Кому сообщим еще?

— Ты его лучший друг, — не называя имени и страны, вернул шар российскому президенту Шушкевич.

Так и стали созваниваться: о неприятном — Шушкевич в Москву, Ельцин о радостном — американскому президенту Бушу. Козырев, владевший английским в совершенстве, подсел рядом за переводчика. Первыми зацепились они и за абонента.

— Джордж, привет.

Ельцин мог себе позволить подобную фамильярность в общении с Бушем хотя бы потому, что в российском правительстве к этому времени работало около двухсот американских советников, перелопачивавших законы, политику и экономику России на американский лад.

В это время отозвался и Горбачев. Узнав голос белорусского председателя Верховного Совета, вдруг неожиданно и заискивающе обратился к нему на «вы», чего никогда не делал:

— Что там у вас?

Ельцин отвернулся, чтобы разговор Шушкевича с Кремлем не перебивал его беседу с Вашингтоном. Собственно, Горбачев улетал, как олимпийский Мишка, в небытие, и уже ни на что не влиял, ничего не озарял и ни к чему не вел. Был тот редкий случай, когда медали, призовые места, звания распределялись не между победителями, а среди побежденных, хотя никто из троицы себя таковым не считал. Зато Горбачев, у которого уже отобрали судейский свисток и отстранили от игры, продолжал кричать Шушкевичу от кромки поля:

— Да вы понимаете, что вы сделали?! Вы понимаете, что мировая общественность вас осудит? Гневно!

Шушкевич отстранил от уха трубку — и чтобы дать остальным послушать, и поберечь собственный слух.

— Что будет, когда об этом узнает Буш? — не унимался Горбачев.

Ельцин уже прощался с американским президентом, и Шушкевич пожал плечами:

— Да Борис Николаевич уже сказал ему обо всем. Нормально он воспринял.

В трубке, наконец, установилась тишина, и Шушкевич, используя момент, положил ее на аппарат. Не глядя в глаза друг другу, а еще больше боясь, что телефоны зазвонят и придется вновь объясняться, заговорщики поспешили выйти из апартаментов Ельцина. Когда-то именно в них провел свою единственную бессонную ночь Хрущев. Потом уверял всех, что находиться в таком номере можно лишь беспамятно пьяным...

Глава 9

Егор появился в хате настолько неожиданно, что Федор Максимович выронил из рук пакет с макаронами. Трубочки покатилось по полу, прямо под ноги сыну, и тот, чтобы ненароком не наступить на них, попятился к порогу, оставляя на половике капельки растаявшего снега.

— Ты… как?

— Автобусом, — Егор наклонился, чтобы собрать макаронины. — Не стал никого тревожить, зачем нам лишний шум, — все прочитал в недоумении отца Егор и наконец обнял его. И впервые почувствовал, какая худая у него спина…

Объяснение успокоило Федора Максимовича, и он затоптался по дому, хватаясь за сто дел сразу. В итоге, не одевшись, поспешил в огород. Там, разметав ногой снег, подступился к соломенной копне, притулившейся к стенке сарая. Поставленная для подстилки скотине, солома служила еще и незаменимой кладовой для яблок. Федор Максимович полез рукой вглубь стожка, отыскивая на ощупь антоновки. Закладывал по осени яблоки далеко, детской рукой не долезть, потому и сохранялись до самой весны. А Егору будет подарок из детства, давненько он зимой не наведывался домой.

Угодил. Сын, уже награждавший подарками проснувшихся племянников, сразу ухватил яблоко, впился в него зубами. Оставив от огрызка только хвостик, поинтересовался, словно отсутствовал в селе только день:

— Как живете-можете тут без меня? Какие новости?

— Какие у нас могут быть новости! Волки вон на село пошли, крутятся под свахиным забором.

— Отстреливать пора.

— Кому? Зверя не обманешь, он слабину чует за три версты. А новости — они у вас в Москве, хоть телевизор не включай. Васька, воткни шнур в розетку, последние известия начинаются.

Внук поднял с пола шнур с привязанной веревочкой — перед сном, чтобы не вставать с постели, можно дернуть за нее и выключить телевизор. По экрану шла рябь, и хотя Васька попытался покрутить ручку настройки, выбирать пришлось что-то одно — либо звук, либо резкость.

— Послушаем, — остановил внука Федор. Сам незаметно попробовал ноги — вроде работают, можно лезть за салом в погреб. Там и грибков баночка должна где-то затесаться, сваха засолила по осени. — А вы чего портфели не собираете? — прикрикнул на внуков.

— Дед, так мы же с третьего урока, — глянул Васька на ходики. Егор вспомнил — зимой и они учились днем, когда не так холодно и больше света в классах. А главное, можно подольше поспать…

На крыльце затопали, сбивая снег с обуви, и в двери появился военком, зацепившись раненой ногой за слишком высокий для него порожек.

— Непорядок! — с ходу напал он на Егора. — Мне говорят — точно видели вас и точно поехал на автобусе. А я не поверил, потому как нельзя так. Думал, догоню, высажу и заставлю пешком идти. С приездом.

А Федору Максимовичу это только в тайную радость и спокойствие: раз военком рядом, значит, и впрямь волноваться не за что.

— Анна, стол пустой, — приказал внучке готовить еду.

Пока всем гуртом занялись столом, по телевизору прорезался голос Ельцина. Егор и военком вслед за хозяином прошли во вторую половину хаты, в которой на круглом столе доживал свой век под вышитой салфеткой старенький белорусский «Витязь». Егор по памяти безошибочно покрутил нужные ручки, и вместо звука появилось изображение, заставившее Федора Максимовича вздрогнуть: протянутая вперед левая рука Ельцина с отрубленными пальцами напомнила перебитую лапу недобитка, растерзавшего Тузика.

Егор постучал по крышке «Витязя», и вместо Ельцина проявилось искаженное полосами лицо Президента СССР.

— Оставь, оставь, — попросил отец.

Горбачев собирался зачитывать какое-то сообщение, бумажка дрожала в его руках, и Егор торопливо принялся ловить звук. С мутного экрана донеслось:

— В силу сложившейся ситуации с образованием СНГ прекращаю деятельность на посту Президента СССР. Только что мной подписан Указ о сложении Президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил СССР и о передаче права на применение ядерного оружия Президенту Российской Федерации...

Звук хрипел, угасал, и стало слышно, как погнал под окнами короткохвосток петух. Чего они делают в полисаднике зимой? Опять Степан пожадничал чулан открыть. Но не лето же на дворе, где живности прокорм в снегу найти? Самого бы вот так же… Но как же теперь награда Егору?

— А как же теперь... награда? — глянул растерянно на сына.

Тот закусил губу, но совладал с собой, усмехнулся как над чем-то мелким, несущественным:

— Значит, не успели[1]. Значит, пойдем по этой жизни как нелегалы.

— Какие нелегалы? — не понял отец.

— Разведка. У них девиз хороший… — Егор замялся, глянул на поникшего и растерянного отца и произнес лишь вторую часть: — «…во славу Отечества».

— Но заработанное-то отдай, — по-крестьянски не понимая несправедливости, поднял взгляд на сына Федор Максимович.

— Ничего. И это я... Надо было мне действовать самому, а не ждать приказов...

Его не поняли, уставились вопросительно — каких приказов надо было ждать? Егор отмахнулся:

— Закрыли тему.

Однако пальцы его выбивали на дверном косяке чечетку, и увидев свою нервозность, отдернул руку. И первым же не выполнил собственный приказ насчет молчания, не удержал внутри себя боль:

— И кому сделали лучше?

Телевизионный диктор охотно объяснил:

— Как подчеркнул в своем заявлении Президент США Джордж Буш, «Соединенные Штаты приветствуют исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества. Несмотря на потенциальную возможность нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим интересам», — подчеркнул Буш.

— А вот теперь все ясно. Цинично, зато откровенно, — усмехнулся Егор. Приложил ладони к печи, и хотя нагретые кирпичи жгли руки, не отнимал их, словно через боль наказывая себя за один ему ведомый проступок.

— Так можно нам не пойти сегодня в школу? — поймала нужный момент Анна.

— Можно, — разрешил Егор. — Налей нам, отец.

Федор Максимович, присевший послушать новости на табурет, не вставал, растирал ноги, и Егор сам прошел к серванту с посудой. Заграничные бутылки, оставшиеся с прошлого приезда, отодвинул,

[1] Последним Героем Советского Союза стал военный акванавт, водолаз-глубоководник капитан III ранга Леонид Михайлович Солодков — Указ о присвоении звания подписан 24 декабря 1991 года.

взял бутылку водки. Сдернул за ленточку алюминиевую бескозырку-пробку. Опрокинул поллитровку и провел ею полумесяцем по стаканам. Протянул один растерянному военкому, разрывающемуся между необходимостью мчаться к служебным телефонам и страхом остаться одному перед рухнувшим миром. А тут хоть Герой, человек из Москвы, из самой охраны Ельцина…

Подошел, задевая половики, вслед за Егором к Федору Максимовичу. Тот, не дождавшись объяснений от сына, глянул на военкома как на должностное лицо:

— Что же они творят...

— Пьем! — прервал стенания Егор.

И пили русские мужики посреди брянских лесов водку. И столь тяжко было у них на душе, что не смотрели даже друг на друга. Испугавшись хмурого веселья взрослых, Васька сам увел в школу Аньку, на ходу набивавшую портфель гостинцами.

А в деревянной избе брянского лесника продолжали держать за страну граненые стаканы три ее воина — старый партизан, прошедший Афганистан военком и бросивший начальству вместе с погонами рапорт на увольнение спецназовец, не успевший стать Героем Советского Союза. Пили коренники, рабочие лошадки, которых ни о чем не спросили, о которых, скорее всего, политики и не вспомнили при своих играх с Союзом.

Эх, по третьей!

Угнетенные стенами, вырвав за шнур изображения кривляющихся друг перед другом президентов, мужчины убито вышли из дома на улицу. Вышел морской диверсант, три месяца вырывавшийся из колумбийской сельвы на родину, которая теперь осталась только на картах. Уже привычно зацепившийся раненой ногой за порожек артиллерийский корректировщик огня, оставивший здоровье на афганских склонах. И старый партизанский разведчик, пускавший под откос фашистские поезда, идущие на Москву. Вроде все бились насмерть за правое дело, а вот когда пропустили врага в столицу? Почему не разглядели на дальних подступах — ни в горах, ни на море, ни в лесах? И теперь, 26 декабря 1991 года, им оставалось черпать ладонями колкий морозный снег и растирать им лица.

Не помогало.

Не трезвели.

И только, давая надежду, тянулись из деревенских труб к застывшему от мороза небу белые, извивающиеся под собственной тяжестью столбцы дыма…

Родниковая правда Добронравова

— Николай Николаевич, среди многих замечательных песен, которые Вы написали вместе с Александрой Николаевной Пахмутовой, есть одна, которую особенно любят в Беларуси. Это «Беловежская пуща». С ее древним напевом, «родниковой правдой», «отроком-ландышем», зубрами, оленями и птицами. Расскажите, пожалуйста, историю создания песни.

— За ее появление я благодарен Беларуси. А случилось это так. В 1973 году меня с женой пригласили в Минск на всесоюзный конкурс исполнителей песни в качестве членов жюри. Но у этого праздника была отличительная черта: в состязании впервые принимали участие вокально-инструментальные ансамбли. Нас буквально покорили «Песняры» под руководством Владимира Мулявина. Они настолько выделились среди других участников талантливым исполнением репертуарных вещей, что Гран-при им был обеспечен до окончания конкурса. Отрыв от других исполнителей был столь велик, что вторую премию мы решили не присуждать никому. Так вот, на этих концертах ежедневно присутствовал Петр Миронович Машеров. В последний день, уже перед отъездом, он подошел к нам и спросил, бывали ли мы в Беловежской пуще. Узнав, что пока побывать не пришлось, посоветовал завтра съездить в одно из самых красивых, впечатляющих мест Беларуси. Так мы и сделали. Увиденным были поражены. Ничего подобного больше не видели нигде в мире. Сказочный, бесподобный по красоте первобытный край реликтовых деревьев и животных. Потянуло на стихи. Вскоре я и написал их. Александра Николаевна не задержалась с музыкой… Горжусь я и еще одним фактом моей связи с вашей страной. Наверное, Вы о нем не знаете.

— Интересно!

— У меня есть одно стихотворение, которым открываю все свои книги, — «Хлеб». Так вот оно находится под стеклом в музее, посвященном хлебу. Открыл уникальный музей в своем колхозе «Советская Белоруссия» Владимир Леонтьевич Бядуля, дважды Герой Социалистического Труда.

— И мы, Николай Николаевич, Вашим «Хлебом» сегодня угощаем читателя. Но в подборке есть и другое стихотворение: «Он под Минском в лесах партизанил, // Он вогнал трех эсэсовцев в гроб, // А сегодня у сына экзамен…» О ком это Вы писали? Не могло ведь у Вас тогда быть сына, да еще на войне.

— Это мой лирический герой. Я столько читал и слышал об огромном размахе партизанского движения в вашей стране во время Второй мировой войны, что просто не мог не отозваться на него. А в поэзии пружиной вдохновения далеко не всегда служат биографические факты.

— Николай Николаевич, Вы с Александрой Николаевной почти ежегодно бываете на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». В этом году собираетесь?

— Если получится, приедем с удовольствием. Там мы встретим своих друзей: Игоря Лученка, Ядвигу Поплавскую, Александра Тихановича, Ирину Дорофееву… А не так давно появились музыканты и певцы, с которыми еще не знакомы, но расположены к ним всей душой. Я имею в виду российско-белорусский ансамбль «Беловежская пуща». Его создали молодые люди, чтобы развивать музыкальную культуру содружества наших государств. Слышал, что группу объединяет «песняровская» тематика, современные музыкальные композиции. Как видите, наша «Беловежская пуща» вдохновляет новые таланты.

Беседовал Юрий САПОЖКОВ.

НИКОЛАЙ ДОБРОНРАВОВ

Постоянная прописка доброты

Хлеб

Хлеб из затхлой муки, пополам с отрубями,
Помним в горькие годы ясней, чем себя мы.
Хлеб везли на подводе. Стыл мороз за прилавком.
Мы по карточкам хлеб забирали на завтра.
Ах, какой он был мягкий, какой был хороший!
Я ни разу не помню, чтоб хлеб был засохший…
Отчего ж он вкусней, чем сегодняшний пряник,
Хлеб из затхлой муки, пополам с отрубями?
Может быть, оттого, что, прощаясь, солдаты
Хлеб из двери теплушки раздавали ребятам.
Были равными все мы тогда перед хлебом,
Перед злым, почерневшим от «юнкерсов» небом,
Пред воспетой и рухнувшей вдруг обороной.
Перед желтенькой, первой в семье похоронной,
Перед криком «ура» и блокадною болью,
Перед пленом и смертью, перед кровью и солью.
Хлеб из затхлой муки, пополам с отрубями,
И солдаты, и маршалы вместе рубали.
Ели, будто молясь, доедали до крошки.
Всю войну я не помню даже корки засохшей.
…За витриною хлеб вызывающе свежий.
Что ж так хочется крикнуть: «Мы все те же!
Все те же!»?
Белой булки кусок кем-то под ноги брошен.
Всю войну я не помню даже крошки засохшей…
Мы остались в живых. Стала легче дорога.
Мы черствеем, как хлеб, которого много.

* * *

Я — сын годов безрадостных. А лира
Моя — жалейка в камерной Руси.
Ах, сердце — коммунальная квартира,
В которой мы мальчишками росли.
В клетушках-клетках многое вмещалось.

Все рядом — и чужое, и свое.
Все уживалось — ненависть и жалость,
И ясный взгляд, и грязное белье.
Душа людей — она не из металла.
Заботливы улыбки подлецов.
Ах, сердце, ты так искренно впускало
Под теплый кров свой временных жильцов!
Мы за наивность многим поплатились.
Поймешь ли сразу — кто твои друзья?
Нашли себя. Со многими простились.
Но их из сердца вычеркнуть нельзя.
Давно живем без страха и без риска,
С уютом комфортабельным на «ты».
Осталась постоянная прописка
Стесненья, компанейства, доброты.
И сердце так же бьется, как и раньше.
И тот же неоплаченный кредит:
Тетрадка в клетку, абажур оранжев,
И примус старой нежности коптит…

* * *

Он под Минском в лесах партизанил,
Он вогнал трех эсэсовцев в гроб,
А сегодня
у сына экзамен,
И его прошибает озноб.
Он глаза, чтоб не выдали, щурит,
Нервно борт пиджака теребя,
И все курит,
все курит,
все курит,
Вспоминая мальчишкой себя, —
Общежитье,
бурду с чечевицей,
Неуютный студенческий быт…
«Раньше
легче нам было учиться», —
Он себе в оправданье твердит.
«Нам за ними
теперь не угнаться,
Сколько новых у них дисциплин!
Так обилен поток информации!
Конкурс нынче огромный!»
А сын
Убежден, что студент он де-факто
(дети нынче намного трезвей).
Старики
получают инфаркты
На экзаменах сыновей.

Экскурсовод

В городе Кириллове, там, за Белым озером,
Где из тьмы истории Родина встает,
Смысл поэмы каменной сообщает в прозе нам
Тоненькая девочка — наш экскурсовод.
Подкупает речь ее не умом — сердечностью.
Нас проводит девочка и уходит в ночь,
Добрая от Родины, от общенья с вечностью,
Тихая в бессилии прошлому помочь, —
Этим фрескам радужным, гибнущим от сырости,
Той стене порушенной, что была крепка.
Строил это празднество зодчий
Божьей милостью
В те века, где строили храмы на века.
Двор, забитый мусором.
Пруд, заросший ряскою.
Беглыми туристами разрисован скит.
Тоненькая девочка с тоненькой указкою,
Словно образ Родины, сердце мне щемит…

* * *

Все было в жизни: тяжкие грехи
И попусту растраченные силы…
Но все мои
и песни, и стихи —
Молитва о спасении России.
А у подростков нынче — смерть от наркоты.
И над помойкой корчится старуха…
И нет спасенья, нет
от нищеты
Сознания, и бытия, и духа.
Так, значит, вместо Божьего огня
Я ведал только лень и прозябанье.
И все же… все ж
в запасе у меня
Еще одно, последнее сказанье.

ВАДИМ ДУЛЕПОВ

Дом всюду ...

* * *

дом всюду, где утраты навсегда,
где росчерком нечаянной свободы
одна и та же легкая звезда
в урочный час пронзает небосводы —

все семь хрустальных сфер —
к исходу дня —
привычным жестом женщины любимой,
и небосводы рушатся звеня,
и восстают наутро — нерушимы.

механика сретения вещей,
ответ находит правила задачи,
земля есть плоскость, оттого на ней
устроено все так, а не иначе.

окраина.
горячих тополей
окалина —
казенная природа,
евразия асфальтовых полей.
пустующая зебра перехода
июньской ночи, выжженной дотла,
до пепла карандашного наброска...

но там, где мгла
уже совсем бела,
грядет Господь лазоревой полоской.

дом всюду, где есть радость естества,
подробно время, речи изначальны,
любовь безвинна, вечность не тесна,
летит звезда и небеса хрустальны.

* * *

привет, апрель, нескладный и патлатый!
беги-скользи, ломай лед-карамель!
дурак апрель, ты помнишь, как когда-то
носил за одноклассницей портфель?

навстречу шел по небу в сивых лужах,
успевший выпить первые сто грамм,
весной и волей навсегда контужен,
соседский дед, почетный ветеран.

— привет! — кричали пацаны с качелей
среди бровастых брежневских домов,
ты видел, как — вот зуб! на самом деле! —
им улыбался ангел дураков,

бродяг и нищих, работяг и пьяниц...
бренчал кузнечик на одной струне
беспечный рай провинциальных пятниц
в одной известной только нам стране.

вся эта жизнь — как утреннее здрасьте,
как первый поцелуй-прощай-прости...
скажи, апрель, такое было счастье —
у сердца не уместится в горсти!

* * *

руины не отбрасывают тени,
когда ракета в небе черном гаснет,
эпохи оседают, словно стены,
подкошенные шорохом фугаса.

и в вертикальном грохоте обвала
ложатся в холм — бетона, мяса, стали,
и — в одночасье одичав — подвалы
глотают ком бездомья, в тьму уставясь.

подвалов пасти жадно ловят перхоть
колючей влаги реющего снега,
не падающего, как обычно, сверху,
но медленно взлетающего в небо.

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

Одинокие вечера в Пересыпи

Рассказ

«…Я про тебя, сестра, часто думаю и плачу: помрешь, и у гроба твоего некому посидеть, кроме сыночка. Заехала в такую даль; если бы жили в Новосибирске, то мы все уже побывали бы у тебя, а туда к тебе у нас нет сил доехать... Господи, разбросала нас судьба всех, да еще и жизня такая подошла недобрая...»

Письмо от сестры Гали промокло в почтовом ящике, долго нас поджидало под дождем вместе с газетами.

Еще недавно райски жил я: еще мог приехать и застать все ухоженным, и матушку не качал ветерок при ходьбе, и кошки бегали сытыми, и сторожил двор ласковый пес. Хатка-кухонька была моей мастерской. Загляну после разлуки — уютно прибрана моя комнатушка с полками для журналов, столом, подушками на кровати, с календарями на белых стенах, с иконописными ликами на листах. Прощальной тоски не было. Без меня матушка наставит банок с вареньем, больших и малых чашек, сумок с покупками; тут и булки хлеба, сахар в пакетах, связка новеньких прищепок — пришла, поставила и принялась за другое. Лежат на столе свежие газеты, которые она никогда не читает, откладывает для меня. В кухне на плите холодный борщ, рыба на сковородке. Весь этот порядок бьет меня всякий раз укором: без меня мать жила целый месяц, старалась, засыпала одна!

Приезжал я в Пересыпь поздним вечерним автобусом. Во тьме шел переулком к хате на поперечной улице. Наша хата с краю. Автобус с красными огоньками уже спешил по пустому полю к порту Кавказ. Приближаясь к углу каменного соседского дома, я пугливо загадывал: светятся, нет три окошка нашей хаты? Светятся! Слава Богу: матушка там! Она мигом ловит стук задвижки на воротах и знакомой тенью придвигается ко мне: то от крыльца, то от кухоньки, а то из сада. Не сидит без дела. В это мгновение кто-то словно с небес окропляет нас вздохом старой жизни в Сибири: опять мы вместе...

Казалось мне, будто приезжал я издалека, после долгой разлуки, — как когда-то на каникулы. И стоит в углу тот же сибирский шкаф с зеркалом, в которое гляделся я там, на своей улице, в комнате с двумя окнами. Посередке портрет отца. Все годы он скорбно следит за нами с этой фотографии, каждый Божий день напоминает, что когда-то до войны он был в семье главным, все о нас знает, но сказать не может... Где теперь его косточки? Писал из сталинградской степи: «Если живой останусь, война закончится — увезу вас жить туда, где тепло и много фруктов». И вот мы переехали сами, и его с собой взяли, но на портрете.

— Письма от крестной нет?

Мать поднимает подол клеенки, отрывает прилепившийся к столу конверт и подает мне.

— Почитай еще. Она пишет: посылку с орехами получила. Спрашивает, не надо ли картошки. Тридцать кулей накопала.

— Когда же мы поедем?

— Если летом не съездим, я уже потом не осилю.

До лета было еще далеко, но я прикидывал, как это будет: три часа по степи в город, переночуем, потом аэропорт, пять часов над землей, спуск в Толмачеве. «Господи, заехала ты, сестра, на кулички, что и не добраться до тебя. Как ложку возьму в руку, так и тебя вспомню. Может бы, ты, сестра, собралась хоть на недельку, всех бы повидала. Вчера приходили дети, поужинали в честь моего рождения, Люся сказала: «Живи, мама, долго, а то нам не к кому будет пойти». Да, говорю, я рада вам и не могу, чтоб детей своих плохо приютить. Мама у нас тоже любила угощать. Завтра будем крестить внучку. Я сегодня ухайдакалась, готовила все, холодец варила, котлеты жарила и устала, вот села тебе письмо писать. Бураны в этом году надоели, давно не было такой зимы, правда, не морозная, но буранная была. Посмотрим, как лето: если будут дожди, то урожая не жди на нашем огороде, мы живем на мокром месте. Дорогая сестричка, посылаю я тебе к дню рождения скромный подарок — сальца, купила и посолила; и еще рубашку, не обессудь за такую бедность. Есть ли у вас там домашние тапочки и резиновые калоши? Купи мне, в долгу не останусь. Твоя Галя».

Мать слушала, царапала ногтем клеенку и плакала. Бедно душе там, где нету родни.

— Меня уж на нашей улице позабыли и не узнают. Кто остался? Молодежь одна. Боюсь думать. К какому углу прислониться? У дяди Степана гостила твоя тетя из деревни, мы с ней дружили когда-то, тридцать три года не виделись. Они пришли ко мне, дядя застучал в окно, я вышла, думала, кто чужой. Он говорит: «Узнаешь?» А я: «Нет». Потом по глазам узнала. Провела их в избу, полезла в погреб, груздочков, помидоров, огурчиков достала, ну и посидели, потом ходили к дяде, там посидели. А теперь куда пойдем?

— День-два потолкемся у кого-нибудь и к крестной в Топки. А мне, мам, так хочется поночевать недельку на своей улице.

— У кого? Все живут тесно.

Засыпаем мы ночью. Я лежу, а в комнате еще горит свет, и мать что-то еще прибирает, ходит туда-сюда,

— Мам, хватит тебе возиться, ложись.

Встанет она опять раньше меня. Все как в Сибири когда-то. Утром в полудреме во мне нескончаемо тянется сожаление, мне больно оттого, что я когда-то уезжал из дома; и я не хочу просыпаться. Наконец открываю глаза и лежу в слабости этой приснившейся муки, вижу себя в медленном давнишнем поезде, постукивающем по рельсам в сторону юга. Я опять проснулся в Пересыпи! Усаживаюсь в кресле перед тремя окошками, прикрытыми на ночь занавесками в цветочках. Так же в детстве я подолгу сидел после сна на приступках крыльца, а матушка, еще молодая и крепкая, цедила сквозь марлю молоко. Короткое сибирское лето улетало за край улицы в какие-то завидные страны. И я в оный день ускакал далеко, не предчувствуя опасных потерь для своей души. И вот на рассвете мне всего утерянного так жалко было!

А матушка за свою жизнь покидала насиженное местечко всего четыре раза: в голодовку — из деревни в Донбасс, потом оттуда в Сибирь; на две недели отрывалась ко мне на Кубань, а в шестьдесят

два года перелетела, как птица, и спустилась на берег моря навсегда. Продавала дом, собирала вещи — убивалась душой: о как нескоро увидится она теперь с сестрой и проведает могилу матери на березовом кладбище!

И настало счастье встретиться. Прилетели сперва в Новосибирск.

— Будем ночевать или сразу к крестной поедем?

— А где ночевать? — Обида на судьбу блеснула в глазах матери. — Племянник в отпуске. Поедем за Обь на вокзал, там кемеровский ночью отходит.

Время по-сибирски забегало вперед: на западе еще обедали, а здесь уже шли с работы. В детстве никак я не мог понять, почему солнце светит по-разному. Мы чувствовали себя на отшибе, в глуши, в сиянии высоких снегов зимой, в тоске по ласковым дням короткого лета. В аэропорту «Толмачево» я соступил вниз по трапу, точно в Греции: так все было ново; оглянулся, душа сразу облилась родным прошлым. Здесь, в Толмачеве, было поле, пасли коров, отсюда выстилалась бесконечная даль на Москву. А поехали мы мимо многоэтажек и гаражей. Матушка притихла и молчала, никак не могла опомниться от быстрой перемены. Она любила сибирский край и так невзначай его потеряла.

Горе! — пережидать ночь в роли транзитного пассажира там, где все было свое.

Билетов на ближайший кемеровский поезд не досталось, просить было некого, и мы безропотно пристыли к высоким спинкам желтых скамеек. В новой кофте матери стало жарко.

— Пойду куплю бутылку воды.

Я боялся ее отпускать, через десять минут тревожно выглядывал ее (как в детстве с крыши избы). При ней я всегда чувствовал себя ребенком, никак не дорастал до взрослого достоинства, все был меньше ее во всем на столько же и вроде нуждался в ее опоре. Казалось, мир мой без нее померкнет, я не найду утешения, а жизнь в пересыпском дворе заглохнет к девятому дню: пустоту двора, сада и огорода я не вынесу. Все детство я беспокойно ждал ее: с базара, из женского общежития, куда она носила молоко, с сенокоса. Страшно было подумать, что матери вдруг не будет рядышком. «Ну где же она?» — спрашивал я у стен, у чужих людей, мелькавших вдалеке, у самого себя. Не переменился я за годы. Наконец она выступала из живого ручейка, шла, шоркая тапочками по плиточному банному полу, и такой вдруг предстала маленькой, старенькой и отжившей свое в этом вечно убывающем и пополняющемся земном царстве; да, старенькой явилась холодному городу мать и незаметно обрела она ветхость покойной бабушки, которую я тут же, на этом почти месте, вел под руку лет двадцать назад. Что ж такое наша жизнь, почему она небольно вытекает капельками до какого-то дня, зачем у всех внезапно рвется ежечасное родство? Ветхость матери на этой станции суждено мне запомнить навсегда. Как будто библейской тенью прошли мы по ее ступенькам в ту ночь и кто-то на небе заметил нас равнодушно.

— Воды нету, купила кефиру, — сказала матушка и присела сбоку. В дороге старый человек не спит, с легкой покорностью дожидается простой милости и не ропщет. А моя душа плакала. За Обью в нашем «отцовском доме» заснули другие хозяева, привыкли, живут, как будто до них никого не было. Как так? Мать столько лет копошилась там, засыпала и пробуждалась, выгоняла в стадо корову, чистила в стайке

и много-много раз белила стены и печку — и никаких следов... С этой станции она ездила в Топки к сестричке Гале, уедет теперь и вернется, но это будет не конец пути, а только пересадка.

О, какая тоска, какое наказание чувствовать себя перелетной птицей в родном углу! Ноющая душа на минуту успокаивалась, а потом что-нибудь кололо ее снова. Из зала ожидания на втором этаже, где мы скучали и прислушивались к объявлениям по громкоговорителю, двери раскрывались на короткий мостик, выводивший к площади с зелеными огоньками такси на стоянке. Ко всему я приглядывался с необычным вниманием, всему удивлялся, хотя тут, на знакомой земле, шевелилась та же жизнь, что и везде. Но насколько же она была милее! Прогудела и отошла к Оби пригородная и, может, последняя электричка. Я опять загрустил. Старая железная дорога потянула меня на левый берег к станции, с которой я махал тридцать лет назад рукой на прощанье. Электричка разгонялась к Оби, тихо застучала и выгнулась, с шипом пристала на минутку у платформы, перед мостом, построенным еще в прошлом веке инженером-писателем, и ярко заблестела окнами над затоном внизу, левым боком мелькая вдоль Горской, потом городского сада, четырехэтажной школы 73, мимо замершей до утра трамвайной кольцевой линии. Сколько электричек прошло за Обь в западные просторы без меня! И что же я написал о своей отчине? Почти ничего. Пора точить перо и возвращаться. Если бы я жил дома, не Тамань и станица Пашковская и не Пересыпь свили гнезда на моих страницах, а Верх-Ирмень, Тогучин, Криводановка, Северное. Как захотелось мне остаться где-нибудь в самой глуши и послушать чалдонов! У нас в Сибири все дальше, все огромнее, зимняя тоска тревожнее, глубже, долгие мечтания о летнем тепле слаще. Сейчас бы поднялся сказочно с этого вокзального мостика и полетел во тьме в Северное. Неужели там еще кто-то живет? Это так далеко, пропащая окраина. Не тронул я душой и чалдонских историй. Что ж ты? — обидчиво и робко посылали мне упреки и улицы, и дома, и огороды, и лавочки в саду возле школы, и сам город, разделенный Обью.

«Станция Топки... Какая кругом сибирская простота!» — под это сдавленное восклицание души открывалось мне все, что я позабыл в некогда длинном маленьком поселке. В каком это веке я был в Топках последний раз? Топки! Два месяца всего жил я здесь младенцем. Возле станции слева стоял в тридцать шестом году роддом, и там в конце апреля я появился на свет. Буду потом гордиться, что я сибиряк. В каком-нибудь допотопном вагоне перевезли меня в Новосибирск на улицу Озерную.

К бабушке в Топки я ездил каждое лето. После пятого класса матушка впервые отпустила меня одного, посадила в вагон и упросила попутчиков разбудить мальчика на рассвете в пятом часу. Все в детстве было далеко: край улицы, эта бабушкина станция и верхушки темного березового леса за болотом. «Он не боевой у меня, побоится спросить, так вы уж присмотрите...» — доверяла меня матушка надежным по виду людям. Я, и правда, был робким, всего стеснялся, больше молчал. «Сбегай к тете Моте, попроси закваски», — говорила матушка. «Мам, — ныл я, — сходи сама».

И она догадывалась: я не смею переступить чужой порог, поздороваться и попросить. «Как же ты, когда вырастешь, жить будешь? Несмелый какой. Ни одна девчонка тебя не полюбит». — «А я не буду

жениться». — «И рубашку-то постирать будет некому. В кого ты такой? Отец был удалой, веселый. В гостях на одном месте не усидит и никому слова не даст вставить». — «Где я научусь? Ты меня к бабушке даже не пускаешь». — «Ну, поезжай. Как раз покос. Земляники поешь». Никого я в жизни так не слушался, как мать в детстве. Наверное, мне было ее жалко, молодую, красивую, одинокую, не ридикюль прижимавшую под мышкой, а таскавшую ведра с помидорами, огурцами. Бабушка жила с младшей дочкой Галей и редко ездила к нам, все выкладывала по чужим домам печи, славилась в Топках как великая мастерица. Она не баловала меня нежностью. Крестьянка, вдова, всю себя поровну разделила между шестерыми детьми и тьмою близких и далеких внуков, меня окликала не иначе как Витько! Но с какой радостью я к ней ехал! Там еще дядя, целым и невредимым вернувшийся с войны и повидавший в Харбине тех русских эмигрантов-белогвардейцев, которые потом застят мне душу своей последней русской честью. Зачем я в тридцать лет просился в Париж? Надо было взглянуть на Харбин. Робко шли мы с матерью по улицам, постояли у старого бабушкиного дома, не сказали ни слова, пошли дальше. Колодец с солоноватой водой, наверное, засыпан. Что с нами случилось за эти годы? Почему мы дальние скитальцы, уже не родные этому топкому месту? Много странствовал я, пока родичи мои толклись во дворах, чужие земли видел, и у Гроба Господня стоял в Иерусалиме, из Греции, Турции и Америки посылал весточки в Сибирь, и все некогда было завернуть сюда. В какую-то пору суетливой беготни по жизни беспечно теряешь родственников и выдумываешь оправдания. Верхушки березового леса за крышами, подсолнухи в огородах, крапива у заборов, поленницы дров, кочки на улицах, болотный запах, все те же деревянные дома — все как будто при бабушке. А ее уже нет.

— Ох, сестра-а...

Вздох сестры Гали опечалил все годы разлуки. Матушка и моя крестная вытирали платочками слезы и с причитанием проговаривали слова. Я стоял немой. Сестры соединились в одну душу. В одной люльке колыхались, вместе росли, все женские, семейные секреты с ними, вместе плакали у гроба матери. Галя была моложе, в плечах широкая, похожа на отца: высокий лоб, костистые скулы; а глаза нашей бабушки: точками. «Завивались мои кудри с осени до осени, а теперчи мои кудри завиваться бросили...» — пели они в молодости в застолье, пели с улыбкой, да вот уже и пришла пора петь с грустью. Галя жалела сестру, горевала, что она в их роду несчастливая. Раньше письма посылались за двести верст словно через дорогу, всегда можно было скоренько повидаться и чем-то помочь. Не было сроду между ними сердитости, только переживания: как там сестричка? И не приснилось ни разу, что в печальный день не смогут и попрощаться. Живой голос прервется. А будут письма, письма: «...крепись, сестра, что поделаешь, как-нибудь надо доживать...»; «...посылаю я тебе к дню рождения рубашку...»; «...мне хоть дочка кружку воды подаст, а ты одна...».

За столом они понемножку привыкали друг к другу.

— Ты писала мне: «приезжай», Люся читала письмо, и все плакали. Не близко поехать, а жалко, вы там среди чужих.

— Я тебя сколько раз приглашала на август, сентябрь, еще тепло, винограду много.

— Как-то я боюсь, много пересадок, здоровье уже не то. Отпрыгалась.

— А я в мае думала: ну поехать к сестре, а у нее старая картошка уже кончилась, а новой еще нету, будет тратиться... Да и свой огород тянет.

— Картошка уродилась хорошая, для себя всего засолили, можно тянуться... Что ты, Витя, худой такой? Сейчас буду кормить, ты картошку всегда любил.

Как и в детстве, когда я приезжал, дедушка с бабушкой строго смотрели на меня со стены, с увеличенной фотографии, напоминая мне, на сколько лет я расстался с родней.

С огорода видна была березовая роща, и мы пошли туда к вечеру проведать могилу бабушки. Мать целовала фотокарточку, вправленную в камень, плакала, звала бабушку оттуда, «где все будем», и я переживал за нее: плачет она еще и по себе, легла бы когда-нибудь в этой же оградке, племянницы бы ходили к ней, а на чужой стороне и птицы прилетят чужие.

— Мама мне давно не снится, довольна или обиделась на меня, не знаю. Год отмечала, как полагается. Звала тридцать человек; если нас так помянут, то хорошо бы, мама не должна бы обидеться, отпела в церкви, приглашала из церкви семь старушек, и они пели перед обедом.

Шли с кладбища медленно, печально, будто бабушку похоронили еще раз. Зря крестная застрадала, что бабушка сердится на нее. На все родительские дни, да и так, когда понесут к вечному покою соседей, входит она в оградку, всплакнет и беззвучно помолится, а глядя со своего огорода в сторону рощи, каждый раз скажет что-нибудь материным косточкам заветное.

«Не жди старости, ни лета долга...»

Писал я обо всем, далеко заглядывал в историческую старину, почитая памятники и саму ветхость бытия, но житейская старость в кругу родных еще не касалась меня, разве что бабушка была старой для меня с самого моего детства.

В доме матушка радостно взялась помогать сестре, чистила и варила картошку, вежливо раскладывала огурчики на тарелку, завела тесто, вся она светилась милостью к самой себе: это я для сестрички, мне с ней хорошо, она ж мне родная. Пока я читал местные кемеровские газеты, дышавшие своими приметами и названиями деревень, городишек, сестра Галя, словно раскладывая карты, докладывала матери о старых топкинских знакомых:

— Чувашка переехала к внучке в казенный дом, там пожила месяц, видит, что не нужна, и купила себе избушку, я ее навещаю. Плачет, что скучно, сын не пишет уже год. Сыны продали дом за одиннадцать тысяч, разделили, а матери дали сто рублей...

— Господи, какая сейчас пошла молодежь...

— И Ареёха горюет, живет одна, чуть приболеет — никого, умру, мол, и буду лежать. Внуки ходят только по выходным. А сестра ее живет в конце, подметает автобусные остановки. Мне сыночек хоть ограду переделал, на двадцать лет хватит, только жить уж осталось мало...

— Жили, чужую старость видели, а свою не ждали.

— Ты там на огороде хоть тяжелого не делай, не угробляйся.

И говорили они еще о зятьях-невестках, о братце Федоре, которого в семье мир не берет, обо всем понемножку. Я все сокрушался: как можно отвыкнуть! Когда-то не мог прожить без крестной и одного лета, и потихоньку, незаметно моя привязчивость успокоилась нескончаемой разлукой. Я что-то потерял. Другая жизнь обещалась мне в родном

гнезде. Была бы она, может, потяжелее, и по Тамани грезил бы я так же, как нынче по сибирским холодным закатам. Пленные японцы, которых после войны видел я на станции у паровозов, вернулись на свои острова; матушка моя помилуется недельку с сестрой и больше не увидит ни ее, ни Топки, ни улицу Озерную.

Да что удивлять кого-то: все это уже было на земле, все расписано в звездах и в мудрых книгах, но символы земных сроков повторяются, и каждый потаенно проходит свои круги.

На улицу Озерную я ступил без матери; она еще гостила у сестры.

От трамвайной линии теперь только две нижних улицы лежали поперек, к западу, сползали огородами уже не к болоту, а к многоэтажкам, загородившим вид на станцию. Болото с острой осокой, лягушками, пиявками, последний домик с тополями на выходе с улицы Демьяновской и улочка по правую руку, где жила двоюродная тетушка, сверглись временем. Жалеет ли кто об этом? Остались ли такие люди? Все вокруг покоится какой-то щемящей музыкой, мудростью сроков и судеб, святыней самой жизни. Стою напротив нашего дома. Забытые мною окошки обиженно ждут кого-то. Где же я? Куда пропал? Зачем уехал?

Кто гнал меня с того крылечка, на котором читал я в те последние дни дореволюционный том Леонида Андреева (статью о Шаляпине). Крылечко разобрано. Куда ж меня тянуло, зачем? Какой ветер щепочками сметает детей со двора и уносит к чужим людям? И ничего и никого им в ту пору не жаль. Потом, потом заслезится моя душа, вызывая к себе все мелочи, все приметы: кровать, где я лежал простуженный, слабый и пил с ложечки лекарство, этажерку с книгами и школьными дневниками, висячий репродуктор, плакат с лицами маршалов великой войны. Кто это вспомнит, кроме меня, и кто тут еще умрет со мной в грустных кротких чувствах? И пишу со смущением, посмеются надо мной: нынче модно покидать родину, удирать далеко-далеко за океан.

В куче своих бумаг я ни строчки не найду о дне отъезда. Был какой-то день в конце июля. Какой-то! Смешалась с ночами и та роковая ночь. Теперь со скорбью и страхом бытует в ней порою тень моя. Мати моя, прости меня. Она заснула позже, а поднялась чуть свет, подоила корову, сварила на дорогу яичек, испекла пирожков, укладывала в чемодан вещи и расставалась со мною. Не помню, каким я проснулся. Нынче, уже все зная за целые годы, я стою и дрожу, как лист. Тридцать пять лет прошло. Жестоки, немилостивы дети! Я бросил ее, не пожалел. В последние дни она ходила в магазины, на базар, искала мне скромную обувь. Еще она приготовила запасные маечки, трусики, две рубашки. Ругала ли она меня в одиночестве? Нет, в письмах извинялась только, что мало перевела денег. С чего насобирала она мне на дорогу? Денег хватило на август, потом она добавила еще, заняла у кого-то. Поздно каяться. Восплачет пепельная душа, но не потекут воды вспять, не прожить молодость бок о бок с матерью. Что стоишь? Зайти в огород, в комнаты. Но духу не было.

И не помнил я, какой была у нас дверь. Темными морозными вечерами стучал я в ее досточку, мать открывала на голос и ворчала, впускала через холодные сени, и я, кинув на кровать рукавички, шевелил пальцами над раскаленной плитой. А где ставни с болтами? В стужу, наткнув на голову шапку, я выскакивал отцеплять крючки, сводить ставни, а матушка с той стороны укрепляла болт щеколдой. В ту последнюю зиму закутали

нашу улицу бураны. Я был пленником болезни и редко выходил на улицу. Снежные вихри покрыли пеленой околицы, поля и дороги, и в эти недели сибирская наша сторонушка закрывалась от всего мира. Призраками шли туда-сюда поезда. Несколько раз на день поднимал я крышку почтового ящика. Пусто! И, захлопнув ставни, погремев болтом, я бежал в тепло избы писать любезному другу в Москву. Всем, кто уехал в какое-то далекое царство, я завидовал. Книжки, наверное, влияли на меня: в Вешенской жил Шолохов, в Тамани бывал Лермонтов, в среднерусских усадьбах и деревнях писали свои шедевры Толстой, Тургенев, Бунин. «Сгубила меня литература», — говорил я потом. Но она и спасла меня. Где истории было побольше, туда я и кинулся, хотя до последнего дня буду вздыхать и каяться: зачем? Я отошел к соседскому забору, приспустился на камень (как раз там, где с огольцами праздновал безделье с утра до вечера), глядел на свое окно. Матери было сорок три года. Мы попрощались, она вернулась в пустой, словно обкраденный двор; только что кормила сыночка, на столе недопитый чай в стакане, кусочек хлеба — как что-то живое. Одной вроде и делать нечего. Мотька Толстая, Мотька Черненькая да Стратоновна заходили к ней вечером, успокаивали: «Не горюй, выучится и приедет...» А я уже проехал Барабинск, Татарку, озеро Чаны, заснул на плацкартной полке; впереди был Омск, за Омском — Курган, и в Кургане я купил молодежную газету, в которой печатал сельские очерки мой будущий друг. «Там, — говорила соседям, — всю зиму дожди, снег упадет и растает. Трое суток ехать...»

Исчез я с улицы навсегда. Да сколько еще таких!

Куплю-ка я в канцелярском магазине толстую амбарную книгу и буду уже письменно почаще бродить по нашим окрестностям во все времена года и с теми, кто мил мне и памятен...

За Обью у железнодорожного моста встречал я матушку. От станции метро на левом берегу забрел бы я по мосту далеко, и лучше было переправляться электричкой. Матушка вышла из автобуса, горько улыбнулась: ну вот, мол, погостила у сестры, и куда ж мне идти? Спустились в метро, проехали по надземному тоннелю над Обью, вышли и заблудились среди казенных домов. После войны здесь раздавали землю под картошку. Разрослось наше левобережье во все концы, перепутались дорожки, но родным приветом прошлого стоят на своих местах две бани, деревянные бараки тридцатых годов и водонапорная башня. Все вокруг живет своей местною тайной и с тобой уже перекликается призрачно, тебя не жалеет. Может, в этот миг еще кто-то так же влачил по косогору свою разлуку? Может, в эту минуту кто-то случайно вспомнил нас с матушкой и спросил: где они? живы ли? И не толкнулась ли в буковках, набранных на памятнике погибшим сибирякам, отцовская душа в тот миг, когда матушка провела пальцем по его фамилии? Как все сказочно! Могилы его нет на земле, и только тут, среди тысяч таких же выписанных в военкомате из бумаг сибиряков, в виде буковок похоронен он.

— Что, мам?

— Съездили в Сибирь, душа теперь будет болеть...

Кого-то не хватало ей, она рада бы была нечаянной встрече — взглянуть на знакомого, перекинуться словечком, про всех узнать, слезу выпустить. Раньше на каждом углу кто-нибудь здоровался с нею. Она, не в пример мне, была приветливее, терпимее с людьми, и ее все любили, даже не припомню, кто мог бы ее обижать словом, сплетней, всех она смягчала добротой своей, которая при знакомстве начиналась

у нее с душевной уступчивости и простодушия. На чужой стороне ее узнали такой же. И никого за жизнь свою не обругала она, и никому не испортила ни одной минуты. А когда обижался кто на нее по недоразумению, первой порывалась на выручку прежних отношений.

Как жалко было матушку. Она шла за мной, я оглядывался: ну, мам, поскорей, нам еще в Толмачево, в аэропорт успеть, иди же к воротам, там ты была молодой и красивой. Тогда лучше, наряднее была улица да и все вокруг. Жили как будто в деревне: чистый воздух, травка вдоль заборов, майские липкие жуки в тополях и в черемухе, за трамвайной линией поле до самого кинотеатра, стога сена в огородах, вечернее стадо тяжелых коров, цвирканье по ведру молочных струек...

— Вот, — могла бы сказать матушка свояченице, перебравшейся отсюда намного раньше ее, куда-то в Карелию, — вот приехала с сыном на нашу улицу; ты меня скорее поймешь, про что я вспоминала, а уже там, где я живу, рассказывать без толку. У памятника сибирякам постояла, нашла на стене наших мужей, они рядом. Я бы с удовольствием дошла до болота, туда, где вы на низу жили, но куда ни глянь — ни одной тропинки старой нету. Трубы завода так и дымят за станцией. И сама себе жалуюсь, сама себя спрашиваю: почему нету у меня в Сибири своего дома, почему не ночевала я на Озерной? У ворот постояла. В эти ворота кто только не заходил к нам, а кто их, кроме меня, помнит?

Умерли бабы и мужики, развезли шкафы и кровати по казенным клетушкам их дети, бегают по улице огольцы, проходят и не здороваются молодые женщины — новое племя. Уезжала — звала на застольное прощание Устиньку, Мотьку Толстую и Мотьку Черненькую. Жизнь не остановится, но песню «Позабыт, позаброшен» никто не пропоет. Зайти в огород? Всего там касались ее руки, поливала и полола, помнит еще, где ставила лопаты, грабли, ведра. В сарайчике прятала она ключ, в стайке доила корову, принимала телят. После войны всюду слышались задушевные песни: «Не брани меня, родная», «На окошке на девичьем...», «Волга-реченька глубока...».

Не будет утешения никому покинувшему свой дом.

Мы с матерью и не догадывались, что стояли на родной улице в последний счастливый год великой страны.

ЛЮДМИЛА ЩИПАХИНА

Навстречу женщине

* * *

Если вас мучает зло, если совета хотите,
Если не повезло, к женщине старой идите.
Будет суров ее суд в сути своей человечной.
Словно подарен сосуд мудрости древней и вечной.
Если поют соловьи, руки в полнеба раскиньте.
К женщине, к первой любви, выйти навстречу рискните!
Свяжут вас пусть не года, а неразрывные нити.
Если нагрянет беда, горе с женой разделите.
Чтобы волненье унять, чтобы тревоги уладить,
Добрая женщина мать будет вам волосы гладить.
Душу свою средь хлопот мужеством женским утешь ты.
Женщина — это оплот веры, любви и надежды!..

* * *

Сначала — чтоб горло молчало.
Сначала — чтоб море качало,
Чтоб небо сияньем венчало,
А суша крестила трудом.
Сначала — важнее науки:
Дороги, мосты, виадуки,
Дожди и ночные причалы.…
…А все остальное — потом.
Сначала — мурашки по коже,
Сначала — о, Господи-боже! —
И смерть, и снега, и спасенье,
И стынущий пар надо ртом.
Сквозь жар воспаленного бреда
Над северной вьюгой победа,
Над собственным духом победа!
…А все остальное — потом.
Сначала — измучиться мукой.
Сначала — томиться разлукой,
Насытиться смехом и скукой,

Вернуться в покинутый дом.
Чтоб все обозначилось резче,
Чтоб звезды осели на плечи,
Чтоб не было радостней встречи!…
…А все остальное — потом.
Сначала — сияние сини.
Два взрыва. Два взлета.
Две силы.
Сначала — любовь до могилы!…
…А все остальное — потом.
А если вы все же ошиблись,
А если о камни расшиблись,
Тогда — начинайте сначала
По жизни шагать напролом.

Сначала — чтоб горло молчало.
Сначала — чтоб море качало,
Сначала — чтоб небо венчало,
А суша крестила трудом…

* * *

Дух границей не сковать,
И в тиши судьбы фатальной
Мне не стыдно тосковать
По земле чужой и дальней.
И поверить неспроста:
Все мы в мире — просто дети,
Продолжение креста,
Добавление к мечети.
И не мой ли взгляд хранит
Встречу в мартовские Иды
У подножья пирамид
Иль в садах Семирамиды?
Я сознанием вольна
Не сидеть в бетонных клетях.
Я всегда была! Жила
В тех веках и в землях этих.
А любимых и родных
По судьбе не так уж мало:
Все из атомов одних —
Люди, бабочки и скалы...
Куст калины у ворот
Снегопад над льдиной дальней...
Круговерть, круговорот,
Тень от пагоды хрустальной.
Белый аист, белый барс,
Белоснежная бумага...
Боже правый, дай мне шанс
Заплатить за это благо!

ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО

Семицветье

* * *

Апрельское утро грачами озвучено.
Уходит в подлесок туман не спеша.
Еще две недели, и скрипнет уключина,
И лодка пригладит вихры камыша.

Еще две недели, и синяя Ладога
Натешится вволю, подмяв берега,
И в небе проклюнется первая радуга,
И рыба пойдет нереститься в луга.

И ветер с Невы — аж до самого Таллина! —
Молву донесет…
                                А пока среди льдин,
Как спящая женщина, дышит проталина
С лиловым цветком на высокой груди.

* * *

Подснежник скукожился в банке,
Как ставшая былью мечта.
И незачем бегать к цыганке,
Чтоб черта увидеть с моста.

Рассыпалась жизни телега —
И губы предсмертно свело…
А тут из словесного снега
Строка родилась как назло.

И словно отмоленный грешник,
Для жизни открывший глаза,
В душе расцвела, как подснежник,
Взлетела, как стрекоза,

И вспыхнула, словно надежда,
В преддверии судного дня,
И губы оттаяли прежде
Чем кто-то окликнул меня.

Спасибо, случайный прохожий,
Бог ведает имя твое —
Поэзию чувствуют кожей
И в банку не ставят ее.

* * *

Ветер хлопает по туче,
Словно теща по ковру, —
Кабысдох на всякий случай
Морду спрятал в конуру.

На веревке, словно вымпел,
Гордо реет простыня.
И не так я много выпил,
Чтобы в шею гнать меня!

Я иду, такой хороший,
По тропинке — раз, два, три!
Лужи хлопают в ладоши
И пускают пузыри.

И никто не сверлит взглядом,
Будто нет на мне креста.
Я командую парадом
В званье мокрого куста!

Распрямляют плечи клены.
Сосны честь мне отдают.
Я звоню по телефону —
В небесах гремит салют!

Утихает канонада.
Я прошел, и дождь прошел.
И за это мне награда:
Семицветье!
Хорошо!

* * *

Опустилась на кончик пера
Паутинка ушедшего лета.
Никогда столько синего цвета
В небесах я не видел с утра.

И светла моя грусть, и легка.
Отрекаюсь от пошлых мистерий.
Я — смиреннейший подмастерье,
Данник русского языка.

БОРИС ЕКИМОВ

Глядя на солнце

Житейские истории

«Давай здесь останемся жить…»

В один из будничных дней поздней, но теплой осени решил я устроить невеликий, но праздник для себя и для малого внука Мити; и вместо обычной прогулки рядом с жильем сели мы на автобус и уехали в соседний поселок, совсем небольшой, но с громким названием Пятиморск.

В поздний утренний час просторный, вместительный автобус, пробежав недолгие километры по голой пустынной степи, прибыл на место, высадив немногочисленных пассажиров на первой же остановке; к остановке конечной мы остались одни. И вышли одни, рука об руку, старый да малый.

Недолго погромыхав по щербатой асфальтовой дороге, автобус исчез из вида, истаяли звуки его, растворяясь в осенней глуши малого селенья: невеликих домиков, просторных садов, огородов, а главное, высоких, раскидистых уличных тополей, кленов, акаций да вязов. Тем и славен поселок, построенный полвека назад вместе с судоходным каналом — для его обслуги: домики под красными черепичными крышами, укрытые тенистыми аллеями, зелеными стенами листвы и ветвей. Когда-то, полвека назад, все это было посажено. Слава богу, и ныне от жарких ветров бережет, укрывает, радует душу: уютный ухоженный скверик в центре поселка, уличная зелень, просторный дичающий парк вдоль берега.

Сейчас, поздней осенью, деревья облетали, с тихим шелестом роняя и роняя листву. Земля была устлана мягким многоцветным ковром: тополевый лист да кленовый, дубовый, вязовый, желтый, багряный, пламенно-алый.

Поселок лежит на берегу просторного водохранилища. Летом здесь хорошо купаться, зимой — рыбачить. Проводив автобус, мы сразу же повернули к воде.

Обычно во время прогулок малый внук мой любит поговорить: о чем-то спрашивает, что-то рассказывает: «Почему?.. Это интересно! Не понимаю… Теперь понял! Это интересно!..» Словом, не молчит.

А здесь, в поселке, из автобуса вышли, он — ни слова: глядит по сторонам, обвыкается в новом месте.

От автобусной остановки и людского жилья мы выбрались к берегу, миновав светлый молодой тополевник. Возле воды Митя занялся делом для него любимым: камешки швырял, любуясь брызгами, или бросал в воду сухие палки и глядел, как волна выплескивает их на берег или уносит вдаль.

Наши обычные с внуком пешие прогулки — возле его жилья, пятиэтажного дома. Ближняя округа — дома, в основном двухэтажные; а между ними — дощатые, почерневшие от времени сараи да сарайчики с погребами для картошки и прочих запасов; а еще — гаражи. Все это тесной толпой, плечом к плечу. Гаражей с каждым годом все больше, как и легковых автомобилей, которые полоняют округу: не только улицы, но и дворы, тротуары. Они газуют, рычат, сердито сигналят,

прогоняя с пути тихоходов, старых да малых, вроде нас. Митя машин боится, прижимается ко мне всем телом, когда они проезжают рядом. Спокойно гулять можно лишь во дворе музыкальной школы, за железным забором, который пока еще цел. Да еще — в прогалах между сараями и гаражами, порою брошенными, с пустыми дверными проемами и черными ямами подвалов, до которых малыш любопытен; побаиваясь, но пытаясь заглянуть туда, он спрашивает, крепче сжимая мою руку:

— А что там? А кто там живет? А почему?..

Бродячие кошки да собаки порой отвечают прежде меня.

Есть и еще одно развлеченье. «Кран», «мусорка», «мульда», «мусоровоз», «свалка» появились в числе первых слов Мити. Потому что рядом целые три «мусорки» с железными баками-«мульдами». Одно из любимых зрелищ для малыша — подъем и опрокидывание баков с мусором в просторное чрево мусоровоза. Натужное гуденье подъемника, грохот — разве не развлечение?

А здесь, в дне сегодняшнем, была просто осень. И ничего более. Обычный погожий денек с редкими тучами, солнцем. Просторная вода, прозрачная у песчаного берега, словно летняя. Только ракушек нет. Они ушли в глубину, на зимовку.

Осень царила в задичавшем просторном парке или просто береговом лесистом займище, где всего понемногу. Могучие раскидистые осокори да серебристые тополя в редкой уже лимонной листве, на ветвях, а в подножьях — ее мягкие золотистые россыпи. Рядом — молодые еще, всего в полвека дубы в темном и светлом янтаре листвы с черной прожилью ветвей да веток.

Шумит верховой ветер. Шуршит и падает, кружась, листва, украшая густые черные терновые заросли. Ветер, листопад, запах коры, палых листьев, пресной воды — и никаких машин. Для меня, старого, это понятное облегчение. Но и малый внук мой не думал скучать. Он ходил да бродил сам по себе. Бороздил листву, сгребал ее в высокие кучи ногами, руками, словно маленький бульдозер. И падал на эту кучу, лежал, отдыхая. На лице блаженная улыбка. А потом взрыв: охапками листья вверх летят, разносятся ветром — метель многоцветная. Тоже радость.

Иногда, отыскав особенно яркий красивый лист, он прятал его в кармашек, сообщая: «Это — маме, это — папе…»

Так мы и шли, неторопливо, без видимой цели. Порой забавлялись, нарочито теряясь в чащобе, аукаясь. Редкую в наших краях белку увидели, поглядели на нее, порадовались; и снова продолжили свой тихий поход, стараясь держаться ближе к воде, к ее теплому пресному дыханью, плеску волн.

Увидели плавучую церковь, причаленную на зимний покой в тихом заливе: обычная баржа с просторной надстройкой — храмом, конечно же с куполом и вовсе малой колоколенкой. Мы долго церквушку разглядывали, а уходя, попрощались: «Пока, пока…»

И в том же заливе — рыбацкие мостки, невеликие причалы для лодок. Шатучие, без перил. Но тем интереснее: боязно, но хорошо. Прозрачная осенняя вода под ногами, зеленые водоросли, а рыбок не видно, и лягушек нет.

— Холодно. В норах спят, — объяснил мне Митя.

Потом мы долго сидели на стволе подмытого вешней водой, упавшего белокорого тополя. Глазам открывался просторный вид: вода и вода, небо и небо, и очень далекий другой берег.

Говорили мы мало, не докучая друг другу.

— Туман… — сообщал малыш, глядя вдаль.

Я ему не перечил, хотя дальний берег был ясно виден.

— Туман… — соглашался я.

Грузовой теплоход, почти неслышно, проплыл мимо нас. Наверное, он был последним, как говорят, «закрывал навигацию», и потому прогудел, прощаясь с поселком, долгим летом и, значит, с нами.

— Пока, пока… — ответили мы ему.

А потом пришли волны от прошедшего теплохода. Они долго шумели, набегая на берег, видно, тоже прощаясь: «Пока, пока…»

Так мы ходили и бродили, а порою отдыхали.

Незаметно прошел час и другой, подступило время отъезда. Я сказал:

— Пошли, милый, на остановку. Скоро автобус придет.

Малыш перечить не стал, и, миновав тихую улочку, мы вышли к железному павильону автобусной остановки. Наш автобус уже погромыхивал где-то вдали, приближаясь.

И вот тогда, для меня совсем неожиданно, трехлетний малыш поднял голову и попросил:

— Давай здесь останемся жить.

Что я ответить мог этим светлым детским глазам? Я лишь грустно улыбнулся, вздохнул. Внук меня понял и тоже вздохнул, опуская глаза.

Мы поднялись в автобус, сели у окна и поехали. Прогулка кончилась.

Глядя на солнце

Конец сентября. Погода славная, теплая. Жара наконец-то спала, прошел дождь. Вечера тихие, спокойные. Дневная суета позади. В удобном полотняном кресле сижу вечерами на воле, провожая день. Вокруг зелень деревьев, еще не тронутых осенней желтизной, абрикосы, вишни, клубника, малина. Сколько на них было нынче плодов да ягод! «Поклюем, как птички…» — призывал меня малый внук Митя. Вот и «клевали» с утра до ночи все долгое лето. Понемногу «клюем» и теперь — виноград, сливы, позднюю клубнику.

И цветы нынче славные, несмотря на жару. Особенно были хороши мальвы. Розовые, алые, бордовые, белые… Высокие, стройные, сразу в глаза бросаются. Кто ни зайдет, ахают: «Какие мальвы!.. Семена нам оставьте».

Мальвы отцвели. Но распустились поздние петуньи и осенние простые хризантемы-«сентябрички»; многоцветные «зорьки» полыхают. Особенно они хороши в свете вечернем. Аромат и цвет, тихое гуденье пчел, низкое уже солнце, теплые лучи его, желтый зрак. Сидишь и сидишь в тишине, тепле и покое. Скоро похолодает. А теперь так хорошо… Солнце такое доброе, светит и греет. Пахнут цветы. А из открытых дверей летней кухни — сладкий дынный дух. Дыни я привез с хуторской бахчи. Гостил там неделю. И теперь, порою вечерней, глядя на уходящее солнце, нежась в его тепле и свете, вспомнил старую лисицу, о которой рассказал Володя Буданов, давний знакомец, рыбак и немного охотник, с хутора Малоголубинского.

Мы с приятелем, у которого обычно гощу я, выбрались к вечеру на Дон. Переправились на луговой берег. Побродили там, поглядели. Искали грибы. А их и запаха нет. Сухое лето. Желудей на дубах, и тех мало. Пока бродили, стемнело. Сели в лодку, а тут Володя Буданов плывет. Он рыбачит ночами,

внаплав: сеть «высыпет» и плывет потихоньку рядом с ней, километр-другой. Потом поднимает, выбирая улов. Пристроились к Володе и мы. Погода славная: большая луна поднялась, серебря тихие речные воды. От воды — тепло, и от берегов — тепло. От меловых круч доносится запах цветущего в эту пору «донского ладана» — иссопа. Им раньше в церкви «курили».

Сплываем вниз по течению, делясь новостями славными: о рыбе, которая на зимовку пока не встала, о птице, у которой скоро начнется перелет. Как ни крути, а сентябрь, считай, позади. Дело — к зиме.

В этих беседах на воде и услышал я рассказ о старой лисице. Сначала приятель мой поведал о своем недавнем, когда в его курятник наведалась норка, а может, куница. Он толком не знает. Говорит, что черная, с белым пятном на груди. Хотя чего норке в курятнике делать? Она рыбу да лягушек ловит, водяных крыс, ондатру. Водный зверек. Но тут попалась в курятнике. Окружили ее и прикончили. Визжала, говорит, верещала громко. Это понятно: когда конец приходит, поневоле заверещишь. Зайцы просто по-детски кричат порою. У зверей и у людей песня одна: не хочется с жизнью расставаться.

Вот тут Володя Буданов вспомнил и рассказал о своей лисице. Хитрая была лиса, премудрая, старая.

— Сколько она у меня кур потаскала! Не один год шкодила. И ничего с ней не мог поделать. Живу на краю. Из балки почти ко двору подход. Вот она и приноровилась. Кур выпустим. Она под кустиком караулит. Хвать — и нету. Иной раз с утра первую берет, какая шустрей. Порой днем придет, вечером. Летом и зимой. Чего я только не делал. В засаде сидел. По следу ходил с собакой. Обманет, уйдет. Однажды даже нору ее нашел, стал выкуривать. А нора — старая барсучья, с запасным выходом. Ставил капканы. Крысы ведь такие умные, а я их вывел капканами. Прокипячу в полыни. И они железа и человека не чуют. А вот лисица оказалась умней. Наставлю капканов на тропе. Приманка… Сам бы ел. Она не берет. Зато кур половинит. Хоть переводи их. Жена уже в голос ругается: «Охотник… Она скоро собаку твою съест, охотничью. И самого охотника погрызет». Слушаю укоры жены, вздыхаю, а поделать ничего не могу.

И вот однажды, зимой, где-то под Крещенье, ходил я с собакой, просто ее выгуливал, чтобы побегала. А возвращались через падинку, куда наша балка выходит. В эту падину всякую дрянь люди валят, ненужную. А через нее — как раз моей лисицы след, тропка набитая, к моему двору, к соседскому. Она ведь больше по краю хутора шкодила. Снег хороший лежал настом. Всякий мусор в падинке прикрыло. Чисто и светло. И вот иду я, иду и вдруг встал. Пришло вдруг в голову, в память, что где-то здесь железная панцирная сетка лежала, от старой кровати, кто-то выбросил. Теперь она под снегом, и именно здесь, через нее, лисья тропа идет. Проверил щупом. Точно. Сетку снегом засыпало, и лисица через нее напрямую ходит. И если на этом месте на сетку капканы поставить, то она их может не учуять. Железо на железе будет стоять.

В тот же вечер я постарался. Наставил капканов под наст, там, где сетка лежит. А сверху приманка: рыба и мясо.

И все получилось: сплоховала лисица. Помню как сейчас: утро морозное, солнечное. Я встал, пошел проверять. Морозец жмет крепкий, солнце поднимается, снежок светит — так хорошо. Иду и вдруг вижу: есть, попалась моя красавица. Крепко попалась, намертво, в три капкана. Сидит и смотрит чуть вверх на солнце. За Доном поднимается солнце. Меня услышала, повернулась, глянула, глаза горят зеленым, я холодок почуял — такая нена-

висть. Но глядела недолго и отвернулась. Снова голову подняла к солнцу. Умная была зверюга, поняла, что конец ей, из трех капканов не вырваться. Я поглядел и пошел домой, за ружьем. Вернулся, она на меня даже не взглянула, не повернула головы, хотя слышно, что я иду, снег-то скрипит. А она смотрит и смотрит в другую сторону и вверх. Там солнце уже поднялось. Денек светлый, ясный. Вот она на солнце и смотрит. Все понимает. Сильная зверюга, гордая. Не повернула головы ко мне. Не визжала, не верещала перед смертью, лишь глядела на солнце, прощалась, наверно.

Володя закончил рассказ, вздохнув.

У нас была теплая осень, ночь, луна, пресный дух воды, ее темная бархатистость, берега тоже темные, лишь на маковках высоких тополей поблескивала листва. Славная ночь, так бы плыл и плыл по темной, тихой реке. Мы поздно тогда возвратились к ночлегу.

А теперь я дома. Вечерами сижу в удобном полотняном кресле, не столько дневными заботами умаянный, сколько немалой жизнью своей.

Сижу вечерами, гляжу, как опускается солнце. Зелень вокруг, цветы, сладкий дух. Тишина и покой. А солнышко большое, теплое, доброе. Светит и светит. Светит и греет. Гляжу на него завороженно, жмурюсь, но лица не отворачиваю, принимая благостное тепло погожего вечера, быть может, одного из последних в этой осени, а может, и в жизни. Как знать. Звериный век, человечий век — все кончается. Пожито, слава богу. Суметь бы хорошо попрощаться, как та лисица.

До самого снега

Поздней осенью, в конце ноября, довелось мне пасти скотину. Приехал, как обычно, на хутор к приятелю половить рыбу, побродить по округе, развеяться.

Дон, просторное лесистое займище, озера его, протоки, холмистая степь, обезлюдевший хутор — чего еще надо.

У хозяина моего объявилась какая-то забота, и он попросил: «Постереги до обеда скотину. Наша очередь».

Скотины на хуторе осталось, как и людей, — на пальцах перечесть. Стерегут ее в очередь. Особых трудностей нет: выгнал на гору и поглядывай, в свою пору заверни, чтобы не убрели. Труды невеликие, особенно по осени, когда потравы бояться не надо: хлеба и бахчи убраны, нечего оберегать; ни мошки нет, ни овода, от которых скотина бесится. Но все равно день-деньской словно на привязи, не отлучись. Без догляда скотина может убрести незнамо куда, потом будешь искать ее по буеракам да балкам, ноги бить. А то и вовсе угонят. Нынче это дело обычное. Теперь вокруг не хутора, но аулы: чеченские, даргинские и другие.

С самого утра было пасмурно, накрапывал дождь. Наверху, на холмах, тянуло предзимней стылостью. Казалось, вот-вот зашуршит по брезенту башлыка и плаща ледяная крупка ли, снег. Оно и пора. На кустах и деревьях листья давно облетели, почернела трава, побитая осенними утренниками, речная вода стылая, даже на погляд. Поздняя зябкая осень — вот она.

На хуторе я гостил лишь второй день, и потому все было в радость: простор земли, низкое серое, но тоже просторное небо, льдистый воздух, а главное — тишина и покой. Накрапывал мелкий дождь, но он меня не тревожил. Одет я был по погоде: телогрейка, башлык. И потому, поднявшись со своим невеликим стадом на гору, я оставил его пастись, сам же отправился

в поход недалекий: на Прощальный курган, который обрывается к речной воде страшенной двухсотметровою кручей. Я всегда сюда прихожу, когда приезжаю на хутор. Здесь простор вовсе немереный, земной и небесный, неволею, даже у человека привычного, захватывает дух. Стоишь и стоишь, глядишь и глядишь, не чуя времени.

Но нынче кроме ненастной погоды долго стоять не позволяла моя пастушья забота. Коровы — они тоже бывают нравными. Возьмут да убредут, ища затишку, корм или неизвестно что.

Вернулся я к своему невеликому стаду. Потекло неспешное время. Дождь потихоньку шуршал и шуршал по брезенту башлыка и плаща. Шуршал и понемногу холодил. Скучное это дело — осенняя пастьба, даже такая, как у меня: десяток коров, недолгое время.

И вспомнился летний месяц, нынешний июнь. Нечаянная встреча, здесь же, неподалеку, в Задонье, на бывшем хуторе Осиновском, где в свою пору даже церквушка была, а нынче — лишь два чеченских становья.

Попал я туда по случаю, захотел провеяться. Мой спутник — агроном из райцентра — подался свои дела справлять в здешней округе, оставив меня до поры в просторной когда-то хуторской лощине, густо поросшей одичавшими тернами, вишней, полузасохшими яблонями да вековечными могучими грушевыми деревьями. Осинологовский да Осиновский хутора… Теперь лишь память.

Заплывшие и затравевшие останки былого жилья не было охоты разглядывать. Стал я подниматься на угор, где паслось немалое скотье стадо. Там и встретил давнего своего знакомца.

Когда-то, в далекие годы, мы с ним вместе в школе учились. Недолго, год ли, другой. Хуторские ребята в райцентре обычно квартировали у какой-нибудь родни. Они скучали по дому, а еще и голодали. Время было тяжелое. И потому то и дело пешком уходили на хутор, домой, и неохотно возвращались назад. Такая учеба, аховая, обычно продолжалась недолго. Хорошо, если до седьмого класса. Часто бросали школу и раньше. Колхозу работники были нужны.

Потом, много и много позднее, уже в возрасте взрослом, мы изредка встречались. Обычно в Задонье, куда я приезжал на рыбалку.

Теперь же признали друг друга с трудом. Немалое дело — возраст. А еще — ремесло моего знакомца: всю жизнь он чабанил да пастушил. Задубелый лик, темный, морщинистый. Поди признай.

Но пригляделись, признали друг друга.

— Какой-то гурт у тебя разномастный? — спросил я, обводя взглядом скотину. — На колхозный не похоже.

— Хозяйский. От колхозного рожки-ножки не сыщешь. Это чеченский, Вахида. У него нынче пасу.

Скотий гурт был немалый, больше сотни голов. Они спокойно и вольно паслись на просторном пологом крыле Осиновской балки. Май был с дождями. Трава поднялась в колено. Скотине — раздолье, тем более в нынешнюю троицкую пору, в цветенье, когда пуд травы — что пуд меду.

— Большой гурт… — посочувствовал я.

— Полторы сотни голов.

— Один пасешь?

— Один. Ничего… Не привыкать. Всю жизнь при этом деле.

— В колхозе на сто голов полагалось два скотника, — вспомнил я. — Работаешь, считай, за троих. Значит, тройная зарплата.

Собеседник мой негромко, но долго смеялся, вовсе заморщинив темное обветренное лицо.

— Нынче забогатеешь, — отсмеялся он и сообщил: — Пятьсот рублей.

— В месяц?

— Не в день же, в месяц, конечно. — Он понял мое недоуменье и начал объяснять: — Курево хозяин мне покупает. Пачка в день. Полностью харчами снабжает. Привозит муку, рожки, масло постное. Это — от пуза, — убеждал он, почуяв в моем вопросе понятное. — Пышки пеку. Хочешь покушать? — потянулся он к сумке.

Я отказался.

— Пышек с вечера напеку. Газовая плита есть в вагончике. Хозяин баллоны привозит. Пышки, чай с сахаром. В сумку кладу, на целый день хватает. А вечером рожки варю, с сахарком хорошо идет. Можно жить.

Недолго помолчав, он снова заговорил, убеждая:

— А кто больше даст? Возраст. Годочков-то нам сколь? И где она нынче, хорошая работа? Молодые на стройку ездят, в другие места. А меня кто возьмет? Отъездился старый конь. А чем дома сидеть… Я так считаю. Чем сидеть да копейки считать, лучше здесь. Пенсия целая, дочке помогаем. У ней — дети. Езжу каждый месяц домой, банюсь. И снова сюда. На родину. Я ведь тутошний рожак, осиновский, — улыбнулся он. — Родный мой хутор.

— Тогда вовсе хорошо, — поддержал я его, хотя, конечно же, плата была нищенская. Невольно вспомнилось дачное мое бытованье в Подмосковье, у родных. Там пятьсот рублей платили работнику, который газон косил. Он управлялся за час и тут же получал наличные. А здесь — месяц. Всякий день, от белой зари до темной ночи.

— А там, в станице, можно спиться, — продолжал убеждать меня собеседник. — Да… Без дела шалаться — это нехорошо. А многие шалаются. На хлеб денег нет, а на бутылку найдут. Колхоз хоть и ругали мы, но там было производство. Сколь пахали, сколь скотины держали. Кормили страну! А как же… И сами кормились, работа у всех была. — И робкий вопрос ли, просьба: — Петрович, ты в Москве бываешь, больших людей видишь… Не возвернется советская власть, колхозы? — В глазах — ожиданье и вроде бы огонек надежды.

— Нет, — отвечаю твердо, не в первый раз. — Не возвернется.

— Я тоже своей дурной головой кумекаю: не возвернется. — И горький выдох. — Молодых жалко, детей да внуков. Им трудно, Петрович. Вот и стараемся как-то помочь.

И снова на меня взгляд, чтобы поверил. Глаза у него светлые, добрые, когда-то голубые ли, серые. Я вдруг вспомнил, что в школе они с сестренкой-близняшкой вместе сидели, за одной партой. Белоголовые, светлоглазые, тихие, хуторские.

Вспомнил — спросил:

— Сестра-то живая-крепкая?

— Слава богу.

Скотина понемногу, кормясь, поднималась по крылу балки все выше и выше. Поднялись и мы на ноги. Пошагали вверх и вверх, по высокой густой траве. Зелень была расцвечена желтым, сиреневым, фиолетовым, розовым. Коровяк, железняк, шалфей да горошек…

Поднимались. Все шире открывался могучий распах просторной Осиновской балки с темной густой зеленью садов в низине. Простор и даль.

— Хорошо… — вздохнул я, оглядываясь.

Знакомец мой покивал головой, соглашаясь, а потом вспомнил давнее:

— Сколько лет-годов прошло. Не забуду. Мы же пешком тогда ходили домой. Идешь из школы. Машин не было. Велосипеды и те лишь потом появились. И вот, как сейчас помню, то ли каникулы по весне или просто на выходные пришли. Дорога через курганник, его Казачий курган называли. С него наш дом видать. Поднялись, я с курганника глянул — и дух захватило. Вроде обомлел. Сады цвели. Самый цвет. Терны, вишни, груши. Все облитое. Не хутор лежит внизу, а вроде белая река течет, пенится, и такой дух сладкий… Веришь, Петрович… Пацаном был, куга зеленая. Но до того стало хорошо и дорого… Мой родный хутор! До чего красивый. Гляжу и не могу наглядеться. — Голос дрогнул. — Это я все как сейчас помню, Петрович. Меня сеструшка пихает: «Пошли. Чуток осталось…» Она думает, я устал. И подпихивает. А я стою и гляжу… — Он вздохнул и смолк, неторопливо взглядом окидывая родные места, а потом досказал: — Я когда женился, на центральную усадьбу переехал. Там ведь школа, больница. Скучал там. Загад имел: на пенсию выйду — вернусь на хутор, буду здесь доживать. Тут рыбалить можно. Раньше плотины сохраняли, и такие были заводи, омуты. Карась — на сковороду. Лини, плотва, красноперка. И зайчика гонять сподручно. А какие попасы… Скотину любую води. Плановал. Но кто знал, что так наша жизнь повернется.

Мы еще недолго поговорили о прошлом, о нынешнем. А потом подъехал мой спутник. Стали прощаться.

— Ты надбегай, Петрович. Сейчас самая пора травы сбирать. Зверобой, шалфей, чабор… Для здоровья, для чая. Мне люди заказывают. Душица скоро зацветет. Шиповник будет ныне богатый. За день пару ведер да наберу. Это тоже копеечка. Надбегай… Я тут — до самого снега…

Попрощались. Он остался. Не больно близкий знакомец: когда-то в школе вместе учились, год ли, два. Хуторские ребята школу бросали рано. Трудное было время после войны, голодное. Мы, ребятишки поселковые, при своих домах жили, при матерях. Это легче. Глядишь, и сунут лишний кусок, от себя отрывая. И сам рыщешь, где бы чего добыть: кусок макухи ли, мороженую картошку на пристани, на станции. А хуторской детворе родители привезут по осени на квартиру тыквы и свеклы. Потом отделяют помаленьку муки на суп-затируху или пшенца, пополам с черным куколем, чтобы кулеш варили. Вот и все харчи. А голодное брюхо к ученью глухо. Так и получалось. Помучаются и бросают школу. Работники колхозу всегда нужны.

Эта встреча была где-то в июне, как раз травы цвели, сенокос начинался. Теперь — поздняя осень, конец ноября. Холодный ветер и дождь.

Одежда на мне серьезная, по погоде и ремеслу: телогрейка, плащ-накидка с капюшоном, сапоги. И провел я возле скотины недолгое время. Но чувствую: зябну, пробирает потихонечку. И уже поглядываю с горы на хутор, дожидаясь смены.

А еще порою гляжу в ту сторону, о которой нынче вспомнилось: Осинов лог да Калинов лог. Туда напрямую — десяток верст. Холмы и холмы, курганы да балки. Голые кусты и деревья. Черные травы. Сизое набрякшее небо. Холодный дождь. Стылый ветер порывами. Вот-вот снежная крупа зашуршит. Но лишь крупа и дождь ледяной, по-нашему, по-донскому, — чичер. Настоящий снег ляжет еще не скоро. Еще пасти да пасти.

К воде

Нынешней осенью да зимой наши прогулки с внуком Митей стали приятнее. Малыш подрос — ему целых четыре года! — и потому можно не только рядом с домом бродить, возле гаражей, сараев, машин, но и уходить подалее, на берег Дона, к воде, в которой вроде еще вчера купались, плескались, а нынче она холодна даже на погляд. Но можно бросать камешки. Это занятие давнее, славное: булькнет, волнешки идут. Бросать камешки, собирать белые и розовые раковины, которые потом пригодятся; выламывать длинные копья сухого желтого камыша с легкими султанами на маковках или сухие стебли рогоза с коричневыми набалдашниками, в которых много легкого пуха. Он далеко по ветру летит. Пускать кораблики, которые порой так далеко уплывают. А еще просто глядеть на просторную донскую воду, задонские высокие холмы. Словом, на берегу много всего хорошего. Не то что у гаражей да сараев, где кучи мусора да бродячие кошки.

Самая короткая, прямая дорога от дома к воде проторена рыбаками. По ней мы и ходим, пересекая железную дорогу и заводскую территорию, которая когда-то была, конечно, обнесена забором из высоких бетонных плит, но теперь завод давно уже не работает, ограда во многих местах порушена, и рыбаки протоптали тропинку. Шагай по ней, не заблудишься.

Вот и шагаем вдвоем, рука об руку, старый да малый. Справа остается хлебозавод, от него так сладко пахнет печеным хлебом, особенно когда помогает ветер или сырая погода.

Одолев половину пути и перебравшись через земляную насыпь с навалом сухих сучьев да веток, одолев эту засеку, выходим на дорогу торную и уже видим вдали береговые тополя и задонские холмы.

— До-он! — возвещает Митя, но шагу не прибавляет, и даже напротив, замедляет его, порой останавливаясь. Дело в том, что вступили мы на территорию бывшего завода. Большие просторные здания, корпуса уже два десятка лет как заброшены, в них лишь ветер гуляет. Для маленького Мити они тем более кажутся огромными, и главное, непонятными. Начинается разговор, он всякий раз повторяется, когда мы проходим здесь.

— Дед… — негромко спрашивает Митя, внимательно вглядываясь. — А кто все окна разбил? Плохие мальчишки?

У малыша хорошая память: год ли, два назад окно в подъезде его дома разбили «плохие мальчишки». Об этом были разговоры. А здесь перед его глазами — огромное здание, просторные окна которого зияют пустотой. Не одно, не два, а все до единого.

— Плохие мальчишки, — со вздохом соглашаюсь я.

— Их надо ругать и наказывать? — просит он подтвержденья.

— Надо. Конечно же надо, мой милый.

— А это что?

Наши походы к Дону, по этой дороге, начались в пору предзимнюю, когда все вокруг серо и голо: низкое небо, деревья, кусты, травы. И потому даже для меня эти заброшенные строенья с черными глазницами окон, дверей гляделись страшновато. А уж для Мити тем более. В городке нашем, в людском жилье, слава богу, все окна целые, красят их шторы, цветы на подоконниках. Здесь — иное, которого детским умом своим, малым опытом, Митя понять не может. Потому и недоуменье.

Проходим мимо бывшего сборочного цеха. Он вовсе огромный, конца-края не видно. Но картина та же: пустые глазницы окон, выломанные двери, ржавая вязь вентиляционных труб, лестниц, решеток.

— А это что? — спрашивает Митя.

— Сборочный цех, — объясняю. — Здесь делали домики.

Здесь и вправду когда-то собирали передвижное жилье для работающих на севере газовиков, нефтяников. Теплые деревянные домики с хорошим оборудованием: кухня, санузел, кровати, столы, освещение, отопление. Собирали целые «модули»: баня, столовая, гостиная — малый городок с теплом и уютом. Потом все рухнуло: заводы, колхозы, прошлая жизнь.

— А кто здесь разбил окна? Тоже плохие мальчишки?

— Мальчишки… Плохие… — подтверждаю я.

В его малой головке все это не очень укладывается.

— Их было много? Плохих мальчишек? — спрашивает он, удивляясь, округляя глаза. — Двери сломали. Давай туда заглянем?

Подходим к одному из проемов. Митя осторожно просовывает голову внутрь, руку мою сжимая крепче.

— Там страшно, — отстраняется он. — Пойдем отсюда.

Мне тоже все это видится страшноватым: когда-то живое, людное, днем и ночью в огнях и трудах, теперь — угрюмое кладбище, еще и зореное. Поневоле становится жутковато. Но, слава богу, конец пути уже близок.

— А это что? — из раза в раз спрашивает Митя.

— Котельная была. Тепло давала. Как у вас, возле дома, с высокой трубой.

— А теперь?

— Теперь — ничего. Лишь стены и крыша.

— Окна разбили, — дополняет Митя. — Тоже плохие мальчишки. А это что?

— Подстанция, трансформаторная. Электричество, свет давала.

— А теперь?

— Сам видишь. Ничего. Пусто.

В конце пути перед высокой дамбой высится большое кирпичное здание в четыре этажа под шиферной крышей.

— А это что? — всякий раз не устает вопрошать Митя.

— Контора была. Инженеры, конструкторы тут работали.

— А теперь?

— Пусто, мой милый, пусто.

— Стекла разбили, — всякий раз замечает Митя. — Плохие мальчишки. Их надо в милицию, в кутузку посадить, ругать и наказывать.

Я лишь вздыхаю, вспоминая своего товарища-одногодка, который всю жизнь на этом заводе работал, поднимал его, создавал. Теперь он на пенсии. Конечно, рыбачит, но этой дорогой, через свой завод, не ходит, объясняя: «Боюсь, сердце не выдержит».

А Мите, уже не в первый раз, на ум приходит иное. Он останавливается, оглядывает здание: кирпичное, под шиферной крышей, похожее на его дом, тоже пятиэтажный. Он оглядывает и говорит:

— Дед, давай стекла поставим и будем здесь жить. Никитку позовем, Егора, Головина, Ибрагима. Тут много места. Купаться будем. Рыбу ловить.

Ему нравится этот дом возле воды. Мне тоже. Но как объяснить…

— Тут много работы… — уклончиво отвечаю я. — Пойдем.

И вот позади остаются заводские руины. Открывается с береговой дамбы водный простор: затон, широкая протока к Дону, камыши, песок.

— До-о-он! — кричит Митя и мчится, меня обгоняя, к воде, которая дышит холодком, свежестью, сладкой преснотой, сродни хлебной.

Начинается обычное, славное: вода, камешки, красивые ракушки да улитки, прибрежный камыш да чакан, бумажные да картонные, из спичечных коробков, кораблики, которые уплывают порой очень далеко, теряясь из вида: к другому берегу, а может быть, дальше. Гадаем вслух: «В Ростов уплывет, потом в Азовское море…» Мите хочется дальше: «Атлантический океан… Индийский океан…»

Так вот мы и бродили по берегу, ожидая зимы и льда. Декабрь выдался теплым, лишь под Новый год слегка приморозило. Появились забереги, сначала малые, потом просторней. Ледок был непрочный, тонкий.

— Это опасно, — упреждал меня Митя, — забереги, — но цеплялся за мою руку и пробовал ногой хрусткий береговой наслуд и тонкий ледок.

И наконец, при тихой безветренной погоде, в ночь ударил крепкий мороз, разом сковав давно остывшую воду. Дон покрылся ровным, гладким, прозрачным льдом, светлым на мелях и зеленым на глуби. Без единой морщинки от берега к берегу. Словно подарок для Мити. Он долго ждал. Я не помню такого зеркального льда на Дону. На озерах бывает. На Дону — не припомню.

В день первый страшновато было ступать на такой лед, словно на тонкое стекло. Не верилось, что удержит.

Все отчетливо видно: песчаное дно, камешки, мертвые ракушки, улитки, стайки малых рыб: из-под ног, веером, врассыпную. А дальше — глубь страшенная, зеленая полутьма и тьма, с яркими вспышками рыбок под солнцем. Идешь — словно паришь над бездной. Такое было чувство вначале. Но быстро обвыклись. Скользили, катались, сначала на меляках, потом дальше. Лед — прочный, в четыре пальца, рыбаки рассыпались по всему Дону. Но мы держались берега. Хватало и здесь радости: скользить, словно парить над прозрачной водой, над стаями серебристой мальвы. И недолго, с опаской, — на глуби, над темной таинственной бездной, в которой ослепительно вспыхнет порой серебряная рыбка.

Обычно после таких прогулок Митя долго и крепко спит, а во сне улыбается. Видно, снится ему хорошее: зимнее белое солнце, ровный прозрачный лед, стаи рыбок, уплывающих в таинственную глубину. Остальное забывается. И слава богу.

«Не забудь!..»

— Придешь к ним, не успеешь поздороваться, сразу тебе вопрос: «Чего пришел?» — «За новостями… — отвечаю. — Как вы тут и чего?.. Не хвораете?..» — «Хворать нам некогда. Тем более новости собирать. Работы полно. Это вас, пенсионеров, кормят и поят. А мы работаем. Некогда басни тачать. Хочешь — садись и смотри телевизор. Чай еще горячий. А мы пошли работать, нам некогда. Некогда, некогда…» Вот и разговору конец. Называется, проведал родного сына.

Монолог неторопливый, горьковатый, но с пониманием.

— Конечно, работы у них в самом деле много. Три большие теплицы. Сейчас, зимой, в основном на столовую зелень работают: лучок, петрушка,

укроп. Готовое — убирать, и сразу посадка, чтобы земля не гуляла. И конечно, к весне готовятся. Все идет каруселью, работы много. Это правда.

Монолог не больно веселый, но с усмешкою, над собой ли, над молодыми — наверное, это все вместе: жизнь, старость и прочее. Одно и то же у всех. Слушай чужое, свое вспоминай. Вздыхай да охай. Чем еще заниматься в бане, после парной, отдыхая расслабленно и умиротворенно, попивая горячий чаек, квас или минералку. Поселковая наша банька не больно казиста, но без нее скучно.

Баня да воскресный базар для нас, жителей сельских, не столько покупки да мытье, сколько жданные встречи, особенно для пожилых домоседов. Сидим всю неделю в своем углу, никого не видим, ничего не слышим, кроме собачьего бреха да телевизора, где тот же брех. А базар да баня — это праздник: знакомые люди, свойские новости, беседы. Особенно в бане: там вовсе спешить некуда. Помахал веничком в парной — отдохни, послушай, в свою пору пожалься, если болит чего, похвались рыбалкой ли, огородом, поругай начальство — все о своем: хвори, заботы, радости.

Вот и нынче. Недолго попарился, сижу, отдыхаю, чаек попиваю да слушаю. Люди свои, пожилой народ. Нынче беседа о молодых: как они нас, стариков, привечают да здравствуют.

Один монолог выслушали, тут же поспел другой.

— Мои на базаре торгуют. Бабка пошла. В дело, не в дело: не столько купить, сколько поглядеть на своих. Они далеко живут, не враз доберешься. А базар — рядом. Бабка пошла, увидала внучку, та с торгом стоит. Но разговор короткий: «Бабаня, не маячь. Закрываешь товар от покупателей, они мимо идут». Вот тебе и весь сказ: «Не маячь…»

— Это еще, считай, ласково, — сказал кто-то. — Мы дочку посылаем: «Пойди к бабке, прибери там». А она губы поджала: «У нее плохо пахнет…» — «А от тебя чем пахло? Бабка сколь лет-годов тебя пестала. Подтирала да подмывала. Или память овечья?»

Память у нас всякая: короткая, овечья, и долгая, человечья, — кому как дано. Да еще было бы что помнить.

Дни прошлые порою быстро туманятся, день нынешний — на ладони.

— Дед, здравствуй! Я тебя очень сильно люблю! — таким приветствием не всякий раз, но встречает меня маленький внук Митя.

И тут же к делу:

— Мы что, забыли?.. На руках ходить? А прыгать?.. А прятаться?

Но главное, конечно, на воле: летом — одни забавы, зимой — другие. Летом, конечно, лучше, потому и вспоминать о нем, и грезить легко, радостно:

— Будет лето! Будет тепло! Мы с тобой, дед, будем в трусиках ходить! Огород поливать! Цветы. Будем кушать клубнику, вишню, абрикосы! Будем клевать, как птички! Купаться будем!

Радость для меня понятная: сам лета жду. Провожаю его с печалью. Осенью говорю со вздохом:

— Лето кончилось. Теперь — грязь да слякоть, а потом зима. Будет холодно.

— И мы с тобой замерзнем! — радостно продолжает Митя. — На санках будем кататься. На Дону — лед! По льду будем бегать! В хоккей играть! Замерзнем, придем домой, будем спинку греть у батареи! Чай пить с черной корочкой! Я тебя буду угощать, дед…

Это он вспомнил зимы прошлые. Так было. Приходили с прогулки, я садился прямо на пол, возле батареи отопления, согревая озябшую спину.

А Митя суетился, тащил табурет, накрывая на нем чай: чашки, варенье, мед и… черный хлеб, потакая вкусам моим и соглашаясь: «Зачем нам эти вафли, печенья?! Черная корочка вкуснее!»

Вафли, печенье, конфеты — все это рядом, на столе, лишь руку протяни. Но черная корочка зимой, после морозца, конечно, вкуснее.

Зимой рано и быстро темнеет. Пора прибиваться к своему дому. Вот-вот прибудут родители. Моя «смена» закончилась.

— Дед! — вспоминает вдруг Митя. — У нас блины есть. Когда домой пойдешь, возьми два… Нет, возьми три блина. Дома их разогреешь и съешь. Только не забудь разогреть, — убеждает он. — Так будет вкусно!

И потом на прощание не раз повторяет:

— Не забудь, дед! Не забудь…

— Нет, нет. Я не забуду, милый… Спасибо.

Уже за порогом повторяю для себя, для него: «Не забуду. Но и ты не забудь, сохрани… Не растеряй в длинной жизни своей эту детскую доброту и долгую человечью память».

Змеюка

Приходит ко мне старый знакомец и сообщает:

— Ездил рыбалить. Такую змеюку убил… Здоровенную!

— Она рыбалить мешала тебе? — спрашиваю.

— Она молчаком подкралась, — объясняет приятель. — Я сижу и не вижу. Потом углядел: змеюка на солнышке пристроилась, греется, прямо возле меня.

— Это ты к ней пристроился, — пытаюсь доказать ему. — Приехал, уселся. А она там живет. Ну взял бы да и прогнал, если места мало. А чего убивать?

— Да это же змея, гадюка, ядовитая. Еще тяпнет.

— Нужен ты ей… Тебя тяпать. Да у нас и гадюк не осталось. Ужака, наверное, убил.

— А то я ужака не знаю. У него желтое пятно. Это была точно гадюка. Черная. Я ее как тяпнул. Прямо в голову попал.

— Молодец, — говорю. — Справился.

Приятель мой — человек славный, добрый. Но вот змея ему помешала. И не только ему.

Помню детские годы. Змей в ту пору было в достатке. Били их почем зря. Особенно в лесистом займище и Задонье, куда весною ребятня устремлялась на вольную волю. Зорили птичьи гнезда, забирая яйца, тут же их жарили на костре, кормились. Время было голодное. Искали дикий чеснок, корни «козелка», объедались щавелем, «калачиками», «китушками», цветом акации, вязиля, мышиного горошка. А еще били змей. Они в эту весеннюю пору плыли через Дон, с луговой стороны на горную. Здесь их и били. Помногу. Устраивали «змеиные деревья», развешивая на ветвях мертвых змей.

Что это было: юная жестокость или врожденное ли, внушенное отвращение, ненависть к «гадам»? Не знаю. Ужей не трогали. Взрослые внушали: «Не обижайте ужей». Их, бывало, ловили, игрались и выпускали на волю. У парней взрослых даже забава такая была. Вечером взять ужака на танцы и под рубашкой на шее завязать, чтобы не видно. А потом, когда с девушкой танцевать начинаешь, голова ужака вдруг из ворота рубашки высовывается. Тут и визгу, и смеху — всего хватает.

А вот змей убивали. Рассказывали всякие страшилки про их укусы: смертельный яд и прочее. Хотя за свою долгую жизнь не помню, чтобы в наших краях кто-нибудь умер от змеиного укуса. Ни прежде, когда змей было много, ни тем более теперь, когда их мало осталось.

Умирали, погибали в ту давнюю пору от голода, снарядов, мин, болезней, которых хватает и теперь, а еще — автомобили, поезда, самолеты: под колесами, на рельсах, в авариях; тонули и нынче тонут в Дону, озерах, а бывает, что в луже. Много всяких смертей, иногда редкостных: бык забодал до смерти, с лошади упал и убился, молния погубила, солнечные удары. Травились грибами, ягодами, домашними консервами, вяленой рыбой, поганым пойлом. Пчелы зажаливали до смерти, осы. Словом, на веку, как на долгом волоку, всего хватает. Но не помню: не видел и не слыхал, чтобы в наших краях кто-нибудь умер от укуса змеи.

В детстве рассказывали страшные байки о «желтопузах» — самых больших в наших краях змеях, длиною до двух метров и в руку толщиной. Рассказывали, что «желтопуз», разозлясь, надувает на хвосте огромную шишку, которой может убить человека и даже машину разбить. От него не уйти. Он колесом сворачивается и катит, мчится, догонит любую машину, а человека тем более. И как брякнет с разгону. Спасенье от него — косогор. Убегать надо косогором, по которому он будет соскальзывать вниз.

Все это были, конечно, лишь байки, не более. «Желтопуз», а точнее — полоз, хоть и большая змея, но безобидная, у него и яда нет. Большая, красивая, нынче ее мало кто видит. Разве что в зоопарках, в террариумах. Но это — в клетке. А все мы — люди и звери — хороши на воле. Змеи тоже. Как легко она скользит по земле и траве! Быстрое текучее движение мускулистого тела. Любопытно смотреть, как змея ловит рыбу. Из засады или под камнями рыщет. Просто лежит, греется на солнцепеке: на тропинке, на береговой коряге. Красивая животина. Но, повторюсь, очень редкая нынче. А кто виноват?

Помнится случай, который теперь уже не забудется; хотя он давний, в моей взрослой, немолодой уже поре.

Приехал на хутор погостить. Время славное: начало лета. Жаворонки поют, красавцы удоды, скворцы заливаются, переливчатые щуры, сизоворонки, ласточки со щебетом носятся, ныряя в коровьи стойла, в курятник. Там у них гнезда. Ласточек я люблю. Милая птица-касаточка. Но в моем поселке они давно уже не селятся. А сколько их было! Полный двор. В коровнике гнезда, на открытой веранде и даже в летней кухне и в коридоре. Ничто им не помеха. Знают, что хозяева лишь на ночь двери прикроют, а весь день — нараспашку. Гнездо ли, птенцов — не тронут.

Но давно уже ласточки в поселке не селятся. Наверное, стало шумно и коров нет.

А на хуторе — воля. Я люблю ласточек. Приеду гостевать, с ними здороваюсь, слушаю их щебетание, проглядываю все гнезда, где в свою пору объявляются невеликие крапчатые яички, а потом птенцы, ласточата.

Так было и в этот раз. Приехал, огляделся, ласточкины дома попроведал. В курятнике, в коровнике. Но в этот приезд что-то было с этими птахами неладно: в коровнике два пустых гнезда, хотя пора уж птенцам там пищать. Они и пищали, но лишь в одном гнезде, в третьем. В курятнике та же песня: пустое гнездо.

И добрая хозяйка подтвердила: неладно с ласточками. Она объяснила:

— Яички были во всех. И птенчики вывелись. А потом стали пропадать. Одного нет, другого… И ласточки так кричат, так кричат. Я на сорок

грешу. Пойду погляжу — сорок вроде нет. А птенчики пропадают. Думала, из гнезда падают. Искала. Нет… А ласточки порою так кричат, надрываются. Летают, вьются. А сказать не могут. Может, это крысы?..

Я еще раз пошел, оглядел сараи, птичники, которые ютились под единой просторной крышею. Сорок не приметил. Крыс — тоже. Хотя они, конечно, шкодят. Цыплят и утят таскают, яйца крадут. Осмотрел пустые гнезда, повздыхал, пожал плечами. Ничего не понял.

Но вскоре подоспела тревога. Ласточки закричали все разом, заметались, черными молниями ныряя под сарайную крышу и вылетая на волю. Громко явственно пищали птенцы, уже большие, оперенные, из гнезда последнего.

Я поспешил в сарай, стал глядеть. Сорок там не было. На земляном полу, затолоченном соломой да объедьями, тоже птенцов не увидел. Они громко пищали в единственном живом гнезде, которое прилепилось под самой крышей на вязовом неошкуренном стояке. Отчаянно пищали птенцы, с криком метались ласточки.

Я стоял в недоуменье, осматривая плетневые, глиной промазанные стены, шеломистую крышу из сухого желтого рогоза»-чакана». И вдруг углядел в проемах сухих пучков медленно перетекающее желто-белесое узорчатое брюхо толстой змеи и точеную плоскую головку ее, возле самого гнезда. Змея замерла. Я тоже в первую минуту замер. Какой-то страх неожиданный, а еще омерзение, тошнота. Это желтое с белесью брюхо, скользящее, какое-то противное. И голова возле самого гнезда, от меня недалеко. Неморгающие глаза.

Но мой страх был коротким, крыша сарая — низкой; рядом стояли вилы с крепким коротким череном. Я взял их в руки.

Змея почуяла опасность. Пестрое, понизу желтое тело ее стало перетекать в камышовых проемах, пытаясь уйти, скрыться. Но я успел точно ударить зубцами, зацепить и не сразу, но выдрать змею из ухоронов камышовой крыши. И тут же на месте добил ее. А потом выбросил на забазье обмякшее тело большой двухметровой пестрой змеи с плоской головкой и видимым утолщением в том месте, где находился проглоченный ею птенец.

Сердобольная хозяйка подошла, заохала:

— Вот она всех и погубила, гадина. И откуда она взялась? Сроду такого не было. Сороки, карги, крысы, хори шкодят. И еще эта змеюка. Спасибо, вы увидали.

Такой вот был случай на хуторе. Полоз узорчатый называется эта змея, ныне редкая.

Змею я убил. Четыре ласточонка благополучно выросли, чем я немало гордился. От верной смерти спас.

Но вот потом, позднее и до поры нынешней, гордость помаленьку ушла, и, вспоминая тот день, я сокрушенно вздыхаю. Красивая была змея — двухметровый полоз: чешуя гладкая, блестящая; оливково-серый верх с черно-пестрым узором, ярко-желтое, даже оранжевое брюхо. В солнечном свете все это играет переливами. Сильная, красивая змея, даже мертвая.

И разве он был виноват, этот полоз, что ему надо жить своей жизнью, не нами установленной, и кормиться, чем велено? Сами ведь хрустим косточками: рыбьими, птичьими, другими...

И совесть не больно мучает.

Тут рассуждать можно долго. Теперь вот через время я жалею красавца полоза. И птенцов-ласточат, конечно, тоже. Кто же не любит ласточек? А вот «змеюку»… не грех и «тяпнуть».

ФЕДОР ЧЕРЕПАНОВ

Птицей с ладони отпущен — люби!

* * *

Стосковалась река:
О дубы почесать бы ей спину,
Растолкать бы коряги
Да сплавить от бани дрова…
Полечить бы ей зубы
Горчащей корою осины, —
Как натруженный конь,
Одряхлела в оглоблях Москва.
Только снится ей сон:
То не лай заливает овраги,
Не горячая свора
Влетела в лесной бурелом,
То в апреле Ульба
Подняла топляки и коряги
И к деревне их гонит,
А батя их ловит багром.
«Хорошо принялась! Хорошо!»
И Антошка-курносик
Успевает с вопросами,
Он-то и спросит о нас…
«Мало весу в душе,
Оттого-то их ветром и носит,
Не отпустит никак…
Хорошо, хорошо принялась».
А к беседе их жмется
Теленок — такой бестолковый.
А долина гудит —
Это ранний пошел медонос.
И на гвоздь у дверей
Батя пыльную бросит подкову.
Батя, сколько подков!..
Снарядил бы ты целый обоз.

Может, правда — пора
На Москве бросить якорь и мне.
Как родную судьбу,
Полюбить ее прошлое в лицах…

Батя, целый табун…
Прогремел, и дорога пылится…
Батя, целый табун —
Строевых, златогривых коней…

* * *

Мама, мама!.. Что не спишь ночами?
Снова встанешь и впотьмах пройдешь.
Только слышу: тихо звякнет чайник,
Глухо ухнет ветер — ты вздохнешь.
А в ответ: «Скажи мне правду, сына.
Грустен ты. Аль трудно жить со мной?» —
«Мама, мама! Отчего же стыдно
Мне в дому за счастье и покой?»

И ушла до срока, молодая.
И простилась, как ступила в ширь.
От любви меня освобождая,
Чтобы все, что должно, совершил.

Плачу я, как при втором рожденье.
Ты ж спокойна и светла в гробу.
Может, есть мне впереди прощенье…
Где такую мне стяжать судьбу?

* * *

Вспомнится снова, как сон поутру,
Свет до рожденья в небесной глуби.
К песне и яви, к людскому добру
Птицей с ладони отпущен — люби!

Юность и Русь. За плечами заря.
Солнце по жилам струится, знобя.
Ветру вершинному веришь — не зря
Вольная воля кохает тебя.

Порохом пахнет на западе дым…
В пламя заката направил ты шаг.
Знал: для другого ты в мире храним,
В Божьем полку ясноглазый казак.

Звездный теперь подошел сенокос...
Вот напоследок тебе благодать:
Долго ты в счастье да в радости рос —
Скорби чужие сей мерой принять.

РАИСА ИПАТОВА

Мелодии разлук

* * *

А. С. Михайлову

Прижавшись лбом к оконной раме,
Что ищем мы порой вдали:
Людей, которые ушли,
Так и не понятые нами,

Или себя, совсем иных,
Презревших мудрость всех столетий,
Уверенных, что солнце светит
Так ярко лишь для нас одних.

Мы шли, собой гордясь слегка,
Путем, который неизвестен,
Но падали на том же месте,
Где люди в прошлые века.

Все так же тянемся к теплу
И видим сквозь веков потемки:
Стоят далекие потомки,
Как мы, прижавшись лбом к стеклу.

* * *

Зачем спешить?
Еще успеем
Врагов своих мы насмешить.
И не задумываясь сеем
Мы сорняки на дне души.

Мол, повзрослеем — перепашем,
Посеем хлеб, его взрастим.
Настанет день — и мы расскажем
Все то, о чем сейчас молчим.

Но жизнь закружит в хороводе.
С концами не свести концы.

А дни приходят и уходят,
Похожие, как близнецы.

* * *

Знать наперед, что в доме пусто,
Но все же трижды позвонить.
И, отогнав волну предчувствий,
Привычно дверь ключом открыть.

И усмехнуться мыслям тайным,
Споткнувшись вдруг о тишину.
Но из буфета машинально
Две чашки взять, а не одну.

* * *

Не бросило друг к другу — потянуло.
Печальное былое расплескав,
Ныряю я из городского гула
В твой пахнущий проселками рукав.

Свирепствует зима на перевале,
Хотя давно могла бы и смекнуть,
Что раз разлуку преодолевали,
То справимся со встречей как-нибудь.

* * *

Холм согрел на солнце склоны.
Зоркий взгляд заметить смог:
Земляника не зеленый,
А багряный прячет бок.

Да и мы, бывает, тоже
Выставляем напоказ
Для чего-то то, что, может,
И не главное у нас.

ВАСИЛИЙ ДВОРЦОВ

Дневник офицера

Рассказ

В приграничной Бурятии, посреди завораживающих своей сказочной красотой — до фиолетово-синих и лилово-серебряных сновидений, — изломов Восточных Саян, широко и мощно пролегает знаменитая Тункинская долина. На верхнем краю этой растянувшейся на полторы сотни километров естественной теплицы, около самой стенки Восточного хребта затерялся крохотный курорт местного республиканского значения. Аршан — это несколько гектаров слегка окультуренной садами и огородами земли посреди буйства чистейшей горной тайги, пяток корпусов сталинской застройки и восемь гипсовых статуй вождя, со всех перекрестков санаторских дорожек противоречиво указывающих рукой в разных направлениях. Главное здесь — целебные источники. Голубые, зеленые и розовые соли пластами выдавливаются из-под нависшей скалы, пропуская сквозь себя горячие и прохладные родники. Ампирная беседка, керамические кружки с носиками-трубочками. Совминовские бурятские дамы, после процедур парочками фланирующие в вечерних платьях среди коровьих лепешек и томно дожидающиеся вечерних танцев с редкими гастритными кавалерами.

В это очаровывающее неиспорченно дикой красоты место нас заманили каскад из пятнадцати водопадов и желание жены показать мне легенды своего детства. Остановились мы в небольшом деревянном пустующем бараке, горделиво прозванном «Домом отдыха творческих работников театров Республики». Едва освоившись в сырой, но чистенькой комнате и заказав хозяйке гостиницы ужин, мы безо всякой подготовки отправились знакомиться с горами.

Две голые острые вершины ужасающими размерами нависли над санаторием, до пены пережав яростно ревущую от прошедших обильных дождей Кынгаргу. Все мосты были смыты недавним наводнением, и перейти на противоположный берег, по которому пролегала тропка к перевалу, можно было только по двум сваленным верхушками друг к другу стволам сосен. Первый раз это было впечатляюще. Далее узкая, со свежими осыпями, тропинка поднималась вдоль крутого склона все ужимающегося ущелья. Из-за шума зеленоватой, как бутылочное стекло, под белой пеной бешеных водоворотов реки невозможно было охать и ахать, и мы только поминутно переглядывались, с щенячьим восторгом тыкая пальцами то в совершенно отвесную слоистую гранитную стену, в сотню метров нависшую над потоком с того берега, то в крохотные розовые ландыши, цветущие под серовато-лиловыми шляпами неведомых грибов. После двухчасового подъема, вновь перейдя на левый берег по переброшенному на пятиметровой высоте уже одинокому бревну, мы оказались в широкой округлой лощинке, выложенной одинаковыми плоскими камнями из расслоившегося шифера. Здесь река разделялась на несколько рукавов и, немного успокоившись, пофыркивая, ровно щебетала на солныш-

ке. По ближнему рукаву быстро плыл сапог. Неожиданно для самого себя я шагнул прямо в напористую ледяную воду и поймал его. Это был достаточно новый резиновый сапог сорок второго размера. Через несколько мгновений из-за поворота показался человек. Невысокий, очень смуглый шестидесятилетний мужчина с давно не подстригаемой седой бородой. Одетый в старую солдатскую форму и белую панаму, он был обут только на левую ногу и, увидев мою находку, издалека широко заулыбался.

Странное у него было лицо, не имеющее никаких особых примет, за исключением глубоких морщин. Просто редкие светлые волосы, глубокие серые глаза, чуть мелковатые черты среднерусского лица. Говорил он ровно, явно не по-прибайкальски — без этакого местного чередования ритмов. Запоминалась только как бы чуток заглядывающая снизу и от этого немного собачья улыбка. А вот руки были примечательные: распухшие, ярко-красные, со множеством мелких ссадин и царапин. Он все прятал их за спину и постоянно разминал, массировал. Через полчаса мы были совершенными друзьями, и в знак благодарности за спасение утопавшего сапога нам были указаны редкие на этой стороне хребта пятачковые поросли дурманно пахнущей саган-дали. Сидя на корточках, мы щипали мелкие веточки стелящегося по горячим валунам кустарника и пьянели от его солнечно смолистого ни с чем не сравнимого аромата. Беседа вертелась в основном вокруг Москвы, где когда-то наш новый знакомый и моя жена учились, а я просто хипповал по Арбату. У нас не нашлось общих знакомых среди людей, но были знакомые районы, улицы и даже дома. А когда он узнал, что мы с ним почти в одно время еще по паре лет прожили в Кишиневе и, тем более, я работал на реставрации Сынжерского храма, — то его немного заискивающая улыбка уже больше не исчезала. И, прощаясь, мы сговорились назавтра встретиться здесь, чтобы вместе посмотреть и отснять на слайды знаменитый водопадный каскад, ради которого мы и забрались в приграничную глушь.

В гостинице на запах свежей саган-дали сразу же появилась хозяйка. За десяток веточек она принесла нам молока, еще за десяток — свежайших лепешек. Плечистая, мужиковатая, она двигалась чуть замедленно, но удивительно экономно, ничего потом не переделывая и не поправляя. Встав грузной кариатидой в проеме двери, она одними глазами, не шевелясь, с нескрываемым интересом следила за тем, как мы разбираем и раскладываем свои вещи. Особенно ее интриговал мой этюдник. Убедившись, что уходить она не собирается, мы, ради какой-либо пользы от ее стояния, стали задавать разные вопросы, на которые она отвечала без эмоций, но обстоятельно, забавно вдумчиво переспрашивая каждый вопрос, словно запоминая.

— Кто этот Григорий? А чудак. Такой же, как и я. Чудак-одиночка. Я ведь тут одна сама за себя. А здесь таким нельзя. Почему «нельзя»? А потому, что здесь либо бурятом нужно быть, либо семейским. Это старообрядцы наши так называются. Беспоповцы. Особенно, если ты на курорте какую-либо должность занимаешь. Как я. При чем должность? А это место у бурят святым считается. Видали, сколько тряпочек около источника по кустам навешано? Жертвы их духам. Тут все должно только с позволения шаманов делаться. Они, шаманы, все всем определяют. Кроме, конечно, того, что семейские для себя робят. Семейские ведь строго по своим законам живут, от мира закрыто. Друг за дружку сте-

ной стоят, до смерти, вот их буряты и боятся. Ну, а я сама по себе, как дуб в чистом поле. Никому не кланяюсь. И директором числюсь. Что за это бывает? Вначале пугают, потом денег на откупную сулят. Меня так и поджигали. Затем сына до больницы избили. А я взяла лопату и переломала этим киллерам плоскорылым руки и ноги. Сама. Да, кто ж за меня заступится? Я у них потом четыре суда выиграла — и это ведь при всем том, что и прокурор, и судья — буряты! Вот так-то... Григорий? Вот и этот ваш Григорий тоже непокорный оказался. Только я люблю на людях быть, на обществе, чтоб артисты ко мне приезжали, писатели. Музыкантов люблю. А он бирюк. Откуда? Точно не скажу. Пришел сюда три года назад, впервой в землянке зимовал у родника. Сейчас заимку срубил. Как к нему относятся? Обычно. И пасеку ему разорили, и собак потравили. Но терпит, все терпит. Да уж, кто как судит, а я слыхала, будто он тут после войны в конвойке служил. Тут, выше в горах золото искали, шахты рыли. Заключенные, конечно. Вот он их и охранял. И, якобы, когда был у них из лагеря массовый побег, он самолично некоторых убил. Застрелил, а теперь, когда на пенсию вышел, так вот и приехал опять сюда. Захотел на том самом месте, где он своих зеков порешил, часовню поставить. Грехи замолить, значит. Почему один? Так он никонианин, и наши староверы его на дух не принимают. А бурятам эта его затея и вообще как кол в горле. Чудак, одним словом. Как и я.

Ночью долго не удавалось заснуть. Непривычно тревожно за окном шумела река, издалека гулко раскатывались частые в этих местах обвалы. Перед все равно — открытыми или закрытыми — глазами плыли и плыли увиденные днем в ущелье картины. Было сыро и душно.

На следующее утро мы встретились в оговоренном месте лощинки с рукавами и по одному только Георгию известной козьей тропке за час перешли седловину между двух относительно невысоких вершин, значительно сократив путь к искомым водопадам. Спустившись, вернее, скатившись на пятой точке по осыпи мелкого щебня к сделавшей без нас большую петлю Кынгарге, мы скорым маршем еще с километр поднялись по ее пологому здесь берегу и остолбенели от непередаваемой красоты. За полчаса я расщелкал все четыре пленки, а красота все только нарастала. Я проклинал свое бессилие — никакими красками потом невозможно будет передать увиденное, нет, впечатленное, впечатанное в душу! О, эти звенящие живые радуги…

Разложив прихваченную с собой еду на плоском огромном валуне, мы, развалясь, как древние греки, неторопливо беседовали под шум горного потока, кристально-ледяной, до ломоты зубов, водой которого и запивали черный, немного липкий хлеб, тонко нарезанное желтое сало и мелкие огурчики. Меж близких со всех сторон вершин ветер иногда наносил пронзительно белое на синем облако. Но солнце палило, и влажная от мелкой водяной пыли одежда на спинах становилась горячей. Попеременно пахло пижмой и лавандой. Разговор в основном вился вокруг нас, наших профессий. Судьбу Георгия мы, естественно, обходили как могли. Но круги беседы как-то сами сужались, непроизвольно сползая на местное. Он слегка посопротивлялся, пытаясь укрыться в абстрактных, отвлеченных, бесплотных литературных изысках. Но как всякий давно одинокий человек, встретивший не связанных с его прошлым и будущим случайных собеседников, сам же невольно начал исповедоваться:

— Вот что есть само определение «прекрасного»? Откуда оно? Почему так всем одинаково понятно? Ведь это даже не монополия только человека, его интеллекта. Нет, вы посмотрите: почему какая-то птаха для своей подружки поет так красиво? Почему для обозначения занятой территории и привлечения самки нужна именно красивая мелодия? А не просто громкая или пронзительная? А почему цветы для привлечения насекомых пахнут так сладко? Ведь тоже могли бы просто вонять как-нибудь характерно. И все. Главное — был бы сигнал. Уж не говорю о лепестках и перышках: в чем функциональность гармонии их цветового подбора? Ведь вроде бы опять главное здесь — просто продемонстрировать различие видов. И вот, раз есть подающая эту красоту сторона, значит, обязательно есть и ее воспринимающая. Скажете: условность философского виденья? Надуманность эстетствующего разума? Ан нет! Это не ментальное понятие, а астральное, душевное. Понятие красоты присуще прежде всего самой Земле — нашей живой матери Земле, а она уже раздает это свое понимание красоты всем своим детям. Цветам, пчелам, птицам и человеку. Откуда Земле дано изначально? Несомненно, свыше. Я здесь в одиночестве многое заново для себя познаю. Многое пересматриваю. Скоро, наверное, до того дойду, что и азбуку буду переучивать. А потом и врожденную рефлексию перепроверю. Глядишь, и доберусь до смысла своей жизни. Своей бестолковой и никчемной судьбы.

Тут не выдержала жена, и вопрос встал о вере. И более конкретно — о православии. Я было сжался, решив, что мы сейчас потеряем интересного собеседника, но ошибся. Георгию словно пробку выбило. Видно, у человека сильно наболело, вызрело в одиночестве многое, и он рванулся навстречу безопасно случайным слушателям:

— Что уж тут кружить? Вам, наверное, уже все про меня порассказали? Ну так вот, — я на самом деле строю часовню. Там, за этой горкой. И именно православную. Один. И Бог с ними, со старообрядцами, справлюсь. Я ведь всем сердцем к ним вначале потянулся. По старикам их, по «крестным» ходил, все хотел истину найти, понять — в чем суть раскола, суть их на нас обиды. Узнать нечто такое, что, может быть, мы, официальная церковь, в этой жизни потеряли, не сумели сохранить и от этого так страдаем. Выведывал, пытал, ждал откровения. Ведь на чем-то же они стоят уже столько лет, не прогибаются перед «духом времени»! Ведь это не восковые фигуры, а живые люди. В чем же секрет такой силы, на чем основан этот их строгий спрос со всего мира, моральное, так сказать, право осуждения окружающих?.. Но ничего такого у них не нашел. Фундамента правоты — любви, понимаете? Самого главного — христианской всепрощающей любви. Одна гордыня. Средневековая обида. И современная ложь. Как они сами говорят, «во спасение». Да, вся их уже вековая стойкость на неприязни и глубочайшем презрении к миру базируется. Безпоповщина — как безотцовщина. Сироты. И неправда, что они не меняются, — еще как! Столько отсебятины за последнее время понапридумывали. Такие апокрифы — еще то творчество! Я вот спрашивал начетчика Симеона, он здесь самый авторитет, все Священное Писание наизусть знает: «Как же вы без священства, без таинств церковных-то спасение души себе мыслите? Ведь Христос не что-нибудь, а именно церковь на Земле учредил». А он в ответ таких басен наговорил, таких историй понарассказывал! Тут тебе Вечный жид и Алексей Михайлович, Папа «рымский» и Никон, и Петр Первый, и Троцкий, и даже Гагарин с Горбачевым в один ком сплетены. Ну и все

мы остальные, кто их толка не придерживается, тоже на ад обречены безо всякой надежды. Вот так он меня «просветил», а потом еще и обругал как мог за мои вопросы. Вы разве не знаете? Семейские — жуткие матершинники, просто жуткие... Поэтому, Бог даст, закончу к этой зиме задуманное и поеду в Слюдянку. Там у меня батюшка знакомый служит. Я у него на часовню благословлялся, он ее и освятить обещал. И отслужить литию на крови невинно убиенных. А там что Господь положит: сожгут так сожгут. А может, и устоит. Может, и после меня хоть какая-то хорошая память людям останется.

Георгий уже не возлежал. Он сидел на коленях, все время слегка привставая и попеременно близоруко заглядывая нам в лица. От трудно скрываемого волнения его несходящая улыбка своими глубокими морщинами стала похожа на древнегреческую маску.

— А с бурятами у русских в этих местах отношения просто ножевые. Смешанных браков даже представить себе нельзя, что там — даже после геологов метисов не осталось. Буряты здесь практически не знают лам, они здесь не столько буддисты, сколько шаманисты. Слыхали про религию бон? Тоже на свой лад староверы. Не зря же барон Унгерн именно здесь от красных уходил. Они его за своего бога войны признавали. И сейчас молодежь Чингисханом бредит. Из благ европейской цивилизации ценят только водку, мотоциклы и ружья. Живопись там, литература или балет просто вне их сознания, как проблемы какой-нибудь альфа Центавры. И поэтому, когда вдруг появился посреди них одинокий русский, который с другими русскими не в общине, они даже немного ошалели. Ждали подвоха. Потом присмотрелись, стали понемногу пугать, пробовать на прочность: то стрельнут из тайги в окно, то лаек потравят. Не известно, чем бы дело кончилось, но тут я ненароком с их главным шаманом в санаторской столовой за одним столом оказался. На выборах случай был, когда всех силой, не силой, но понуждали собраться возле урны. Забежал туда, сюда, пенсию получил и решил перекусить по-человечески, цивилизованно, с вилкой. Вижу: все столы забиты, а тут человек один сидит. Я и повернул к нему со своим подносом. Кто ж знал, что это сам Бадмаев. Сажусь напротив, здороваюсь, а он на меня даже не смотрит, глаза-щелочки, лицо огромное, каменное. Пробормотал он свои заклинания, покормил, как у них полагается, своих духов брызгами с пальцев и начал есть. А меня что дернуло? Только я тоже вдруг перекрестился сам и перекрестил стол. И Бадмаев подавился. Стал задыхаться, покраснел и упал под стол. Хорошо в зале врачи были, откачали. Но все буряты вокруг поняли: мои «покровители» посильнее его. И с тех пор не трогают. Боятся, что заколдую, пока, по крайней мере, боятся… Вообще, это еще одна великая ложь, что буддизм — мирная религия. Никакой этой пресловутой веротерпимости к другим у них нет, христиан они люто ненавидят, люто…

Обратно двигались медленно, нам с непривычки тяжело давался сыпучий подъем. Поэтому наверху седловины опять отдыхали, восторженно озираясь по сторонам на широко открывающиеся серо-голубые дали каменных гребней. А Георгий не замолкал, доставая из своих тайников новые и новые откровения:

— Вот вы, оказывается, тоже в Молдавии были, и тоже в Кишиневе. А у меня там как раз самый главный перелом в жизни произошел. То есть, я еще долго внешне продолжал свою обычную жизнь, но именно там во мне родился какой-то новый «я», который постепенно рос и

вытеснял прежнего. Пока однажды я вслух себе не сказал: я и есть этот «я»! Странно звучит? Но понятно… Я ведь офицер запаса. И не просто офицер, а контрразведчик, особист. Особо доверенный боец невидимого фронта с империализмом. С любой чуждой социализму идеологией. А в Кишиневе, и именно через Сынжеру, к вере пришел. Это было в 1976 году. Да, я тогда закончил академию и угодил в Бессарабскую ссылку. Но моя невольная «экскурсия по Пушкинским местам» все же гораздо была приятней, чем светившая «по Ленинским» в Сибири. Дело получилось так: моего шефа из Саратова, где после училища несколько лет служил и я, забрали преподавать в Москву, и он через год вытянул меня к себе на учебу, с вариантом там и остаться. Да, Москва, Москва. Как много в этом звуке… Человеку абсолютно без родственных связей шанс сделать в столице карьеру был один — диплом с отличием. Вот я и старался, грузил себя по полной. Режим расписал по минутам, тянул, как олимпиец, без единой поблажки. Но ни одной «четверки» за все время себе не позволил. Только «отлично». Личная жизнь отсутствовала полностью. Что делала в это время моя супруга, меня совершенно не интересовало. То есть, мне казалось, что она, как жена офицера, просто обязана обеспечить мой тыл в такое напряженное время. Хозяйство и ребенок, опять же, как мне казалось, должны были быть на ее плечах, пока я не сделаю этот свой прорыв. Мы же вместе мечтали о Москве…

Короче, когда я впервые обнаружил у нас в общежитской комнате странную самопальную книжонку про какую-то чайку, то не обратил на нее ровно никакого внимания. Потом самиздат стал появляться все чаще: «Письмена» Рериха, Кришнамуди, Папюс. Появилась и некая весьма ведьмообразная подружка, вся в каких-то огромных бутафорских перстнях, которая упорно со мной не разговаривала. А затем я увидел на столике жены фотографию смуглявого волосатика. Попробовал походя обсмеять ее позднее увлечение рок-н-роллом, но вдруг получил такой горячий и злобный отпор, что невольно заинтересовался. Выяснил, что это фотография никакого не певца, а «учителя», и что она уже с полгода ходит на занятия по релаксационной гимнастике, саморегулированию и йоге… Виноват, конечно, но я запаниковал и сорвался. Мне бы нужно было спокойно попытаться оценить сложившуюся обстановку, найти новые формы для доверительного разговора — ведь не враг же был передо мной, а все еще любимая женщина! Но я был тогда на пределе, а эти ее дурацкие игры с диссидентствующими экстрасенсами могли стоить мне всей карьеры. Ведь кто мог подумать в те времена: жена особиста — и йога! Это было равносильно предательству Родины. Посему я и сорвался, решил разом все отсечь. А отсек только себя. Она на какое-то время затаилась, попрятала все от меня. Тем более, это с моей-то занятостью было нетрудно. А когда я пошел на защиту, то вдруг заявила о разводе. Дочь ею предварительно была уже отправлена к теще. Меня как лавой обожгло. До угля, до пепла. В общем, все разом рухнуло, все вмиг стало бессмысленным. Даже не карьера, а сама жизнь… Лучшее, что мог сделать для меня шеф, это был Кишинев. А то я вообще мог бы поплевывать с какого-нибудь бережка в море Лаптевых. Представляете, как я, убежденный и научно подкованный материалист, тогда относился ко всем религиям без разбора…

В офицерском общежитии военного городка я оказался соседом такого же недавно разведенного подполковника. Я тогда майором был. Первое время, пока принимал дела от предшественника, знакомился

с оперативной обстановкой, было не до общения. Однако рано или поздно появились и свободные часы. Ну, понятно, дело холостяцкое. Но ведь и не молодое — с юнцами по девчонкам, с лейтенантами, мне уже неудобно бегать было. Вот я и стал к соседу удочку подбрасывать: в ресторан, там, на пляж вместе прошвырнуться. Причем в почти приказном порядке: «ты, мол, город знаешь, вот и веди». В его душевные проблемы я тогда погружаться и не собирался. Опять же вспомнить время нужно — особисту просто так в лоб в дружбе не отказывали, за это можно было перед пенсией и в Забайкальский округ загреметь. Поэтому наш интерес ценили, заигрывали по любому поводу. Но вдруг он от меня и так и сяк стал откручиваться, все какие-то уважительные причины находил. А меня, как только понял, что он мутит, скрывает что-то, словно заело: ах ты, ну, погоди, думаю, все равно разожму. И начал разжимать. Но никак не получалось. Уже и в лоб ему смеялся: «Может, у тебя с этим делом что не в порядке? Вот жена и сбежала». Смотрел, как он кривится от злости, но терпит. Дальше больше, уже и при свидетелях стал подкалывать, хамил как мог. Понятно, это я свою боль от развода на нем отыгрывал. Да так его безответностью увлекся, что даже забывать стал, с чего цепляться начал. Ну и все-таки достал его в конце концов. Он мне и говорит: «Одевайся в цивильное, пойдем в один погребок на Ленина». — «Дегустационный? Повыше главпочтамта?» — «Угу». — «Заметано!» Выехали в город, прогулялись по центру. Спустились в тот погребок, сели. Он сразу по полной коньяку наливает. Славный, помню, был «Кодру», дорогущий, но густой и темный, как шоколад, стоил своего. Мы его залпом, как на дуэли. И сразу же по второй. По третьей. И пошли помаленьку откровения. Сидим в подвальчике, пьем молча, а когда как бы покурить наверх выходим, то вначале чуть не шепотом, а затем уже и матом друг друга во весь голос. Матом, конечно, я, а он просто орал. Начали с порядков армии, потом и «повыше» заглянули. Пошумим и опять вниз к молчанию. Но я чувствовал, что политика в нашей беседе — семечки. Вот и давил, давил на все возможные болевые точки, учили все-таки, пока он не раскололся, чуть не со слезой: «Что ж ты меня, мол, мытаришь? Другого объекта нет? Привязаться не к кому?» — «А чем, — спрашиваю, — твоя жизнь так особенна, что ты меня в нее впустить не хочешь? Ведь оба мы не одни погоны продырявили, оба с академиями, оба на возрасте бабами брошены и только фотокарточки детей с собой носим! Что тебе от меня скрывать?» — «От тебя всем всегда есть что скрыть». — «Ах, говорю, как ты про КГБ! Вот тебе слово офицера: все здесь как в могиле!.. Понятно, я, особист, для вас всех как поводок для собаки... Ну, а если бы ты на меня просто как на собрата по несчастью посмотрел? Мы же с тобой, поди, одни сны смотрим?» Тут он как-то странно, я это потом все время вспоминал, вдруг трезво посмотрел и говорит тихо-тихо: «Сны мы разные видим. Очень разные». Опять в зальчик спустились. Только теперь уже вино пили. «Негру де пуркар». Потом — снова курить. Тут он и бахнул: «Не могу я вот так просто по блядям ходить. Я в Бога верую». Я и просел. Как, советский офицер, подполковник с Академией — и в Бога?! «Да как ты можешь? Ты же не бабка с хутора?» Он вдруг захохотал: «Ой, — говорит, — а тебе и не понять! У тебя же профессия такая: никому и ничему не верить!» Хохочет не переставая, видимо, от страха передо мной истерика началась. А я, как петух спросонья: «Профессия у нас одна — служить Родине!» Он даже каблуками прихлопнул: «Все

теперь? Выяснил мои антисоветские настроения? Можно идти?» Уже отошел, но задержался и бросил почти через плечо, небрежно так: «Я тебя за слово офицера не держу. Плевать, надо, так стучи. Надоело вас всех бояться, все равно узнали бы».

Спустился я один и пью дальше. Дело к закрытию, все посетители уже повышли, а я пью. Цежу по капельке. Официант, потом бармен поупрашивали и вызвали милицейский наряд. Подваливают ко мне два молоденьких молдавана. И форма-то на них ну прямо сияет. Каждая пуговка, каждая лычка начищена. Да стоит ли про молдавских милиционеров объяснять? Счастливые, сейчас, думают, мы этому русскому оккупанту салазки загнем. Для верности ко мне даже не по-молдавски, а по-румынски обращаются. Чтоб уж наверняка ничего не понял. Тогда дубинок еще не полагалось, так они наручниками для устрашения перед глазами побрякивают. Я все пью. Только когда один меня за плечо схватил, я его на пол бросил, а второму в нос корочки сунул. Бедняга как прочитал, так на стену запрыгнул. И действительно русский язык забыл, только свое «мэй, мэй, мэй» лепечет. Такая вот власть у нас была… Я ведь к ней привык, другого отношения к себе и не ожидал. И как-то даже не пытался анализировать: что ты сам чувствуешь от общения с человеком, который полностью от тебя зависит? Полностью — не карьерой только, не деньгами, а собственно всей своей жизнью. У меня же в службе целая сеть сексотов состояла. Фиг его знает, но нужно действительно убежденно видеть себя только винтиком в государственной машине, абсолютно безличным функционером, четко осознавать давление вышележащих задач. А иначе тебя такая абсолютная власть разнесет, как глубоководную рыбу на поверхности. Но если вдуматься в природу этого давления: это же страх, элементарный, примитивный страх! И источник этого страха — компромат, то есть тайная грязь. Грех, по-церковному…

Проснулся утром в ужасе: ничего не забыл. Все, все как есть помню. Катастрофа. Ведь дело в том, что особист никогда на отдыхе не бывает. На рыбалке ли, на свадьбе ли, в бане — он всегда на службе. Есть такая обязательная для госбезопасности вещь — «дневник офицера» называется. Ты должен заполнять его на каждый день. И отдавать периодически на проверку, как школьник. А в нем обязательно фиксировать все встречи, все события и разговоры. Вплоть до интима. Ибо всегда нужно ждать встречной проверки или провокации от другого сотрудника… Вот проснулся я в то утро и застрял со своей тошнотой и головной болью, как витязь на распутье: а вдруг это и есть проверка? Наверняка ведь после того, что с моей женой произошло, решили подбросить мне близкую ситуацию, даже не особенно утруждаясь достоверностью: вот он, и сосед по общаге, и разведенный… Ну а с другой стороны, о чем они там думали, когда такую залепуху клеили: как может взрослый, высокообразованный человек, коммунист, и вдруг — верить? Во что? В бабкины сказки? Нет, слишком все вчерашнее казалось фантастичным. И вдруг я совершенно для себя неожиданно соврал. Написал: «Пили. Разговор был о женщинах». Слишком все фантастично было для проверки: подполковник и вера. И откровенность в первом же разговоре.

День проходит, второй, третий. Подполковник со мной только сухо здоровается. Вот я ему как-то опять дорогу перегородил и говорю: «Пойдем в тот подвальчик еще раз?» А он зло: «Что, задание получил? Вербовать меня будешь?» — «Пойдем в штатском. Я тебе за эти слова

там морду набью». Он аж позеленел: «С удовольствием…» Ну, опять тот же сценарий: пьем молча, курим громко. Только вот действительно, у наших разговоров все, даже эта самая политика, каким-то вдруг неожиданным боком показывалась: я про коррупцию, а он про смертную память, я про гарвардский проект, а он про смысл личности. И все это непривычно для меня вдруг раскрываться стало, не так, как по учебникам. Я и взмолился: «Достал ты меня, — говорю, — совершенно достал. Не укладывается все это у меня в голове. Двадцатый век — и религия. Покажи, как такое может быть? Я же достаточно книжек и про христианство, и про мусульманство, и про буддизм прочитал. Был повод… Как, как в это можно верить?! Покажи мне «это» — эту твою веру, какая она? С чем ее едят?» — «Это тебе нашу «цепочку» выявить надо? Захотел за раскрытие антисоветского заговора орден получить и в Москву вернуться?» — Тут я ему и врезал. А он встал, только головой помотал, и без злобы, только с какой-то обреченной тоской: «Ты сам-то понимаешь, чего ты от меня просишь? Это ведь я уже не собой, а другими, близкими мне людьми рискую…» И тут-то меня пробило. Словно чем-то все вокруг осветило, словно я со стороны увидел, какими-то чужими глазами: каким же я дерьмом для людей представляюсь, если от меня ничего, кроме обиды и горя, уже не ждут. Боятся. Ненавидят и боятся. Да я и сам в этом же страхе по самые уши. А может, даже и поглубже всех, вот и травлюсь своей желчью. Вспомнил, что и жена при прощании точно как на зверя смотрела. Да что же это за жизнь, в конце-то концов? А может быть, я и в самом деле уже зверь? Вот стоим мы друг напротив друга, дышим лицо в лицо и боимся, до пота, до истерики. Но подполковник при этом не злится. Почему? А я? Что же я? «Прости, — говорю ему, — прости меня. Ударь. И дай мне шанс. Вдруг и я человеком смогу быть». А он вдруг перекрестился, — я аж отпрянул, в первый раз так вот близко от меня истовое крестное знамение совершалось, — и говорит: «Хорошо. В воскресенье пораньше будь готов».

После этого я опять записал в дневник: «Пили. Говорили о женщинах».

В воскресенье он часов в шесть стучит ко мне, а я с четырех на ногах. Оделся как на рыбалку. Он посмотрел на торчащую из пакета катушку складного спиннинга, хмыкнул, но ничего не сказал. Садимся в автобус. Потом в другой. Он только косится, как я профессионально оглядываюсь, но не комментирует. Доехали до конечной. Потопали по серпантину в горку. Вокруг глухие заборы и ни души. А мне все слежка мерещится. Уже десять раз себя проклял, что напросился. Идем, идем, и вдруг — она, церковь! Бело-розовая, как игрушка… Вошли в калитку, подполковник спрашивает: «Крещеный?» — «Да откуда я знаю? Скорее всего, нет». — «Но все равно перекрестись». — «Зачем?» — (Как будто смеется.) «Ты в разведке в тылу врага. Для маскировки». Конечно, я чуть было не повернул, но потом все же понял, что это он свой страх передо мной бравадой перекрывает. Ладно, думаю, поскребись. И возложил на себя впервые крест — слева направо... Входим в храм, а там росписи, росписи какие! Господи, такая красота, что у меня голова кругом пошла. Это же Пискарев расписывал. Ну да кому я все говорю? Вы же это все реставрировали. Но я-то тогда ничего про этого художника не знал. Вроде бы на Васнецова похоже, но только все легкое, лиричное. А из-под купола Христос встречным вопрошающим взглядом просто насквозь пронзает. Я кое-как рот закрыл, опустил взор — стоит передо мной невысокенький священник в подряснике, от своей свечи лампадки

зажигает. На меня смотрит неласково, а подполковник ему что-то на ухо нашептывает. Священник выслушал, кивнул и ушел в алтарь. Подполковник меня за рукав ввел на солею, и мы встали на левый пустой клирос. Так, чтобы нас из храма за большим киотом не видно было.

Как шла служба, я не помню. Она же в основном на молдавском языке была. Только помню, что ужасно затекли ноги и отламывалась поясница. Стоял и ругался про себя: стоило ли ради такого вообще тащиться сюда в законный выходной и при этом так рисковать судьбой? Хоть бы что-нибудь понимать. Или бы хор как-нибудь красиво звучал, а то разваливается по любому поводу. Но вот покошусь на подполковника, а он стоит с закрытыми глазами, весь в струнку вытянулся и аж светится. Какая-то улыбка блаженная. Нет, думаю, это я, наверное, действительно такой урод, родился без какого-то органа, вот и нечем «это» прочувствовать. Люди вон вокруг ведь чему-то радуются, и искренне. А я как глухой на концерте или слепой на футболе. Совсем от таких мыслей засмурел, даже забыл, где стою, как все вдруг кончилось. Мой поводырь за рукав опять тянет: «Пройдем, пока они отпевать будут. Нас не заметят». Пройдем так пройдем. Вышли во двор. «А когда, — спрашиваю, — опять приедем?» — «Что, понравилось? Слава Богу, а то обычно в первый раз все как-то не так кажется. Это отец Константин для нас «Отче наш» на русском читал». Я молчу. Думаю: понравилось или не понравилось, об этом и речи нет. Главное, что я вообще не понял: что же тут в принципе должно нравиться или не нравиться? И именно этого своего непонимания и не могу теперь оставить — я просто должен «это» понять. Иначе окончательно самоуважение потеряю. «Так когда?» — «В следующее воскресенье готовь свои удочки. И червей накопай пожирнее». Ну-ну, думаю, а ты, оказывается, действительно с юмором.

Поехали мы и в то воскресенье, и в следующее. Два года ездили, пока нас судьба не разбросала. Но я так и не понял: от чего он на службе блаженствует? У меня в лучшем случае от привычки только ноги болеть перестали. И еще — отец Константин в первые полгода, когда мне особенно тяжко все было, так со мной ни разу ни о чем и не беседовал. Сухо поздоровается, благословит и уйдет. Не доверял, долго не доверял. Даже когда крестил, и потом, когда впервые исповедовал, то тоже только выслушивал. И все. Но главное было не в этом. После первого же посещения храма мне стало сниться. Это...

Мы почти спустились к реке. Георгий оборвал речь, оглянулся назад. Потом чуток помолчал, склонив голову набок, словно к чему-то прислушивался через плещущий гул перетираемого валунами потока. И продолжал уже без улыбки:

— Им же тогда до гребня только метров пятьдесят оставалось. Их трое, а я один. Я был на противоположном склоне, немного ниже их уровнем. Пока бы спустился, пока поднялся — и следа бы не осталось. Но это я потом осмыслил. А тут, скорее всего, какой-то азарт сработал. Они, мол, надеются уйти, а я по инструкции прав, и мне очень удобно целиться. Помню, все помню: как планку на прицеле на 100 метров поставил. Как ногу выставил, плечо поднял. Все как учили. Первого и второго практически сразу насмерть — в позвоночник. А третий, он уже почти на самом верху уже был, на самом верху… И зачем-то оглянулся… Я вдруг как в каком-то кинообъективе увидел приближение. У него было бледное в конопушках лицо и оскаленные зубы. Это лицо мне показалось совсем рядом, совсем. Молодой, наверное, мой ровесник.

А выстрел сам произошел… Мне же тогда восемнадцать лет было, я первый год служил.

Ну так вот, и стало мне это лицо через двадцать с лишним лет сниться. Оно только скалилось, стучало зубами и становилось все больше и больше, пока не заполняло собою все. А потом вдруг распадалось на сотни, тысячи оскаленных лиц, нет, уже не лиц, а голов! И все они вцеплялись в меня зубами… По несколько раз в ночь этот кошмар повторялся. Просыпаюсь, вскакиваю весь мокрый, даже, наверно, с криком. Только успокоюсь, засну, и — опять! Потом уже просто стал бояться ложиться. Дремал сидя, с включенным светом. Смешно? Мне было не до смеха. Днями как вареный, служба побоку, есть не могу, а к вечеру — ужас от неминуемо предстоящих картинок. Хоть психиатрам сдавайся. Но — нет, думаю, это всегда успею. Для начала стал сам за собой следить. Причем уже не исключал из внимания ничего, даже внешне абсурдного. И тут я заметил: когда я в храм в Сынжеру съезжу, то после этого две-три ночи более-менее сплю. Для эксперимента попробовал пропустить одно воскресенье. Результат оказался более чем плачевным, и на следующую литургию я просто пулей летел. До того докатился, что уже перестал конспирацию соблюдать. И в дневник ничего вообще про свои воскресные отлучки даже не писал. Когда спохватился, ахнул: как же меня ни в чем никто до сих пор не заподозрил? Ну, думаю, значит, я уже в таком доверии, что меня и не проверяют. А того сообразить не хватало, что отец Константин, хоть со мной и не разговаривал, а каждый день за меня молился. И эта его молитва и покрывала меня в моих конспиративных оплошностях. Но это я с ним потом, уже перед самым моим отъездом все прояснил. Тогда уже у нас доверительные беседы пошли.

Мы стояли в той же лощинке, на том же месте, откуда начали свое утреннее путешествие. Нужно было прощаться, и не хотелось. Обменялись адресами. Похвалили погоду, поделились зимними планами. Последний вопрос: а как насчет блаженства? Радости от церковных служб?

— А, это! Этого, пожалуй, так и не случилось. Выйдя на пенсию, я достаточно поездил. И по святым местам. Семьи-то у меня больше не получилось. Много храмов видел, много священников. Были и росписи, и хоры замечательные. Монахи. Но нет, я не хотел бы смешивать эстетическое наслаждение с тем… С чем «тем»? Да с тем, что мне так, видимо, и не будет дано почувствовать. То есть, два раза, когда я оказывался на богослужениях, проводимых в Псково-Печерском монастыре отцом Иоанном Крестьянкиным, я вроде бы и ловил в себе некую необъяснимую сердечную радость. Но можно ли это состояние назвать благодатным? Гадательно. Это могла быть и просто теплота от всеобщего настроения праздника.

А с другой стороны, разве это не благодать: когда ты хоть немного от страха освобождаешься? Хоть немного?

ЕКАТЕРИНА ПОЛЯНСКАЯ

Раскаляясь любовью

* * *

Когда Фонтанки вспухшая вода
В безмолвии пугающе-несытом,
Как будто часа ждущая беда
Шевелится под вздыбленным копытом,

Когда в обнимку пляшут свет и тьма,
На бронзовой уздечке удавиться
Тут можно. Или нет — сойти с ума
И дальше жить. Никто не удивится.

И на мосту, средь скачущих теней,
Где все и вся равны и равно ложны,
Не так уж сложно удержать коней,
И только напоить их — невозможно.

* * *

Когда революция выжрет своих
Детей — романтичных убийц, поэтов,
Идеалистов, и память о них,
Что называется, канет в Лету,

Когда уйдут ее пасынки — те,
Которые, выйдя откуда-то сбоку,
Ловят рыбку в мутной воде
И поспевают повсюду к сроку,
Когда сравняются нечет и чет,
И козырь — с крапленою картой любою,
И обыватель вновь обретет
Счастье быть просто самим собою,

Когда добродетели, и грехи,
И неудобовместимые страсти,
В общем раздутые из чепухи,
Станут нам непонятны отчасти,

Когда перебродит в уксус вино,
И нечего будет поджечь глаголом,
Придет поколение next. И оно
Выберет пепси-колу.

* * *

Боящийся несовершенен в любви.
Первое соборное послание Иоанна
Богослова, 4:18

Плачет рожденный в еще не осознанном страхе,
Вытолкнут в мир непонятно за что и зачем.
В смертном поту, в остывающей липкой рубахе
Кто-то затих, от последнего ужаса нем.

То, что выходит из праха, — становится прахом.
Между двух дат угадай, улови, проживи
Эту попытку преодоления страха —
Жизнь, где боящийся несовершенен в любви.

* * *

Не печалься, душа. Среди русских воспетых полей
И чухонских болот, пустырей обреченного града
Ничего не страшись. О сиротстве своем не жалей.
Ни о чем не жалей. Ни пощады не жди, ни награды.

Нас никто не обязан любить. Нам никто ничего
В холодеющем мире, конечно, не должен. И все же,
Не печалься, душа. Не сбивайся с пути своего,
Беспокойным огнем ледяную пустыню тревожа,

Согревая пространство собою всему вопреки,
Предпочтя бесконечность свободы — законам и срокам,
На крыло поднимаясь над гладью последней реки,
Раскаляясь любовью в полете слепом и высоком.

Фото Сергея Усовика.

АЛЕКСАНДР ШИШКИН

Что за душою?

* * *

Простите квадрату квадратность
И кругу простите округлость:
Ведь снег в геометрии — танец,
Помноженный ветром на глупость.

И в этой сумятице чисел
Есть точный преобразователь
Из жизни мгновенной — до чистой
И вечной последней кровати.

* * *

Смерть приходит на равных
С жизнью. Трогает за плечо.
Левое, где черт.
Или правое, где Ангел.
Это кажется — обречен,
А на самом деле вправе
Жить, чтобы потом горячо
Любимым, как сам любил,
Остаться (неважно в каком обличье),
И короткое слово — «Был» —
Теряет время и условность кавычек.

* * *

Как ни верстай, не наверстаешь
Стихов упущенную выгоду
И ту, протертую местами,
Простертую под небесами,
Залистанную жизни книгу,
Что улыбается и держит
Без косточки в кармане фигу,
Что хмурится в тоске и свежий
Букет протягивает снежный,

Фольгою шебуршит фонарной,
О стекла разбивает гравий,
Она судьбой играет в нарды
И что-то на ухо картавит,
И улыбается, и плачет, —
Не разберешь. И слава Богу.
Спасибо, что билет оплачен
Не на обратную дорогу.

* * *

И не найти успокоения —
В холодном облаке над озером,
И в покосившемся строении,
Подпертым ветхою укосиной,

В порывах ветра с рябью серою
И влажным запахом, пропитанным
Дымами, травами и верою,
Как дождь, над головою бритою,

В намоленной и набормотанной
Любви, что не простит отчаянье,
И женщине, что жизнью полною
С тобою прожила случайно.

* * *

Что за душою? — помнишь сны,
Где все, что были рождены
И умерли. И те живые,
Кого не видел столько лет.
Которые меня забыли.
Кого забыл. Там на стекле
Пишу, дышу, души не чая, —
Что в ней? Не ведаю я сам.
И не моя она — чужая...
Откуда взял? Кому отдам?

ЕЛЕНА ПОПОВА

Послание

Повесть

Голова его покачивалась, плыли видения…

Когда голова окончательно падала на грудь, он встряхивался и на мгновение открывал глаза. Потом все начиналось снова.

Это был тот самый Беринг, которого в энном году, в его пятом баснословных лет классе окрестила и обозвала «Берингом» молодая учительница географии, за то, что он не мог отыскать Берингов пролив. Он, изнемогая, мылился у карты, тыкая указкой куда-то в район Африки. Он многое знал к тому времени, но этого почему-то не знал и жестоко страдал тогда у доски. Только с годами он понял, что сколько бы ты ни знал, еще больше того, чего не знаешь. Так что никогда не стоит особенно уж гордиться.

— Ступайте на место, Бе-ринг! — сказала учительница язвительно, она была молода и от этого жестока, училка-мучилка.

Звали Беринга — Вовой, фамилия отца была — Тимофеев. Эти звукосочетания казались ему довольно невнятными. Беринг — нравилось больше. Против новой клички он не возражал.

Был он среднего роста, может, и не из красавцев, но мать всегда говорила, что он напоминает одного французского артиста, который ей нравился. Так что его внешность его устраивала.

Когда Беринг последний раз открыл глаза, они уже въезжали в город. Дома встали неожиданно, зубчатой крепостной стеной. День был пасмурный, теплый и мокрый. Рядом стоял гаишник, лицо его было совсем близко, хоть он лез в машину не с его стороны, а со стороны Крулацкого. Лицо это было землисто-серым и относилось скорее к самому неприятному для Беринга типу — маленькие, глубоко посаженные глаза и тяжелая, вытянутая челюсть. Что-то среднее между обезьяной и лошадью. Но он был человек и, наверное, имел то же, что и остальные. Семью, детей, квартирку, унитаз, родственников, мечты о лучшем, водочку в холодильнике и в разгар затянувшихся праздников, под утро, в похмельный час волка, страх исчезновения всего этого, короче, страх смерти.

Крулацкий ушел с гаишником и долго не возвращался. Крулацкая нервничала.

— Что они там? — она вцепилась в плечо Беринга и стала трясти. — Иди, посмотри!

Крулацкая была двоюродной сестрой матери Беринга. Как в таких случаях принято называть, Беринг не знал, он слишком редко ее видел. Звал просто — тетя. У одного из знакомых Беринга никакой тети не было, но от этого он не был счастливее его.

Тетка трясла его за плечо и требовала вмешательства в обстоятельства жизни. Беринг делал вид, что спит, так он и вправду спал. Крулацкие заехали за ним в пять утра. Чего она хочет? Полная тетка с усилием выпихнулась из машины и направилась к будке ГАИ, напоминавшей стеклянную избушку на курьих ножках.

Наверх вела крутая лестница. (Неужто гаишники влетают туда на метле?) У лестницы тетка стопорнулась, видимо, решая, — подниматься или нет, в смысле — рисковать ли жизнью. Метлы у нее, понятно, не было, а какая метла выдержала бы ее вес? Короче, тетка стопорнулась в поисках метлы. Но тут нужда карабкаться по лестнице отпала сама собой — сверху уже спускались Крулацкий с гаишником.

— Уро-ды! — скрежетала тетка всю оставшуюся дорогу.

Беринг понял — Крулацкий переплатил. Но это были не его проблемы. Может, тетка рассчитывала, он войдет в долю? Напрасно. Пусть Крулацкий сам отвечает за свою тупость, или за свою лихость, или за то и другое вместе.

В наказание Беринг сам тащил привезенные тюки на свой четвертый этаж без лифта, а Крулацкий смотрел ему в след с обидой, агрессивной и эмоционально окрашенной.

Впрочем, что ему до них? Беринг вернулся домой, хлебнул холодного скисшего молока из холодильника и завалился спать.

Они ездили на дачу его деда.

— Дело тупняк, — как-то сказал Гера, его старый друг, вообще-то такой же придурок, только постарше. — С одной стороны, мы вроде интеллигентные люди, да? Ведь мы интеллигентные люди? Или мы не интеллигентные люди? Ну, в каком-то смысле… Без максимализма. Потом мы христиане. Мы христиане? Ты признаешь Христа? Кроме того, это главное — мы генетические христиане, хоть пару поколений Он и был в опале, на задворки сослан, как все приличные люди. Короче, мы — интеллигенты и генетические христиане. Мы, вроде, должны видеть в каждом соплеменнике человеческую личность. Любить, чтить, уважать… И вот тут уже начинается конфликт. Да? Потому что мы же с тобой не полные идиоты, мы знаем, что вокруг нас, в основном всякая сволочь и классические дураки.

— От количества зависит, — Беринг сказал что-то вроде этого.

— Каждый по себе вроде, и ничего, верно… А когда вместе?

— Химия, — сказал Беринг.

— Химия, — подтвердил Гера.

Беринг вспомнил Крулацких, с другой стороны, что тут вспоминать — родственники, люди особого племени.

Беринг работал дизайнером в одной маленькой, тухлой фирме. Она регулярно дышала на ладан и так же регулярно, как маленькое, упорное, жизнелюбивое животное, опять возрождалась, вылезала из норок, щелей, дырок от бубликов, отплевывалась от песка, ила и всякой дряни и ползла себе дальше.

Они были универсальны — делали визитки, фирменные знаки, лейблы, свадебные фотографии, шаржи и даже эскизы к гравюрам на могильных плитах. Не все ограничиваются скромными, лаконичными надписями — родился — умер, кто-то хочет покруче — виньетки, портреты, а кое-кто по примеру древних египтян уже начал заказывать картинки из жизни усопшего — сбор урожая, свадьбы, трапезы, защиту диплома… В аллегорическом смысле, конечно, обобщенно.

Работодателем Беринга был его однокурсник, Сенька Сторожев. В академии они не дружили. Но если не обращать внимания на некоторые неприятные черты его характера, парень он был сносный. Поэтому когда он предложил с ним (точнее, у него) работать, Беринг согласился. В тот момент это было для него спасением.

В тот момент Беринг был на полной мели. Его Томка, жена, тоже однокурсница, за два месяца до этого собрала вещички, заграбастала несмышленого, оттого лишенного права голоса сына Федю и свалила к одному из своих старых ухажеров. Кажется, они учились в одном классе. Это понятно. Томка из тех, кто не выходит из круга. Беринг не сомневался, — последним ее мужем будет какой-нибудь плешивый старичок из дома престарелых. А ведь она там будет доживать свой век. Сын Федя вырастет и, как Гамлет, принц Датский, ей отомстит за отца, хорошего, в сущности, человека. Нет, он не будет ее оскорблять, бросать в лицо жестокие слова. Наказание будет соответствовать преступлению. Ведь «ухажер» не лил Берингу в ухо какую-нибудь ядовитую дрянь, застав на диване в спящем виде. Она Беринга просто бросила, одного, в трудную минуту… Вот так и сын ее бросит. Дом престарелых, мстительно думал Беринг, ей гарантирован.

Месяца два Беринг злоупотреблял, — где, с кем — теперь и не вспомнить. Шел как-то вне времени и пространства на ногах не твердых, но еще своих, тогда и встретил Сеньку Сторожева. Вряд ли Сенька его пожалел, типа — милостыню подал. Это было не в его характере. Просто он знал сильные стороны Беринга. Сильные стороны Беринга плюс сильные стороны Сеньки — вот вам и фирма.

Кроме них был еще третий человечек — Адка Грибина, художница по костюмам. Кличка у нее была невообразимая, нецензурная, на букву П. Когда она появилась, кличка, — в академии или до нее — никто уже и не помнил. Но ей дико подходила. Эта и никакая другая. Не потому, что она была такая уж страшная, хотя где-то и страшная, конечно. Вообще, красота вещь малопонятная. Бывает все правильно, а ничего хорошего. А бывает, природа налепит вкривь да вкось, а все вместе очень даже и симпатично. В этом смысле Грибиной не повезло. Глядя на нее, почему-то приходила мысль, четко высказанная на воротах Дантова Ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Она была существо без пола, не парень и не девушка. С какой-то стороны это было даже удобно — трешься, трешься целыми днями, как о стену, — никаких соблазнов. Они даже спали вместе, когда бывало много работы и приходилось засиживаться до глубокой ночи, так и спали на полу, на ее старой шубе.

Ютилась их тухлая фирма в однокомнатной квартире, доставшейся Сеньке от бабки. (Став ее обладателем, он тотчас решил завести фирму.) Комната — четырнадцать метров, кухня — пять, коридор почти отсутствует и совместный санузел. Когда его несчастную бабку по причине каких-то сложных семейных разборок туда поместили, она уже почти не ходила, так что эта квартирка была для нее просто дворцом. Им же, которые ходили еще неплохо, в ней было тесновато.

Сенька безжалостно вытряхнул все бабкино барахло и вместо него купил три уцененных письменных стола и два компьютера. Лучший компьютер (Макинтош) он, естественно, взял себе. Берингу достался скромнее. Адке Грибиной (они называли ее — Адель) вообще никакой не достался. В свободное время ее допускали на час или два к одному компьютеру или к другому, а так она вела бухгалтерию, все эти приходы-расходы, делала эскизы, наброски и прочее (которые Сенька потом нещадно переделывал) и осуществляла связь с заказчиками. Когда по телефону, когда просто пилила в указанном направлении, так сказать, взяв ноги в руки, со своим покрасневшим длинным носом, если дело было зимой, с мокрой прядью волос на все том же носу, если дело было летом. Скупой Сенька не разрешал ей даже пользоваться маршруткой. Но платил он им регулярно. Может, не так и много, но вполне в пределах бытовавшей тогда нормы, и тогда же, из того же конверта на их глазах брал

себе. Так что мелкие грешки они ему прощали. Надо уметь ценить главное. Они ценили главное.

А когда, порой думал Беринг, на свете не бывает кризисов, войн, революций, смертей и смертельных болезней, в конце концов — экстремальной погоды? В X веке, например, Европу заливали дожди. Это с тогдашними-то дорогами! Если сейчас дороги не ахти, то что говорить тогда. Надо думать, вообще бездорожье. Потом земледелие… Конечно, примитивное. Все-таки X век, хоть и в Европе. Короче — неурожаи, падеж скота, голод, толпами бродят разбойники, а несчастный люд от всего этого бежит спасаться в монастыри. Был во Франции такой знаменитый монастырь, Клюни. Как-то Беринг с большим интересом выяснил, как там жили монахи, что ели-пили, как проводили свои длинные средневековые дни… Вроде и неплохо жили, образно говоря — «под звон погребальных колоколов». Там даже клозеты были вполне приличные, тогда как всякие титулованные рыцари со своими женами и детьми по дикости своей все еще бегали из своих замков оправляться в кусты. Да и вообще, грубияны были еще те.

Вот и Беринг с Аделькой тоже нашли монастырь, свой Клюни в своем средневековье и по благословению Конфуция (подите поживите в эпоху перемен!) в нем укрылись. Беринг после своего разлада, разрыва, развода с верной подругой Тамаркой, которая поддерживала его всегда и во всем — когда его травили в академии, когда ругался с родителями, когда попал в милицию, сунувшись как-то не туда, куда надо, когда с сиреной и мигалкой везли в больницу на «скорой помощи» с подозрением на острый аппендицит. Всегда она была рядом. Но бывает, одно качество сменяется другим, полностью противоположным. И верная подруга Тамарка стала в один прекрасный момент неверной подругой… Хоп! И исчезла из его жизни. Бог ей судья, — порой великодушно думал Беринг.

Ну а Адель, Ада, Аделаида? Отчего бежала она? Да просто от своего фатального одиночества. Ей было уже тридцать шесть — на несколько лет больше, чем Берингу, — и она, возможно, до сих пор оставалась девственницей. В эпоху перемен, во время всеобщей распущенности нравов. И на этом фоне в тридцать шесть лет оставаться девственницей? Влечения к женщинам за ней тоже не замечалось. Оставь надежду всяк туда входящий…

Под прикрытием генетически одаренного иудея Сеньки Сторожева жилось им совсем неплохо. И Беринг вовсе не завидовал своему старому другу Гере Корнейчуку, хоть тот и работал в гораздо более крутой фирме и зарабатывал куда круче, и даже уже был членом Союза дизайнеров. С чего это такой фарт? Герка с академии был сухим и зажатым, наверное, от этого, чтобы расковаться, он и уходил временами в глубокий запой. Но его родной дядя занимал в этом самом союзе руководящие должности, да и вообще имел связи, так что режим особого благоприятствования был ему обеспечен. Беринг не завидовал — каждому свое.

Несмотря на то, что Гера был упакован лучше, Беринг считал его таким же придурком, как он сам. Их жизни почти не отличались. Гера тоже жил без жены и без быта, и жена от него тоже ушла в порыве свободного волеизъявления, только у него уже давно, а у Беринга недавно. Конечно, мелькали у Геры время от времени какие-то «герл», мелькали и исчезали бесследно. Постоянной была только Светка — продавщица в бутике и по совместительству модель в Доме моды. Но и она, бывало, исчезала надолго, перед тем заявив, что Корнейчук — скотина. Через время она появлялась — тихая, робкая, преданная, мыла Корнейчуку засранную квартиру, пекла что-то, что-то стирала, гладила, но постепенно голос ее начинал крепчать, и все крепчал и крепчал,

чтобы в один прекрасный момент преодолеть все тормоза и заслоны и возвыситься до высокого, праведного гнева: «Корнейчук — скотина!!!» И опять она сваливала, уходила в далекий поход под названием — женский поиск.

Вот такой был у Беринга «ближний» круг, когда тетка повезла его на дедовскую дачу.

Беринг не был сиротой, оба его родителя были живы. Но сиротой он себя почему-то часто чувствовал… Ребенком, а потом подростком он был уверен, что у него вполне счастливая, нормальная семья, как у всех. И у родителей все как и должно быть. Святое семейство — папа и мама. И когда в год его поступления в академию родители развелись (словно только этого события и ждали), Беринг просто офонарел. Отец тут же завел себе новую семью, вернее, тайная его семья стала явной, а мать еще долго переживала, но и она как-то на курорте встретила своего Витька (это Беринг его прозвал — Витек, с ударением на последнем слоге) и уехала к нему в Питер. Прописалась там же, в горячке выписавшись из квартиры.

У отца уже был к тому времени маленький ребенок, и по совести, Беринг должен был с ним поделиться. Беринг поступил по совести и разменял свою, вернее, когда-то именно отцом полученную хорошую квартиру — отец был профессором. Кое-что Беринг потерял, конечно, это что-то исчислялось в квадратных метрах, зато сохранил отца. Нужно это было ему или нет, он и сам не знал. Это он теперь так думал. Они уже слишком редко встречались. Жена отца его не любила и таки добилась своего — как бы не было его в отцовской жизни. А в его жизни, наоборот, не было отца. Но тогда он просто поступил по совести

С матерью и ее новым мужем (Витьком) в первые годы их совместной жизни они были ближе. Витек был младше матери почти на семь лет, и мать этим гордилась. Так, парень он был ничего… В отцы Берингу не напрашивался. Да и что Беринг? Берингу с ним не жить. Тогда мать еще часто приезжала, приводила в порядок его одежду, забивала холодильник продуктами, но это еще до размена. На третьем курсе Беринг женился на Томке, тогда и разменялись. Вроде в это же время подорожали железнодорожные билеты, или это было уже потом… Ведь, когда родился Федька, мать тоже приезжала, а билеты все дорожали и дорожали. Короче, к тому времени, когда тетка потащила Беринга на дачу, Беринг не видел свою мать уже давно.

А дело было в том, что мать Беринга с помощью тетки, двоюродной сестры, продала дачу своих родителей, деда и бабки Беринга. В свое время мать была против размена квартиры — отец тогда был ее враг номер один, — так что при обмене они с отцом мать как бы обделили. Теперь деньги за дачу она забрала целиком и с Берингом делиться не собиралась. Потом она вообще уже считала, что ему пора научиться выживать самому, без всяких подпорок. И Витек ее в этом только поддерживал. Беринг не обижался. На дачу же он поехал с другой целью, с большой неохотой. Тетка просто вытащила его из постели, в пять утра, и все только для того, чтобы он там взял что-нибудь. Ведь что-то же связывало его с этим маленьким кусочком земли, с этим старым двухэтажным строением… Вот-вот там появятся другие люди и остатки никому не нужного семейного барахла сожгут на костре.

Беринг ходил по давно разоренной даче, по рассохшимся половицам, которые истоптал когда-то в своем счастливом детстве, но ничто в его душе не дрогнуло. Возможно, было бы ему лет восемьдесят, на этом месте он бы и обливался старческими сентиментальными слезами, но ему было еще далеко до восьмидесяти — так что он видел только то, что видел — старую рухлядь, запустение, развал, останки чего-то хорошо знакомого, но уже чужого. Бабку

и деда он любил, но после их смерти там почти не бывал, тем более, после этого все посыпалось, развелись родители. И даже когда он женился на Томке, и когда Томка родила Федьку, все равно они даже с маленьким ребенком почему-то там не бывали. И когда появлялась нужда, Томка скорее просто забивала огромный рюкзак всем необходимым и вместе с ребенком отправлялась за тридевять земель к своей матери.

Лучшее, понятно, тетка уже продала. Ей это было и положено за хлопоты. Берингу предлагались какие-то лампы, ножи, выцветшие покрывала, то есть предметы, совершенно его не интересовавшие. Потом тетка затащила его наверх, в мансарду, где у деда было что-то вроде кабинета и куда свезли все его книги. Тетка не знала, что с ними делать. Беринг тоже не знал, что с ними делать, — они валялись по всей мансарде — на самодельном столе, на полках, на полу, часть была связана стопками. Отдавать на сожжение каким-то дебилам, Германии тридцать четвертого года, средневековому аутодафе? Допустим, это слишком грандиозно. Будет только маленький костерок, вокруг которого полощет трусами, орудует палкой нормальный отец семейства, скромный благоустройщик своего тоже временного мира и его подруга по благоустройству, хлопотливая курица, пожирательница третьесортных женских романов. И этот маленький костерок будет гореть долго… К чему им дедовская библиотека?

Добрая часть книг рассыпалась от старости и перегрузок и была переплетена его руками — обернута в ситцевые одежды, возможно, из старых бабкиных юбок. Мало сказать, что книги были дедовой страстью, они были его пищей и его воздухом. Он собирал их всю жизнь, пока работал учителем литературы в школе, преподавал в техникуме, а потом в институте, написал один учебник и несколько пособий, как эту самую литературу преподавать.

Беринг сидел на веранде, где, кроме разломанного стола и лавки, уже ничего не было, и обозревал… Рассохшиеся доски, вечность не мытое, треснутое стекло, хилое растение, проросшее через дыру в плинтусе, дохлые мухи… Такая ободранная, раздолбанная реальность, не имеющая ничего общего с сияющим, праздничным миром его детства, который был здесь когда-то, миром, в котором все порхало, цвело, сверкало и лучилось. Даже если это была простая бабочка, капустница, на листе, обрызганном росой… Он смотрел на лужайку перед крыльцом, которую дед позволял засевать только травой, и думал, что именно здесь, на этой лужайке и будет гореть костер, на котором сожгут лохмотья прошлого и дедовы книги, конечно. Троя пала!

— Ладно, — сказал Беринг, когда из дома показалась тетка с пакетом, забитым какой-то утварью. — Я их заберу.

Часть книг они взяли сразу, да и потом тетка подбрасывала ему упаковку за упаковкой, когда отправлялась на дачу подбирать оставшиеся крохи.

Вот так Беринг и жил теперь — в окружении ближнего круга и дедовских книг, сваленных в прихожей в два рваных картонных ящика, из дыр которых они время от времени вываливались, да так и оставались лежать на полу.

Жил он, вообще-то, в каком-то смысле ужасно. Посуду мыл раз в неделю, обычно вечером в понедельник, чтобы не портить себе выходные. В остальное время на кухне у него всегда что-то скисало. Стирать, кроме самых мелочей, вообще не стирал. Как-то собрал к Новому году груду грязного белья, посмотрел, потыкал пальцем… и выбросил. Однако в целом, если не погружаться в быт, все было не так и плохо. Он даже имел приключение, которое звали Соня, не очень глубокое и ненадолго, но вполне полноценное. Имел и ладно. Работалось ему легко, уж не такой он был плохой дизайнер, чтобы не справиться со всеми этими визитками, лейблами и надгробными выкрутасами.

Их фирмочка была слишком непритязательна, чтобы преследовали рэкетиры или особенно зверствовала налоговая, так что и с этой стороны все было спокойно. С Сенькой Сторожевым он вполне ладил, с Аделькой вообще жил душа в душу, короче, хорошее тоже было. И вот в разгар этого — «хорошее тоже было» — ну не самого плохого момента, этого перемирия с жизнью, его волной и накрыло.

Он редко болел. Даже в злостные эпидемии гриппа и прочих респираторных для него все заканчивалось легким насморком. А тут нате вам, пожалуйста… Началось с простого — так, кашель, чуть в горле, как будто там засел маленький и почти ласковый зверек, и все так лапкой, лапкой… На другой день Беринга уже повергло наземь, а зверек вырос в громадного зверя, чудовище, в уссурийского тигра, который просто рвал его на куски и грыз суставы. Подняться с постели не было сил. Какое-то время он так и провалялся между сном и явью и думал о смерти. Страшно не было. Была только тоска и полное безразличие. Потом он все-таки дополз до кухни и притащил к своему одру чайник с водой. Несколько дней она была его единственным лекарством и пищей. Через несколько дней заявилась Адель. Чтобы открыть ей дверь, Беринг затратил неимоверные усилия. Адель его не узнала. «Здесь живет такой-то?» — спросила робко.

— Аделька, это же я, — прохрипел Беринг и прямо пополз по стене, за которую держался, вниз, на пол.

Адель сделала много полезного — частично перемыла посуду, сбегала в магазин и в аптеку, кое-что прибрала. Конечно, после ее уборки многое Беринг не мог найти, по крайней мере полгода, но полезного было все равно больше. В конце концов, она ему жизнь спасла. А это не так и мало.

Жизнь к нему потихоньку возвращалась. Другое дело, что погром, который устроила болезнь, так просто не проходил.

Во-первых, он был совершенно обессилен физически. Во-вторых, осознал всю степень своего одиночества.

После Адельки заходили Корнейчук со Светкой. Светка добросовестно шуршала на кухне и даже кое-что резала. Но и они ушли в положенный срок через два с половиной часа после начала визита. Они не взяли Беринга в свою семью, и он опять остался один.

Как-то звонила мать. Узнав, что он простудился, что у него грипп, она сказала выпить на ночь горячего молока с медом и потеплее укутать ноги. Беринг долго слушал короткие гудки, когда мать отрубилась, пытаясь найти в них или между ними мать своего детства. Где-то она еще была, но уж очень далеко… Меда и молока у него тоже не было…

И вот, осознав, что у него нет спасительных молока и меда… что Корнейчук со Светкой или Корнейчук без Светки зайдет не раньше, чем через неделю… и Аделька тоже… и мать позвонит не раньше… Беринг понял, что до всех этих контактов с гуманным, спасительным для него человечеством он должен тянуть еще по крайней мере неделю. Семь дней. Сто шестьдесят восемь часов. Один.

Жажда и голод ему не грозили — не в Сахаре. Холодильник, конечно, не полон, но и не пуст. Да и при чем здесь холодильник? Есть же еще другая жажда и другой голод… Телевизор он так вовремя и не починил. У компьютера полетела клавиатура. Звонить, собственно, больше было некому. Тюрьма оставалась тюрьмой. А одиночная камера — одиночной камерой. Полный депресняк, короче. И как-то, в таком вот состоянии, когда только тупить и тупить, на грани душевного небытия (не все созданы для одиночества, во всяком случае, Беринг для одиночества создан не был,) он потащился в туалет и

споткнулся в коридоре о стопку дедовских книг, шмякнулся довольно прилично, тихо взвыв от боли. Он вернулся на свой диван и лежал, тупо уставившись в потолок, гладя ушибленную коленку. Тут в его голове как бы что-то щелкнуло. Он опять потащился в коридор и взял несколько книг из растрепанной стопки, так, первых попавшихся, в ситцевых дедовских одеяниях.

Мальчишкой Беринг читал запоем и перечитал все, что было тогда доступно — все эти «кортики», «мушкетеры», «капитаны Немо», «собаки Баскервилей», «Винни-Пухи» и все, все, все… Это попало ему в руки довольно вовремя и было соответствующим образом воспринято. Хоббиты (переводы) опоздали буквально на несколько лет, и он на них не подсел. Да и не прочел вовсе. Толстого почему-то возненавидел и считал беспросветным занудой. Жизнь крестьянского мальчика Филиппка с его преждевременной страстью к учению его как-то не волновала, ну а чуть позднее, через салон Анны Павловны Шерер из романа «Война и мир», тот самый салон, в котором толпилась русская аристократия накануне войны 1812 года, он так и не прорвался. В смысле — к «войне» и к «миру». К своему стыду, он и потом через него не прорвался.

«…Ну, князь, Генуя и Лука — поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе… я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб…» Это по-французски на целый абзац, и дальше все накручивает и накручивает какие-то разговоры каких-то людей, какой-то, по мнению тинейджера Беринга, полный бред на двадцати четырех убористых страницах, кто-то пришел, кто-то ушел… А главное, — ничего, ничего ровным счетом не происходит. Какое-то стоячее болото. Что с этим было делать, с какой стороны кусать?

Когда Берингу было девять или десять лет, ему в руки попала замечательная книга «Легенды и мифы Древней Греции», которую написал профессор Н. А. Кун. К этому времени отец Беринга тоже стал профессором, так что с профессорами он был на ты.

Книга так понравилась, что хоть он многого в ней не понимал, он почти год не выпускал ее из рук. Через несколько лет, повзрослев, он решил хватануть Гомера в натуре, не в древнегреческой, конечно, а в переводе. И что? Его ждало глубокое разочарование. Он мучительно продирался сквозь всех этих сребролуких, богоподобных, белоруких, быстроногих, скиптродержавцев и щитоносцев… Не говоривших, а вещавших, и так длинно-длинно… вместо того, чтобы шах-шах и пустить в ход меч. Это было почти то же, что и салон Анны Павловны Шерер. Может, даже похуже.

И тогда он понял очень простую вещь — профессор Н. А. Кун — гений. Нашелся бы на Толстого такой Кун и сообщил самое главное — и о войне, и о мире. Ведь что главное? Главное — мессидж, послание. Это Беринг понял еще в девять или десять лет, когда читал этого самого Н. А. Куна. Он многого не понимал, но то, что все-таки понимал, и оказывалось самым главным.

На всю жизнь он запомнил то место, когда главный аргонавт (вначале ему казалось, что аргонавты — это какая-то футбольная команда, а ведь, может, и так?), так вот главный аргонавт Ясон, пройдя все свои удивительные приключения и ужасные испытания, уже дряхлый старик, пришел на берег моря, увидел остов своего знаменитого корабля и лег отдохнуть в его тени. Но этот корабль, «Арго», как и Ясон, был тоже так ветх и стар, что рухнул на Ясона и задавил его своими обломками. Беринг прочел это и прямо вздрогнул, и хоть был совсем еще ребенок, сразу все понял — про время, про жизнь, про смерть и про красоту. Это и был мессидж. Когда Берингу было пять лет, дедушка

был еще веселый и подвижный, и рассказывал, как был на войне и стрелял по вражеским самолетам, а когда Берингу исполнилось девять, дедушка стал медленнее переставлять ноги и задыхаться, а еще через несколько лет закончилось и его странствие по морям жизни…

Когда в школе стали проходить «Войну и мир», роман Льва Толстого, и Беринг начал продираться через салон Анны Павловны Шерер к дальнейшим событиям, это было ему ну никак не по силам. Не было у Толстого своего Куна, и все тут, и его мессидж размазывался по этому салону, как каша по тарелке. Тогда Беринга спасла отличница Софка Малеева, которая на переменах просто пересказывала ему содержание. До Куна ей было, конечно, далеко, но на «четверку» Беринг как-то вытянул.

После четырнадцати лет он читать перестал окончательно. Тогда отец (скорее всего, он уже тогда замыслил побег и страдал комплексом вины) принес ему первый компьютер, и перед Берингом распахнулись совсем другие миры, иные пространства…

Первая книга, попавшая в руки Берингу из дедовой дачной библиотеки, была «Дон Кихот» в самодельном переплете. У деда была страсть — переплетать книги. Они попадали к нему из разных мест, многие были потрепаны и ветхи, как корабль «Арго» в конце своих странствий. Этот «Дон Кихот» был из их числа.

Беринг решил наложить на себя епитимью, дал зарок — весь этот пугающе увесистый том прочесть. Он читал его трое суток, с перерывами на короткий сон, мусолил нудно и изнурительно, но не отступал. Иногда ловил себя на мысли, что, дочитывая страницу, уже забывал, с чего она начиналась. Кроме того, он все-таки был еще болен, и это только усиливало заторможенность мышления. Зачем он это делал? Он и сам не знал. Наверное, из-за деда. Как будто бы был ему что-то должен. Потом помнил фильм, который видел в детстве, уже тогда старый, с актером Черкасовым в главной роли. Другое дело, что этот фильм ему и тогда не понравился. Дон Кихота ему было как-то брезгливо жалко. Как-то противно, когда человек такой придурок. Он что, не видел, что это ветряные мельницы? Чего это он на них набрасывался? Беринг находил у себя много недостатков, но он был реалистом. И если иногда и вел себя, как придурок, то хотя бы это понимал.

Следующая книга была совсем другая и намного тоньше. «Детские годы Багрова-внука».

Конец 18-го века. С экологией все в порядке. И вот Багров-внук балдеет в этой экологии, бегает по полям и лугам, слушает птиц, ловит рыбу. Всего этого было намного больше, чем теперь. Жуков, пауков, бабочек! Жизнь просто замечательная! Беринг и сам стал вспоминать, как жил у деда на даче. Весь этот июньский звон, жужжанье, лопухи, крапиву, кустики земляники за забором, пруд на краю дачного поселка, заросший тиной и скорее вонючий, но все равно еще полный для него всяких чудес — лягушек и разного возраста головастиков. Песчаный карьер в лесу с камнями, равными по возрасту самой земле… Говорят, камни на карьере еще остались… А вот головастики… Головастиков уже почти нет. И еще меньше птиц. Где же вы, Боги Куна и Древней Греции? Не спите в шапку! Спасите эту планету!

Когда он уже был на последней странице, Багров-внук, мальчик, стал ему совсем родным. В сущности, какой-то Багров… Кто ему этот Багров? Конец 18-го века, ведь косточек его в земле не осталось! Но у Беринга почему-то было чувство, что это не так, что этот мальчик, живой, совсем живой, бегает где-то по лугам 18-го века в тех пределах пространства, о которых мы просто ничего не знаем.

Когда он был на последней странице, пришла Светка, девушка Корнейчука. Чтобы открыть ей дверь, Беринг опять не без труда добрел до двери.

— Все! Я от него ушла! — сказала Светка, бросив на пол нагруженную дорожную сумку. — Неблагодарная скотина!

— В который раз, — сказал Беринг устало, израсходовав на путешествие к дверям свои в который раз последние силы.

— Солнце мое! — сказала Светка. — Я буду за тобой ухаживать! Я буду варить тебе пищу!

— Собираешься здесь жить? — голос Беринга предательски дрогнул.

— Не долго, не бойся. Просто я сдала квартиру одним типам. Как только, так сразу. Как сразу, так мигом…

Светка была трудолюбивой. Как всегда у Корнейчука, она первым делом сделала уборку и наварила всякой еды. Пищи, короче, пищи! Она притащила эту пищу Берингу, разложила на журнальном столике, придвинув его к тахте, а сама села напротив в небрежной позе — нога на ногу, она все же была модель, с сигаретой в одной руке и банкой пива в другой. Беринг от спиртного отказался — спиртное понижает иммунитет, которого у него и так, оказывается, кот наплакал.

Светка, многолетняя девушка Корнейчука, сидела напротив Беринга и чуть покачивалась в такт своим мыслям. В качестве девушки Корнейчука Беринг знал ее лет восемь, а вообще-то, гораздо дольше. Она была довольно красивой — с правильными, немного крупными чертами лица, худощавая, высокая. Но на вкус Беринга, немного деревянная, а с годами даже стала чуть-чуть мужиковатой. Скорее всего, длительное общение с Корнейчуком ее огрубило. Ведь он действительно был натуральной скотиной — только бы водку трескать, а на водку ему всегда хватало.

Светка старалась не ныть и не подавать вида, но глаза у нее были красные, как у кролика. Наверное, всю ночь выясняла отношения. А ему-то хоть бы хны. Беринг не сомневался, что это Светка бегала вокруг и выясняла отношения, а он спокойно себе дрых, потому что был такое вот мурло.

— Ты почему не ешь? — спросила Светка.

— Отвык.

— Привыкай.

Светка подошла к Берингу и, как мать в детстве, мелко нарезала и без того маленькую котлетку, раскрошила, как цыпленку.

— Все дело в том, — сказал Беринг, чтобы как-то защитить безответственного Корнейчука, — что мы дети Советского Союза.

— Внуки, — сказала Светка, которая не хотела старить себя.

— Все мы выросли на телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Мы ее ждали каждый вечер. Скажешь, нет?

— Допустим…

— Уж точно до трех или пяти лет. Корнейчук до десяти. А между тем в эти годы закладывается мировоззрение. На наших глазах волк бесконечно гонялся за зайцем, но никогда не мог его догнать. Так что, отними у нас все, окончательно, мы все равно будем уверены, что волк нас не догонит. Это на уровне подсознания.

— У нас есть и подсознание? Да ты что? — протянула Светка с иронией и раскрошила Берингу еще одну котлетку. — Ты ешь! А то еще как догонит тебя твой волк! Быстрее, чем ты думаешь!

Беринг познакомился со Светкой, когда она еще была студенткой филфака.

Одним прекрасным днем, зимним, морозным, накануне Нового года, она даже стала Мисс Филфак. Несколько худосочных парней — на филфаке всегда было мало парней, а если и были, то все худосочные, — несли стул, на котором она восседала с обернутой в золотую фольгу картонной короной на голове. Остальные филфаковские девицы завидовали ей безумно. Стул был установлен на сцене в актовом зале, и все ей аплодировали стоя. Беринг тоже был в этом зале и тоже ей аплодировал. Его притащил туда как раз один из этих худосочных парней, тогда сосед по лестничной клетке, с которым он дружил, несмотря на заметную разницу в возрасте.

Все было довольно внушительно, в награду за свою красоту Светка даже получила дополнительную стипендию — на большее филфак не взошел.

Как раз тогда, — Светке еще не было двадцати — пришло время л а р ь к о в. Что такое филфак и жалкое существование в образе замудоханой учительницы литературы, жены такого же замудоханого инженера, со всеми этими штопаными носками и капустными или рыбными кухонными запахами, которые ни за что не уйдут в форточку, пока не пропитают собой всю квартиру. Или ничем не лучше аспирантка того же филфака с лингвистическими прибамбасами в голове и полным отсутствием личной жизни, — филфак это филфак.

Так что, что это — Филфак, — и как его можно сравнивать с л а р ь к о м, в котором, как в пещере Али-Бабы, есть все — конфеты, печенье, презервативы, кофточки, рюмочки, шарфики, колготки, вино и сигареты, и все это не местного, презираемого розлива, а заморского, исключительно качественного происхождения. Нет, конечно, Светка слишком уважала себя, она не пошла прямо в ларек, но ушла с филфака в какую-то промежуточную фирму, между кем-то или чем-то и ларьком. По совместительству подрабатывала в Доме моды. Ведь она все-таки была Мисс Филфак.

Когда она познакомилась с Корнейчуком, Всемирная история, а также история Европы умалчивают. Хотя дело и происходило на территории Европы. Существует две версии, его и ее. По его версии, он заплатил за нее штраф в троллейбусе, когда она ехала без билета, а контролер особенно зверствовал. По ее версии — она спасла его от смерти от переохлаждения, когда подхватила со скамьи в сквере пьяного, симпатичного незнакомца, затащила к себе домой и весь вечер отпаивала чаем.

В любом случае эта роковая для Светки встреча произошла. Тогда Корнейчук был еще женат…

Беринг смотрел на нее, на ее усталое лицо, морщинки у глаз и думал, что ей надо что-то сделать с этими морщинками, ну, что там женщины делают со своими морщинками… Он помнил ее победоносную, на сцене актового зала филфака, в картонной короне, обтянутой золотой фольгой… Тогда пятнадцатилетний Беринг смотрел на нее с восхищением.

— Тебе надо родить ребенка, — сказал Беринг.

— От кого? От Герасимчука? От этого алкоголика? Ты спятил?

Кто в этой паре был Дульцинеей Тобосской, банальной служаночкой в харчевне, а кто Дон Кихотом, рыцарем печального образа? Беринг думал, что по отношению к Герасимчуку Светка была все-таки Дон Кихотом. Пока, наконец, не прозрела. Да и то, надолго ли?

В соседней комнате, где когда-то все крушил сын и из которой вместе с ним неверная жена увезла все детское имущество, Светка соорудила себе ложе — надувной матрас (ее собственный) и несколько похищенных у Беринга диванных подушек.

Она была необременительна. Ненавязчиво поддерживала какой-то порядок, подкармливала Беринга, как могла. Иногда исчезала. На ночь или на несколько суток, а потом появлялась без объяснений. Это его устраивало.

Когда Адель в очередной раз пришла навестить Беринга, женщины долго исполняли перед ним церемониальный танец китайских журавлей. (Что-то подобное Беринг видел в китайском балете.) Каждая думала, что у другой с ним что-то есть. И все извинялись, извинялись, извинялись, каждая за свое вторжение. Потом он долго разубеждал их в обратном. Ты что? Это же Адель! — говорил он Светке. Ты что? Это же Светка! — говорил он Адель.

Силы к нему потихоньку возвращались, и если не полностью, то хотя бы частично, хотя бы настолько, чтобы выбраться на работу. И Беринг выбрался на работу.

— Ну? — сказал Сенька Сторожев, мрачно глядя на него из-под бровей, напоминавших старые, растрепанные зубные щетки. — Что будем делать? За-вал!

Сенька от природы был истериком. Заказов было действительно много, но все какие-то мелкие. Беринг отщелкал почти все за неделю. Не прошла только одна поздравительная открытка, на которой какая-то девушка просила вплести в ветви новогодней елки имя и фотографию любимого молодого человека. Ни один из вариантов ей почему-то не подходил. Беринг впал в бешенство и послал ей мэйл следующего содержания: «Если не можете заменить дерево, замените молодого человека». Клиент обиделся и соскочил. Сенька Сторожев впал в бешенство, потому что боролся за каждого клиента, и несколько дней Беринга просто заедал.

Вообще он был зануда и заеда, с его мелочностью только иголки на елке считать. Иногда Беринг еле сдерживал себя, чтобы не дать ему по башке чем-нибудь тяжелым. Так что, когда в понедельник, а потом и во вторник на следующей неделе Сенька на работу не пришел, Беринг хоть подышал с облегчением. Пусть иголки считает. Вспомнили, что у него болел зуб. Зуб — это зуб, все бывает. А может, Сенька думал, что зуб, а на самом деле это горло. Тоже серьезно.

В среду Сенька опять не пришел. По средам Адель обходила клиентов — отвозила небольшие заказы, согласовывала эскизы, короче, топталась. Был уже вечер, часов шесть, а ее еще не было. Беринг домой не пошел, решил дождаться. Он стоял у окна и смотрел сквозь мутное стекло, не мытое еще со времен сторожевской бабки. Квартира была на первом этаже дома с низкой посадкой, так что человек высокого роста вполне мог к ним заглянуть. И тут Беринг действительно увидел человека, который заглядывал к ним в окно… Разглядеть его Беринг не успел — лицо мелькнуло быстро, но ощущение после этого осталось очень неприятное. Он посмотрел на часы… Время двигалось, ползло себе потихоньку… Было чем заняться, но сосредоточиться он не мог уже ни на чем, даже на какой-нибудь примитивной компьютерной игре. И к окну больше не подходил. Уже подумывал отправиться домой, как пришла Адель — шуба распахнута, так что видны вытертые края и рваная подкладка, вязаная шапочка под названием «петушок» сбита набок, по щекам и унылому носу стекают мутные пряди. Было уже почти восемь.

— Сторожев уехал! — заявила она с порога.

Адель только на вид была такой росомахой, на деле ее наблюдательности и смекалке можно было только позавидовать.

— Докладывай, — сказал Беринг.

— Выпью чего-нибудь, — Адель рванула на кухню.

Вообще она могла выпить дай бог, запасы дешевого алкоголя у них всегда были, но тогда она только допила холодную заварку.

— Докладывай, — повторил Беринг.

Вообще по средам некоторые клиенты расплачивались с Аделькой наличными, но тут, как оказалось, накануне к ним заходил сам Сторожев и эти деньги забрал. Деньги небольшие, вполне мог и не ходить, и не брать. Но пошел и забрал. (С другой стороны, это было вполне в его характере, ведь он был мелочный.) Адель поинтересовалась, как у него, по виду, с зубами. Сказали, что по виду проблем с зубами нет… Тогда она разволновалась, и так разволновалась, что отправилась по его домашнему адресу. Они никогда не были у него дома, не было такой заведенки, и по телефону ему не звонили, тоже не было заведенки. Звонил обычно он сам. Он был скрытный. Мелочный и скрытный. Но адрес его у них был. Адрес, по которому он проживал с женой и сыном, и даже адрес его родителей.

Адель стояла на холодном ветру и отчаянно звонила в домофон. Никто не отозвался. Тогда она набрала соседей, но соседи тоже проявили полное жлобство, сказали, что не знают, кто она такая, и шла бы она дальше по своим делам. Тогда Адель совсем уже разозлилась и отправилась по адресу его родителей, в другой конец города. Но и там, хоть в подъезд она прорвалась и стояла перед нужной квартирой, и звонила, настойчиво звонила в дверь, ей никто не открыл — квартира как будто вымерла.

— С чего ты решила, что он уехал? — спросил Беринг. — Может, они там спят?

— Все одновременно?... Я тебе говорю — Семен Аркадьевич уехал.

Адель даже за глаза называла Сеньку по имени-отчеству. Она уважала своего работодателя.

Конец недели прошел в унынии. В пятницу, в конце рабочего дня, они вытащили из запасников фирмы бутылку водки и выпили ее, честно разделив на двоих. Пить с Аделькой было одно удовольствие. Она никогда не навешивала ни на кого свою пьяную бабью дурь, а или сочувственно слушала собеседника и как будто бы понимала, или тихо думала себе о своем, и только глаза ее все больше соловели. С первой бутылкой они расправились на раз, достали вторую. Где-то на середине второй опомнились, что время позднее. Спешить никуда не хотелось. Выпили еще по четверти стакана и улеглись на полу, на Аделькиной шубе. Утром, бледные и злые, отправились по домам досыпать.

Все выходные Беринг ждал каких-то вестей от Сторожева и утром в понедельник, оттепельным, серо-бело-черным, хлюпая по мокрому снегу, вдруг понял, что их не будет. Их и не было. Зато пришла жировка с требованием заплатить за квартиру за два месяца. Адель долго хмурила свой бледный, бугристый лоб, а потом сказала, что одна небольшая сумма, полученная ею в среду от клиента, плюс что-то из ее собственных сбережений это покроет. У Беринга сбережений не было.

Неделя прошла сумрачно. Оба делали вид, что усиленно чем-то занимаются, зная при этом, что не занимаются ничем. Адель вообще похудела и извелась. Беринг все хотел ей сказать что-то типа — брось, девчонка, да не смертельно все это, как-нибудь прорвемся. Но так ничего и не сказал, предполагая, что его голос будет звучать неуверенно.

В следующий понедельник, считай, через две недели после исчезновения Сторожева, их посетил один человек. Парень как парень. Может, чуть старше тридцати или под сорок… Одет просто. Скромный, немного сутулится, в очках… Служащий средней руки, учитель истории в средней школе… И вот этот скромняжка, в серенькой невзрачной одежонке вдруг очень даже

уверенно располагается за столом Сеньки Сторожева и выкладывает на стол прозрачную пластмассовую папочку. Затем неторопливо открывает эту папочку, а в ней листик, формат А-4, и на нем рукой Сторожева — уж Берингу-то с Аделькой не знать его руку? — расписка в получении круглой денежной суммы. Посмотрев на цифру, Адель хрипло вскрикнула.

— Его нет, — сказал Беринг лаконично. — Где? Не знаем. Мы — наемные.

Тогда «скромняжка» положил указательный палец небольшой и не очень чистой руки на подпись Сеньки Сторожева, последняя буква которой была прикрыта круглой печатью их фирмы, и сказал:

— Нам воо-ще до дивана, кто у вас тут наемный, а кто — нет. Думайте. Через неделю зайду.

И ушел.

Остаток дня Адель проплакала. Беринг пытался добить один из старых заказов, слыша ее тихие, сдержанные всхлипывания. Наконец не выдержал и сказал, чтобы она топала домой, потому что утро вечера мудренее.

— А что будет утром? — спросила Адель.

— Утро, — буркнул Беринг.

Утром позвонили участковому. Он пришел. Прям реклама плаката — «Моя милиция меня бережет». Простой парень, рубленный топором, крепкий, с положительным выражением лица. Берингу казалось, что он доложил все ясно и обстоятельно, но Адель сказала потом, что на месте участкового ничего бы не поняла. Впрочем, это не имело значения, потому что тот выслушал все, а потом сказал:

— У моего друга было, так ему плечо прострелили. А тот, из-за которого все дело, принес ему в больницу двести долларов и уехал на Канарские острова.

— Мы не уедем на Канарские острова… — сказала Адель. Она жила с матерью и разведенной младшей сестрой и ее ребенком в небольшой двухкомнатной квартире. Там было тесно и крикливо. Наверное, это пронеслось в ее голове, когда она повторила с особым чувством: — Вы что! Мы не уедем на Канарские острова!

— Мне-то почем знать! Мой друг до сих пор лечится. На одни лекарства сколько ушло!

И пошел себе. Беринг его догнал и всучил бутылку водки из последних запасов. Так. На всякий случай. Хотя бы за визит.

Похоже было, дело принимает неважный оборот. Качество жизни, которым последнее время особенно дорожил Беринг, стремительно ухудшалось. На Адель лучше было не смотреть. И Беринг с удовольствием бы на нее не смотрел, отослал домой, если бы ей было куда идти — не в крикливое же ее жилье, где в одной комнате кричал ребенок, а в другой — ее мать, может, и неплохая женщина, но с очень громким голосом. Не зря же Адель носила в сумочке затычки для ушей. Да и сам Беринг теперь уже постоянно испытывал очень нехорошее чувство — смесь тревоги и беспокойства, которые можно было унять только алкоголем. Пару глотков утром и дальше уже с интервалом в два часа. Короче, надо было что-то предпринимать…

Беринг отправился к отцу. Затея была бессмысленная. Просто он решил проработать и этот вариант.

Квартиру, которую отец когда-то получил при размене, он давно уже обменял на лучшую, но дух благополучия над его домом, над его новым гнездом, не витал… Отец облысел и уменьшился в росте. Сводного брата дома не

было, и Беринг почувствовал облегчение оттого, что не надо соблюдать все эти формальные штуки — как дела, как учишься… Ведь ему было совершенно наплевать, как учится его сводный брат. Мелькнула жена отца — не старая и не лишенная миловидности, но уже опущенная, с пузырьками-мешочками под глазами, наверное, у нее было что-то с почками.

Она была на пару лет всего старше самого Беринга и когда-то была студенткой отца. Теперь, глядя на них обоих, Беринг подумал, что его отец, доктор физико-математических наук, что-то явно не рассчитал. Хотел одно, получил другое. И для того, чтобы вот так облысеть и скукожиться, совсем не обязательно было расходиться с вполне хорошей, он бы сказал даже — привлекательной его матерью и из семьи, где один дед стоит десяти. Так нет, он захотел другое. Вот ему это «другое»! «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом…» — так, кажется, писал один гениальный парень, Миша Лермонтов…

— Да, — сказал он, наконец, когда Беринг максимально лаконично изложил ему свою проблему. — Да. Ты влип.

— Это я знаю, — подтвердил Беринг.

— Ну а что я могу?

— Не знаю, я на всякий случай.

— Я не подпольный миллионер Корейко, — вспомнил отец любимый роман своей молодости.

И Беринг вспомнил желтого цвета потертый томик с кофейным пятном по краю обложки. Он пах отцом. «Граждане заседатели, командовать парадом буду я!» — провозглашал отец на дружеских застольях, и все хлопали и смеялись.

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Кто написал? Беринг вспомнил с трудом. Вроде, какие-то Ильф и Петров? А может, слепой певец? Не все ли равно?

«Лед тронулся!» — говаривал иногда отец, потирая руки, выходя из своего кабинета.

За что родители Беринга и их друзья так любили эту книгу и часто ее цитировали, Берингу было мало понятно. Ведь ее герой был просто жулик, да, просто обаятельный жулик. Близкий родственник Емели из русской сказки, осуществившего народную мечту об успешном таком жульничестве, царской короне, прекрасной царевне, и все ни за что ни про что, на халяву, хитрый и ловкий.

— Я не подпольный миллионер Корейко… — даже с каким-то удовольствием повторил отец.

Он-то не был ни хитер и ни ловок.

Если Беринг был внуком Советской власти, то отец был, видимо, ее сыном, еще в ее утробе исчерпавшим все свои возможности.

— Это ты, наверное, все рассчитал, — сказал Беринг и посмотрел на нечисто вытертый кухонный стол и грязный подоконник. — Куда мне!

Отец посмотрел туда же и вздохнул:

— Чаю хочешь? Вот это я могу.

— Нет, — сказал Беринг. — Чаю мне не надо. Мне деньги нужны, а чаю не надо.

Корнейчук тоже, конечно, ничем помочь не мог.

— Сто долларов до конца месяца. Пятьдесят тебе, пятьдесят мне, если тебя устроит… — и посмотрел на Беринга с похмельным чувством вины.

Беринга это не устраивало. Он сделал намек на дядю Корнейчука, у которого, по слухам, зашкаливало, но намек пролетел незамеченным. Это

понятно. Корнейчук — это Корнейчук, а его дядя — это всего лишь его дядя. У Беринга тоже была двоюродная тетка, он знал, что это такое. У отца было семь сыновей, семь братьев, но кошельки он им дал разные.

Оставалось одно — если прижмут, продавать квартиру. Он не был поклонником телевидения, но разного рода криминальных расправ насмотрелся. Жизнь дороже. И как бы в подтверждение этому, позвонила Адель и несвоим и неживым голосом сказала, что какой-то человек заглядывал к ним в окно. «Рановато», — подумал про себя Беринг, но ничего ей не сказал.

Беринг лежал на своем диване и размышлял… Он проигрывал на всех фронтах. Он терял квартиру, но даже не приобретал фирму, она принадлежала Сторожеву, а тот исчез. Исчез и все. Да жив ли? Он все равно терял работу… Он, возможно, сохранял жизнь. Но какую? И нужна ли ему «такая» жизнь? Он сохранял жизнь несчастной Адельке? Для внука Советского Союза это был все-таки аргумент.

Вариант смыться есть всегда. Но какой это вариант, если не знаешь — куда, зачем и каким образом. В Питер? Осложнять жизнь матери и Витьку? Слишком унизительно. Остается сидеть в ступоре, как мышь перед змеей, и ждать, когда тебя сожрут какие-то немытые дебилы. Невесело, короче. Беринг, не раздеваясь, натянул на себя старый плед и попытался вырубиться несмотря на все эти пакостные, мучительные, колющие мысли. Свою болезнь он вспоминал теперь, как некую блаженную жизнь на райских островах.

Часа в два ночи на такси приехала Светка. Что-то делала на кухне… Вроде пила чай. Беринг, волоча за собой плед, потащился к ней.

— Что, опять нездоров? — спросила Светка.

— Хуже… Завязали… Морским узлом…

— Гордиевым, — уточнила Светка, бывшая студентка филфака. — Развязывать — не возись. Разруби.

— Один уже разрубил, — сказал Беринг. — В неизвестном направлении.

Они уже понимали друг друга с полуслова.

— А… — сказала Светка. — Деньги, что ли?

— Да, — сказал Беринг. — Самое дурацкое — не мои. Глупее не бывает.

— Сенькины, что ли? — спросила Светка. — Так Сенька всегда был прохвостом. Ты что, не знал?

— Он порядочно себя вел, — заныл Беринг.

— Ага, в детском саду.

— Он зарплату платил. Себе брал, между прочим, из того же конверта.

— Только не рассказывай мне сказки, — сказала Светка. — У него и другой был конверт. Можешь не сомневаться!

Светка, не стесняясь Беринга — она уже давно его не стеснялась, — стянула тонкую серебристую кофточку и набросила его старую рубашку, которую носила вместо домашней одежды. И опять стала отхлебывать свой травяной чай, свято веря, что он спасет ее красоту от всех издержек образа жизни. Движения ее были неверные, алкоголем пахло внятно. Такое теперь со Светкой случалось все чаще.

Беринг сел напротив, плед свисал с его плеча, как тога римского патриция.

— Придется продавать квартиру, — сказал Беринг.

— Ты что, обалдел, что ли? Совсем, что ли, а? — Светка чуть не захлебнулась.

Тогда Беринг написал на салфетке цифру, обозначавшую денежный долг Сторожева, как будто, произнесенная вслух, эта сумма была еще более опасна, и сунул ей под нос.

— Подумаешь, — фыркнула Светка. — Люди и побольше находят.

И тут Беринг взорвался. Когда человек взрывается, он мало что потом помнит. Взрыв — это взрыв. Клочковатые эмоции разлетаются в разные стороны в самом непотребном виде. Светка потом рассказывала, что он бил кулаком по столу, жутко матерился и выгонял ее из дома. Светка же — опытный боец, закаленный многолетними битвами с Корнейчуком, — допила чай и пошла себе спать, плотно закрыв за собой дверь. Без зрителя и хоть какой-то эмоциональной поддержки Беринг быстро иссяк, поорал еще немного, и только, и тоже пошел спать, заглотнув оставшуюся после одного из приездов матери таблетку снотворного. Таблетка была желтая и наверняка просроченная, но какая-то часть активного вещества в ней еще оставалась. Спал он ужасно, всю ночь переползая из кошмара в кошмар.

Утром Светки уже не было в квартире. Такое чувство, что и следов ее не осталось, даже зубную щетку не забыла.

Прошло два дня, и Беринг уже решил ее разыскивать и перед ней извиняться. Она-то здесь при чем? Квартира-то еще не продана. Может жить. Он уже начал обзванивать общих знакомых, как она появилась сама. В руках большая сумка-кошелка.

— Видал? — спросила Светка, помахивая сумкой. — Двести долларов. И то со скидкой.

Она открыла сумку и протянула Берингу. Беринг глянул… и чуть не лишился чувств.

— Пересчитай, — сказала Светка. — Не удержалась, слабая женщина, двести долларов за сумку, ну, как-нибудь добудешь…

В сумке действительно была та самая сумма минус двести долларов.

— Банк ограбила? — выдавил Беринг, приходя в себя.

— Ага, — сказала Светка. — Бонни без Клайда. Клайд ты, конечно, никудышный, — и ее рука описала в воздухе какую-то замысловатую фигуру, видимо, отражавшую весь этот процесс.

— Думаю, Корнейчук много потерял, — заметил Беринг.

— Да пошел твой Корнейчук..! — сказала Светка, безжалостно выразив мысль до конца, то есть — куда конкретно пошел и каким образом. — Мы никому не нужны, мальчик! Заруби это себе на носу! Кому мы нужны? Тащи что-нибудь выпить!

Выпивка у них уже была в остаточном состоянии и по разным бутылкам. Начали, как и положено белым людям, с сухого вина, впечатление немного подпортил вермут, хоть и был вполне приличного качества, завершили водкой.

Беринг был бессмысленно и полоумно счастлив. Происходящее не стыковывалось в его сознании.

К большому удивлению Беринга, жизнь их тухлой фирмы как-то длилась. Адель по-прежнему вела бухгалтерию, только теперь отчитывалась перед Берингом. Они предпочитали иметь дело с теми, кто расплачивается наличными. И таких хватало, Беринг даже увеличил им зарплату. Можно сказать, они жили даже лучше, чем при Сеньке Сторожеве, потому что, возможно, Светка была права, когда говорила, что у него был свой конверт.

Адель расцвела. Беринг разрешал ей пользоваться маршруткой и, если понадобится, брать такси. К весне вообще отправил отдыхать и оплатил путевку в место скромное, но в любом случае более приятное для жизни, чем ее жилье с орущей мамашей в одной комнате и орущим младенцем в другой.

Конечно, сомнения присутствовали. Сколько еще продлится это временное затишье… Понятно, что все временно. Время — неизбежное условие

существования материи. А они, то есть, он и Адель, — все-таки материя. И сколько еще существовать этой материи — большой вопрос. Что же такое время, он понял еще ребенком, в обстоятельствах вроде и обычных, но для него экстремальных.

Как-то ему сказали, что на другой день поведут в стоматологическую поликлинику вырывать зуб. Сама по себе процедура — удаление зуба, его, конечно, пугала. И стоматологическое кресло, и холодные, блестящие, устрашающие щипцы. Однако мысль о том, что это случится только завтра, успокаивала. «Ведь это только завтра!» — думал девятилетний Беринг и провел остаток дня особенно замечательно. Когда он лег спать и уже закрыл глаза, мысль о том, что завтра ему будут вырывать зуб, резанула со страшной силой. «Это же только завтра, это еще не скоро», — подумал тогда Беринг и спокойно заснул. Утром неприятная мысль явилась первой и опять поразила своей оголенностью и пугающей простотой — «Сегодня мне будут вырывать зуб!» Но Беринг поспешил отогнать ее: «Да, но это еще не скоро! Еще день впереди!» Вот так эта мысль приходила, и вот так он ее отталкивал. До страшного момента всегда оставалось время, оно растягивалось и растягивалось, наполняясь даже более насыщенной жизнью. Осталось три урока, потом два… «Мне будут рвать зуб!» — время от времени проносилось в голове у Беринга. Проносилось и уносилось, вытесненное этим спасительным — не сей-час, по-том… И даже сидя перед кабинетом, в котором его ждали страшные щипцы, он думал — еще есть время… Еще минута… Еще надо будет подойти к двери, открыть и войти… Еще не сейчас…

Вот и теперь он обживал свой временный момент и существовал в нем, не заботясь о дальнем, даже не заглядывая за тот край — а что там? Дальше-то что? Он был слабый парень? Возможно. Но так ведь устроено все. Так устроено время. И жизнь. Любого существа. Самая короткая и самая длинная. Имеющая начало, а значит, и конец.

После того незабываемого вечера, когда Светка принесла деньги, а потом они напились и рыдали на плече друг у друга, объясняясь в любви, той самой любви-дружбе, которую древние греки считали высшим проявлением человеческого чувства, так вот, после всего этого Светка опять исчезла. А так как она всегда исчезала, а потом так же внезапно возвращалась, Беринг не беспокоился.

Та весна шла рывками, то наступая, то отступая. То все текло и расползалось, а то подмораживало, дул ветер и даже шел снег. Свое производственное помещение он запустил так, как когда-то запустил квартиру. Но чувствовал себя в этом развале совсем неплохо. Он купил дорогой китайский чай, заваривал в большой кружке и хлестал с утра и до вечера, внушая себе, что вместе с чаем вбирает всю древнекитайскую мудрость, Дао и дзен-буддизм в одном флаконе. И мудрил, мудрил над шрифтами, простенькой, незамысловатой графикой, а один раз, придумывая эскиз надгробного памятника, так нафигачил, увлекшись, что у самого даже дух захватило. В стиле лучших средневековых традиций. Классный такой макабр. Смерть с косой на фоне грозовой тучи. Ангела с мохнатыми, птичьими крыльями… Черта, изготовившегося к прыжку, — рогатого, зубастого, когтистого… Особенно ему удался черт. Ну как живой! Беринг думал — клиент отвянет. Но клиент, напротив, оказался доволен — желчный мужик, лет пятидесяти. Он даже переплатил на радостях, и пока складывал эскиз в папочку, веселый огонек в его глазах не гаснул.

Как-то зашел Корнейчук. Днем дверь в свое убежище Беринг не запирал.

— Я, — крикнул Корнейчук, но что-то застрял в крохотной прихожей. — Где у тебя тут повесить?

Акцент на одежду был явный. У Корнейчука действительно было новое пальто — и не просто, а какое-то очень фирменное. Дело было не в том, что он не мог себе этого позволить, а в том, что раньше эта мысль ему просто в голову не приходила. И не только купить подобное, но и впоследствии о нем заботиться.

Корнейчук все-таки снял пальто и положил на соседний стол. И не просто положил, а сначала расстелил на столе газету.

— Да, — Беринг следил за ним взглядом.

— Что?

— Хорошая вещь.

— А то… — Корнейчук пробормотал что-то неопределенное и вытащил из сумки бутылку виски, лимон и пластмассовые разовые стаканчики омерзительно зеленого цвета.

— За партию зеленых! — сказал Беринг.

— За! — сказал Корнейчук. — Зеленый — цвет жизни. А то!

Выпили.

— Хорошо тут у тебя, — сказал Корнейчук, оглядывая окружающий Беринга всемирный хаос и, как всякий алкаш, быстро раскисая. — Люблю, когда бардак. Легче дышать.

Фирма Корнейчука только вселилась в новое здание. Там пахло краской, синтетикой, ацетоном, и все ходили чистенькие, надутые и жесткие, как целлулоидные пупсы. Впрочем, новое пальто Корнейчука не имело к этому отношения, а имело отношение к чему-то другому. И Беринг уже догадывался… к чему.

Беринг видел лицо Корнейчука совсем близко. Когда-то он был даже красивый, с мелкими, правильными чертами — и долго оставался таким законсервированным мальчиком — Фан-фан, мотылек. Становясь старше, в какой-то роковой миг, такие превращаются просто в стар採еньких мальчиков, таких грустных, увядших кузнечиков, и ничего веселого в этом уже нет.

— Давно видел Светку? — спросил Корнейчук, хотя из-за этого, видимо, и зашел.

— Да порядочно.

— А вообще видишь?

— Вижу иногда.

Наконец Корнейчук выдавил:

— Я женюсь.

— Я понял, — сказал Беринг. И не соврал. Он понял действительно, что понял это сразу, как только увидел Корнейчука в новом пальто.

— Вот… — Корнейчук жалобно вздохнул, еще поерзал на жестком стуле и сказал: — Появится, ты ее как-нибудь подготовь… Ты ее знаешь… Чтобы без эксцессов.

— Да нормальная она. Ты что!

— Я-то ее знаю.

— Что ж на ней не женился?

Лицо Корнейчука сморщилось и от виски, и от мрачных мыслей, превратившись окончательно в лицо незнакомого Берингу старичка.

— Поживи с мое, братик… Светка бы мне житья уже не дала… Да и надоели мы друг другу.

— Она тебя любила…

— Ты что, мораль мне будешь читать? Вот сейчас у меня баба. Все! Молодая! Умная. Оптимизма на четверых. На меня молится.

Конечно, они были и оставались друзьями, недаром же дружба ценилась древними греками даже выше любви, но тогда Беринг не выдержал и шмякнул стаканчиком с недопитым виски по столу. Стаканчик, естественно, не разбился, но виски брызнуло в разные стороны, оросив даже новое пальто Корнейчука.

— Корнейчук, ты скотина! — сказал Беринг с глубокой убежденностью в голосе.

Как всякий принципиальный алкаш, Корнейчук разлил оставшийся виски, допил свою порцию, все молча, натянул пальто и ушел.

Адель еще не вернулась из отпуска, когда позвонила Лариса, жена отца, и сказала, что он болен. Последний раз Беринг видел отца, когда началась эта история с деньгами, а до того не видел вообще черт-те сколько. За это время всего, да как и у всех, произошло навалом. Зачем же тут звонить? Голос у нее был неестественный и сонный, хотя был уже разгар дня.

Беринг не любил ее не только за то, что когда-то она здорово попортила кровь ему и его матери, но и за то, что в голове у нее был маленький такой, паршивый счетчик… И он работал не переставая, скорее всего, даже во сне… Она была белесая, млявая, как снулая рыба, и чем-то напоминала Адельку. Но Аделька была человек, а у этой вместо мозгов счетчик, примитивный донельзя. Но как раз такие и опасны для непримитивных людей.

Наверное, вначале она папашей Беринга была действительно увлечена, ведь, как ни крути, он был блестящий парень. Но математики, как поэты, а поэты, как бабочки…

Папаша Беринга защитил докторскую диссертацию в двадцать девять лет. Берингу тогда было восемь, и у них были замечательные отношения, все было здорово. Их семья, казалось, излучала сияние, как святое семейство на картинах средневековых художников. Даже простая воскресная поездка на электричке к дедушке на дачу превращалась для Беринга в праздник, чудо жизни. И потрясающе вкусным становился обыкновенный бутерброд с «необыкновенной» колбасой. (А не съесть ли нам бутерброд?), и потрясающим зрелищем — стадо рыжих коров, мелькнувших в окне… (Смотри, смотри! Ты видел? Видел? Это же ко-ро-вы! Фабрика молока! Чудо природы! Коровы едят траву и дают молоко!)

Через девять лет снулая рыба, любительница талантливых математиков, окончательно увела отца от семейного очага. Она поступила в аспирантуру, потом защитила кандидатский диссер, точнее, папаша за нее поступил и защитил, и осуществила свою мечту — осталась преподавать в универе. Ну а папаша? Тут история посложнее. Кто-то скажет — посложнее, а кто-то — обыкновенная история, банальная, как мир. Что-то снулая рыба таки у папаши оттяпала. Не физически, а как бы выразиться точнее, — ментально. Что-то важное в его творческом механизме. Так что он навеки остался профессором физико-математических наук, которого когда-то приглашали работать в Оксфорд и куда-то еще и который так и не поехал в Оксфорд и куда-то еще, потому что один раз его из страны не выпустили, а второй не смог поехать сам. То ли Лариска рожала, то ли по другой причине. А лучше бы ему там было по судьбе или нет, это известно только судьбе. И в Оксфорде можно попасть под машину. Ну и кирпич может благополучно свалиться на голову в любой стране мира.

Короче, он остался все тем же профессором, ну а потом вместе с огнем его дара стал потихоньку затухать и огонь в его новом очаге.

И вот теперь эта самая Лариска, снулая, белесая рыба, которую семнадцатилетний Беринг, когда все открылось, так ненавидел и которая причинила матери Беринга, в тот момент им особенно любимой, много горя… (Берингу почему-то казалось, что мать может отравиться. Были дни и недели, когда он с ужасом засыпал и с ужасом просыпался, и следил за ней в оба. И когда появился Витек, веселый питерский балбес, герой ее южного романа, не испытал ни секунды ревности, положенной в таких случаях сыну, а напротив, принял его с восторгом.) И вот эта Лариска — мешочки под глазами, почки, сердце или что-то еще? — все с тем же, хоть и подержанным, но еще работающим счетчиком в голове, звонит ему — ведь она тоже его не любила, — и голосом сонным и заторможенным, несмотря на разгар дня, — снотворное, транквилизаторы, алкоголь? — просит отца навестить.

Отец лежал… Да, лучше не называть… Лучше не называть злых духов по имени. От одного этого духа, этой болезни, все шарахаются. И Беринг тоже готов был шарахнуться, как всякий живой человек, тем более слабый на такие дела, как болезни, как всякий мужчина. Но пошел… Конечно… Куда денешься?

Центральные ворота он боязливо обошел и направился к зданию через боковую калитку. На калитке сидела ворона. Или ворон. Но не галка, это уж точно. А ворон или ворона, — Беринг такие тонкости не различал. Когда-то отец любил птиц и вообще весь животный мир. Наверное, и сейчас любит. Вот он-то уж точно сказал бы — это ворон или ворона.

Он не поехал на лифте, а как когда-то в детстве, когда ему должны были вырывать зуб, все тянул и тянул время перед пугающей встречей. Медленно поднимался по стертым, каменным ступеням лестницы. Он почему-то представлял, сейчас отец схватит его за руку и закричит: «У меня рак! Рак! Я скоро умру!»

И жуткое раздражение росло у него против отца. Сколько раз ему его не хватало, сколько раз рука тянулась к телефону и уже набирала номер, а у него уже была другая жизнь, другая жена, снулая Лариска, и другой сын, белесый мальчик Петя. И с этим «не хватало» он и жил первые годы после его ухода. Что ж теперь этот отец сваливается ему на голову со своим несчастьем, уже давно не делясь с ним своим счастьем. В этом Беринг видел какую-то чудовищную несправедливость.

В палате было восемь кроватей.

Отец лежал возле двери. Голова у него стала совсем маленькая, как у ребенка, лицо же желтым, как будто этот ребенок болен. Такой желтолицый ребенок. Большие, умные глаза особенно выделялись.

— О! — обрадовался отец. — Ты?

И действительно схватил протянутую Берингом руку. Но так, на мгновение, и быстро отпустил.

— Мы тут обсуждаем, — продолжил он оживленно, — состав сегодняшнего завтрака. То есть, процентное соотношение крупы, воды и сливочного масла.

— Ну и что в результате? — промямлил Беринг, еще не освоившись с обстановкой.

— Явное преобладание воды. Формулу ты знаешь. Из-за сомнений в качестве фильтрации возможно попадание случайных химических элементов, а также солей тяжелых металлов. Крупа не более тридцати процентов. Сливочное масло, как таковое, коего, как ты знаешь, я большой поклонник, не обнаружено. Но обнаружено нечто напоминающее рафинированное растительное масло для жарки в объеме 0,03 процента.

— У вас тут весело, — заметил Беринг.

— Да, — сказал отец. — Мы много смеемся.

Беринг оглянулся — с остальных семи кроватей ему действительно улыбались лица разной степени худобы. Одно лицо было даже полным. Беринг внимательно посмотрел на отца и вдруг увидел в нем давно ушедшего в прошлое отца своего детства. И в том самом настроении, которое он всегда любил.

— Как мать? — вдруг спросил отец.

— Мать? — удивился Беринг. — Нормально. А что?

— Кого она там себе откопала? Что за фраер?

— Витек.

— Кто-кто?

— Это я его так зову, а вообще, он — Виктор. Виктор Палыч, кажется…

— Ви-к-тор Па-лы-ыч, — повторил отец так, как будто решил разгадать, что за человек скрывается за этим именем. — Чем он занимается?

— Не знаю, — сказал Беринг. — Продавал что-то…

Беринг действительно не знал, чем занимается Витек. Последний раз он видел обоих больше года назад. Тогда он уже работал у Сторожева и около месяца встречался с девушкой по имени Соня. Девушка скользнула по его жизни, не оставив следа. Ей было двадцать пять, и она искала мужа. Так стремительно становиться мужем (тем более, с Томкой он был официально не разведен) он не хотел, и почувствовав это, нетерпеливая девушка уплыла от него так же стремительно, как приплыла.

Но в тот момент он был немного увлечен ею и, возможно, чтобы произвести впечатление, даже свозил в Питер. В Питере они пробыли два дня — посетили театр и несколько увеселительных заведений, одну ночь переночевали у матери. Надо сказать, встреча не удалась. Все остались недовольны друг другом. Мать с Витьком жили далеко от центра, но рядом с метро, то есть вполне прекрасно. Квартира у них была большая, на жизнь хватало, и было даже довольно сверху. Но мать была нервной, злой и сразу дала понять, что на этот раз он невовремя, да еще и с подругой. Тем более, Тамарку, жену, мать любила.

Мать переживала какой-то сложный момент жизни. В дальней комнате лежала хронически больная мать Витька, и Беринг слышал, как несколько раз за ночь звонил колокольчик. Это мать Витька призывала мать Беринга оказывать ей какие-то услуги. Старуха плохо спала. К тому же мать Беринга она терпеть не могла, хотя бы потому, что та не родила ей внуков. Короче, матери доставалось. Самого Витька Беринг почти и не видел. Он появился поздно вечером, пожал руку, что-то пожевал и пошел спать. Утром, когда Беринг поднялся, его уже не было.

Мать рассеянно сунула им невкусный завтрак и все смотрела в окно, не поддерживая разговор. Конечно, она держала себя в руках, но Беринг-то знал свою мать и легко читал на ее лице смесь усталости, раздражения и тотального недовольства жизнью.

— Нормально она живет, — повторил Беринг.

— Она счастлива?

— Ты о чем? — Беринг посмотрел на отца с недоумением. Ему вдруг показалось, что они поменялись местами, что он намного старше собственного отца, старше и в каком-то смысле умнее. — А ты?

— Я? — отец опять засмеялся. — Знаешь, есть такие моменты, когда думаешь — жизнь можно начать сначала.

— Нельзя?

— Нет. Если было хорошо, надо это ценить. Надо знать — может, лучше и не будет. А ведь ждешь… Думаешь, будет лучше, лучше. Я думал, с твоей матерью все уже завершилось, а это во мне что-то завершилось. Думал, начнется новое… А просто хотел новое в себе…

Чтобы лишний раз не смотреть на отца, на его желтоватое лицо — лицо больного ребенка, Беринг скользил взглядом по блеклым, синеватым стенам палаты, по окну, до середины которого доставала верхушка какого-то дерева, а потом даже с усилием опять переводил взгляд на отца.

— Хорошее-то было? — спросил Беринг и поднялся.

Отец посмотрел на него вдруг внимательно и серьезно:

— Было. Конечно. Много хорошего. И ты у меня был. И твоя мать у меня была. И все было хорошо, — и отец опять засмеялся. В его голосе не было горечи. Засмеялся и все. — С деньгами-то образовалось?

— Образовалось.

— Вот-вот, всегда в результате все как-то образовывается. Главное, не трусить…

В следующий раз Беринг навестил отца где-то через месяц. Адель к этому времени вернулась, и если выражение «порхать» к ней применимо, то она «порхала». Отец был уже дома и сам открыл ему дверь. Он почти не переменился, но был невесел, может, оттого, что был один. Ведь веселятся в компании.

Он открыл дверь и вернулся в спальню, на край большой двуспальной кровати, на которой лежал в одежде — старые брюки и старый свитер, — лежал, не расстилая постель, только откинув со своей стороны шелковое покрывало слащавого, розового цвета — мать никогда не купила бы такое, сверху покрывшись старой курткой.

— Чай будешь пить?

— Не откажусь, — сказал Беринг.

— Я тоже не откажусь, — сказал отец. — Прошу!.. — и кивнул в сторону кухни.

На кухне… Да, грязновато было на кухне. Не так, как у Беринга перед понедельником, но почти. Беринг не удержался и заглянул в холодильник — продуктов там почти не было. Он включил чайник, нашел заварку и сахар.

— Где семья? — спросил, возвращаясь с двумя кружками чая.

— Лариса в санатории, Петька у бабки. У него скоро экзамены…

— Да, — сказал Беринг.

— Она устала. Ее можно понять, — сказал отец.

Отец всегда любил чай, но сейчас осилил только четверть кружки. На лбу у него выступила испарина.

— Ее можно понять, — повторил отец, чуть задыхаясь.

Беринг просидел еще минут двадцать. Больше они не говорили. Отец прикрыл глаза. На лице у него было сосредоточенное выражение, которое Беринг тоже хорошо знал — словно он решает какую-то сложную задачу.

— Ладно, — сказал отец. — Иди. Не мучай себя.

— Я не мучаю себя, — сказал Беринг.

— Тогда не мучай меня. Буду спать.

— Что тебе купить? — спросил Беринг.

— Немного здоровья, — сказал отец. Граммов двести. Ну, двести пятьдесят… Защелкни замок.

Не защелкивая замка, Беринг только прикрыл дверь и спустился в ближайший гастроном. Он был при каких-то деньгах, так что купил по своему понятию всякой молочной дребедени. Вернувшись, положил все это в холо-

дильник и еще раз заглянул к отцу — тот лежал не шевелясь, спал или делал вид, что спит… Сосредоточенное выражение не сходило с его лица.

Он заходил к отцу еще несколько раз. Лариска, снулая рыба, вернулась из санатория, но следов ее на двуспальной кровати не было, — она спала в соседней комнате, — а отец по-прежнему лежал на краешке, откинув общее покрывало. Сводного брата Беринг там уже не видел — тот основательно перебрался к бабушке. Скорее всего, он был сын своей матери.

Лариска выглядела лучше, чем раньше. Наверное, она адаптировалась к ситуации и включила свой счетчик. На Беринга опять смотрела косо, видно, уже думала о наследстве. А отец? Он все больше уходил в себя, решая свою последнюю задачу.

Беринг редко уезжал из города, а тут уехал на несколько дней. За это время отец и умер, и его кремировали. На кремации он не был, но на захоронение урны пошел.

Долго стояли у стены колумбария, на краю старого, поросшего высокими деревьями кладбища. Ждали, когда привезут урну. Привезли урну. Лариска схватила ее, как будто это был приз, кубок с крышкой на спортивных состязаниях, а потом стала плакать с каким-то взвизгиванием. Сводный брат тоже был, склонный к полноте и, на взгляд Беринга, туповатый юноша. Впрочем, тут, возможно, Беринг был и не прав. В этом возрасте многие выглядят, как бараны. Вот он и стоял, как баран, и смотрел на эту урну… Себя со стороны Беринг, конечно, не видел. Было еще несколько понурых людей, вроде, сослуживцев отца. И каждый из них наверняка думал — вот так и я, вот так и со мной, Кай смертен. Дул ветер, образуя в месте, где они стояли, аэродинамическую трубу. Когда урну поместили в нишу и зацементировали, все быстро разошлись.

Беринг сделал несколько шагов, но потом вернулся. На портрете-медальоне отец мало походил на самого себя. И бумажный цветок… гнусного розового цвета напомнил ему о покрывале на его двуспальной кровати…

Лариске, снулой рыбе, он больше не звонил. И она ему больше никогда не звонила.

Май пришел замечательный, с замечательной погодой, уже к середине все зазеленело, как летом. Вечера стояли светлые, и именно по вечерам солнце заливало их обычно тусклую квартирку-щель. Домой идти не хотелось, и Беринг засиживался там до темноты. В один из таких вечеров Адель его ошарашила. До этого она не являлась несколько дней, но Беринга это не беспокоило — мало ли у кого какие дела. Если бы что-нибудь случилось, она бы позвонила.

Адель пришла вечером, в короткой юбке. Последнее время она стала такое носить. Ноги у нее были не то чтобы очень, такие упитанные столбики, но короткое ей шло.

— Я выхожу замуж, — сказала Адель.

— Что? — заорал Беринг. — Шутишь?

— Нет, — сказала Адель. — Не шучу.

Беринг все не мог прийти в себя:

— Кто?

— Человек, — сказала Адель. — Просто хороший человек.

— Ты меня успокаиваешь.

— Все нормально. Будь спокоен. Мне написать заявление об уходе или как?

— Да ладно, — сказал Беринг. — Зачем нам эти формальности.

— А для Сторожева?

— Где это ты собираешься искать Сторожева?..

Адель задумалась и по старой привычке стала теребить нос… (Берингу показалось, что и нос у нее как-то уменьшился.)

— Я завтра приду, — сказала Адель. — Проститься. Познакомлю.

И ушла. Беринг с изумлением смотрел ей вслед — даже походка у нее изменилась, стала ловчее, что ли…

Конечно, терять Адель было грустно. Он к ней привык. Но то, что она как-то устроила свою жизнь, радовало. В таких раздвоенных чувствах — борьбе между эгоизмом и альтруизмом, он и оставался до вечера следующего дня. Но то, что ждало его вечером следующего дня, ошарашило еще больше.

Адель появилась около восьми. Беринг уже утомился ее ждать. Сначала вошла она, а за ней он. Он был ее меньше почти на голову, коренастый, заметно сгорбленный, а лицом напоминал охотничью собаку, возможно, сеттера. Ну так ведь и Адель не блистала красотой, так что вполне… Вполне этот парень ей подходил. Он все время трогательно держал ее за руку.

Они принесли две бутылки дорогого шампанского и коробку конфет. Пока суть да дело, пока Адель искала на кухне стаканы, распечатывала коробку с конфетами, а Беринг раскупоривал шампанское, пока разливали и выпили немного, Беринг еще не врубился, а потом врубился — избранник Адельки ни бельмеса не понимал по-русски.

— Он что, по-русски не говорит? — спросил Беринг.

— Нет, — сказала Аделька. — А что?

Но между собой они как-то общались, и общались все время, какими-то взглядами, касаниями, междометиями, ее руки он так и не выпускал, а когда она выходила на кухню, шел следом.

— Он хочет показать тебе дом, в котором мы будем жить, — сказала Адель.

— Давай, — согласился Беринг. — Конечно, интересно, где вы там будете жить? — и взял протянутую ему фотографию.

…На фотографии был замок. Самый настоящий средневековый замок, с башнями и стрельчатыми окнами. Он лепился к склону горы, окутанный романтичной, туманной дымкой. Не фотография, а кадр из какого-нибудь исторического фильма.

— Эффектно, — сказал Беринг, принимая фотографию за прикол.

— Это не шутка, — сказала Адель. — Это его.

— В смысле? — не понял Беринг.

— В прямом смысле. Он граф.

— Граф? — сказал Беринг. — Я думал, графы перевелись.

— Нет, как видишь.

— Так значит, ты будешь у нас графиней? — усмехнулся Беринг.

— Выходит, буду, — сказала Адель.

— Еще скажи — он сирота и единственный наследник.

— Да, он сирота и единственный наследник.

Беринг задумался.

— Да, — сказал он наконец. — Убила. А я-то думал… Индийское кино имеет право быть. Есть в жизни счастье!

— Все имеет право быть, — сказала Адель серьезно. — Не знаю, что это будет за счастье, но мы любим друг друга.

Еще до их прихода Беринг положил в конверт весь их общий заработок за месяц — свадебный подарок. Но тут задумался — может, и не обязательно отдавать. Она теперь графиня, а ему сидеть на бобах до следующего заказа. Все-таки отдал.

— Спасибо, — сказала Адель. — Хорошо иметь свои деньги, — и взяла конверт.

После отъезда Адельки жизнь пошла грустная. Да и потяжелей. Все-таки она не была халявщицей и много делала. На столах и в столах был какой-то порядок. Беринг скоро это почувствовал, когда несколько дней искал нужный диск.

С Корнейчуком он практически не виделся. Светка исчезла уже давно. Отец умер. Его вроде и не было в мире Беринга, но на Земле-то он был. И это, оказывается, уже было многое, это было особое наполнение жизни. Беринг стал тосковать и даже отказался от двух нормальных заказов, взял только один, совсем простенький, из расчета — прокормиться одним пакетом кефира в день.

Ко всему остальному солнечный, светлый май сменил холодный, дождливый июнь. Каждое утро, просыпаясь, он с отчаянием смотрел на бесконечную серую хлябь за окном и ждал солнца, потому что с солнцем приходит надежда.

Как-то, копаясь в дедовских книгах, он нашел одну, название которой было созвучно его настроению… Оно включало слово *одиночество*… И не просто одиночество, а какое-то фатальное, которому сто лет. Сто лет одиночества, наверное, это ужасно.

«Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его посмотреть на лед…» Лед в Латинской Америке, наверное, это круто… Понятно, когда-то… Теперь в самой экваториальной Африке открывай холодильник — и вот тебе лед. Да дело-то и не в этом. Дело в том, что род приходит и род проходит… И какой-нибудь Полковник бесконечно ведет свою бесконечную войну, а его мать, какая-нибудь Урсула, хранителица очага и рода, борющаяся с разрушением, с углами, зарастающими грязью, поддерживая затухающий огонь и выхаживая потомство. И дело совсем не в смысле, и даже не в результате… Война когда-нибудь все равно будет проиграна, а дом зарастет травой и уйдет в землю…

На другой день Беринг не пошел работать и вообще никуда не пошел, и не ложился спать, пока не дочитал до конца. За окном хлестал холодный дождь, когда он читал про бесконечный дождь, заливавший Макондо… И Беринг, как и Макондо, был отрезан от Большой земли. Бесконечным было его одиночество, бесконечным было одиночество его отца — нерасчетливого математика, поэта, бабочки… Бесконечным было одиночество полковника Аурелиано Буэндиа… Но читая про одиночество Полковника, Беринг был уже не так одинок, его одиночество было разделено… Нет, дело даже не в смысле и не в результате, война, которую каждый ведет в одиночестве, возможно будет проиграна, провалится крыша дома, зарастет травой, уйдет в землю, обрушится на героя ветхий корабль «Арго»… Дело не в этом… Дело только в одном — если ты есть, — БУДЬ. И пока ты ЕСТЬ, ты БУДЕШЬ.

…На любовь или на дела? — спросила гадалка, раскидывая карты. На дела, — сказал Полковник. Если бы она спросила об этом у Беринга, Беринг бы ответил: на любовь.

На другой день он проснулся в другом настроении. Конечно, вроде бы жизнь измеряется годами, но складывается-то она из дней.

Вроде дождь лил по-прежнему, но в нем Беринг ощущал уже не уныние, а свежесть. Он сделал даже что-то похожее на гимнастику и, выпив кофе, вымыл после себя чашку. Потом нашел в чулане старую куртку с капюшоном и отправился на работу. Холодные струи стекали по капюшону и капали на

лицо. Но это был все равно июнь. Свежий, дождливый июнь. Это было лето. Он шел и улыбался.

К середине лета с Берингом стало твориться что-то странное. Он стал находить вещи. Такого с ним не было никогда. В основном он только терял. И вдруг стал находить. Вот так. Ни с того ни с сего. Прямо на улице.

Сначала нашел деньги, купюру, равную по значимости трем долларам. Место было людное, но она лежала прямо под его ногами. Купюра как купюра, даже не очень потертая, анонимная, как любые деньги. Он почему-то подумал, что должен тут же ее истратить, а не носить в кармане. Она словно жгла ему бок. В ближайшем магазине он купил банку пива и чипсы.

Потом нашел вполне приличное мужское портмоне и буквально на другой день складной мужской зонтик, а через неделю хороший мобильный телефон и даже без сим-карты, что вообще избавляло его совесть от какой-либо ответственности. И если вначале ему от всего этого было даже не по себе и было желание тут же от этого избавиться, деньги потратить, а вещь кому-нибудь подарить (портмоне он тут же подарил своему однокурснику, которого случайно встретил на улице), то потом ему это даже понравилось, и когда поток даров вдруг иссяк, он еще долго замечал за собой, что внимательно смотрит себе под ноги и заглядывает под скамейки.

Последним даром из всех этих даров была девушка Женя по фамилии Стальная. Когда Беринг впервые услышал эту фамилию, его даже передернуло, но потом ничего, привык. И скрежет металла, остро отточенный клинок ему уже не чудились, когда она сама или кто-то другой произносили эту фамилию.

Женя позвонила насчет работы. Где-то, от кого-то она слышала, что у него есть вакантное место, и тот, кто ей об этом сказал, дал телефон. Беринг томился один на один с компьютером, да и облегчить жизнь был не против, но выложил все напрямик — оплата сдельная, никаких трудовых книжек и вообще — подробностями личной жизни не грузить. Женя Стальная была согласна на все.

Когда она пришла первый раз, Беринг только присвистнул — красавицы их фирму не жаловали. Женя Стальная была высоченная и страшно худая. В прохладные дни, казалось, ее лицо, обтянутое тонкой кожей, синело, как у инопланетянки. Но характер у нее оказался пресимпатичный, а главное — у нее не было никаких комплексов. Примчавшись от какого-нибудь клиента, она садилась напротив Беринга на стол Сеньки Сторожева и, забросив на стол Адельки свои стрекозиные ноги в обтягивающих бесконечных джинсах, курила и, захлебываясь от хохота, рассказывала подробности своего путешествия. Все ей было весело, все смешно.

Беринг не спрашивал ее ни о чем. Сколько ей лет, боялся даже подумать. Но видеть ее, — когда с неизменным опозданием в полчаса, чуть ли не ломая ноги, она вбегала в тесноту Сенькиной квартиры, и все сразу наполнялось совсем другим светом, начинало играть совсем другими красками, — видеть ее скоро стало ему необходимо. Ломающимся детским голосом она просила разрешения сначала напиться чаю.

— Можно, я чаю выпью? — спрашивала она, еще задыхаясь от бега. — Я быстро-быстро!

— Пей! — великодушно разрешал Беринг.

— Я быстро-быстро!

Но чай она пила долго, потому что не переставала болтать. Про то, что видела во сне, с кем говорила по телефону, что вычитала в Интернете, короче,

множество самых разных сведений сыпались из нее горохом, и все это было весело и занятно. Потом она садилась за стол Сеньки Сторожева и делала совсем простые вещи, которым научил ее Беринг, а чаще просто играла в какую-нибудь компьютерную игру, а Беринг делал вид, что этого не замечает.

Когда Беринг вручил ей первую зарплату, она взвизгнула, подпрыгнула на длиннющих своих ногах и, уже приземляясь, поцеловала Беринга в щеку.

Иногда Беринг мечтал… Ведь было бы совсем неплохо всегда иметь рядом с собой такой вот солнечный зайчик. Если предположить, что ей двадцать, а Берингу пару лет как пробило тридцать… Разница есть, да, но не фатальная. Примеров не счесть… В конце концов, чем он хуже других? У него уже есть опыт брака с ровесницей. Спасибо огромное! Жена-подруга, жена-сестра — в этом есть что-то от инцеста, да, что-то противоестественное. Жена должна быть другой. Жена должна взвизгивать от счастья, когда ты ей что-нибудь даришь. Ты можешь ее подрастить, повлиять на развитие, привить какие-то вкусы… Беринга не заносило. Он не считал себя явлением мирового порядка, но относился к себе неплохо, во всяком случае — с уважением. Беринг совсем размечтался. Он уже подумывал о том, как бы расширить производство, зарабатывать больше денег, привести в порядок квартиру, а может, даже купить новую. В конце концов, ему надо одеться. Он не мальчик. Джемпер, плащ, стильный шарф, и не его вечно заношенные джинсы. Он даже стал заходить в магазины и посматривать на мужскую одежду…

Однажды Женя Стальная исчезла на целую неделю. Беринг дико разволновался и очень пожалел, что ничего о ней не узнал — ни адреса, ни номера телефона… Ведь так легко позвонить и спросить — что с вами? Почему вы не приходите? Вы не заболели?

И как раз так совпало, что именно в этот момент он читал Пруста. Под настроение, бегло проскочив занудное описание Комбре — провинциального французского городка (он давно уже стал сам для себя незабвенным Куном), — он приступил к любви Свана.

Как-то на музыкальном вечере эстет Сван был под большим впечатлением от одного музыкального произведения, особенно от одной музыкальной фразы, и это совпало с присутствием женщины, с которой у него были не очень серьезные отношения. И в его душе вдруг объединились эта взволновавшая его музыка и образ этой женщины. Они слились воедино.

Когда Женя Стальная сидела напротив Беринга и, от волнения даже закусывая нижнюю губу, играла в какую-нибудь примитивную компьютерную игрушку, Беринг чувствовал себя особенно хорошо. Его жизнь наполнялась смыслом и желаниями — успеха, денег, движения… Когда он ее не видел, как бы гас свет и все покрывал легкий вечерний сумрак. И хоть мечты оставались мечтами, мечтать Беринг не переставал.

Однажды она пришла к нему домой без звонка и предупреждения. Это было как раз через несколько дней после того, как он вручил ей первую зарплату. С собой Женя принесла крошечный тортик, украшенный тремя шоколадными вишенками. Эти вишенки почему-то его особенно умилили. Одну он схватил сразу, как только Женя Стальная сняла упаковку. Большой, ярко накрашенный рот Жени Стальной растянулся в длинной улыбке и пропел:

— Ну, вы прям как маленький!

Эта реплика тоже была приятна Берингу, как будто с ее помощью, как с паролем или заклинанием, он мог попасть в ее возрастную группу. А ведь ей только исполнилось восемнадцать. Это обнаружилось чуть позднее, за чаем, когда заговорили о месяцах и годах рождения.

«Черт, ей только восемнадцать!» — подумал Беринг.

Сначала эта мысль его ужаснула. Потом он пообтерся, попривык и к концу вечера уже думал — не все ли равно двадцать или восемнадцать… Да и вообще!

Женя Стальная сама вызвалась приготовить чай и сделала это довольно ловко. Электрочайник у Беринга был с причудами и требовал особого подхода. Она, не спрашивая рекомендаций, повозилась с ним немного, что-то встряхнула, на что-то нажала, и чайник заработал. К груде грязной посуды она, конечно, не притронулась.

С вишенкой расправились так — первую, понятно, в инфантильном порыве сожрал сам Беринг, вторая полагалась Евгении, а третью он уступил ей как кавалер. Внутри вишенки затаились три капли рома, и Беринг охмелел.

Женя Стальная ела торт и ложкой, и руками, а потом вылизывала пальцы с длиннющими красными ногтями. Говорила она при этом не умолкая, но главное, о чем бы она ни говорила, казалось ему удивительно интересным. Даже как она добиралась до него, как поскользнулась на обертке из-под мороженого и как ее подняли, как шофер маршрутки довез ее бесплатно и наговорил комплиментов, какое у него было лицо при этом, у этого шофера, и какие усы — загнутые вверх, как перевернутые запятые. Ведь есть же, оказывается, такие замечательные шоферы, с такими вот загнутыми усами!

Перед уходом Женя Стальная пронеслась по квартире и заглянула во все углы — как бы обводя его жилье заколдованным кругом или, как животные, помечая все своим духом. Она даже заглянула в чулан и воскликнула:

— Ого! Какой у вас большой чулан!

Уже в дверях она скользнула по его щеке своими липкими, сладкими губами и побежала к лифту. А Беринг еще долго стоял и слушал глухой скрежет старого лифта, особым звуком, этаким коротким рявканьем отсчитывающим этажи. Потом, как бы оглушенный, вернулся на кухню и еще долго сидел за столом, с приятной тупостью глядя на остатки торта, чувствуя, как от его щеки вверх идет теплый, пряный запах ванильного крема и помады. Запах, в другой момент жизни показавшийся бы ему довольно пошлым.

С этого дня Женя Стальная приходила к Берингу каждую неделю и каждый раз не сговариваясь заранее, как будто намеренно хотела застать его врасплох. Выбор торта был неизменный — маленький тортик в виде сердечка с тремя шоколадными вишенками. Одна вишенка доставалась ему, две — ей.

После долгого чаепития и рассказов о ее бесконечных происшествиях, как понял Беринг, пока главного увлечения в ее жизни, следовал поцелуй и неотвратимый, как судьба, скрежет лифта. Этот поцелуй, который он не смывал до утра, вымазывая в помаде и жире наволочку, был между ними единственным интимным моментом. Беринг уже стал подумывать, как бы его расширить и углубить, как дело приняло совсем неожиданный оборот.

Как-то вечером объявилась давно пропавшая Светка. Она была с поклажей, то бишь с чемоданом, в свободном плаще. Беринг был ей рад. Светка бросила чемодан в прихожей, вошла в комнату и только тогда сбросила плащ.

— Ого! — только и сказал Беринг.

— Вот так! — сказала Светка.

Она была уже здорово беременна.

— Корнейчук?

— Еще чего захотел! Конечно нет.

Светка подурнела. Ее лицо было покрыто пигментными пятнами, а большой живот натягивал и распирал короткое платьице довольно безвкусного покроя, что на Светку было все-таки не похоже.

— Платье ужасное, — сказала Светка. — Не смотри. Больше ничего не налезло. Накормишь?

Не дожидаясь ответа, Светка пошла на кухню, и Беринг слышал, как хлопнула дверца холодильника.

— Яичницу будешь? — крикнула Светка из кухни.

— Давай, — отозвался Беринг.

Беринг съел два яйца и с ужасом смотрел, как Светка одно за другим уминает почти десяток.

— Ты сам говорил, мне надо родить ребенка, — сказала Светка, водя по опустевшей сковородке кусочком хлеба.

— Конечно, ты молодец, — с трудом выдавил Беринг.

— Мне надо где-нибудь отсидеться до родов… и немного потом. Я буду совсем тихой, не бойся, — при этом Светка жевала хлеб и пристально смотрела ему в глаза.

О том, что Берингу это никак не могло понравиться, Светка прекрасно знала.

— У меня свои планы, — сказал Беринг.

— Женщина?

— Возможно…

— Да ты что?! — на какую-то долю секунды глаза Светки оживленно блеснули, но быстро потухли опять. — Я буду тихой.

— Но ты же будешь, — Беринг все отводил взгляд, а Светка все его взгляд ловила.

— Мне некуда идти, — сказала, наконец, Светка. — Мне надо, чтобы об этой истории пока знало как можно меньше народа. А ты, скотина, скотина чертов, имеешь к этому самое непосредственное отношение. Можешь и потерпеть!

— Ты хочешь сказать, что я отец? — засмеялся Беринг.

— Ты не отец, — сказала Светка. — Но из-за тебя и твоих паршивых денег я в эту историю влипла! А врач сказал, если сделаю аборт, детей больше не будет.

Беринг все понял.

— Живи, — сказал мрачно.

На этом история Беринга и Жени Стальной закончилась.

Беринг еще не знал этого, но интуиция говорила ему — все. Почему? — спрашивал Беринг свою интуицию. Да по кочану! Разве на свете не существует любовь? Возвышенная музыкальная фраза, слитая воедино с чьим-то обликом? Существует, — отвечала ему интуиция уклончиво, — но не в каждом отдельно взятом случае.

Придраться было нельзя — Светка вела себя идеально. Когда Женя Стальная в очередной раз, со своим тортиком, без предупреждения появилась в квартире, Светка молниеносно исчезла в Федькиной-своей комнате и бесшумно закрыла за собой дверь.

— Кто это? — спросила Женя Стальная.

— Родственница, — ответил Беринг.

И он говорил правду.

— Она что, — прогнусавила Женя Стальная недовольно, — будет здесь жить?

— Какое-то время…

— Какое?

— Неопределенное…

— Неопределенное… Это хуже всего, — сказала Женя Стальная и посмотрела на Беринга, как иногда смотрят мудрые старушки.

Весь вечер она молчала, не рассказывала своих занимательных историй, только колупала тортик…

На работе Женя Стальная тоже стала рассеянной. Как-то не приходила пару дней. А один раз, когда Беринг на полчаса позже бежал на работу, он увидел вот что…

По улице, ведущей к дому, в котором располагалась квартирка бабки Сеньки Сторожева, а следовательно, и их тухлая фирмочка, быстрым шагом шла Женя Стальная, а за ней ехала машина, нормальная иномарка, может, не из самых дорогих, но и не из самых дешевых. Беринг замедлил шаг, чувствуя при этом, как замедлилось и его дыхание, и даже чуть вжался в стену ближайшего дома.

Машина ехала-ехала и, наконец, остановилась. Из нее выскочил мужчина средних лет и средней упитанности, может, и не намного старше Беринга, догнал Женю Стальную, стал хватать за руку и что-то кричать, а Женя Стальная эту руку выхватывала и тоже кричала что-то противным детским голосом. Беринг разобрал только одну фразу, типа — «без тебя проживу!». Мужчина вроде протянул ей какие-то деньги, а она сжала их в кулачок и бросила ему в лицо. Мятая бумажка ударила его по носу и упала на землю. Он быстро ее подхватил, сел в машину и уехал, а Женя Стальная отправилась дальше на работу, в квартирку бабки Сеньки Сторожева. Беринг выждал время, погулял вокруг и только потом зашел в дом.

Женя Стальная сидела на своем месте, сложив на столе руки, как школьница за партой, и, скосив глаза, смотрела в окно.

— Кто это был? — неожиданно для самого себя спросил Беринг. Ведь он не собирался ее ни о чем спрашивать.

— Кто? — переспросила Женя Стальная. — Слон в пальто. Пап-ка…

Она перевела глаза на Беринга, и он увидел в них отражение окна, деревьев за окном, комнаты бабки Сеньки Сторожева, даже своего компьютера. Только он сам в них не отражался.

Через два дня Женя Стальная исчезла из его жизни навсегда.

Бог дал, Бог взял, — думал Беринг. Но думать одно, а чувствовать другое. Он все равно чувствовал потерю, чувствовал и переживал, особенно по вечерам… Читать ничего не мог, только тыкался иногда в Пруста «Любовь Свана». И как Сван, вспоминал первое впечатление, которое произвела на него Женя Стальная — нескладная высоченность, вызывающая жалость худоба, и первая мысль, которая пришла ему в голову, когда он ее увидел, — да, красавицы нас не жалуют. Марсель, Марсель… — думал Беринг, — дружище, я как и ты, почти полюбил женщину, которая мне не нравилась, женщину не в моем вкусе…

В такие вечера его особенно раздражала Светка. А ведь она по-прежнему вела себя идеально, ходила на цыпочках, не приставала с разговорами, ну а уж чистоту навела такую, что кухня Беринга, старая газовая плита и рассохшиеся кухонные тумбочки просто звенели. Светка добыла себе маленький телевизор, но когда Беринг бывал дома, делала звук совсем тихо. И все равно, как-то прислушавшись к неотвязному мурлыканью за стеной, Беринг взорвался, шандарахнул по стене кулаком и гаркнул:

— Да кончится это когда-нибудь, наконец!

Светка мгновенно выключила телевизор и притихла.

На другое утро Беринг к ней заглянул, она лежала на надувном матрасе, накрывшись тонким летним одеялом, и смотрела в потолок. Живот возвышался перед ней, как гора, начинаясь, казалось, у самого подбородка.

— Ты меня извини, конечно… — пробурчал Беринг невнятно. — Я… ладно…

— Ладно, — откликнулась Светка. — Женщина?

— Не знаю…

— Они того не стоят.

— Мужчины стоят?

— Мужчины тем более не стоят.

— А кто стоит?

— Дети…

— Это ты сейчас так говоришь. А потом вырастет какой-нибудь Корнейчук, скотина.

— Я тебе говорила, он будет не Корнейчук.

— Я к примеру…

— Тем более. Фильтруй базар. Ладно. Просто мы оба с тобой несчастны.

— Кто тебе сказал, что я несчастен? Я совсем не несчастен…

— Гордый какой. Ладно, мальчик. Будь милый, принеси водички…

Беринг уже стоял в дверях перед выходом на работу, как услышал ее тихий скулеж.

— Что у тебя там?

— Я пою, — ответила Светка.

— Странно как-то поешь.

— Так ведь на диафрагму давит.

Иногда звонила Адель. Уже увидев ее номер на определителе, Беринг начинал насвистывать что-то типа — «Люби, Адель, мою свирель…». Но трубку не брал просто из интереса, чтобы посмотреть, насколько у Адельки хватит терпения. А у Адельки всегда хватало терпения. Где-то после восьми или десяти гудков он брал трубку и делал вид, что бежал издалека, может, и с другого конца света.

— Але? — спрашивал Беринг, якобы задыхаясь.

— Але? — говорила Адель своим туговатым, неспешным голосом.

Должно быть, она любила своего похожего на сеттера графа, ведь он дал ей то тепло, на которое она уже не рассчитывала, тепло особой близости между людьми, заменить которое чем-то иным практически невозможно. Но она скучала. По телефону они всегда говорили долго. Адель интересовало все — любые мелочи его жизни, так что у Беринга иногда было впечатление, что он как бы диктует ей свою жизнь час за часом.

— За сколько ты это купил? — могла переспросить (все равно о чем шла речь — творожном сырке, куске колбасы или пачке бумаги).

— За столько-то столько-то, — отчитывался Беринг.

— По-нятно, — тянула Адель. — В евро это будет… — и медленно переводила на евро.

Беринг так и видел ее нахмуренный лоб.

— Ладно, — говорила Адель хорошо за двенадцатью. — Я еще позвоню.

— Звони, — соглашался Беринг.

— Позвоню, — повторяла Адель, но все тянула и тянула время и трубку не вешала.

Этого Беринг уже не выдерживал и отрубался первым.

Уже к концу августа, но уже после того, как Беринг съездил в Энск, Адель как-то сказала:

— У нас ничего не получается с ребенком.

— Ты хочешь ребенка?

— Конечно. Кто не хочет ребенка?

— Я, допустим.

— Так у тебя есть.

— Где?

— Где-то. Все равно. Он существует.

Рассуждать о несуществовании существующих детей Берингу не хотелось, — тем более за стеной тихо топала женщина-гора, бывшая Мисс Филфак, для которой этот вопрос тоже был актуален.

— Может, это из-за твоего графа? — сказал Беринг. — Просто его графская ветвь вырождается. Ветка засохла.

— Не знаю, — сказала Адель кротко и необидчиво. — Он очень хороший. Может, мы кого-нибудь усыновим…

— Кого? — поинтересовался Беринг.

— Кого-нибудь… Может, из Африки…

— Маленького людоеда? Круто, — сказал Беринг. — Не думаю, что голодную Африку этим спасешь.

Между тем живот у Светки все рос и рос — куда больше. И все равно становился больше. Вид у нее был страшноватый — ноги отекли и стали какими-то тумбами, лицо расплылось, потеряв очертание, превратилось в блин и покрылось желтыми пятнами. «Вот они, дети, — с ужасом думал Беринг. — А потом еще родится что-то с чем-то…» Его Томка носила Федьку совсем иначе. И живот у нее был небольшой, и буквально за несколько дней до родов они пошли прогуляться, и, чтобы сократить путь, она бесстрашно перепрыгнула какую-то канаву. Он имел глупость об этом сказать.

— Да… — протянула Светка жалобно и с обидой. — Сколько лет было твоей Томке и сколько мне!

Берингу стало стыдно, и он заткнулся. Но Светка была задета и даже спустя несколько часов, проходя мимо Беринга, пробурчала:

— Скорее всего, я вообще не самка. Точнее, не богиня плодородия. Тебе бы так!

Возглас был риторический. «Так» с Берингом быть не могло. Он не мог вообразить себя женщиной. Есть же такая молитва — типа, спасибо Господи, что не сотворил меня женщиной. Значит, великое благо уже даровано изначально.

Как раз в это время Беринг получил странное письмо. Некто, именовавший себя просто «клиент», просил приехать в Энск оформить заказ и обещал оплатить расходы.

— Авантюрист какой-то, — сказала Светка, прочитав письмо несколько раз. — Я бы не поехала.

— Так тебя и не зовут, — заметил Беринг.

— Я бы на твоем месте не поехала.

Но Беринг поехал. Тем более, до города Энска было всего несколько часов поездом.

— Продержишься? — спросил на прощание у Светки.

— Куда денусь…

— Телефон под руками. Первые роды — долгая история.

— Да ладно уж, жми на газ. Специалист.

Как только Беринг сел в кресло полупустого жесткого вагона, растянулся, вытянув ноги в сторону отсутствующего соседа, как только застучал барабанный стук колес, а за окном все быстрее поплыл сначала урбанистический, а потом индустриальный, а потом сельский пейзаж, что-то накатило на него до того по-детски успокоительное, что он, замотанный жизнью и ее трудами, и

«Сябрына»: Беларусь — Россия

собой, и всем, что его окружало, но в основном собой, вечно в глубине души всем недовольный, он вдруг оказался как бы в колыбели и с особым чувством защищенности и покоя вырубился и проспал непробудным сном до самого города Энска, и только поезд заботливо раскачивал последний вагон, в котором он спал, как нянька раскачивает колыбель.

В город Энск он погрузился, как в старый, полузабытый сон. Он твердо знал, что никогда не бывал в этом городе прежде, но какое-то навязчивое «дежа вю» его просто преследовало. Был разгар дня, и люди на улицах попадались редко. Это безлюдье только усиливало ощущение сна. От вокзала он пошел по улице Советской, и шел по ней долго, пару автобусных остановок, пока какая-то женщина с маленькой злой собачонкой в красной собачьей жилетке не указала ему совсем другое направление.

Он искал кафе «Молочное». В поисках этого кафе, которое его заказчик обозначил как место встречи, он прошел по другой улице тоже довольно долго. Улица, как было написано на одном из домов, называлась «Коммунистическая». «Блин! — подумал Беринг. — Сумасшедший дом, а не город!» Короче, какие-то поиски утраченного времени… И в который раз убедился, что время не обрывается в одночасье, как обрыв над рекой, а спускается то так, то эдак, смешивая то, что было, с тем, что есть. Так… Долго еще после отъезда жены Томки он находил какие-то ее мелкие вещи — расчески, заколки для волос, полупустые тюбики помады. И эти незначительные вроде бы предметы настойчиво кричали о прошлом и еще долго причиняли боль.

Молочное кафе было переполнено.

Должно быть, здесь неторопливо поедали свой ланч служащие ближайших учреждений. «Нашел место для встречи…» — подумал Беринг с раздражением. На часах до назначенного времени оставалось еще минут тридцать, возвращаться на улицу Коммунистическую у него не было желания, свободных мест за столиками пока не было тоже, и он просто стоял у стены рядом с пустым — погода была сухая и солнечная — гардеробом. Обеденное время подошло к концу, но посетители не спешили расходиться, медленно, как коровы, жевали свою жвачку. «Коровы едят траву и дают молоко», — вспомнил Беринг совершенно некстати. А может, и кстати. Потому что все живущие на свете существа что-то едят. Это их объединяет.

Было странное чувство, что этот заторможенный город просто затерялся в пространствах нового времени, как теряются племена где-нибудь в непроходимых джунглях, до сих пор добывая себе огонь трением камня о камень.

Наконец места за столиками стали освобождаться. Беринг сел так, чтобы видеть всех входящих в кафе, и сам с собой начал играть в игру — узнает своего клиента или нет. Сначала вошел какой-то старик. «Ну, этот вряд ли, — размышлял Беринг. — Разве что заказать собственное надгробие». Потом вошла девушка, совсем юная, почти школьница, потом какой-то парень, четвертым в кафе вошел Сенька Сторожев. «Ну, блин!» — прорычал Беринг на все кафе, так что все на него оглянулись.

Сеньку трудно было узнать. Он зарос бородой и одет был в кургузую, потертую курточку, но Беринг сразу его узнал. Он, кажется, узнал бы его по затылку, пятке, коленке в прорези джинсов — так Сенька его достал. И даже женщина-гора, Светка, заполнившая его жилплощадь, имела к этому непосредственное отношение.

— Тихо, придурок! — прошипел Сенька, рухнув на соседний стул.

Прямо на них уже не смотрели, но Беринг чувствовал, что искоса все наблюдают за ними. Просто из любопытства.

Сенька кивнул и пошел к выходу. Берингу ничего не оставалось, как пойти за ним. Они шли по улице Коммунистической…

— Я тебе кости переломаю, урод! И еще заставил сюда болтаться, — взывал в затылок Сеньке Сторожеву Беринг.

Сенька не отвечал, только чуть втягивал голову в плечи. Было это совсем не от страха перед Берингом, как Беринг потом понял, — просто у него появилась такая привычка.

Наконец Сенька остановился и обернулся к Берингу, вид у него был на удивление добродушный.

— Ладно, — сказал. — Успокойся. Может, все-таки сожрем что-нибудь? Тут моя бабка живет. У нее всегда есть пожрать.

В квартире у бабки Сеньки Сторожева пахло старой мебелью и старыми вещами. Сама бабка была в старомодном перманенте и в домашних туфлях на каблуке, но все равно доставала Сеньке только до пояса.

— Бульон с клецками по-варшавски! — взвизгнула бабка, шмякнув на стол большую старомодную супницу.

Клецки по-варшавски Беринг никогда не ел, но проглотил машинально и без всякого вкуса, он был слишком раздражен, чтобы в такие вещи врубаться. Чувства Сеньки Сторожева его не интересовали. Когда бабка принесла второе — большое блюдо с фаршированной рыбой, Сенька устроил скандал.

— Сколько можно повторять! — кричал Сенька. — Я не ем рыбу на третий день!

Бабка слабо отбивалась.

— Средневековье! Первобытный мир! Тогда холодильников не было!

— Фаршированную рыбу можно есть неделю… — жалобно скулила бабка.

— Это не рыба! — кричал Сенька. — Она мертвая, мертвая! Она долго вареный труп!

Между тем, сам он съел три здоровых куска. После слова «труп» Беринг к этой рыбе уже не притронулся.

— Зря не попробовал, — заметил ему Сенька тихо. — Дико вкусно. Просто учить их надо, учить. Здоровое питание — основа жизни. Да и вообще, старух надо дергать, иначе совсем застынут.

— Се-ня! Се-ня! — причитала бабка, выскочив за ним на лестницу. — Завтра придешь?

— Ну приду, приду… — проворчал Сенька.

Вышли на улицу.

— Сколько же у тебя бабок? — спросил Беринг почему-то злобно.

— Если не считать нашу покойницу, три. С двоюродными.

У Беринга бабок не было. Ни одной. Несправедливо.

Улица Коммунистическая шла все прямо, а потом перекидывалась через мост за реку. Река была довольно широкой. Не Советской и не Коммунистической, а просто рекой. Посредине моста остановились. Вокруг не было ни одного человека.

— Наверное, хочешь меня утопить, — сказал Сенька Сторожев.

— Хочу, — сказал Беринг. — А что? Твоя бабка меня не запомнила.

— Зря ты так, — совершенно серьезно заметил Сенька. — Еще как запомнила. Она глазастая. Потом в молочном кафе…

— Ничего, перекрашусь, отпущу усы. Зато получу удовольствие. — Беринг вынул из кармана мятый железнодорожный билет и бросил через перила. Планируя, тот полетел вниз и исчез из поля видимости, еще не коснувшись воды.

— С этого моста недавно три машины сиганули, — заметил Сенька с подчеркнутым равнодушием.

— Что-то здесь машин не видно, — сказал Беринг.

— Да, то не видно, а то как сиганут! Так и бывает…

— Я за тебя, скотина, долги отдавал! — сказал Беринг.

— Ну отдавал, отдавал… — проворчал Сенька с той же досадливой интонацией, с которой говорил бабке «ну приду, приду…» — Слушай лучше по делу — покупай фирму. — Из предосторожности Сенька все-таки чуть отступил назад. — Дорого не возьму, считай, часть ты уже отдал… Найдем, как оформить.

— Сколько?

— Не обижу… Ты ж понимаешь… В рассрочку…

— Сколько? — повторил Беринг и сделал шаг вперед.

— Ну, штук сто двадцать… — Сенька отступил еще на шаг.

— За эту нору? Ах, ты… ты и сволочь!

Беринг надвигался, Сенька быстро отскочил еще на несколько шагов.

— Девяносто, ладно… Площадь в центре… Техника!

Беринг уже развернулся и шел обратно, Сенька бежал следом.

— Восемьдесят, восемьдесят! На этом кончим.

— Придурок! Где я такие деньги возьму? — сказал Беринг останавливаясь.

— Я же сказал — в рассрочку. Восемьдесят в рассрочку!

Рабочий день заканчивался. На улице Коммунистической уже появлялись люди. Шли с работы. Кто-то просто гулял. Люди везде люди. Что в Энске, что в Москве, что в Париже. Между ними больше сходства, чем различий. Намного больше, чем между Берингом и злым пекинесом, к примеру, или Берингом и пролетающим голубем. Так что есть ли смысл обращать внимание на каждого? Не глядя по сторонам, Беринг быстро шел по направлению к вокзалу. Теперь уже Сенька Сторожев бежал за ним следом.

— Ты зря так со мной, — бубнил Сенька. — Ты должен мне доверять.

— Ничего я тебе не должен.

— Я трус, да, я знаю. Был бы ты на моем месте!

— Я на своем месте.

— А Адель как?

— Замужем в Швейцарии.

— Цирковой номер!

— А твоя?

— В Штатах, конечно. Что ей здесь делать?

— По-нят-но… Это ты тут шустришь, где что плохо лежит.

— Доверяй ты мне хоть немного! Хоть процентов на сорок!

— На пятнадцать.

Беринг, не прощаясь, пошел в кассовый зал за билетом на ближайший поезд. Думал, что от Сеньки уже избавился, — не тут-то было, он ждал его на перроне.

— Семьдесят. В рассрочку на пять лет. Три процента годовых! Может, я немного жулик, но я не подлец!

Вдруг у вагона Сенька прислонился к Берингу и как бы обнял. Это произошло так неожиданно, что Беринг не успел отстраниться. Одновременно Сенька чуть приподнялся на цыпочки и поцеловал его в щеку.

Светки дома не было. В Федькиной, а теперь ее комнате валялась разбросанная одежда, в кухне была пролита вода и не убран с полу разбитый бокал. Первой мыслью было, что ее похитили, — в конце концов, она у него явно от

кого-то пряталась. Мысль дурацкая, он и сам это знал. Но минуту его все-таки колотило. Придя в себя, взял телефон и стал обзванивать родильные дома. В первом же, Центральном, где, кстати, когда-то родился и он сам, ему ответили, что такая-то такая-то поступила утром и уже родила мальчика — три девятьсот пятьдесят весом и пятьдесят два сантиметра длиной… «Это много или мало?» — спросил Беринг с обычной мужской тупостью. «В пределах нормы», — ответил сухой женский голос и отрубился. Ну что, — подумал Беринг, — норма — это уже неплохо. Светка, как и он сам, видимо, этой норме не очень-то соответствовали, так хоть ее сын дотянет.

Конечно, Беринг надеялся, что Светка, родив, как-то решит свою жилищную проблему и отвалит от него, наконец-то, на все четыре стороны. Но все оказалось совсем иначе. Он, как заправский отец, забирал ее из роддома, торжественно принял на руки пакет с младенцем, а до этого как полоумный бегал по магазинам, закупая детское приданое, — Светка из суеверия до родов не сделала это сама. Через пару дней, когда, столкнувшись ночью на кухне, он задал ей прямо вопрос. «Свалишь ты от меня, наконец-то, когда-нибудь или нет?», Светка ответила: «Прости, еще поживу немного. Совсем чуточку…»

И Берингу в который раз пришлось смириться.

Мальчишку Светка назвала Левой. Это хорошее имя, — сказала Светка. — Все-таки лев — царь зверей.

Лев, царь зверей, выкатывал на Беринга бессмысленные, близорукие глазенки и вообще казался Берингу довольно мизерным существом. Мизернее Федьки в этом же возрасте. А возможно, Федьку в этом возрасте он уже просто не помнил. Светка же уменьшилась чуть ли не втрое, приближаясь к своему юношескому облику. Потом она стала крикливой и полубезумной.

— Я тебе не муж! — как-то в ответ заорал Беринг. — Я тебе не отец!

Но Светку ничем нельзя было пробить.

— Успокойся, — сказала Светка. — Накройся медным тазом. Я тебя не обижу. Я тебя люблю. Я эгоистка. Я люблю своих друзей.

Прошло немного времени, и Беринг стал все чаще встречать у своего дома одного человека — губы толстые, нос приплюснутый, челюсть от плеча до плеча. С таким, если признаться, страшновато было бы ехать в одном лифте. Но что-то в этом лице показалось ему знакомым. Лев — царь зверей, — почему-то подумал он и, черт побери, оказался прав.

Обычно Светка возила свое чадо на прогулку в соседний сквер. И вот както Беринг прямо из окна кухни увидел, как этот губастый парень выскочил из соседнего подъезда, где давно уже располагался маленький магазинчик, а он, видимо, сидел в засаде, и помчался за ними. Он шел за Светкой и что-то яростно говорил, широко размахивая руками, а Светка быстро катила коляску и даже не поворачивала к нему головы.

На другой день Берингу позвонили по квартирному телефону. Незнакомый, напряженный голос сказал:

— Слушай, давай встретимся, а?

Все эти истории с темными людьми последнего года его жизни Берингу порядком надоели, но тут речь шла о чем-то другом. И он даже догадывался — о чем. Так что согласился, поправил только:

— Только не давай, а давайте.

— Да мне без разницы!

— Разница есть. Я вас уважаю, и вы меня уважаете.

— Да ладно, не парься. Ладно вам… Спустись-ка в ваш магазинчик.

Вблизи парень оказался не таким угрожающим, как на расстоянии. Что бросилось в глаза неряхе Берингу, он был аккуратен и хорошо одет. Пожали руки.

— Толик.

— Беринг.

— Как?

— Беринг.

— Не слыхал такого имени.

— Отец был немцем, — пошутил Беринг.

Толик шутки не понял:

— Повезло. Деловой народ. Пошли по пивку, да?

Переместились через две улицы в пивбар, чтобы по пивку.

— Ну? — сказал Толик, выцедив кружку пива и уставив на Беринга прояснившиеся, глубоко посаженные глаза.

— Вникаю, — сказал Беринг.

— Не понял, — сказал Толик обиженно.

— Слушаю, значит.

— Ты понимаешь, что это мой пацан? — сказал Толик не сразу, но с напором.

— Догадываюсь, — сказал Беринг.

— Понимаешь? Вон… — он вытащил вперед громадный кулак. — Видишь?

— Ну?

— У него такой же. — На какой-то момент Толик замолк и тяжело размышлял, он был тугодум. — Не могу же я его бросить, вот так… Моего пацана! Через пятнадцать лет — на рыбалку! На море поплавать, погулять! Да он, может быть, мне дороже всего! Видишь? — он опять выставил вперед руку, сжал кулак. — У него такой же!

— А в чем проблема? — поинтересовался Беринг.

— По-первой, в тебе.

— Я-то здесь при чем?

— Что у вас за отношения?

— Дружба.

— Разве так бывает?

— Все бывает. В порядке исключения.

Толик опять задумался и думал так довольно долго, дожевывая селедочный хвост.

— Меня! Отца! — вырвалось у него вдруг что-то похожее на вопль. — Денег не берет! Ты-то ей кто?

— Я уже сказал.

— Смотри! — Толик погрозил толстым пальцем. — Смотри! Кости переломаю и обратно не сложу. Ладно, не обижайся, да? Что делать-то, а? У меня денег… Земля… Пару фабричек на селе… Ни в чем таком не замешан… Я — чистый. Понимаешь? Мне вся эта заграница… зачем? А здесь я король.

— Царь зверей, — уточнил Беринг.

По лицу Толика скользнула самодовольная улыбка, комплимент он воспринял всерьез.

— А зачем? Для кого? — вскричал он с прежним ожесточением. — Девки все корыстные. Им бы только по магазинам шмонать! А у него рука, вон, как у меня! — и он опять выдвинул вперед огромный кулак.

Под впечатлением чужого несчастного отцовства Беринг сам вспомнил Федьку, раскис и уже был не против добавить к пиву что-нибудь покрепче. О чем они говорили после, было уже не вспомнить. Даже обнимались. Не помнил Беринг и как попал домой. Проснулся у себя в комнате часов в один-

надцать вечера и пошел на кухню попить водички. Светка что-то варила на кухне.

— Д-а, — протянула Светка с издевкой. — Где это тебя так?

— Себя вспомни! — огрызнулся Беринг. — Тоже мне, женщина-мать!

Светка не обиделась, захохотала.

— Слушай, — сказал Беринг, заваривая себе большую кружку чая. — Ты что мужика обижаешь?

— Это ты о ком? — напряглась Светка.

— Сама знаешь.

— Ты видел его, видел?! — заорала вдруг Светка на весь дом.

— Ну, видел…

— И ты хочешь, чтобы я с этим орангутангом?

— Не такой уж он орангутанг. А если и орангутанг? Ты против орангутангов?

— О чем мне с ним разговаривать? Я на филфаке училась, а он трех книг не прочел!

— Вот и будешь развивать.

— Слушай… Я сейчас… Не доводи меня… — Светка чуть не грохнула тарелкой об пол, но сдержала себя. — Я не лезу в твою жизнь, и ты в мою не лезь.

— Забито, — сказал Беринг.

Он еще долго пил свой чай, а Светка все что-то варила и варила, раздраженно постукивая ложкой о стенки кастрюльки. Молчали. Только уже выходя из кухни, Беринг заметил:

— Пацан-то у него неплохой получился. Здоровенький.

— Ну и слава Богу, — сказала Светка сквозь зубы. — Между прочим, на меня он тоже очень похож.

С этого момента Толик оставил Светку в покое, но зато приклеился к Берингу. Он поджидал его утром, чуть ли не у подъезда, и провожал до работы. Бывало, шли молча, обмениваясь ничего не значащими фразами. Или он осторожно расспрашивал про младенца — как тот спит, ест, не режутся ли у него зубы. При этом он мог остановиться и тыкать в свои собственные зубы пальцем — типа, вот какие они у меня, камни могу грызть. Дошло до того, что Беринг его уже видеть не мог — ни его, ни его зубы. И как-то утром, глядя на термометр за кухонным окном, показывавшим намного ниже нуля, испытал радостное облегчение. Действительно, у подъезда Толика не было. Но уже на улице он услышал за спиной отрывистое, как у собаки, шумное дыхание и быстрые шаги.

— Привет! — Толик, надвинув на посиневшее от холода лицо капюшон куртки, уже шел рядом.

«Черт, черт, черт! Что б его! Что б ему! — думал Беринг. — Рас-такое воспитание! Не могу сказать — нет! Не могу сказать — пшел вон!»

— У тебя сегодня настроение, да? — участливо спросил Толик, заглядывая ему в лицо.

— Да! — рявкнул Беринг. — У меня, да! Настроение!

Зима наползала потихоньку. Светка стервенела в своем материнстве. Лев, царь зверей, балдел в коляске и сильной ручонкой тянулся к развешанным перед ним погремушкам. И неизвестно, сколько бы все это длилось, вся эта тягомотина и рутина будней, склонная незаметно проваливаться в бесконечность, если бы события вокруг не понеслись совсем в другую сторону.

Как-то Светка вернулась с прогулки в расстроенных чувствах. Беринг — а ведь он неплохо знал свою странную подругу — понял это по одному ему

известным признакам. Она громче обычного закрыла за собой входную дверь, небрежнее, со стуком, сбросила сапоги… Звуки, сопровождавшие ее движение по квартире, не были такими уж громкими, но в них была угроза. И вот эти звуки, наконец, слились, угроза собралась в один энергетический комок, Светка резко распахнула дверь в комнату Беринга и глухо спросила:

— Ты знал, что Корнейчук женился?

— Ну… — неопределенно промычал Беринг.

— Знал? Мне ни слова! Я, как дура! Ни слова! — сквозь зубы шипела Светка, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не разбудить ребенка.

— А ты что, все еще его ждала, Пенелопа? — откликнулся Беринг.

— Ду-рак! Я должна была знать!!!

— Зачем?

В Беринга полетело что-то… Шмякнуло по лбу мокро и противно. Творожный сырок.

Светка ушла, но до Беринга со всех сторон доносились негромкие, но какие-то острые звуки. Светка швыряла предметы.

Весь оставшийся день она не выходила из Федькиной-своей комнаты и вроде плакала. Это уже был полный абсурд, и Беринг понял, что, видимо, в преобладающем большинстве все женщины — Пенелопы и, несмотря на очевидные факты всевозможных предательств и измен, ждут своего загулявшего Одиссея из-под какой-нибудь Трои, кабака или от любовницы. И ничего с этим не поделаешь. Они же его просто выдумали. Но в том-то и вся фишка, выдуманный он им еще дороже.

Несколько дней Светка ходила, как в столбняке. Беринг, появляясь в квартире, старался на нее просто не натыкаться. В чем он был перед ней виноват? Да ни в чем! Через несколько дней она сама к нему подошла:

— Мальчик, ты не мог бы посидеть с Левушкой один вечер. В субботу…

— Куда-то собралась?

— Представь себе, с Толиком в ресторан… Да… Пора кое-что обсудить…

— Разумно, — сказал Беринг. Но что-то во всем этом показалось ему подозрительным — и Светкин ускользающий взгляд, и какая-то фальшивинка в голосе… Он спросил нарочито рассеянно, как бы это ему пофиг: — Ресторан-то какой?

— «Седьмое небо». А что?

— Просто давно не был.

— Потерпи, мальчик. Как-нибудь свожу.

Как только Светка укатила гулять, Беринг бросился к телефону. Разыскал ресторан «Седьмое небо». Зашел издалека — администратор ответил, что на ближайшую субботу мест нет — часть зала арендует дизайнерская фирма для своего корпоратива, остальную часть — лицо, имя которого совершенно не обязательно называть.

— Фирма такая-то? — уточнил Беринг небрежно.

— Возможно, — и трубку повесили. Беринг и так не сомневался. В этой фирме, понятное дело, работал Корнейчук.

Выходить на Корнейчука и выдавать Светкины замыслы Беринг, конечно, не собирался, но знание это на него давило.

Все оставшиеся дни до субботы Светка ходила веселая и возбужденная. В субботу, с утра, примеряла старые наряды, появлялась перед Берингом то в одном, то в другом. Наконец выбрала небольшое, коротенькое платьице, решив, что в нем она выглядит моложе. Беринг одобрил.

Наконец ушла. Беринг перетащил младенца к себе и разместил на тахте. В положенное время накормил молочной смесью. Вообще, он не любил младенцев. Эти недоразвитые человеческие личинки не вызывали в нем интереса. Сентиментальным он тоже не был. Из-за этого когда-то жена на него обижалась.

Левушка, царь зверей, тем не менее, вел себя идеально. Заискивающе улыбался, подолгу рассматривал свой собственный сжатый кулачок, а потом засовывал его в рот. И если Светка ему этого не позволяла, то Беринг был снисходителен. Он уважал свою и чужую свободу.

От балконной двери дуло. Беринг задернул штору, выключил верхний свет и включил торшер, бра и настольную лампу. Свет был мягкий со всех сторон и даже как будто согревал. Младенец ворковал, пел свою младенческую песнь радости, сползая в угол тахты. Картина была идиллическая, святое семейство, укомплектованное наполовину. Но Беринга не оставляло чувство, что в это же время происходит что-то совсем другое, что-то скверное. Он провел тревожный вечер.

Светка вернулась в два часа ночи, трезвая и возбужденная. Делиться ничем не стала, утащила ребенка к себе и там затихла.

Несколько дней потом у Беринга было много срочной работы, и Светку он почти не видел. Толик тоже уже давно его не встречал. Понятно, это его не огорчало.

Через несколько дней, когда Беринг был на работе, а Светка на какую-то секунду выскочила в магазинчик, в соседний подъезд, Льва, царя зверей, похитили.

Беринг вернулся с работы и, стоя перед дверью, уже вытаскивал из кармана ключ, как дверь распахнулась и на пороге показалась Светка, как будто его поджидала.

— Левку украли! — сказала Светка и глубоко затянулась сигаретой.

Не давая даже войти в квартиру, она рванула с вешалки куртку и потянула его к лифту.

Беринг был зол. И этого не скрывал. Он был голоден. Он устал. Ему надоела вся эта чужая жизнь и свое в ней участие. В такси сел на заднее сиденье, откинулся, закрыл глаза. Светка села впереди, рядом с шофером:

— Не интересно, куда едем?

— Совершенно, — Беринг не открывал глаз. — По барабану.

— Потерпи, — сказала Светка. — Скоро все это кончится.

— У меня? Только со смертью, — сказал Беринг.

Такси остановилось в районе частной застройки. Светка потащила Беринга вдоль длинного каменного забора, потом через двор, потом опять вдоль забора, уже деревянного. Наконец остановилась у калитки, с обратной стороны одного из домов, протянула узкую руку сквозь прутья решетки и открыла с той стороны.

— Хорошо ориентируешься, — сказал Беринг.

— Память хорошая, — огрызнулась Светка.

Подошли к дому. Вблизи было видно, что дом еще не достроен, но люди там жили. Светка смело нажала кнопку звонка.

— Там кто? — спросил осторожный, такой простонародный женский голос.

— Соседи! — откликнулась Светка весело и звонко. — У вас телевизор работает?

— Работает.

— А телефон?

— Сейчас посмотрю…

— Посмотрите, посмотрите!

Щелкнул замок, дверь отворилась. На пороге стояла простая пожилая женщина, ну, совершенно невыразительной внешности — простая пожилая женщина, и только. Светка рванула мимо нее с криком: «Держи ее!» и помчалась по лестнице наверх. Но женщину не надо было держать. Она стояла ошеломленная и даже как-то присевшая, как опавшее тесто. Буквально через пару секунд Светка появилась на верхней ступеньке лестницы с ребенком, завернутым в одеяло.

— В тюрьму захотела! — шипела она громогласно. — Я тебе это устрою! — И опять с криком: — Держи ее! — бросилась к выходу.

Понятно, что женщина ее не удерживала, она только еще больше осела, запричитала, обхватив щеку рукой, как будто у нее разболелся зуб:

— Ой, горе-горе, ой, беда-беда, ой, Толик-Толик, что же ты наделал!

Судя по ее отчаянию, она и впрямь решила, что тюрьмы не избежать.

В половине первого раздался звонок в дверь. «Не высовывайся», — стукнула Берингу Светка и пошла к дверям. Что говорил Светке Толик, Беринг, конечно, не слышал. Но то, что говорила она, это доносилось внятно. Светка ругалась виртуозно, всеми этими козлами, уродами, ублюдками, гребаными недоносками, нецензурной лексикой на добрую страницу убористым почерком, а под конец обозвала его бездарью — это-то его больше всего и достало, — неспособной нормально выкрасть ребенка. «Бездарь! — кричала Светка. — Бездарь! Смех! Смех да и только!» После этого в дверь ударили с такой силой, что, казалось, не только дверь, но и весь дом должны рассыпаться на куски. Но и дверь, и дом устояли. И все стихло.

Светка пошла на кухню и выпила стакан водки. Это Беринг обнаружил наутро — водка-то была его.

Больше Толик не встречал Беринга у подъезда, и со Светкой они его не вспоминали, как будто и не было такого на свете. Светка даже замок не поменяла. И только Лев, царь зверей, упрямо напоминал о нем своим выпуклым лбом, вывернутыми негритянскими губами, ручонкой, чуть что сжимавшейся в кулачок…

О том, что произошло в тот злосчастный вечер в ресторане «Седьмое небо», Светка рассказала ему намного позже.

Светка была в маленьком, коротком платьице, которое ее действительно молодило. Перед входом в зал она глянула на себя в зеркало. Она медленно подходила к нему и смотрела на себя как бы со стороны, сначала издали, потом все ближе и ближе. Она осталась собой довольна. В конце-то концов, не просто же была она когда-то Мисс Филфак. А за красивые глаза. Наконец она вошла. Толик неловко рванулся навстречу и чуть не опрокинул стул.

— Спокойно, — сказала Светка снисходительно. — Не нервничай.

Соседние с ними столики пустовали, потому что Светка поставила такое условие, чтобы рядом никто не мельтешил. Только в другом конце зала начинал гулять корпоратив.

Их столик стоял даже на некотором возвышении, откуда весь зал был хорошо виден. Собиравшиеся на корпоратив вообще проходили мимо. В какой-то момент прошел Корнейчук с невысокой темноволосой женщиной. В очках. Увидев Светку, а ее в этом платье, да на возвышении, да принявшей какую-то замысловатую, особенно подчеркивающую фигуру позу, было трудно не заметить… Так вот, заметив Светку, Корнейчук был потрясен, лицо у него вытянулось и стало каменным, зато Светка уставилась на его спутницу

во все глаза и к досаде своей должна была отметить, что его жена довольно неплохо выглядит и одета со вкусом…

Толик был от Светки в восторге и, наверное, на многое рассчитывал. Она хохотала, рассказывала анекдоты и пожирала одно блюдо за другим (когда она нервничала, она много ела). Тогда как Корнейчук, всегда любивший коллективные развлечения, сидел в полном ступоре и ожидал какой-нибудь гадости. Так он ее и дождался.

Уже часам к десяти, когда начался обычный развал, распущенность, расслабон и потеря контроля, короче, в тот самый момент, о котором какие-то его участники говорят — а вот этого уже не помню, именно тогда супруга Корнейчука направилась в туалет. Светка выждала момент и пошла следом.

Следя за входной дверью, она ждала, когда та выйдет из кабинки. И вот «та» вышла из кабинки и подошла к зеркалу. Светка стала с ней рядом. В зеркале перед собой она видела чуть расплывшуюся от алкоголя мордашку смазливого котенка.

— Снимите очки! — строго сказала Светка.

— Зачем? — спросила жена Корнейчука.

— Очень нужно, — сказала Светка.

И в какое-то мгновение она сняла с нее очки, зачерпнула воды из крана и одним движением смыла с лица всю конфетную красоту, заодно захватив и волосы, и они повисли по щекам растрепанными, унылыми прядями. Жена Корнейчука взвизгнула и помчалась вон.

— Очки! Очки! — вслед закричала Светка.

Дальше было — что? Жена Корнейчука крепилась изо всех сил, тихо хныкала. Охрана тупо топталась, Корнейчук, заикаясь и размахивая руками, требовал у администратора вызвать милицию. Толик совал администратору и охране стодолларовые купюры. Разные пьяные и любопытные их окружали. Некоторые получали удовольствие. Светка, почти трезвая, изображала саму невинность, кротко смотрела в пол…

С ситуацией Толик справился безупречно. Но когда уже на улице он с полным своим правом попытался взять Светку под локоть, она резко вырвалась и заорала: «Да пошел ты!» И помчалась по улице так быстро, как только могла, ловко вскочив в на секунду затормозившее такси. И тогда Толик понял, что это все, его окончательно продинамили, ничего хорошего уже не будет, и через несколько дней, накопив отчаяние, выкрал ребенка, предварительно вызвав из деревни тетку по матери.

Что-то Светку развезло тогда, когда она рассказывала Берингу всю эту историю, что-то язык у нее разболтался, а может, это он ее спровоцировал и все ее откровения были знаком высшего доверия…

— Слушай, — сказала тогда Светка, многозначительно глядя в глаза. — Только не делай из своего Толика святого! Знаешь, как было дело? Как тогда ты мне рассказал про всю эту бодягу с деньгами, позвонила я одному старичку… Мы с ним еще по ларькам знакомы. Совсем еще был пацаненок, просто я его так дразнила — старичком. Талант к коммерции, просто Гермес, бог торговли. Связи, контактность — это не передать. Поедем за товаром, я еще сигареты не докурила, а у него уже все в друзьях, со всеми на «ты», уже по рукам ударили, тюки грузит. Так он и сейчас живет, слава Богу! Короче, старая дружба не ржавеет. Вечером я уже с Толиком сидела.

— На седьмом небе?

— Не издевайся. А знаешь, что самое смешное? Толик мне деньги дал, для него это — тьфу было, раз плюнуть, в казино больше просаживал, а потом

они к нему же и вернулись. Сенька у его напарника одалживал! Да все хороши, все жулики! А ты говоришь! Пожалел ягненочек волка.

— Ничего, — сказал Беринг что-то вроде того. — Вот ты поднажмешь, вырастишь что-нибудь другое.

— Что? Что я выращу? — возбудилась Светка. — Кого?

— Павла Корчагина, — сказал Беринг. — Алексея Маресьева или Юрия Гагарина.

— Придурок, — сказала Светка. — Не смешно.

— Героя, короче, слабо. Тогда Билла Гейтса.

Эта перспектива была Светке посимпатичней, но после секундного раздумья она сказала:

— В Гейтсы не вытянем, ген слабоват. Да что там! Был бы нормальный человек, и то хорошо.

В тот вечер они почему-то засиделись, за окном разливалась темная, вязкая, устойчивая грусть. Допили весь чай и выкурили почти все сигареты.

— Ты знаешь, — сказала Светка. — Когда я была маленькая, над нами жила какая-то старая актриса. Я даже фамилии ее не помню. Мне она казалась старой-престарой. Как баба-яга. Но она была доброй. Как-то она позвала меня к себе и подарила целую коробку флакончиков из-под духов. Потрясающе красивых. Мне это казалось немыслимым богатством. Я шла домой по лестнице, прижимала к себе эту коробку… Флакончики сталкивались, звенели… Я была так счастлива! Сейчас я скажу, правда-правда, что-то очень важное для меня, ты будешь смеяться — смейся. Мне кажется, это был самый счастливый момент в моей жизни.

— Только не расплачься, — сказал Беринг.

— Не дождешься, — сказала Светка. — Помню, как мы за тряпьем в Польшу ездили, в Турцию, в Германию… Понятно, бегали по распродажам, скупали самую дешевку, дерьмо… Как-то роюсь в ящике, где все по одной, по две марки… А тут какая-то хабалка, ни кожи ни рожи… Поймала ее взгляд и вдруг почувствовала себя таким ничтожеством… Короче, Мисс Филфак!

— Я знаю, я тебя достала, — сказала она чуть позже. Ты, может быть, без меня уже жизнь свою устроил. Вон хотя бы с той анорексичной девицей.

— С той? Нет. Тут уж не беспокойся.

— Ну с какой-нибудь другой. Ты не переживай, я съеду. Мою квартирку скоро освободят. Сразу съеду…

— Когда съедешь, тогда и съедешь, — сказал Беринг нерешительно и уставился в темень за кухонным окном.

Пора было идти спать, но спать не хотелось. Вообще ничего не хотелось, даже разговаривать. Он подумал, что давно уже ничего не читал. Несколько дедовских стопок, до которых он так и не добрался, Светка постепенно оттеснила в угол, к вешалке, и накрыла старой ковровой дорожкой. Там, наверху, лежал и так любимый ею когда-то, и так любимый всеми остальными девицами филфака роман «Мастер и Маргарита». Но когда Беринг ей об этом напомнил, она отрезала: «А, выдумки все это… Его Маргарита без прислуги не жила. И жрали они будь здоров. Сам писал: у нас дома лучший трактир в Москве».

Когда Светка действительно съехала, весна только начиналась, и по сторонам дороги громоздились горы грязного снега. Беринг нес к такси одетого в шубку, невозмутимого царя зверей и краем глаза видел, как его ручка в крошечной варежке сжимается в кулачок.

Адель звонила уже не так часто, но по-прежнему говорили они подолгу. Беринг любил Адель, она оставалась его семьей, но говорить с ней ему было

скучно. Это значило — наполнять своей жизнью чужую жизнь, отливать из своего стакана. Конечно, не жалко. Пожалуйста. Люди могут сделать друг для друга не так-то много. Что скупиться? Аделькин голос, теряя силу, обвисал где-то в пространстве, и Беринг терпеливо подавал твердую, упругую реплику, за которую этот голос цеплялся.

И все-таки Адель была счастлива своим счастьем, счастьем чуть заторможенного меланхолика.

Как-то она позвонила утром, что было само по себе из ряда вон. Обычно она это делала ночью, в то время, когда ее граф засыпал в одном из дальних покоев своего затхлого замка. И тогда она все равно говорила тихо, как будто боялась его разбудить.

— У моего мужа все сложно, — сказала Адель своим тягучим, глухим голосом.

— Догадываюсь, — откликнулся Беринг.

— Он платит большие налоги.

— Понятно. Капиталистические джунгли.

— Не джунгли. Просто большие налоги. Но мы подумали и купили…

— Что? — спросил Беринг, хотя ему было абсолютно без разницы, что они там купили.

— Нашу фирму.

— Какую фирму? — переспросил Беринг машинально и не врубаясь.

— Нашу. У нас был Семен Аркадьевич.

— Этот подлец? — заорал Беринг. — Он у тебя был? Как он тебя нашел?

— Только не кричи, — сказала Адель. — Ты послушай… Мы подумали и решили, что хорошо будет мне что-то иметь дома. Мы с тобой будем компаньонами…

— Тебе надо было его вышвырнуть к чертовой матери! Вон! Вон!

— Ты не кричи…

— Сколько вы ему заплатили?

— Это неважно.

— Сколько вы заплатили этому жулику?

— Не надо так его называть.

У Адельки было рабское, врожденное уважение к авторитетам. Отправься она на самый северный из всех северных полюсов и еще дальше, все равно Сенька Сторожев навечно запечатлелся в ее сознании в образе начальника.

— Понятно, что твой граф осел, но ты-то, ты-то! Курица!

— Почему? — обиделась вообще-то необидчивая Адель. — Я в конце марта приеду. Тогда поговорим.

Она приехала в конце марта, но они больше никогда не говорили.

Адель приехала утром, на поезде. И тут же отправилась на метро. В руках у нее было две устрашающего размера сумки, но Адель всегда была сильной и с ними справлялась. В одной были подарки для матери, сестры и племянника, другая была набита детской одеждой, меньшего, чем у племянника, размера, потому что с того момента, как Беринг рассказал ей, что Светка родила ребенка, она стала покупать детскую одежду. Это доставляло ей удовольствие, как будто она делала это для себя. Еще на шее у нее висела сумочка, в которой были мобильный телефон, деньги и бумаги, которые они составили с Сенькой Сторожевым о передаче фирмы в ее руки. Почему она поехала на метро? А не взяла такси, не позвонила Берингу или, наконец, сестре, чтобы ее встретили? Этого никто уже не узнает. Она так сделала. И это все.

Начинался утренний час пик, Адель уже протискивалась в открытую дверь вагона, когда раздался взрыв… И это тоже было все.

Говорят, есть карма. И каждый получает то, что заслуживает.

Говорят, нет справедливости.

Говорят, о добре и зле может судить только Бог. А Бог молчалив и скрытен.

Рассказывали, по всей станции была разбросана детская одежда. Кто-то что-то подобрал, и она так и не досталась тому, кому была предназначена, — Льву, царю зверей.

В гробу у Адельки было спокойное, чуть удивленное выражение лица. Все остальное было закрыто. Беринг смотрел на нее и думал, что совершенно ее не знал. Совершенно. Он не настолько самоуверен. Люди непостижимы. Человеческие миры не пересекаются, просто двигаются во времени параллельно друг другу… Такие замкнутые вселенные.

— Скажите что-нибудь, — сказала, всхлипывая, распухшая от слез, хорошенькая младшая сестра Адельки. Она держала своего сына, племянника Адельки, за руку, тот капризничал, вырывался и все норовил убежать.

Мать напоминала грубо рубленную скифскую каменную бабу и за все время не сказала ни слова.

— Скажите что-нибудь, — повторила сестра Адельки. — Вы же хорошо ее знали…

— Она… — сказал Беринг и запнулся. — Она… она была… отзывчивой.

Больше он уже не мог выдавить ни слова, не от волнения, а потому что сказал, наверное, самое главное — в человеческом скопище, где каждый кричит о себе, редко кто отзывается на твой голос.

— Передай привет моему отцу! — подумал Беринг, когда гроб стал опускаться в огненную яму.

И явственно услышал Аделькин голос:

— Хорошо, не беспокойся. Только не кричи.

Мать Беринга приехала через несколько месяцев. Она открыла дверь своим ключом и долго топталась у входа, втаскивая вещи. Беринг вышел на шум.

— Ну ты и Робинзон Крузо! — сказала мать, целуя его в щеку.

С похорон Адели он не брился. В квартире было запустение. Лампочка на кухне перегорела еще на прошлой неделе.

— Надолго? — спросил Беринг, оглядывая ее объемный багаж.

— Надолго, — сказала мать. — Я рассталась с Виктором.

— С чего это?

— Он намного младше меня.

— Ты только сейчас это узнала?

— Не надо со мной так, — сказала мать, легонько хлопнув его ладонью по лбу. — Запомни, я тебе все-таки мать, а не подружка.

— Запомнил, — сказал Беринг.

Мать разместилась в бывшей Федькиной-Светкиной комнате, Беринг ввинтил на кухне новую лампочку. Сидели, пили чай.

— Как ты жил? — спросила мать, с привычной заботой намазывая бутерброды и вкладывая по одному в его руку.

— До потопа или после?

Мать не поддержала.

— Нормально. Хорошо.

Помолчали.

— Хочешь, я телевизор сюда куплю? — спросил Беринг, когда молчание затянулось.

— Я не люблю телевизоры на кухне, — сказала мать. — Думать мешают.

Они еще посидели. Оба понимали, что все не так просто, что дело тут совсем не в Витьке и не в какой-то разнице в возрасте. Просто исчез человек, которому надо было что-то доказывать и перед кем это же что-то демонстрировать, даже если он сам об этом не знал.

Через неделю появилась Томка. Наверняка у них с матерью был такой уговор. Как и мать, она открыла дверь своим ключом и стала затаскивать вещи. Беринг опять вышел на шум, Томка поцеловала его в щеку, — он еще не побрился, — и сказала, что он выглядит как бродяга. Вместе с ней был Федька — уже мало знакомый Берингу маленький человек.

— Ты мой папа? — спросил Федька, глядя исподлобья.

— Это вопрос, — сказал Беринг. — По римскому праву — отец всегда неизвестен.

— Не слушай всякие глупости, — сказала Томка. — Это твой папа.

— А дядя Костя?

— Дядя Костя — это дядя Костя. Я никогда не говорила, что он твой папа. А это — твой папа.

Федьку разместили в одной комнате с матерью, а Томка бесцеремонно улеглась рядом с ним на тахте. Он накрыл ухо подушкой и отвернулся к стене.

— Надо уметь прощать, — шепнула ему мать наутро.

Первые дни Беринг испытывал острый дискомфорт. Томка и даже мать были ему чужими. Федька раздражал. Томка никогда не была дурой, но не понимала или не хотела понимать, что их разделяет не только ее измена, считай, в тот момент — предательство, но и ряд лет, а главное — дней, каждый из которых был пропастью. Впрочем, через несколько дней это чувство смягчилось, а скорее, он просто принял ситуацию, навязанную ему двумя объединившимися и когда-то близкими женщинами.

Мать Беринга оказалась не такой и простушкой, она сохранила деньги за дачу и даже скопила еще. Обсуждали, как расширить жилплощадь. Но это все откладывалось на потом — надо было еще прожить лето и отправить Федьку в школу. Беринг в этих обсуждениях не участвовал, вернее, оставался безучастным. Разве что он как-то встретил Светку и за чашкой кофе они обсудили дела последних месяцев своей жизни. Светка предложила ему часть дачи, которую на лето ей снял Толик. Судя по этому, и она свою жизненную ситуацию приняла…

Таким образом началось лето. Все жили на даче. Мать, Томка с Федькой, Светка с Левкой… Дача немного напоминала дедовскую — и за ней была березовая рощица и небольшой пруд, полный головастиков, — но была намного комфортнее. Женщины порой жили мирно, порой ссорились и дулись друг на друга, Беринг в их дела не вникал. Он приезжал на субботу и воскресенье, как классический дачный муж. Как-то не поехал, придумал отговорку.

Было солнечное, прохладное июньское утро… Он прошлепал на кухню, выпил воды, потом сварил себе кофе. Позвонила мать:

— Когда приедешь?

— Не сегодня.

— Ладно, — сказала мать с пониманием. — Отдыхай. Привези мне, пожалуйста, серую папку для бумаг с моего шкафа.

Он пошел в Федькину-Светкину-материнскую комнату, нащупал рукой папку на шкафу. Думал, в этой папке документы или письма, бросил случайный взгляд на первую страницу — там было одно слово «роман». Открыл и прочел: «…ее сын родился в шесть утра в дождливый осенний день… Может, поэтому первые два дня он все время плакал…»

Беринг закрыл папку, завязал тесемки… Чтобы не забыть, положил папку на ковровую дорожку, которой все еще были закрыты дедовские книги, придвинутые к вешалке.

И одна мысль преследовала его весь тот день, как преследует иногда навязчивая мелодия… Что когда-нибудь случится такое, конечно же, случится, что не будет уже на свете ни его, ни Томки, ни даже Федьки… И только в этих фразах он останется и уже будет жить вечно в мире того самого слова, которое было первым, вначале, как писал один Евангелист. А ему можно верить. «…ее сын родился в шесть утра в дождливый осенний день, может, поэтому первые два дня он все время плакал…»

Беринг знал, что дальше мать будет описывать свою жизнь с отцом, потом предательство отца, потом свою встречу с Витьком. Потом дойдет и до Беринга… Но разве она его знала? И когда? До или после потопа? Поглотившего много всяких вещей, в том числе и телепередачу «Спокойной ночи, малыши!», в которой волк бесконечно гонялся за зайцем, но так и не мог его поймать. Мать много чего не знала… Она не знала даже то, что лучшим моментом Светкиной жизни, бывшей Мисс Филфак, был, когда она тащила от старой актрисы коробку с флакончиками из-под духов. И Адель она не знала… Странного человечка, которому Беринг мог подобрать только одно слово — отзывчивая. Как она могла знать его, своего сына, если он сам себя не знал?

— Ступайте на место, Беринг!

Беринг… Узкий пролив, разделяющий или соединяющий два материка. Мать звала его — Вовуся, а когда была им недовольна — Владимир. Имя он взял себе сам.

По дороге на вокзал Беринг зашел в писчебумажный магазин и купил большую общую тетрадь, выбрал попроще и подешевле, с бумагой желтого отлива. Не все ли равно, на какой бумаге написано с л о в о. Лучше всего было бы выбить его на камне.

Шел одиннадцать тысяч восемьсот восьмидесятый день его жизни…

ОЛЬГА ПЕРЕВЕРЗЕВА

Жизнь-бабочка бьется

* * *

Я смотрю тебе прямо в глаза
Каждым словом своим с листа.
Я пытаюсь тебе сказать,
Что сложна я.
Но и проста.

Я хочу тебе все рассказать,
Всю себя.
Надеюсь, поймешь.
Укрупняет строку
слеза,
Уменьшает все мысли
ложь.
Я из сердца достала слова,
Ты сейчас их держишь в руках.
Может, в жизни
я не права,
Но, поверь мне,
честна в стихах.

* * *

Тебе жить да жить в светлой радости,
Проживать свой век, бед не ведая.
Теплый встретить свет тихой старости,
Простоте святой смирно следуя.

Тебе жить да петь песни мамины
И детей рожать в руки мужнины,
И по швам весны, по проталинам
Избежать всех бед, зла ненужного.

Так прости же ту, что до малости
Прожигает жизнь в одиночестве.
И не ждет ничьих слез из жалости,
И ни в чьи не верит пророчества.

Ей другой удел: звезды пестрые
Раздарить с небес, быть скиталицей.
Не смотри ей вслед.
Плечи острые...
Ни о чем она не печалится...

* * *

О стекло
Жизнь-бабочка
Бьется.

На свободу,
На волю
Рвется.

За окном тем —
Райская птица.

Поджидает,
Чем
Поживиться...

* * *

Тучи —
прожилками сонной луны.
Мысли —
порывистым ветром — резки.
Время,
сдвигая свои валуны,
Дни размельчает
в седые пески.

Я — далеко,
я — нигде и везде.
Я вся полна,
но полна пустотой.
Странное чувство:
как будто звезде
Вдруг пригрозили.
И чем?
Высотой!

Время надежд и ожиданий

— Раиса Андреевна, Вы закончили в свое время Литературный институт имени Горького в Москве, были знакомы и дружны со многими известными российскими писателями. Как Вы оцениваете этот период своей творческой жизни?

— Конечно же, это был период ученичества. Поступать в Москву я приехала из небольшого белорусского городка Быхова, практически вчерашняя школьница, меньше года проработав в редакции районной газеты. Выросла в крестьянской семье, где литературой никто никогда не занимался. И вот поступление в такой знаменитый институт! Помню, в первый же день после занятий нас, первокурсников, собрали в общежитии внизу, в холле, старшекурсники, дескать, сейчас посмотрим, кто из вас поэт, а кто нет! Начали читать стихи по кругу, и тут же следовала оценка: поэт или обратное… Я прочитала стихотворение на белорусском языке о березе, и было радостно и удивительно услышать, о чем никогда и не помышляла: поэт! А главное, почувствовали и поняли мой белорусский язык! Ну, а потом началась литературная школа, которую прошли многие из современных писателей. Для меня это был творческий семинар известного тогда поэта и переводчика Льва Озерова, который учил тайнам ремесла, преподаватели с именами в ученом мире, да и сами студенты, мои же однокурсники — Раиса Романова, Игорь Ляпин, Лариса Тараканова, Василий Макеев… Но, безусловно, очень сильное влияние на меня оказали два человека: Владимир Максимов — большой русский писатель, мыслитель, христианин, и Николай Рубцов — тоже большой русский поэт, тогда кумир всех студентов Литературного института. Максимов захватывал своим мировоззрением, мироощущением, он приоткрыл мне врата в большую литературу, куда я начинала робко входить, со временем определилась, нашла свое место и вот уже много лет остаюсь в ней. И именно Максимов учил меня жизни в литературе, исходя и из христианских заповедей, и из своего богатого жизненного опыта. Вы же, Олег, были знакомы с Владимиром Емельяновичем. Помню, он и меня с Вами познакомил, и очень хорошо отзывался о Вашей прозе. Какой же это год был? Если не ошибаюсь, зима 1968-го… Максимов уже тогда широко издавался и в Чехословакии, и в Польше… А вот у Николая Рубцова в 1967 году в Москве вышла вторая книга его стихов «Звезда полей», и большую часть этой книги мы, студенты, через очень короткое время уже цитировали наизусть… Вот такая была любовь к его поэзии! А мне особенно эта книга была дорога, в ней только два посвящения: стихотворение «Тихая моя родина» — Василию Белову и «Цветы» — Владимиру Максимову. Правда, когда Володя вынужден был уехать в 1973 году в Париж, во всех последующих изданиях это посвящение снималось, и только в начале девяностых все вернулось на свое место…

— Вы вспомнили творческий семинар Льва Озерова, но, по-моему, он был переводческий. Разве Вы не учились на отделении поэзии?

— Нет. У меня было именно переводческое отделение, правильнее, отделение художественного перевода. Тогда Литературный институт набирал группы начинающих писателей из республик. Вот, по рекомендации нашего Союза писателей, и была набрана группа. Очень талантливые люди были в ней. Это и Алла Кабакович, и Иван Ласков, и Любовь Филимонова… Предполагалось, что впоследствии мы будем переводить поэзию, прозу, как с русского на белорусский, так и наоборот, с белорусского на русский. Поэтому при поступлении ставились три условия: собственное творчество и знание двух языков: белорусского и русского. Через несколько лет после поступления в дополнение мы стали изучать польский язык, чтобы заниматься переводами и с польского. Правда, с переводами было не все просто. Потому что, оказавшись в стихии Литературного института, мы очень быстро

ушли в собственное творчество, и Лев Адольфович Озеров это только приветствовал. А я особенно благодарна и ему, и Максимову, и Рубцову, что они укрепляли во мне мою «белорусскость», мое белорусское начало. Озеров иногда приглашал принять участие в литературных вечерах и всегда просил: «Читайте на белорусском, это очень красиво звучит». Максимов в какие-то особенно тяжелые для него дни мог попросить: «Прочитай что-нибудь на своем языке», а Рубцов при первом же знакомстве спросил: «Так это ты написала про березу… Прочитай мне эти стихи». И потом не раз просил прочитать это стихотворение, вслушиваясь и вдумываясь в наш язык, который ему очень нравился.

— Так Вы так ничего и не переводили?

— Отчего же?… К примеру, Алла Кабакович сделала прекрасный перевод, перевела «Реквием о каждом четвертом» Анатоля Вертинского. И это стихотворение было напечатано в «Дружбе народов». У Ивана Ласкова была добротная историческая поэма о Тамерлане «Хромец», и совсем неожиданно свою же поэму он начал переводить на белорусский язык. В результате получилась очень интересная поэма, изданная отдельной книгой «Кульга». Я тоже делала переводы… В 1969 году от института наша белорусская группа посылалась в Варшаву на международные курсы полонистов при Варшавском университете. И по возвращении однажды Владимир Максимов познакомил меня с Майей Ивановной Коневой, дочерью прославленного маршала, которая тогда работала в издательстве «Прогресс». Там в то время готовился к изданию в серии «Мастера современной прозы» известный польский писатель Станислав Дыгат. Вот Владимир Емельянович и сказал, что я только что вернулась из Варшавы, где была на курсах по изучению польского языка, и Майя Ивановна предложила мне перевести что-то из рассказов Дыгата. Я согласилась. Эта книга вышла в Москве в 1971 году. Там два романа и рассказы. Пять из них в моем переводе. Об этом мало кто знает в Беларуси, но у нашего писателя Бориса Саченко в его библиотеке была эта книга, и он был удивлен этим моим переводам. А на белорусский язык, уже живя в Минске, я переводила Анну Ахматову, перевела ее «Реквием» и отдельные стихи, переводила и Ларису Васильеву. В последние годы, случается, перевожу прозу и поэзию для детей.

— И свою прозу тоже… В этом номере журнала помещены два рассказа в Вашем же переводе.

— Не могу сказать, что это блестящий перевод. Я пишу на родном языке. Но у нашей литературы здесь есть проблема. Время растеряло прекрасных переводчиков белорусской литературы. В Москве ушли из жизни Евгений Мозольков, Валентина Щедрина, Михаил Горбачев, Григорий Куренев… В Минске — Наум Кислик, Георгий Попов, Владимир Жиженко… Поэзию можно перевести, используя подстрочник. Чтобы переводить прозу, нужно знать язык, пусть себе и не в совершенстве. Пробел может восполнить словарь. И еще одно… Та жизнь, о которой вспоминаю, была в СССР, где все республики были частью одной большой страны. Сейчас иное время. У меня сохранилась книга поэзии Николая Рубцова «Звезда полей» с его автографом: «Рае, как всегда с любовью от автора». Не могу сказать, что между нашими литературами существует какая-то глубокая разделительная черта, но мне почему-то трудно представить, чтобы сейчас какой-то очень известный поэт в Москве написал молодой белорусской поэтессе на своей книге «…как всегда с любовью!». Скорее всего, он о ее существовании даже не знает! В другой жизни живем, где уместнее сказать: «Иных уж нет, а те далече» и от нашего языка, и от нашей литературы в целом.

Беседовал Олег ЖДАН.

РАИСА БОРОВИКОВА

Два рассказа

Роман не роман, а приятно

Не спится. Во всем предчувствие близкой грозы. В квартире душно. Но не это причина моей бессонницы. Вечером на часок-другой забегала давняя знакомая. Еще года четыре тому назад я по-доброму завидовала ей. Тоненькая, смешливая, с неизменной очаровательной улыбкой, она вся дышала «духами и туманами». И нередко в то время я спрашивала у нее:

— Ты снова на каких-то своих неземных крыльях?

Она заливалась смехом, согласно кивала головой:

— Да-да… Представь себе… Я влюбилась! Мне стыдно перед детьми, перед моим Петькой, но… шальная, сиреневая вьюга в чувствах! Сладостно! И кажется, я люблю весь этот наш горький мир!

Думалось, что ее счастливое щебетанье будет звучать бесконечно. И вот сегодняшний вечер… Неузнаваемо измученное лицо знакомой и ее жалобы… жалобы… Такие же, как и у всех: на неустроенную земную жизнь!

Действительно, большинство женщин живет одинаково. Будто они все вместе, одновременно, однажды провалились в какую-то черную космическую дыру и никто не знает, как из нее выбраться. И вместе с тем, если тебе жалуются, ты, как умеешь, утешаешь. Я утешила свою знакомую:

— Да отойди ты каким-то образом от этого мрака. Ну, хотя бы влюбись, как раньше!

И моя знакомая возмутилась:

— Ты что, серьезно?! Да уж какая тут любовь! Я даже все эти пустые сериалы не смотрю… Неинтересно!

За окном сверкнула молния. Слышу сквозь дверь, как в соседней комнате заворочалась дочка. И невольно думаю, что еще чуть заметно, но в ней уже просыпается женщина. То она лишний раз повертится перед зеркалом, то покраснеет и отвернется, когда на телеэкране показывается чья-то не в меру открытая, пылкая любовь. Она уже знает, что в нашем мире есть что-то очень интимное, и это телевизионное «приоткрывание занавеса» ее, естественно, смущает. И слава Богу, пусть и дальше отворачивается и смущается. Пусть живет с ожиданием тайны, которая однажды приоткроется трепетом первой влюбленности…

Опять мысленно возвращаюсь к своей знакомой, не к теперешней с ее жалобами, а к той, прежней, вовлеченной в шальную сиреневую вьюгу. Нет, там не было никакой измены, не было предательства. Знакомая всегда была хорошей матерью и на удивление заботливой женой. Она все что-то покупала своему Петечке. Мир для нее переворачивался, когда он болел. И в гостях не любила долго задерживаться. Посидит, посидит и подхватывается:

— Ой, там же Петя один с детьми!

Так что же происходило с моей знакомой? Только сейчас я могу ответить на этот вопрос, но для этого мне понадобилась одна встреча — семь часов ночного путешествия в обычном рейсовом автобусе…

У меня был отпуск. На несколько дней решила отправиться в небольшой городок к родственникам. Чтобы не тратить время, выбрала для путешествия ночные часы, надеясь поспать в автобусе. Вначале мне это удалось. Но сон был коротким. То ли яркий блеск лунного света, то ли полушепот молодой пары, что разместилась неподалеку, вспугнули его. Посмотрела в окно и отшатнулась в невольном удивлении: казалось, что на поля, тянувшиеся вдоль дороги, лег снег среди лета! Куда ни кинь взгляд — белая-белая бесконечность…

— Гречка цветет, — послышалось рядом. — А я уже подумывал, где, на какой остановке скажу вам «доброе утро!».

Это отозвался мой сосед. Когда же он сел в автобус? Кажется, я не видела его, когда садилась. Да-да… действительно, место рядом было свободным. Наверное, он занял его, когда я уже спала. При лунном свете отметила, что у соседа приятная внешность. И хотя начинать разговор не особенно хотелось, ответила:

— Сперва мне придется пожелать вам доброй ночи!

— Я в дороге не сплю! — коротко сказал он.

И уже через час мне казалось, что я всю свою жизнь еду в этом автобусе. Хотелось только одного: чтобы рейс был без последней остановки. Мы говорили и говорили… О чем? Теперь и не помнится. Так, о жизни. Но было что-то особенное в этом ночном разговоре. Была какая-то озадаченность, какое-то стыдливое удивление, будто где-то рядом озорничали два амура. И не то чтобы бросали в нас свои стрелы, нет, они еще как бы только примеривались, отыскивая наши самые слабые места. В какое-то мгновение я поймала себя на мысли, что именно этот человек есть тип моего мужчины. Но кто же он? Был момент, когда мы заговорили о полотнах Эль Греко, и мне подумалось, что он художник. Но такое предположение сразу отпало. Возможно, юрист? Нет-нет, просто обычный служащий в какой-то администрации. Но какая разница, чем он занимается, упрекала я себя за любопытство на какой-то короткой остановке. И под привокзальным фонарем быстро припудривала лицо… Так мне хотелось ему нравиться.

Кажется, он видел это мое «припудривание». Потому что, когда автобус снова двинулся, сказал:

— Вот попробуй разобраться, что нам нравится в женщинах. Внешность, душа, интеллект, манера держать себя? Думаю, ни то, ни другое и не третье. А какая-то «зацепка», маленькая-маленькая изюминка, чего нет ни у какой другой женщины. Уловил, заметил эту изюминку и прикипел, и уже сходится свет клином… Эротика, секс, на чем любят зацикливаться люди, — это все от невоспитанности нравов. Возьмите летний пляж, где уже такая открытость всех женских прелестей! И никакого чувства они не вызывают, очень привычная картина. А если, вдруг, где-то на мосту впереди тебя идет женщина и игривый ветерок выше дозволенного приподнимет край ее платьица, какое чувство может охватить, всколыхнуться! Не платье приподнимется, а невзначай взгляду приоткроется что-то таинственное, что влечет и чарует нас испокон в женщине.

«Боже, какая банальность!»— не без иронии думалось мне, и было радостно чувствовать, что автобус едет, а впереди еще километры и километры… Но, как известно, всякая дорога где-то кончается. Поэтому, когда

автобус остановился у неприметного вокзальчика, где меня уже ожидал родственник, хоть и не хотелось, а пришлось проститься…

— Меня тоже ожидают родственники, — сказал мой спутник. — И, думаю, заждались. — И тут же спросил: — А что у вас в Минске? Дом? Семья?

— И дом, и семья, — ответила я.

— А телефон? Хотя…

— Есть и телефон, — поспешила ответить ему.

…И где-то через месяц, накануне какого-то праздника, в квартире необычно заливисто зазвонил телефон, и в трубке я узнала этот спокойный, ровный голос:

— Наш автобус еще в пути, а вот поздравляю из телефонной будки… Если хотите, из параллельного мира!

В моем возрасте уже не говорится о седьмом небе, но над чем-то очень будничным я взлетела. И настроение поменялось, и захотелось подойти к зеркалу, и чаще заулыбалась мужу. А самое главное, жизнь представилась не такой угрюмой: хотелось цветов и музыки в стиле: «Аргентинское танго, маэстро!»… От этого моего настроения посветлело в доме.

— У тебя, наверное, сегодня какая-то премия? — счастливо откликнулся муж.

Дочь, наблюдая за моим улыбчивым лицом, попросила тысячу на мороженое и, конечно же, получила ее. «Наш автобус еще в пути!» — каждая вещь в доме отзывалась этой фразой. И он не останавливает своего движения уже второй год. Я никогда больше не встречалась со своим попутчиком, хотя у меня нередко и появляется такое желание. Тогда во время наших коротких телефонных разговоров я, затаив дыхание, перехожу на шепот:

— А может, встретимся?

Он обычно долго молчит, потом отвечает:

— Я готов днями, месяцами стоять у телефонной будки, откуда звоню, но эта будка находится в параллельном мире…

И остаются только разговоры, коих для талантливого человека хватило бы на целую повесть. Когда же, бывает, начинаю думать обо всем том, невольно спрашиваю себя: «Так что же это делается со мной, что происходит?» Роман не роман, а приятно! Однако толковый словарь утверждает, что роман — это любовные отношения между женщиной и мужчиной. А тут… Тут какая-то пьянящая мечта, которая то подступается, то отступает. Просто чарующая пауза, чудесное бегство от реалий бытия в тихую пугливую нежность, хотелось бы сказать, в параллельный мир, но…

За окном уже бушует гроза. Что за ней? Сон или короткий телефонный звонок: «Автобус все еще в пути…»! И в нашем мире почему-то так трудно понять, что без этого движения тяжело жить, а главное, быть женщиной.

P. S. И все же параллельный мир… В моей жизни иногда случалось: сижу за письменным столом или стою у окна, и вдруг на руку падает большая капля. Вздрагиваю! Оглядываюсь по сторонам, смотрю на потолок — нигде никакой воды… Дрожь пробегает по телу. И почти из подсознания выплывает вопрос: а не из параллельного ли мира это?

А бывает еще… Занимаешься какими-то домашними делами, ходишь из комнаты в комнату и в какой-то момент… замираешь от ощущения, что кто-то невидимый прикоснулся к тебе. Будто он проходил близко-близко, совсем рядом и не смог разминуться: соприкоснулись два разных мира!

В этом мире остался трепет… А в том? Не знаю… Мне, земной, не дано об этом знать, кроме того, что где-то там, в какой-то неизвестности, есть телефонная будка… И одинокий или не совсем одинокий мужчина время от времени заходит в нее, чтобы оттуда сказать, сообщить мне, что наш автобус все еще в пути…

Легкие деньги

(Рассказ времен СССР)

…И пошел Он на перекресток в глухую ночь,
и вышел к нему Дьявол, и сказал:
«Распишись кровью, потому что за все,
что я тебе дам, нужно заплатить душою…».
(Из народного поверья)

Пронт потянулся в кресле. Ему казалось, он вздремнул, но шаги Кранта заставили быстро оглянуться:

— Ну, что Центр? Связь была чистой?

Крант улыбнулся. Это был высокий человек, а может, только видимость человека, про это никому не известно, и сейчас он сказал просто, обычно, как говорят на Земле:

— Нужно возвращаться. Центр недоволен. Предполагает, что мы зря теряем время… — Он подумал: — А может, уже есть новый маршрут?

— Насчет времени ты зря, — будто хотел оправдаться Пронт. — Вспомни ту девушку… Она уже готова была пойти на контакт!

— Глупости! — Крант сел в соседнее кресло. — Контакта не получилось… Мы вернули ей возлюбленного, и она стала непробиваемой стеной. Ее мозг не воспринимал наших сигналов. Она слушалась только его!.. Своего возлюбленного! Так зачем нам висеть над этим проклятым перекрестком! Центр в чем-то прав. Мы должны вернуться на Цнуну.

Он взял карту и там, где стояли три цифры «777», поставил крест. Потом повернулся к Пронту:

— Нужно сделать контрольную проверку на корабле, и если все будет в норме, двинемся к Цнуне!

— Подожди… Взгляни на экран! Этому бедолаге, конечно же, нужна помощь.

Экран был напротив, и если бы это было в квартире, можно было бы подумать, что начинается фильм. Вот он, главный герой, останавливается на перекрестке, достает из кармана легкой куртки сигареты, потом спички… Мрак позднего вечера вспыхивает ярким огоньком… Две улицы, пересекаясь, разбегаются в разные стороны, и, закурив, человек идет по одной из них… Совсем недалеко скамейка. Там остановка автобуса. Человек садится на скамейку. Курит… Ждет…

Крант вглядывается в лицо человека:

— Ты сказал правду. Его что-то угнетает… — Он помедлил, потом добавил: — Это нас долго не задержит… Попробуй подключиться…

Пронт рассмеялся. Так смеются, когда предчувствуют удачу. Легким движением он нажал на кнопку рядом с экраном. В кабине корабля послышались тихие ровные сигналы…

— Никаких высоких материй… Этот несчастный думает об отдыхе. Но он отдыхать не будет. Жену с детьми отвезет к своим родителям, а сам попробует под-хал-турить…

Теперь уже засмеялся Крант:

— Понятно. Ему нужны деньги!.. Меня всегда пугали цивилизации с низким уровнем. С мелочными потребностями. Быт препятствует прогрессу… Это известно каждому на Цнуне с древних времен.

— Не рассуждай… Он поддается контакту. И мы дадим ему то, чего он хочет!

Пронт быстро поднялся с кресла, подошел к стене, которая напоминала электронное табло, и нажал на еще одну кнопку…

Крант смотрел на экран. К скамейке, на которой сидел человек, подъехал автобус, и тот вскочил в него, радуясь, что успел на этот, видно уже последний рейс…

Николай Иваненок возвращался домой поздно. Слишком поздно. В этом году ему дали отпуск летом, и если бы не маленький Владик, можно было бы поехать куда-нибудь на юг, как-то выкрутились бы с расходами, но куда уж тут поедешь! Сыну только три месяца, да и дочке четвертый годик… Про юг нечего и думать… «А вот у моих родителей детям будет в самый раз! Пусть поживут месяц в деревне, — рассуждал Иваненок, — а я присоединюсь к Колесеню, тот набирает бригаду, и поработаю в колхозе, на стройке» (хотя, что там строится, он и сам еще хорошо не знал). Главное, Колесень сказал: «Готовься. Есть работа!» Сегодня вечером он и поехал к нему, чтобы все выяснить, обсудить детали. Три часа прождал, а Колесень дома так и не появился. Жена ответила: «Где-то шляется!» И какое-то сомнение охватило Иваненка, может, напрасно ввязался в это дело, но насколько он знал Колесеня, не такой тот человек, чтобы говорить пустое… Видно, тоже по делу отлучился, как и он сам в этот вечер. Николай подходил к дому, в котором жил. Бросил взгляд на окна своей квартиры: там было темно — наверное, спят, — и ускорил шаг, поэтому, когда вошел в квартиру, немного постоял на пороге, чтобы отдышаться.

— Коль, ты? — жена его ждала и теперь не старалась прятать раздражение. Голос дрожал. — Только прошу, не зажигай свет! Сейчас начнешь греметь посудой на кухне… Когда же, наконец, можно будет уснуть спокойно?

И Николай был готов ответить ей: «А что ж, мне голодному ложиться? Известное дело, пойду на кухню и, если нужно, буду греметь, да и не так часто я прихожу домой поздно». Но какой-то голос говорил ему обратное: ты — виноват, ты не предупредил ее, что вернешься поздно, она устала, она имеет право на любой упрек, поэтому успокой ее, тихонько пройди на кухню. И Николай, следуя этому голосу, сказал почти шепотом:

— Спи… не обращай на меня внимания. Я и есть не хочу, чего мне идти на кухню, только вот разденусь.

Он стянул с плеч куртку, повесил на вешалку, засунул в карман ключи и… удивился. Он еще не знал, что в кармане, но рука наткнулась на что-то довольно тяжелое и твердое: какой-то брусок или что там? И Иваненок вытянул то, что казалось бруском, но, наверное, не было им. Чтобы не включать свет в прихожей, пошел в ванную, зажег свет и… растерялся. В руке он держал пачку… сторублевых купюр, плотно стянутых полоской бумаги. Такие пачки он видел в сберегательной кассе. На бумаге значилось: 10 000! Николай не верил своим глазам: откуда в кармане эти деньги? Может, не свою куртку надел? Бросился в прихожую, схватил куртку, вернулся в ванную… Куртка была его. Его куртка! Вывернул карман, полез в другой, стало жарко… Оттуда тоже вытянул пачку… еще 10 000! В висках

зашумело… Николай не был алчным человеком, и теперь его пронизывала одна мысль: откуда взялись эти деньги?! Просто чудо какое-то, мыслимо ли такое! Прислонился к дверному косяку, лихорадочно думал… Вышел из троллейбуса, пересек улицу, чтобы пересесть в автобус… Доставал сигареты из кармана, никаких денег не было, даже пачку из-под сигарет выбросил, взяв последнюю сигарету… А спички вот они, в этом кармане, и здесь тоже было пусто… А может, ему все это только кажется? Он пощупал пальцами купюры, ощутил приятный холодок. Нужно сказать Вере, надо показать ей, но какое-то сомнение зашевелилось в нем: ну и для чего тебе тревожить ее сейчас? Про эти пачки ты сможешь сказать ей и завтра, лучше иди спать, а завтра на свежую голову, может, что-то прояснится. Хотя подсознательно чувствовал, что никакого прояснения не будет. Как не своими руками положил пачки назад в карманы, повесил куртку на прежнее место и стал тихонько раздеваться…

Уже когда лежал в кровати, опять что-то защемило, обожгло: «Что же это? Откуда могли взяться эти пачки? Тысячи эти!» Он был реалистом, хорошо знал, что деньги не находят в карманах, если их туда не кладут, и тут же эти мысли сменялись другими: ну что ты напрасно страдаешь? Что ты все думаешь о них, если не можешь найти ответ? Забудь! Выбрось из головы! Рядом — Вера, у нее теплое-теплое плечо… Она не спит. Ну, конечно же, не спит, только делает вид, что уснула. У нее длинные-длинные волосы… И все тело тоненькое-тоненькое, несмотря на недавние роды… Он прижался губами к ее плечу…

Когда уснул, не помнил. Луны уже не было в окне, где-то терялась в облаках, он будто провалился в темноту оконного проема. А проснулся, как и не спал. Плакал Владик. Вера трясла его за плечо:

— Коля, вставай! Буди Ниночку… Быстро одень и веди в садик! Что-то случилось с малышом, на какой-то момент успокоится и опять, и опять плачет… Может, доктора нужно, ты как думаешь?

— Он и вчера плакал, — ответил Иваненок. — А потом успокоился и ничего… Зачем спешить с доктором?

Он приподнялся, отбросил одеяло:

— Который час?

— Да говорю тебе, вставай, — Вера качала Владика на руках. — Ниночку не успеешь собрать. Опоздаете!

Николай поднялся, потянулся, из соседней комнаты отозвалась сонным голосом Ниночка:

— Мама, хочу пить!

— Сейчас… Сейчас, доченька! — Вера пошла на кухню.

Владик плакал, и Николай подумал, что он правильно решил отвезти Веру к своим родителям, там ей поможет мать. И вдруг вспомнил: деньги! Как он может спокойно думать о Вере, о Владике, о родителях, если с ним случилась такая невероятность? А может, никаких денег и нет? Может, вчера от суеты, от усталости что-то такое привиделось? Он быстро вышел в прихожую, подошел к вешалке, ткнул рукой в карман: деньги были на месте! Хотелось плюнуть.

Вера из кухни шла в комнату, где звала и звала ее Ниночка, несла молоко в кружке и все качала и качала Владика.

— Давай кружку, я сам дам ей пить… Ты иди, успокаивай малыша…

И уже потом, когда спускался с Ниночкой с крыльца, он как-то даже успокоенно рассуждал: куда спешить? Про деньги можно рассказать Вере и вечером. Конечно же, она сейчас стала бы расспрашивать, и что сказал

бы он… Действительно, что он ей сказал бы?! Полез в карман положить ключи, а там — десять тысяч, и в другом — столько же! Что-то заныло, заворочалось в груди: а может, все это сон? Ниночка дернула его за рукав:

— Хочу на ручки!

Он наклонился и, поднимая ее, коленом почувствовал упругость одной из пачек… «Рассказать кому про такое, так и не поверят!» Но что-то утихало в нем, что-то отпускало, потому что, идя из садика к автобусной остановке, он уже не чувствовал лихорадочности в мыслях… «Главное, не нервничать! Ну деньги и деньги…» Он даже достал из кармана пачку, перебросил с ладони на ладонь… «Почему я должен думать, откуда они взялись? Нашел в кармане, ну и нашел, в чужой я не залезал…» И уже когда ехал в переполненном автобусе, ему даже стало весело. «Стою, толкаюсь, а мог бы и на такси проехаться, подъехал бы к самой проходной… Достал бы сторублевую бумажку, сказал бы таксисту: «Сдачи не надо!» Что б он ответил, интересно… Обрадовался бы! Смотря кто, другой и сдачу мог бы вернуть, приняв за ненормального, не стал бы связываться!.. А можно было бы и отпроситься на день у мастера… Цветов для Веры купил бы, и не какие-нибудь там три гвоздики, а во-от столько роз!.. Вере двадцать восемь, а роз взял бы в три, в пять раз больше… Опять же такси… Подъехал бы к подъезду… Ворвался бы в квартиру с цветами и рассыпал бы возле Веры по всему полу… «Собирайся, такси внизу…» — «Куда собираться?» — «В оперу!»… Вера его завела туда однажды, сказала: какой же ты горожанин, если никогда в опере не был?! И пошел… И все было хорошо: зрелище, потом буфет… «На кого оставить детей?» — спросила бы Вера. «На Валентину Семеновну с шестого этажа…» Они уже не однажды оставляли детей у нее. Давали по три рубля за вечер, и была довольна, говорила, вот хорошо, две коробки мармелада куплю… Так сегодня можно было бы ей и пятьдесят рублей дать! Пусть бы на все покупала свой мармелад! «Ешь, Валентина Семеновна, от души!» Но главное цветы… Огненные розы, а может, лучше белые? И много… много, чтобы по всей квартире запах…»

Николай вышел из автобуса. Кто-то поздоровался с ним. Он, даже не взглянув, кивнул в ответ, думал о своем: «Дурак, как же я вчера испугался!.. А чего? Еще и Вере сказать боялся! А мог бы и выложить на стол! Вот тебе двадцать тысяч! Где взял? Пусть остается моей тайной, главное, я принес… отдал!»

— Э-э-й, Коля, подожди!

Он оглянулся. Догонял Костя Чепец.

— Слышал от ребят, что ты с Колесенем на халтуру хочешь рвануть. Это правда? Может, и мне податься с вами? А-а? Развалюху свою третье лето достроить не могу… Уже и не рад, что взял этот участок, а все жена!.. Как уперлась: дача, дача!.. Детям будет… Ну и что тут сделаешь?! Встрял! — как отрубил Чепец.

Иваненок вздохнул:

— Ну и разговорчивый ты… Взялся бы переговорить, не переговорил бы!

Чепец засмеялся…

В проходной Николай наклонился, чтобы показать пропуск, локтем почувствовал упругость одной из пачек… «А может, не нужно было брать деньги с собой?» — почему-то подумалось… Куртку он снимет, а вдруг кто-то случайно начнет искать в его карманах спички или сигареты? И что-то опять неприятно шевельнулось в груди, будто уже кто-то другой спрашивал у него: «Так откуда же у тебя такие деньги? Где же это ты их смог

взять?» — «Не буду снимать куртку, — твердо решил он. — Рабочий халат натяну на нее». И, не дожидаясь Чепца, пошел к своему цеху…

Крант что-то прикидывал. Сосредоточенно поглядывал на экран. Пронт перехватывал эти взгляды, потом осторожно спросил:

— Тебе неинтересно, Крант? Мы уже восемь часов с ним в контакте, и у меня такое чувство, что у него шок! Мысли прыгают из крайности в крайность. Мы не успокоили его, а, наоборот, вселили тревогу. Панику! Сомневаюсь, что до него доходят мои сигналы. Им тяжело управлять…

Крант оторвался от экрана.

— Я уже говорил, эта цивилизация на низком уровне!.. Когда-то того, кто первым появился на Земле, изгнали из Эдема. Теперь у каждого из них — ген изгнанника. Страдальцы… Адская жизнь! Деньги для них как вознаграждение, скажем, за труд…

— Получается, что мы его наградили за контакт с нами? — Пронт засмеялся.

— Так, но я думаю о другом… Мы занимаемся Вселенной, а они — собой. Понимаешь? Тем, чем занимаются у нас роботы: строят дома, воспитывают наших детей, каждое утро приносят нашим женщинам цветы…— его лицо передернулось. — Пронт, слышишь… Последние два раза, когда я выходил на связь, у меня было чувство, что я разговариваю не с Милтом, а с кем-то другим, кто копирует голос Милта.

Пронт посмотрел вопросительно:

— Думаешь, робот?

Крант помолчал…

— Все может быть… Я нередко начинаю думать, что уже неизвестно, кто кем управляет: они нами или мы…

Он снова умолк. А Пронт спросил настороженно:

— Тебя это беспокоит?

— А тебя? — вопросом на вопрос ответил Крант и засмеялся. — Ты не посылаешь сигналов… Экран засвечивается… А нам для чего-то нужны эти контакты. Милт что-то утаивает от нас.

Иваненок стоял у киоска. Тут он всегда покупал вечернюю газету. Рядом будто пританцовывал Чепец.

— Ну, не дури, Коля… Что ты отмалчиваешься? Я сам с Колесенем переговорил бы, да мы почти незнакомы. Работали в разных цехах, а последние два года так и вообще не встречались. Ну скажи ты ему, что я мужик на все сто! Я и со столяркой могу. И с кирпичом…

Николай скрутил трубкой газету. Направились к переходу, стали спускаться в туннель…

— Слушай, Костя, — Иваненок приостановился. — Что бы ты сделал, если бы нашел двадцать тысяч?.. Ну вот так… шел и нашел!

— Ничего… — Чепец остановился. — Деньги — вода… — Подумал: — Дачу достроил бы… Ну, может, машину… — И вдруг весело: — А ты что, уже нашел?

Николай смутился.

— Да ну тебя!.. Ты куда, в какую сторону?

Потом, уже распрощавшись с Чепцом, Иваненок опять вернулся к своим прежним мыслям… Деньги! Все равно как чудо какое, а говорят, чудес не бывает! И какой-то другой голос рассуждал в нем: да что ты, на самом деле… Какое чудо, чему удивляешься! Ну, появились они у тебя, и

пусть себе появились… У проходной на доске объявлений бумажка висит: три туристические путевки на Кубу! Возьми путевку, поедь… Да что Куба! В Ленинграде никогда не был! И какой-то холодок нет-нет да и шевелился в груди: и все-таки откуда? Откуда они?! Сунул руку в карман: лежат! Нужно скорее домой, выложу на стол, отдам Вере, пусть разбирается, а мне что?! Вот только жаль, что и сегодня Колесеня не увижу… Он уже подходил к своему подъезду и издали заметил Веру. Она покачивала коляску с маленьким Владиком. Рядом с детским ведерком в руках стояла Ниночка…

— Смотри, папка… — наклонилась к ней Вера.

— Папа!.. Папа!.. — закричала Ниночка и бросилась ему навстречу.

Николай подхватил малышку на руки, подошел к Вере.

— Может, сразу же в магазин сходишь? — попросила она. — У меня тут и сетка есть… Сегодня к нам моя сестра забегала, на всякий случай заняла у нее десятку. До твоих отпускных дотянем…

— Идем домой, — и Николай почему-то оглянулся. — В магазин потом схожу…

В квартире он еще минуту-другую медлил, ожидал, пока Вера перекладывала Владика с коляски в кроватку. Потом позвал ее:

— Вера, зайди на кухню!

— Проголодался… Тебя покормить? — заторопилась к нему Вера и остановилась на полдороге, увидев на столе пачки. — Коля, это что?

— Деньги… — с улыбкой идиота ответил он. — Двадцать тысяч…

Вера молчала. Только глаза ее темнели и темнели. Потом как выдохнула:

— Украл!.. А я, дурочка, все думала, где же он задерживается вчера?.. Я беспокоилась… А он… — Она всхлипнула, но голос был твердый. — Чего же тебе не хватало?! Квартира… Кооператив купили… И выкручиваемся… Выплачиваем… Мать моя помогает! И не отказывается! Да и помощь на ребенка есть… Коля, — как-то испуганно вскрикнула она, — тебя же найдут! Тебя, наверное, уже ищут! — Вера всхлипывала и всхлипывала…

И какой-то голос в нем заглушал эти ее всхлипы: чего же ты стоишь, скорее успокой ее!.. Говори, говори, что ты не украл эти деньги, что они пришли к тебе сами. И он сказал:

— Ты напрасно это все… Как же ты могла подумать такое! Я не знаю, откуда они у меня, это правда, Вера. Стал в карман класть ключи еще вчера, а там что-то твердое… Побежал в ванную, смотрю — деньги! И в другом кармане — то же самое…

Вера прошла на кухню. Села. Лицо ее стало суровым.

— И что ты мне здесь сказки рассказываешь! Деньги! В карманах… Сами по себе! Ты много слышал, чтобы вот так было у кого: полез в карман ключи положить, а там тысячи-и!

Николай попытался ее обнять, она оттолкнула его:

— Иди в милицию! Кайся!.. Года два сбросят! А дети? Вернешься, Владику уже лет десять будет! И что я с ними делать буду? — она заплакала навзрыд.

— Да не крал я! — вне себя крикнул Николай. — Что ты меня в тюрьму сажаешь?!

И это подействовало. Вера уже более спокойно сказала:

— Ты хотя бы понимаешь, что ты такое говоришь? Как могли оказаться в твоих карманах деньги, если ты не клал их туда!

— Не клал! — быстро отозвался Иваненок.

— Так, может, в транспорте? Может, кто случайно… — Она всплеснула руками. — Так в два же кармана одновременно… — Но Вера уже вроде бы даже хотела оправдать его. — Может, кого-то ловили с деньгами и он впихнул тебе, чтобы чистым быть. Вспомни! Хорошо все вспомни!

— В автобусе никого не было. Только две женщины на переднем сиденье. А до того, как я сел в автобус, в карманах точно было пусто! Я доставал сигареты… Еще и пачку выбросил, закурив последнюю.

Ниночка прибежала на кухню, потянула Веру за руку:

— Ма-ма, достань куклу с полки!

— Потом… Иди играй… — Вера оттолкнула ее, и Ниночка заплакала. Вера пошла в другую комнату, взяв Ниночку на руки. Следом двинулся и Николай.

— Слышь, ты все же напрасно насчет милиции… Ну давай не будем вникать, откуда они!.. Может, машину купим, как ты думаешь? Я могу на Кубу поехать по путевке… А-а?! Тебе шубу купим… За квартиру все выплатим… Зачем волноваться, если можно с толком…

Вера разложила игрушки перед Ниночкой:

— Играй… Немножко поиграй, доченька!

Подошла к Николаю.

— Так, говоришь, машину купим!.. На Кубу по путевке поедешь! А в тюрьму ты не хочешь? На нары! За колючую проволоку! А соседи?! Что скажут соседи, у которых я через неделю по пятерке перехватываю?!

— Я же — рационализатор… Мог за какое-нибудь рационализаторство получить.

— Двадцать тысяч? За рационализаторство! Да разве ты академик какой?!

Иваненок хотел вскипеть, но какой-то голос шептал и шептал в нем: не закипай. Не реагируй. Пусть она успокоится. Главное — убеди, что деньги не краденые, что твоя совесть чиста, что ты невиновный. И он сказал, чтобы каким-то образом отвлечь ее от этих денег:

— Так может, я сейчас в магазин схожу? Только что купить? Сегодня можно было бы и пошиковать… Хочешь, торт куплю?

— А-а… Пошиковать ему захотелось! — Вера стала маленькие кулачки. — Хочешь сделать меня соучастницей? Не получится!.. Забирай свои деньги и катись отсюда! Меня мать моя еще тогда, перед свадьбой, отговаривала… Босяк какой-то, так и сказала! — и она выбежала снова на кухню.

Николай посмотрел на Ниночку, постоял… Теща его недолюбливала, это факт, но зачем же так оскорблять! Какой же он босяк? У него есть свое человеческое достоинство, но что-то в нем говорило: сейчас не влезай в эти подробности… Иди к Вере… Она очень встревожена, очень взволнована… Ты же тоже обеспокоен, но тебе проще, ты уже привык к этим деньгам, так поговори с ней мягко… В конце концов, просто посоветуйся… С этим и пошел Иваненок на кухню.

Вера стояла у окна, на его шаги оглянулась:

— Забирай свои деньги и иди отсюда!

— Вера, ну давай спокойно все обсудим… — Он подошел к ней. — Клянусь, деньги не краденые! Сколько можно тебе говорить… Почему ты не хочешь поверить? У меня и у самого мелькала мысль пойти в милицию… А что я там скажу? Нашел в кармане! Да меня тут же сумасшедшим посчитают!

— Замолчи!.. Безумцем хочешь прикинуться! О-о, нет… Сядешь как миленький! — Она вдруг повернулась к нему и взмолилась: — Коля, прошу тебя, уйди из квартиры… Оставь меня одну. И деньги возьми с собой! — Потом добавила тихо: — А лучше признайся… Я знаю, ты один этого не сделал, тебя кто-то подбил на такое… Так сдай эти деньги… Сам объявись… Послушайся… А сейчас иди… Иди! Иди!

Николай взял пачки, немного помедлив, разложил по карманам и ушел… Что-то оборвалось в нем… «Она допускает, что я вор, злодей, что я способен на преступление, что я могу совершить что-то такое!..» Ему стало страшно. Он вдруг очень ясно, в который раз представил всю ситуацию… «Да расскажи я любому про эти деньги, меня, конечно же, посчитали бы сумасшедшим! Я об этом ей и сказал, но безумцем она меня не назвала, нeет! Она сразу же заявила: «Украл!.. Вор!» Обида обжигала его, во всем теле чувствовалась непонятная слабость, даже было тяжело двигаться… Поэтому, как только вышел из подъезда, сразу же сел на скамейку… Сколько времени он сидел, точно и не знал, но уже было темно, все утопало в густом мраке… Полез в карман за сигаретами, наткнулся на денежную пачку… И вдруг вскочил от такой ясной, простой мысли: « Деньги! Из-за чего вся эта шумиха, этот раздор?! Как же я раньше не додумался! Где-то здесь стоял ящик для мусора… Ага-а, вот он! — Отыскал взглядом. — Я — босяк! — сказала теща!.. Это — я?! Я?!» Он уже подходил к ящику… Достал спички, потом деньги… Пачки распаковал… Брал по несколько купюр, сразу и поджигал… Последние просто вбросил в веселый, яркий огонь…

Из-за низкой ограды детского сада тянуло жасмином, первым укосом совсем молодого сена. Он побежал на этот запах… Как когда-то, когда еще был подростком, легко перескочил ограду, упал на мягкий, свежий покос… Небо светилось дрожащей сверкающей россыпью… «Дурак, — подумал Иваненок, — зачем пошел в училище после восьми, нужно было идти в девятый класс… А так как обрубок какой-то! Даже астрономию не изучал. Сейчас бы лежал и разбирался в созвездиях, где какое… Вот умники!.. Космос осваиваем, а телефон не можем в каждую квартиру провести!.. Проще простого, позвонил бы завтра Колесеню и все… А теперь езди к нему, тащись через весь город!..

— Напрасно задержались, — Крант даже не повернулся к Пронту. Неподвижно сидел в кресле и будто думал вслух: — Сюда когда-то прилетят наши дети. Тут еще много лесов, много рек…

— С Цнуной на связь выходить не будешь? — отозвался Пронт.

— Зачем? Мы получили приказ из Центра. Возвращаться!

— Ты говорил, нужно сделать контрольную проверку на корабле.

— Я немного посижу… Ты иди… Начни с отсеков…

Пронт, будто ожидал этого, быстро поднялся, двинулся по длинному коридору…

Крант смотрел на экран. Изображение расплывалось, рябило, но он еще мог рассмотреть, как Иваненок легко перескочил через ограду, не отрывая взгляда от окна, за которым, приподняв легкую прозрачную шторку, все всматривалась и всматривалась в темень двора Вера…

Перевод с белорусского автора.

МАРЬЯН ДУКСА

Душа и небо

Максим Богданович

Праведных мук и глумлений безмерность.
Слышу рыдания я не впервые.
Где же ты, Дева — сама милосердность,
Аве Мария?

Силы не стало и боль под ключицей.
Спящего, нежно меня ты притулишь.
Что ж это деется, что приключится,
Аве матуля?

Градом свинцовым засыпала слепо
Край мой несчастный какая причина?
Снова ты кинута в самое пекло,
Аве Отчизна!

Голод, окопы, снаряды, тревога,
Гнева и злобы слепой эйфория.
Ах, отвернулись вот люди от Бога,
Аве Мария!

Ты над кроваткою мне напевала,
Ныне поет колыбельную пуля.
Мало мне жизни отпущено, мало,
Аве матуля.

Я помашу на прощанье рукою:
Родина, я на чужбине почию!
Верю, мой крест донесешь до покоя,
Аве Отчизна!

Дай же мне силы судьбе покориться,
Пообещай мне, Небесный Владыка, —
Будет над краем Венера светиться
И Вероника.

* * *

Нет на земле сирот, коль Ты с небес,
незримая, в любое время сходишь,
покинутых детей за ручку водишь
и утешаешь просто, без чудес.

Твоя любовь — как солнце в синеве
над городом, селом и каждой хаткой.
Ты отираешь слезы тем ребяткам
и гладишь их по русой голове.

К обиженным, архангелов светлей,
спешишь всегда в мгновения лихие.
Святая и Святейшая Мария,
Ты — Матерь всех — и взрослых, и детей.

Минуя поднебесные мосты,
спускается до нас любовь живая.
И на земле сироток не бывает,
их нету там, где опекунша — Ты.

* * *

Как быстро утратилась счастья подкова,
и терпит заслуженно разум вельможный.
«Нельзя вам! — звучало нам Божие слово,
а первые люди подумали: «Можно...»

Пытливость людская все перелопатит,
печалей и горестей меньше не стало.
А Бог утешался: «Вам радости хватит!»
И слышалось тут же: «Нам этого мало!»

И вольницы ветер, порывистый, свежий
стал веской причиной бессилья в итоге.
Размылись святые запретные межи
и тянет соблазн прочь от главной дороги.

Цветут сбочь дороги и горечь, и мука,
мы нежимся в них и срываем соцветья.
И зависти черной земная гадюка
ползет — не зацепится — через столетья.

И режет нам пятки дорога святая,
и солнце над ней, и созвездий становья,
хоть, крылья расправив, порою витает
над нами тот дьявольский дух своеволья.

Томится душа, ей без неба тоскливо,
лег камень на сердце и давит тревожно.

Во всем виноваты метанья и срывы
меж Божьим «нельзя вам»
и дьявольским «можно».

* * *

А мир оскудел, и оглох, и ослеп,
и зло он творит, попирая заветы.
И думает каждый из нас лишь про хлеб,
да не говорит ни о чем еще это.

А жизнь — как набитый людьми стадион.
Забота одна: старт, забег, эстафета,
победа, оваций ликующий звон...
Да не говорит ни о чем еще это.

А душу съедает безверия ржа,
бессонница, совесть грызут до рассвета,
и кажется, что опустела душа,
да не говорит ни о чем еще это.

Как нужно нам с торной дороги свернуть,
ведущей соблазнами к полному краху!
Так в бездну не терпится всем заглянуть,
чтоб сбиться в кружок полюбовно от страху.

* * *

Слушай в час свой недобрый!
шепчет дождь — мережа, —
между грустью и скорбью
все ж таится межа.

Скорбь безжалостней терний
полосует, как нож.
А в унынье вечернем
есть и солнышко все ж.

От усталости сгорблен,
ты над бездной повис:
между грустью и скорбью
чуть не кинешься вниз!

Крылья слабые гордо
распрями над судьбой,
между грустью и скорбью
воспари и запой!

Авторизованный перевод с белорусского Георгия КИСЕЛЕВА.

«Писательство — дело публичное, а отсюда и социально значимое»

Валерий Казаков писатель с интересной судьбой. Родился в деревне Горбовичи Чаусского района, после школы некоторое время успел поработать на Могилевском лифтостроительном заводе. Потом — служба в армии, учеба в высшем военно-политическом училище… А через какое-то время — работа в российском Совете Безопасности, в Администрации Президента Российской Федерации. При этом Валерий Николаевич не забывает о своих корнях, любит повторять, что его мама кривичанка, папа — радимич, свободно говорит (а еще иногда и творит, когда садится за свой писательский стол) по-белорусски, и много делает для дальнейшего укрепления духовных связей между нашими народами.

— На недавно прошедших президентских выборах в России Вы были доверенным лицом Владимира Путина. В прессе, как российской, так и белорусской, сегодня делается много прогнозов относительно того, как дальше будут развиваться отношения между нашими странами. Что Вы думаете по этому поводу?

— За последнее время мне на этот вопрос приходилось отвечать довольно часто. На мой взгляд, серьезные страны, а Россия безусловно к таковым относилась и относится, после даже весьма кардинальных внутренних изменений резко свои внешнеполитические пристрастия не меняют. Беларусь и Россия — давние соседи и друзья, и этим все сказано. Сегодня у России есть единственный верный союзник, это — Беларусь, и это безусловная правда. Иногда горячие, а скорее, не совсем умные и трезвые, головы спешат объявить о поглощении нашей Родины своим восточным соседом. Но это же чистейшей воды глупость. Исторически трудно представить сегодняшнюю Беларусь без России и влияния последней на все стороны жизни и быта, религиозных предпочтений и идеологических приоритетов белорусского народа и власти. И ничего в этом предосудительного нет. Эти процессы вполне закономерны и вряд ли уже обратимы.

Почти два с половиной века тому назад произошел приснопамятный раздел Речи Посполитой. Причины такой дележки имели и свои корни, и свои предпосылки, сообразные с духом времени. Что произошло, то произошло. Однако, даже как писатель, я бы не рискнул сегодня предположить, что бы произошло с белорусами и их землями, не случись тех разделов. Одно очевидно, это был бы совсем другой народ, говорящий на совсем другом языке.

Относительно недавно произошел еще один, Беловежский, раздел некогда общей для всех нас страны. Ну, разделились. Кому от это стало жить легче? Простому народу? Сомневаюсь. Прибалтика обезлюдела и балансирует на грани бедности. Украину и Молдову рвут внутренние противоречия, того и гляди разделятся на «шчырых» и на «супершчырых». Закавказье стремительно теряет свою самобытность и народонаселение. Я промолчу о Средней Азии, которую американцы переименовали в Переднюю Азию. А вот наше единство сохранилось, и от этого наши народы выиграли. Сегодня мы делаем следующий шаг — начинаем работу по созданию Евразийского союза. России в одиночку с этим не справиться. Так что хватит пугать нас нашей дружбой и естественными процессами интеграции.

— В свое время Вы окончили Литературный институт, не один год работали военным корреспондентом газеты «Красная звезда». И вдруг — политик, работа в Совете Безопасности, Администрации Президента России? Или все же — не вдруг?

— Подбираясь к своему шестидесятилетию, я все меньше склонен верить в случайности. Просто любая случайность — это закономерное продолжение твоей жизни в новом, порой неожиданном для тебя самого качестве. В девяносто втором году я ушел из армии, пошли разговоры о необходимости еще раз присягать. Я этого делать не хотел. Нет, я не был фанатиком режима, скорее умеренным диссидентом, но второй раз присягать на верность перевертышам было противно и отдавало проституцией. Знаете, в чем величайшее преступление Николая II? В отречении от помазания на царство, в предательстве своей Присяги Богу и Народу. Но царь отрекся и освободил миллионы своих подданных от Присяги Отечеству, которому они клялись именем самодержца. А ведь тогда присягали не только военные, но и все служивые сословия. Он отреченец, а мы его поспешили обратить в святые и одним именем заткнуть страшную, зияющую рану нашей духовности. Заткнули, а святости и милосердия в народе не прибавилось.

Осенью 1996 года меня пригласил в свою команду Александр Иванович Лебедь. С его легкой руки и началась моя государственная служба, уже шестнадцатый год пошел, а в общей сложности служу я почти сорок лет.

— Насколько сегодня вообще характерно для пишущего брата в России активное участие в политической жизни страны?

— Политик не всегда может быть писателем, но писатель всегда политик, даже если он глубокий лирик. Писательство — дело публичное, а отсюда и социально значимое. И еще мне кажется, что любой состоявшийся писатель почти всегда находится в оппозиции к существующей власти и никогда — к своему народу. Правда, иногда отдельные писатели, в том числе и талантливые, не считают народ страны, в которой они проживают, своим, но это уже трагедия и для писателя, и для народа. Сегодня в Россию возвращается троцкизм, страшное и малоизученное явление. Оговорюсь, к троцкизму я отношу и сталинизм, да и в какой-то степени и гитлеризм, а также неополитический и религиозный экстремизм. Троцкий, безусловно, злой гений России и нашей революции. Сталин его патологически боялся, но страну, утопавшую в крови и стукачестве, заставлял жить по заветам Лейбы Давидовича. Главные постулаты троцкизма — перманентная революция, постоянное разрушение всего, бесконечное перераспределение отнятых благ и усиление политической борьбы по мере продвижения вперед. Самое страшное, что у троцкизма всегда и всюду есть последователи, среди которых немало певиц, клоунов, зажравшихся капиталистов, ну и писателей, конечно. Так что каждый творец служит своей музе по-своему.

— Насколько известна в России современная белорусская литература? Какие практические шаги необходимо предпринимать, чтобы мы, белорусские и российские писатели, больше знали друг о друге?

— В России и русская современная литература мало известна. Думаю, что если так и дальше будет развиваться наше образование, то лет через десять молодежь и классику знать не будет. Самым известным, печатаемым и читаемым белорусским писателем сегодня в России остается Василь Быков. Что касается переводной литературы, то здесь еще сложнее. Переводчик, как класс, сегодня практически исчез, то же

происходит и с литературными критиками. Критика вырождается или в близкий имбридинг, или в оголтелое поливание помоями чужака. К сожалению, творческие союзы растеряли былую дружбу, связи и духовную близость, разбежались по национальным и местечковым каморкам и доживают свои последние годы. Государство в России стыдливо делает вид, что это не его дело, и уравняло творческого человека с любителями пива и членами кружка фанатов экзотических растений. Сегодня у нас в перечне профессий, дающих право на трудовую пенсию, нет такой профессии — писатель.

— Весной 2010 года делегатами очередного съезда Федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России» Вы были единогласно избраны руководителем этой организации. Какие основные ее функции и задачи? Вообще, насколько белорусы в России чувствуют себя белорусами?

— Законы России позволяют любому народу иметь свою национально-культурную автономию и в ее рамках развивать и язык, и свою культуру, и совместно отстаивать свои права. Естественно, все это необходимо решать в рамках действующих нормативных актов. Как раз в этом все нормально. Для нашей, белорусской, диаспоры проблемы в другом. Белорус, за редким исключением, уезжая за пределы Родины, поскорее старается забыть, что он белорус, и раствориться в доминирующей массе населения, в нашем случае — русских. Особым коллективизмом на чужбине наши земляки не отличаются. Поэтому основные направления нашей общественной работы и нацелены на преодоление этих тенденций. За последние двадцать лет в России количество людей, называющих себя белорусами, сократилось более чем на шестьдесят процентов. Вот проблема, которую ни одна, даже самая хорошая, общественная организация решить без помощи властей метрополии не сможет.

— При всей Вашей загруженности остается ли время на активное писательское творчество? Что нового в писательском портфеле и на рабочем столе Валерия Казакова?

— Если ты писатель, то время для писательства всегда найдется. Плюньте тому в глаза, кто вам говорит, что современный чиновник — прикованный к галерам государственный раб. Большей частью это ловкие имитаторы кипучей деятельности и непревзойденные мастаки бесконечных совещаний и планерок. Увы, сегодня идея власти по существу выхолощена практицизмом и позерством, а главное, она не знает такой категории, как нравственность. От этого и многие наши беды. Происходит пролетаризация сознания: человек должен быть профессионалом в какой-то узкой отрасли, а все, что лежит вне, автоматом относится к периферийной области, не достойной особого внимания.

Пытаюсь уйти от этой беды, и получается, что чем больше работаешь, чем меньше зашориваешься, тем больше возможностей и времени для творчества. Заканчиваю роман «Серая площадь» и тяжко бьюсь над книжкой о делах в современной белорусской действительности. Пока ее рабочее название «Гапоны», может, оно и приживется, уж больно точно отражает суть происходящего.

Беседовал Александр МАЛИНОВСКИЙ.

ВАЛЕРИЙ КАЗАКОВ

Под мерный скрип невидимых колес

Повесть

Если ты родился в деревне, то город вряд ли станет для тебя родным. Но мне повезло, в сердце одинаково сильно зацепились и моя деревня, вернее, станционный поселок Реста, и областной центр, громоздящийся на крутом берегу мелеющего летом Днепра.

Первые воспоминания о Могилеве связаны с пивом, вернее, со вкусом пива, которое дал мне попробовать из большой стеклянной кружки отец. Помню, что удержать эту непривычную посудину я не мог, и батя, скорее всего, боясь, что я разолью вожделенную влагу, присев на корточки, поднес кружку к моему рту. Губы и нос обволокла противная лопающаяся пена, а рот заполнился, как мне показалось, тошнотворной мыльной водой. Я с силой увернулся, выплюнул пиво и заплакал. Отца моя реакция огорчила, зато обрадовала маму. Пиво с тех пор, невзирая на бурную офицерскую молодость, я не пил сорок лет.

Картинок улиц, площадей, каких-то достопримечательностей того, восстанавливаемого пленными немцами города, моя память не сохранила. Наверное, из-за того, что и родители, как всякие сельские люди, далеко от отцовской работы — железнодорожного вокзала — отходить не решались. Хорошо помню привокзальный рынок (он еще кое-как жив и поныне) и тенистые клены уже давно вырубленного привокзального сквера.

Особое место в моей памяти, конечно же, занимают стаи безбилетников на крышах вагонов. От их вида меня охватывал панический страх. Мне казалось, что мама или отец рано ли поздно обязательно потеряют билеты и нам придется, отмахиваясь от проводников и свистящих милиционеров, лезть на крышу. От этих мыслей в два ручья начинали течь слезы. Я был уверен, что с крыши меня обязательно сдует, а страх этот внушил мне дед Никодим, авторитетно объяснивший, что детей с крыш поездов сдувает, как пух с ладони. Грозно потрясая узловатым, с черной отметиной пальцем, он тут же поймал гуся и, выдернув из него серое перышко, наглядно продемонстрировал, как это произойдет.

Билеты в те времена были не чета нынешним, плотные, картонные, коричневатого цвета и всегда имевшие высокую цену в детском обиходе. В деревне на них можно было выменять много дельных и нужных вещей. Однако по малолетству своего персонального билета мне положено не было. До сих помню, как это было обидно. Билет мне в конце концов доставался, правда, только один — мамин. Отец ездил по своему годовому, как железнодорожник.

А еще на вокзале безногие калеки продавали глиняные свистульки, и самой козырной из них был соловейка. Все остальные просто дудели или

издавали сухой свист, а соловейка, если налить в него воды, пел. Позже инвалиды куда-то разом пропали, а с ними и соловейки. Сколько ни приставал я к старшим с вопросами, куда подевались веселые дядьки со свистками, меня словно не слышали и поспешно уводили от злосчастного скверика, на месте которого ныне расположена автомобильная стоянка. Только уже совсем взрослым я узнал, что по приказу Хрущева всех покалеченных войной в быстром темпе собрали по крупным городам и убрали с глаз долой, чтобы не портили картину. Места их скорбных поселений назывались громко: «Специальные интернаты для инвалидов». Размещались они зачастую в бывших монастырях, которые незадолго до этого покинули недавние «враги народа», отправившись по домам или на тот свет, а иногда и вовсе в бывших лагерных бараках. Так стыдливая Родина и родная Коммунистическая партия сполна отблагодарили своих защитников, которым ни великий Сталин, ни его железные маршалы счета никогда не вели. Уже в девяностые годы я встречал остатки этого увечного племени на Валааме.

Реста

Мир для меня начинается в маленьком, ныне обветшавшем поселке со странным и таинственным названием Реста. Там, за лесом, у Бардиловского хутора течет тихая речушка Рудея. Но давно уже нет никакого хутора, перед войной всех окрестных хуторян согнали в кучу, так, видать, властям было спокойнее, и речки давно уже нет, ее перегородили невысокой плотиной и сотворили большое мутное от торфа и постоянно цветущее водохранилище с солитерной рыбой. Эта Рудея, попетляв средь полей, лесов и стрекочущих кузнечиками луговин, тихо впадала под Красницей в надменную и быстротечную Ресту. Где и как куролесила эта давшая название моему миру река, я долгое время не знал. В такие дали даже с отцом мне забираться тогда не разрешали. Но зато всем было точно известно — Реста выныривала из своих тайных путешествий там, за железнодорожным переездом, от которого над крутым откосом, усеянным в июне земляникой, вела узкая песчаная тропинка к двугорбому железному мосту. Сегодня это невзрачная, неширокая и какая-то скукоженная, почерневшая от обиды речушка, а тогда она мне казалась настоящей стихией, пенящейся у серых бетонных опор, она крутила широкие водовороты и стремглав уносилась куда-то в наполненную приключениями даль. Даль в моем тогдашнем понимании должна была неизбежно заканчиваться морем. Море! Как я им бредил! Кривич — дитя болот, пущ и древних курганов, я неистово мечтал о море и горах и оттого лет, наверное, до двенадцати каждую зиму готовился к летней экспедиции. В моих детских мешках было все, от спичек и соли до немецкого штык-ножа и поломанной ракетницы. Все это тщательно пряталось и перепрятывалось от несознательных взрослых, которые бессовестно наносили моим припасам ощутимые потравы: то соль заберут, то умыкнут спички, то зачем-то реквизируют двенадцатилистовую тетрадку в косую линейку, предназначенную для дневниковых записей. Все это было…

Шуршит галькой спокойное и почти всегда теплое Адриатическое море, над недалекими горами со стороны Скадарского озера медленно собираются темные от переполняющей их влаги облака, я сижу у старого, серого итальянского дзота, на набережной уютного Черногорского город-

ка и пью капучино. Хорошо взбитая молочная шапка никак не желает опадать, терпкой, вкусной жидкости уже не осталось, а коричневатая, как будто подрумяненная на огне пенка все еще заполняет широкую чашку, по-белорусски такая посудина называется филижанка. Сбылась моя мечта: вожделенные море и горы рядом, если захочу, я могу здесь жить, но простуженная в скитаниях душа почему-то все чаще и чаще стремится к моему началу с поэтическим и таинственным названием Реста.

Сенокос

Прежде чем стать сеном, трава должна пропитаться потом, первые капли которого брызнут со лбов разгоряченных косцов, упадут, невидимые, смешавшись с буйной росой, еще сизой от утренней прохлады. Потом, когда солнце войдет в силу и мертвые стебли, лежащие сверху, пожухнут, а нижние от избытка влаги и тепла станут подпревать, на луговину с песнями, пересудами и смехом придут бабы и девки и тоже уронят свои соленые капельки на былые соцветия недавней растительной жизни. И приходить они сюда будут несколько дней кряду, а когда травинки начнут набирать ломкость, их станут на ночь сгребать в небольшие копешки, а утром, после того как пропадет роса, вновь растаскивать и расстилать ровным ковром по колкой щетине срезанной травы. И снова пот будет падать и падать, становясь одним целым с травой. Иногда утром одна или две копны окажутся примятыми и разложенными. Женщины постарше неодобрительно покачают головами, припомнив на всякий случай, где был и во сколько вчера вернулся их благоверный. Молодицы украдкой прыснут в кулак, внимательно и с любопытством поглядывая друг на дружку, пытаясь определить, кто смутится более всего. А будущее сено, храня обет молчания, потихоньку впитает в себя сладкий пот любви и терпкую тягучесть семени.

Потом будет день итога. На луг придет почти весь поселок с вилами, граблями, восьмеркой свернутыми веревками, не выпряженные из телег кони будут с жадностью скубать молодую сочную траву. Уже готовое сено, сгуртованное в ровные, крупные скирды, будет горбатиться, словно спины каких-то доисторических животных, так и не доползших до спасительной реки. Потом кто-то, на кого укажет сход, возьмет в руки грабли у самой гребенки, а второй выбранный — почему-то почти всегда это бывала женщина, — опустив платок на самые глаза, отвернется к лесу. И первый, словно гигантской указкой указуя на одну из копенок, выкрикнет зычно: «Кому?» — «Галагаю!» — словно эхо, протяжно и певуче ответит баба. «Кому?» — «Бардиловскому!» — «Кому?» — «Магазинному!» — «Кому?» — «Катерлихе!» — «Кому?» — «Тихоновичу!» — «Кому?» — «Казаку!» И мы, детвора, срывались и летели к той копне, на которую только что пал выбор. Облепляли ее и дожидались деда Никодима и бабу Еву, которые, вырвав из стожка по клоку сена, принимались его рассматривать, мять, нюхать с таким заинтересованным и серьезным видом, что создавалось впечатление, будто это лично им, а не Лыске заготовили корм на зиму. Оставшись довольными, что бывало очень редко, старшие принимали решение, досушивать стожок или сразу на сеновал. К нашему счастью, бабушка выносила правильный вердикт: «У пуню!» — и мы с радостными криками начинали носиться кругами, как дорвавшиеся до свободы щенки. Команда «у пуню», то бишь в сарай,

означала конец ночевкам в душной избе под чутким надзором взрослых и переход (о радость!) на бесконтрольную волю сеновала. Помогать метать сено на воз разрешалось только старшим внукам. Вилы — нешуточный инструмент, неизменное орудие всех неудачных белорусских бунтов и восстаний. Бунтов-то было много, а вот лучшей доли и до сих пор не получилось. Огромная, с четырьмя когтями, стальная лапа глубоко ныряла в пахучий ворох, все норовя, как нам казалось, дотянуться до наших голых загорелых животов. Кто помладше, помогал сено утаптывать и растаскивать по возу. Воз получался огромный, и опять обильными ручьями на сено струился пот. Чтобы, не дай бог, вся эта рукотворная травяная гора не расползлась или не опрокинулась на какой-нибудь рытвине, на спластованное и тщательно утрамбованное сено сверху клали специально приготовленную толстую жердь, похожую на длинную оглоблю, называлась она «рубель», наверное, оттого, что на концах имела специально вырубленные выемки. Мужики, правда, часто смеялись, мол, белорусы такие богатые, что даже сено рублем прижимают. Однако рублей у моих односельчан тогда особо и не водилось, заменяли их трудодни и палочки в блокноте табельщицы, так что жить приходилось своим трудом. «Рубель» поднимали на воз, размещали посередине, в выемки пропускались веревки, крепящиеся к передку и задку возка, — таким нехитрым образом сенн*ая* гора, получив еще одну порцию пота, становилась устойчивой и вполне транспортабельной. Потом была разгрузка сена во дворе и перетаскивание в специально оборудованный над погребом сарай, и снова на сухие стебли обильно летели крупные капли пота, падали и растворялись в этом шуршащем пахучем море.

Но разгрузке предшествовала ни с чем не сравнимая поездка на этой, по нашим, мальчишечьим, меркам, громадине! Мы сидели высоко, а внизу, помахивая хвостом, неспешно трусила по знакомой дороге наша лошадка. Старший из нас, Серега, гордо держал совершенно не нужные вожжи, позади за возом шли бабушка с дедом, довольные, что сено везут и что внуки радуются.

Древняя магия работы незаметно очаровывала, притягивала и нас, молодых, а вместе с ней в душе поселялась и иная древняя сила, без которой трудно жить и страшно умирать. Сухая, пахнущая будущей жизнью трава поднимала нас высоко над землей, и мы летели, парили над окрестностями под мерный скрип невидимых колес.

В моей жизни это были первые полеты. О, как высоко я тогда летал! Ныне, боюсь, ни один самый современный лайнер уже не сможет поднять меня на такие высоты.

Сеновал

Засыпается на сеновале не скоро, зато сразу. Нет ни дремы, ни бесцельных городских лежаний в ожидании прихода сна. Казалось, только что Игорек что-то такое интересное рассказывал, рассказывал, вдруг споткнулся на полуслове — и все. Ты его толкай, тряси, хоть из пушек стреляй — все без толку. Спит человек, а юная и робкая душа его бродит в какой-то сказочной стране. Может, именно тогда, на том деревенском сеновале и научился я трепетно, с пониманием относиться к чужому сну и, если это было возможно, никогда без особой нужды спящего человека старался не будить.

Свежее сено еще пахнет лугом и солнцем, летним зноем и терпкостью высохших до ломкости цветов, из которых порой нет-нет да и высыпется, словно липкая, ярко-желтая сажа, цветочная пыльца и измажет лицо или рубаху, или мягкую самотканую подстилку, еще недавно выстиранную и слегка подсиненную.

Сеновал — это целый мир, со своими шорохами, скрипами, вздохами добрых домашних духов, копошением где-то там далеко кур, сонным похрюкиванием свиней, медленной и бесконечной, как время, жвачкой коровы и телят, приглушенной возней кроликов. Все здесь и необычно, и привычно, и слышимо. Вон в саду упало яблоко, далеко, аж на краю села у колодца, звякнул стальными путами конь. Великолепен, чист и не размыт деревенский ночной звук, и услышать его ты можешь только с сеновала, обычная изба глушит и притупляет его. Подольше бы только звуки эти жили да находили своих слушателей.

Вместе со звуками сеновал живет и своими запахами, которые до чиха ввинчиваются в ноздри, забиваются в глаза и рот. В отличие от урбанистической вони, эти запахи живые и не несут тебе, равно как и всему Божьему миру, никакого вреда. Ты чувствуешь их на вкус и словно видишь сквозь полусмеженные веки. Здесь своя, особенная образно-вкусовая система обоняния.

И вечер, и утро, и ночь, и день не одинаковы на сеновале, каждое время особенно и неповторимо, разве что только затяжной мелкий дождь может внести серую монотонность в этот древний мир. В дождь на сеновале особенно уютно, тогда там господствует особый вид лени и сонливости. А еще хорошо бы, чтоб внизу, на перевернутой дежке, подложив под себя старую овчину, уселась бабушка и стала бы, перебирая горох, рассказывать сказки или какие-нибудь деревенские были… Лучше, конечно, о войне, о партизанах, о сбитом летчике или еще что-нибудь, сотни раз повторенное и не теряющее интереса.

Утро выдалось ясным. Яркое, молодое солнце вливалось во все щели и мелкие дырочки сеновала. В его лучах и лучиках суетились мириады пылинок, оно золотом искрилось на тонюсеньких паутинках, резвилось и играло на наших сонных, загорелых, с облупившимися носами лицах. Мы в детстве своем были неотъемлемыми его частичками. Корову уже подоили, и звона тугих струй молока, ударяющих в подойник, я не слышал, проспал. Но зато я с наслаждением вдыхал запах парного молока, у нас его называли сыродой.

Три запаха я вынес из своего беззаботного босоногого детства.

Первый запах — сыродоя, стойкий и всепроникающий, как запах утреннего кофе. Хотя, мне думается, это не совсем верное сравнение, парное молоко пахнет жизнью, как кровь — смертью, его ни с чем невозможно ни спутать, ни сравнить.

Второй — запах свежеиспеченного хлеба, который, казалось, заполнял весь мир, он был невесомо-тяжелым и приземистым. Порой легкий ветерок мог унести этот древний дух далеко-далеко, к речной пойме, на общинные покосы, и тогда мужики, уловив его, обтирали свои «литовки» пучками только что скошенной, мокрой травы, втыкали косы в мягкую луговину, взбирались на какой-нибудь пригорок, где было посуше и, продолжая втягивать в себя далекий хлебный дух, затевали недолгий перекус, одобрительно судача о том, что, несмотря на недавно открытую в райпо хлебопекарню, старая Казачиха не ленится печь домашний хлеб. Хлебный дух бывал будничным — ржаным, и праздничным — пасхально-куличе-

вым. Я долго думал, что Бог пахнет воском, долежавшими до праздника антоновками и пасхой, так у нас называли куличи, а творожную пасху, по-моему, вообще не делали. Богом пахли руки моих бабушек, а позже мамины. К сожалению, сейчас живущий во мне Бог ничем не пахнет.

И третий запах — это запах пророщенного жита, бродящей браги и цурчащего по белой, суровой нитке самогона. Самогон в Беларуси гнали всегда и все, считая это занятие своим исконным правом.

Самогонка

У этого напитка нет запаха, у него есть пах. Кто не знает, что это такое, может смело считать, что он впустую прожил свою сытую и, скорее всего, никчемную жизнь. Белоруса без бимбера не бывает, как не бывает грузина без чачи, украинца без буряковки, черногорца без грушки, перуанца без текилы, а американца без виски. И все это великолепие — лишь разновидность водки домашнего приготовления, которую варят, гонят, тиснут, пекут и еще чего только не делают, чтобы она, родимая, появилась на свет и сделала свет этот милее.

Маленький исторический экскурс. Время появления крепкого спиртного напитка из подручных, подверженных брожению элементов теряется где-то далеко в глубине веков, и подлинных истоков этого процесса мы вряд ли когда доищемся. Россказни о том, что самогонокурение родилось чуть ли не на территории современного московского Кремля, в одном из монастырей, скорее всего, досужие байки, так сказать, рекламная летописная страничка для привлечения прихожан. Спору нет, и самогон, и винишко в наших православных монастырях испокон веков курили, да и не только православных, в инославных обителях тоже по этому делу дым коромыслом стоял. Неслучайно на Западе многие элитные и дорогущие вина берут свой исток в почти священном мраке монастырских подвалов. Но Запад Западом, а мы ведь с вами и не Запад, и не Восток, мы, как совсем недавно выяснилось, — центр Европы, почти «пуп атлантической цивилизации». «Пуп», а мы до сих пор все еще в навозе ноги греем? Почему? Этот вопрос, скорее всего, риторический и к моему рассказу никакого касательства не имеет.

Однако я с уверенностью рискну предположить, что предки мои задолго до московских монахов тешили свое нутро и туманили разум житным напоем. Да и как по-другому быть, когда города и веси нынешней Беларуси годков как минимум на триста — пятьсот постарше Московии. Да и питейное дело в Москве сразу стало казенным, как только Иван IV по прозвищу Грозный привез после взятия и разорения Казани на угро-финскую землю понятие «кабак». В кабаке, в отличие от наших шинка и корчмы, можно было только пить, не закусывая, и брать водку навынос, и все это на не укрепленный еще как следует славянскими генами татаро-мордовский организм. Так что вон еще с каких пор, уважаемые господа патриоты, нынешних россиян спаивать начали, и главное, кто! Сам великий из великих, предтеча Петра, Сталина и чуть ли не самого Путина, царь с гнилыми зубами, гнилым телом и не менее гнилой головой Иоанн по прозвищу Грозный, хотя по мне, к нему подходит более кличка «людожор». До сих пор, насколько мне ведомо, ученые так и не предъявили миру ни одного клочка бумажки, написанной собственноручно царем, а знаменитая «Либерия», библиотека царя,

очередной миф, на кой фиг, скажите мне, безграмотному, книги? Байка про бабкино книжное наследство тоже никакой серьезной критики не выдерживает. Засидевшуюся в Риме в девках Софью Палеолог, царевну не существующей Византийской империи, сбагрили к вящей славе Христовой и Святого престола в далекую и дикую Московию иезуиты с каким-то своим умыслом. Возы книг из уже давно не существующей Александрийской библиотеки она с собой не везла. По свидетельствам современников, была она завзятой чернокнижницей, гадалкой и ведьмой, а из Рима привезла с полдесятка соответствующих пособий. Вот и все наследство! Кстати, как и внучок, выпить, говорят, любила.

На территории же нынешней Беларуси вопрос производства спиртного впрямую был увязан с вопросами чести, привилегий и личной свободы. Право гнать самогон, как и рыцарское достоинство, надо было заслужить перед великим князем или королем. Так было и в Украине. До московского подданства казаки и их старейшина обладали правом винокурения, посполитые — нет. Посполитый означает всего лишь народный, а никак не польский, как у нас многие думают. Так вот, право варить «бимбер» надо было заслужить, а потом еще чуть ли не в бою отстаивать. Может, поэтому и в наших Приднепровских краях было модным чуть ли не со времен Хмельницкого затесаться в черкесы, то бишь казаки. Отсюда, к слову будет сказано, пошла и моя фамилия, до семнадцатого века звучавшая короче и понятнее — Казак. И вот это некогда завоеванное право личной свободы колобродит и в моем роду, да и во всем нашем народе. Белорусы всегда, при любой власти гнали, гонят и, я надеюсь, будут гнать одну из лучших в мире хлебных самогонок. Но гонят ее не для продажи, а для личного, так сказать, употребления, для утверждения своей особливости и господарства. Одним словом: «мой дом — моя крепость», где я сам себе государь и государство.

Я далек от мысли, что мои предки, а уже тем более дед, бабушка, да и отец, так сложно подходили к этому простому житейскому вопросу. Они гнали самогонку по мере необходимости, и она у них всегда была. Некогда им было задумываться, что этот горючий напиток предельная концентрация удобоваримой человеком солнечной энергии, сакральный смысл употребления которой давным-давно утерян.

В моем детстве жита на приусадебных огородах сеяли мало, так, небольшие полоски, «скотине да курам на зиму», — хитро улыбаясь, говорил дед. И все соседи так же говорили, а на задах приусадебных участков буяла, набирала силу будущая брага. В процессе приготовления самодельной водки принимала участие вся семья, от мала до велика, впрочем, все деревенские дела и работы, как правило, коллективны. Сначала рожь замачивали, зерна набирали влагу и набухали. Потом их ровным слоем выкладывали на противни и проращивали в теплом затененном месте. Пророщенное зерно сушилось и после этого приобретало таинственное название «солод». Тогда мне трудно было понять, почему это рожь была зерном, а вдруг стала каким-то солодом, хотя внешне они мало чем отличались. Я, украдкой от всевидящей бабушки, запускал ручонку в мешок с прошлогодним житом и шел сравнивать его с солодом. Разницы почти никакой не было. Ну, может, чуть растрескавшиеся зернышки с присохшими темными пуповинками... Смотрел и недоумевал: почему из этих подпорченных получается самогонка, а из блестящих и красивых нет? Приставать с расспросами к взрослым было пустым номером. Ответ бабушки Евы на подобные закавыки я знал наперед: «Так хто ж яго ведае? Видаць, так трэба». Дед начинал разво-

дить какую-то ученость про белки и крахмалы, а потом, внимательно оценив мой абсолютно тупой взгляд, давал в руки молоток и насыпал на фанерку приличную горку кривых гвоздей. «Иди ужо цвики прамь, химик!» Я нехотя плелся выполнять наряд, а в голове нераспрямляемым гвоздем торчала опаска вечером попасть в помолочную команду.

Солод надо было обязательно молоть, для этого на жерновах был или съемный деревянный круг с крупной железной набивкой, или другой камень, или специальное приспособление в виде клинушка, который регулировал плотность прижатия рифленых камней жернова. На хороших старых жерновах можно было смолоть муку для самых пышных пирогов и блинов. Солод мололся грубым помолом. Каменный жернов вращать было очень тяжело, и мы, малышня, крутили отполированную деревянную ручку по очереди. В Ресте были и каменные, и деревянные жернова. Каменные, настоящие, если верить деду, доставшиеся ему еще чуть ли не от его прапрадеда, потом куда-то исчезли. Может, отдали кому, а может, камень милиция изъяла в порядке профилактической работы по искоренению самогоноварения. Жалко, мне и сейчас иногда снится этот куполообразный, словно огромный хлебный каравай, серый камень с затягивающей взгляд воронкой посередине. Испещренный по бокам какими-то таинственными отметинами и знаками, вращаясь, он как бы оживлял их, и мне казалось, что я вижу несущихся куда-то всадников, летящих диковинных птиц и неведомых зверей. Снится мне камень и будто хочет что-то поведать такое, чего я без него никогда не узнаю. Грустно, и я светлой завистью завидую своему знакомому итальянскому поэту, который живет в доме — ровеснике Рима. А в отдельном сарае у него, как в настоящем музее, хранятся старинные орудия труда его предков, в том числе и целая вереница каменных жерновов. Это Европа, а мы все продолжаем жить по принципу перекати-поля. Может, пора остановиться?

Потом солод «забалтывали» и «заводили»: заливали его теплой водой в большой бочке, иногда туда еще добавляли вареную толченую картошку, запускали разведенные в воде дрожжи, сыпали какие-то сушеные травки, все это тщательно разбалтывали специальным длинным и узким веслом-мешалкой. После всех положенных манипуляций и обязательного шептания не то молитвы Божьей Матери, не то старинного заговора эта вкусно пахнущая субстанция получала громкое название — брага. Брагу «заводили», делалось это просто: в бочку бросали раскаленные в печи крупные камни и укутывали ее старыми овчинами и ватными одеялами. Через какое-то время брага начинала урчать, пыхтеть, одним словом, работать или «бродить». Ее тоже надо было «доглядать», но детям этого никогда не доверяли.

И вот оно, самое таинственное и сакральное, что называется, момент истины. Вы же помните, древние безапелляционно заявляли: «Ин вино веритас» — истина в вине, а не в примитивном выведывании у перепуганного радиста паролей и предателей в одноименной повести о войне. Все завершающий этап — «Сегодня ночью гоним!» — тихо с утра сообщалась заветная весть.

Гнали самогонку в бане, ночью, соблюдая все правила партизанской конспирации и светомаскировки. Еще днем в различных мешках в баню доставлялись комплектующие заветного аппарата. Верхняк — огромный чугун со специально вырезанной в днище круглой дырою. Гусек со змеевиком, это специальные трубки, одна изогнутая, как гусиная шея, другая медная, завитая в кольца. Специально обрезанная, подогнанная под большие

чугуны печка-буржуйка с набором жестяных труб. Специальное корыто с отверстием в одном торце почти у самого дна и полукруглой выемкой сверху на противоположной стенке. И, наконец, специально коротко напиленные и не крупно наколотые сухие дрова, чтобы горели жарко и без дыма.

Следует оговориться, что все это добро в повседневной жизни тщательно хоронилось от посторонних глаз. Тогда, да и ныне, за хранение таких агрегатов полагалось уголовное преследование. Ох, живы еще в наших государствах замашки Ваньки-людоеда. Нигде в мире за это давно уже не сажают в тюрьму, ежели гонишь, конечно, для себя, а не на продажу и государству не составляешь конкуренцию. У нас же все по-прежнему.

Гнала самогонку бабушка Ева, деду она не доверяла. Не умел он «ни первач увесь узяць, ни агонь толкам саблюсци», однако при всем этом свой первый, хозяйский стакан еще теплого самогона дед Никодим получал неизменно.

Собирался аппарат следующим образом. Устанавливалась буржуйка, дымоходные трубы, изгибаясь коленами, уводились в отверстие банной вьюшки. На печку ставился большой чугун, в него заливалась отгулявшая и успокоившаяся брага. Сверху на него прилаживался такой же чугун, только с дырой в донышке, — верхняк, верхняк гуськом соединялся с помещенным в корыто змеевиком, конец которого выходил из корыта наружу. Все это плотно зачеканивалось чистыми матерчатыми жгутами, хлебной замазкой и глиной. В корыто наливалась холодная вода, зимой набрасывался снег, в печурке разводился небольшой и ровный огонь, и процесс, как говорил генсек, пошел. Да, еще на выходную трубку змеевика повязывалась недлинная ниточка, по которой долгожданная влага тоненькой струйкой стекала в разнокалиберную тару.

Может, у кого этот процесс был налажен и по-другому, а у нас так. На бабкину самогонку никто никогда не жаловался, и голова ни у кого с утра не болела.

Сперва шел первач — первый из первых, крепкий из крепких, градусов под шестьдесят, его надо было взять до конца и не смешать с рядовой самогонкой. Из чугуна брали какое-то определенное количество водки, и все, остальная, почти безалкогольная жидкость собиралась отдельно, отдавалась детям или выливалась. Назывался этот кисловатый, но пахнущий настоящей водкой напиток «бориська». Почему так, не знаю, но свою первую выпивку я начал именно с него. Хотя бабушка Ева нам, внучатам, и первача давала попробовать из маленькой серебряной ложечки, которой и сама снимала пробы.

Прошло более полувека, нет уже в живых ни бабушек, ни дедушек, ни отца с матерью, а я, попробовав года в три или четыре белорусского национального продукта, до сих пор не спился, не одурел, а как-то по-тихому выучился, обзавелся семьей, можно сказать, вышел в люди, и вот сижу и слагаю гимн во славу вольного духа своего народа, его древних традиций и неистребимых обычаев.

На том и стоим.

По чернику

— Ложитесь спать, лиха матри вашу! — кричала бабушка Ева, вешая на частокол вымытый подойник. — Завтра с коровами подыму, по чарнику пойдем, лежабоки и гультаи, каб вас пранцы зъели!

Мы, давясь смехом, начинали дружно храпеть.

— Во уж я вам! Пагляжу, як вы на золку похрапите! — неизвестно, что нам, четырем ее внукам, пришлось бы еще выслушать от любимой и строгой бабули, не угляди она на улице свою закадычную подругу и соседку — бабу Аделю. Моментально забыв про внуков и завтрашний поход, бабушка, вытирая руки о передник, подалась со двора.

О дружбе, о взаимной любви и смертельных обидах соседок, сплетниц, гадалок, закадычных выпивох, матерщинниц и мастериц на все руки, надо повествовать отдельно. Соседские отношения в деревнях на Могилевщине того стоят.

В тот вечер наша внучья команда угомонилась на удивление быстро, каждый отнес это, скорее всего, на счет заговоренной бабулей соли, в которую мы за ужином усердно макали свежие, еще колкие от пупырышков огурцы.

Разбудили нас рано, но коров выгнали, видать, давно. Солнышко висело уже высоковато, и только над станционной канавкой да прудом висел неплотный туман.

Собрались быстро, благо основные приготовления были совершены накануне. Наскоро перекусив «яешней со шкварками», попив еще теплого молока, мы двинулись небольшим табором, состоящим сплошь из женщин и детворы, через железную дорогу, за «шашу», что грунтово-щебеночно петляла по лесам из Чаус в Могилев. По этой дороге когда-то отступал Константин Симонов, оставив в вечности своего несломленного и бессмертного Серпилина.

Мы шли в Антоновский лес, черный и нелюдимый от густых, вековых елей. Местами еще не спала роса, наши следы на траве оставались темно-зелеными тропками, как поврежденный снег на зимней целине. Пройдет немного времени, солнце поднимется выше, и они исчезнут, природа, как и сама жизнь, не терпит на себе чужого следа.

Еловый лес почти не имеет подлеска. Немного пройдя по наторенной дороге, с вечными мутно-глинистыми лужами-колеями, мы вступили в сумерки ельника — царство мхов, кореньев, белесых лишайников, ползущих по голым нижним веткам и взбирающихся вверх по северным сторонам толстых деревьев. Кругом стлались густые заросли уже обобранного черничника. Это был другой, непривычный для нас лес, мы жались поближе к взрослым и говорить старались негромко. Незнакомое всегда пугает. Могучие ели росли друг от друга на почтительном расстоянии, постелив под собой толстые ковры сотканных из маленьких рыжих, острых иголок. Вскоре наш отряд как-то незаметно распался, и утреннюю дрему нарушили первые крики: «А-у-у!» Каждая семья, звеня пустыми бидонами и ведрами о прутья и мелкий кустарник на небольших солнечных прогалинах, спешно ломанула на свои только ей ведомые делянки, и минут через двадцать спорой ходьбы все занялись самой таинственной и древнейшей охотой — собирательством.

Бабушка строго-настрого запрещала есть ягоды, считая, что это расхолаживает человека и потворствует утробному эгоизму. У нас для ягод были припасены большие литровые алюминиевые кружки и два трехлитровых эмалированных бидончика. Ягода детьми собиралась в кружки, и уже потом пересыпалась в соответствующую емкость. Вековой опыт показывал, что так для ребенка было сподручнее, а главное, если кружка опрокинется, то потери будут невелики. Сначала наполнялись бидоны, которые, чтобы их не потерять, пристраивались на какие-нибудь

покрытые мягким мхом пни или буреломины, затем по две-три кружки каждый должен был сдать в бабушкин общак — двенадцатилитровое ведро, ну а уж потом объедайся сколько твоей душе угодно.

Конечно же, мы объедались ягодой еще до первой кружки. Особенно вкусной здесь была земляника, по-нашему — суницы. Не знаю, как вам, а мне белорусское название нравится больше. Вообще по своей образности, емкости и поэтичности белорусский язык, на мой взгляд, находится на одном из первых мест среди славянских языков.

Так вот, суницы росли на небольших солнечных проплешинах, может, вырубках, может, старых пожарищах, в высокой, уже местами подсыхающей траве, на небольших купинах. Развернешь траву — и вот они, огромные, темно-бордовые ягоды, напоенные соком девственной земли, напитанные ароматной сладостью солнца, висят, готовые от любой неосторожности пасть наземь. Однако рядом с этим лакомством очень часто гнездилась и смертельная опасность — гадюки. Они, как известно, тоже слывут большими любительницами понежиться на солнышке, и еще в таких сумрачных местах. Так что глаз да глаз надо было иметь, палкой, незаменимой для леса, особенно не помашешь, ягоды посшибаешь. Вкусную ягоду ел только отважный и осторожный. Но не у всех она, эта смелость, наличествовала, тогда в ход пускались маленькие хитрости: заметив в траве вожделенные гранатовые сгустки, следовало изрядно пошуметь и, убедившись в отсутствии шипящих тварей, собрать драгоценные ягоды, выложить их сверху своей кружки напоказ, а совсем переспелыми вымазать искусанное комарами лицо, особенно губы — дескать, уелся по самое не хочу!

И вот бидоны, ведра и кружки наполнены черными, лоснящимися на свету крупными ягодами, да еще из снятых с себя и завязанных маек выглядывают головки крепких грибов, а сверху, вестимо, боровики. День удался. Все сгруживаются вокруг бабушки и, подостлав под себя ставшие ненужными куртки и стеганые кабатики, это такие безрукавки, перешитые из старых телогреек, оголодавшие щенята с нетерпением ждут. Бабушка медленно развязывает опоясывающий ее шерстяной платок и, размотав его, достает завернутую в чистую холстину и бумагу еду: черный хлеб, сало, сваренные вкрутую яйца и спичечный коробок с солью, а также помятые перья зеленого лука. Все это моментально пропадает в наших голодных глотках. Остатки еды, крошки и щепотка соли оставляются на каком-нибудь заметном месте для лесовика, в благодарность, что не заблудил нас и дал достаток на зиму.

Лазьня

У каждого народа есть свои сакральные места. У кого-то это вековые деревья, у кого причудливой формы камни, у кого священные источники, высокие горы и еще много всевозможных разностей. Чем дальше в историческую глубину, тем больше священного, почитаемого и самого важного, помогающего или вредящего человеку. Присутствует этот набор в полной мере и у белорусов. Вряд ли вы найдете, даже сегодня, хоть одну область или район, где бы вам не показали и «лысую гору», и «святую крыницу», и «чароўны камень», и еще много всего такого, о существовании чего вы и думать-то никогда не думали. Однако среди всех этих чудес останется неназванным и незамеченным одно

очень важное в обиходе место. Это баня, или по-нашему лазьня. Вас туда обязательно пригласят, ежели вы подоспеете к субботе, а может, даже и специально истопят по случаю вашего приезда. Сейчас это стало модным. А когда-то бани в неурочные дни в деревнях топили очень редко и не всегда по добрым поводам.

В моем детстве была Рестянская баня, срубленная под старой грушей-дичкой недалеко от хаты. Она являла собой предмет особой гордости деда Никодима и незлой зависти соседей. Надо сказать, что подобные оплоты гигиены были далеко не у каждого хозяина. Кто-то ходил к соседям или родне, кто-то, поддавшись моде, мылся в колхозных банях, — по-моему, такие в Горбовичах уже были, а кто-то по старинке мылся в печи. Помню, мне раза два приходилось в Завожанье подвергаться такой экзекуции, по-другому подобную помывку и назвать трудно. Особенно было страшно первый раз, мне казалось, что меня решили зажарить заживо в огромной русской печи. Ревел и сопротивлялся отчаянно, пока дед Кастусь своим примером не показал, как это делается и не втащил меня каким-то обманом внутрь печки.

Много чего с тех пор изменилось и много различных приспособлений для мытья пришлось повидать по всему свету, а по-настоящему любовь к горячему пару привилась мне в той самой рестянской баньке.

Вон она, скособочившись, стоит и ныне на том же самом месте. И когда проезжаешь по шоссе из Могилева в Чаусы, мелькнет ее слегка просевшая крыша, да как-то по-особенному щемяще царапнет сердце серое сиротство былого отчего дома. Банька моя, наверное, и сегодня верой и правдой служит незнакомым мне людям, таков уж ее удел.

Вообще, по части сакральных строений Беларусь — уникальная страна, здесь истина и время претерпели столько метаморфоз, что с первого взгляда и разобраться трудно. Вон в центре столичного Минска стоят два кафедральных собора, почти одинаковой архитектуры, красы и великолепия, а верующие в них разные, одни католики, другие православные. Иной раз глядишь и дивишься, как все переменилось, раньше безбожники в церквях клубы устраивали, а сегодня вон церкви в сельских клубах заводить стали, а народу все одно, ему до фонаря, куда по воскресеньям ходить и кого от скуки слушать, партийного агитатора или слегка трезвого попа. Чего уж тогда удивляться особой ретивости отдельных церковных активисток, все норовящих научить вас, как свечку ставить, как в храме стоять, как в нем ходить, а главное, в чем заходить к Господу. Помолчать не дадут, затуркают, замордуют. На них, главное, не обижаться, старушки эти до нынешнего, религиозного актива, были комсомольскими активистками и никакого Бога в упор не знали и знать не хотели, а их бабушки и дедушки в свое время эти самые храмы закрывали и устраивали в них танцульки, так что все возвращается на круги своя.

Однако Бог им судья. Вернемся мы к нашему вечному сакральному храму — баньке. Почему баня объект мистический, говорено уже много, и даже слишком. Однако в моем детстве еще были отчетливо слышны отголоски той великой земледельческой культуры, на которой по большому счету и доныне стоит современная цивилизации. Сельская детвора по части этнографии, демонологии и магии была подкована получше нынешних телеколдуний и отдельных ученых. Даже самый последний двоечник в деревне знал, что в бане не всегда творится доброе, а посему ночью туда, как и на кладбище, лучше одному не

ходить, а то мало ли что… Живут там Банник с Банницей, маленькие да страшненькие, любят они, когда в бане люди парятся, моются или еще каким необходимым делом занимаются. Да и не только баня была обитаемой, подобные банным существа жили всюду: и в поле, и в хлеву, и на сеновале, и в лесу, и в озерах, реках, криницах, да повсюду, с чем человек соприкасался. Наяды и Нимфы, они не только в древних Грециях и Римах обитали, они вон у нас под окнами доныне бродят в лунные да туманные ночи, надо только захотеть их увидеть. Смешно признаться, но я до сих пор верю, что Банник, если ему не потрафить, может запросто пар испортить, пересушить его, баню враз выстудить, дурных запахов нагнать, а то и более серьезную какую напасть наслать. А потому при всей своей крещености и воцерковленности я с мелкими домашними духами, Пенатами по-античному, стараюсь жить в мире и добрососедстве. Оттого и баня у меня залюбуешься, и парок отменный, а уж какой чай из старинного самовара! Нет, не подумайте, я нисколечки не хвастаюсь. Мне не верите, у внука спросите, ему почти четыре года стукнуло, а в баню со мной он первый раз пошел в неполных два и уже тогда «деду Банному» из ковшика водицы с пивком мимо каменки плеснуть учился. Так-то. И чай Миколка любит, а как не любить, когда чаек на Алтайском разнотравье, да на таежном бадане настоян, а на столе горный мед, а в самоваре на дне пять «николаевских» серебряных целковых лежат, водицу томят. Вот она какая, банька-то!

Отец говорил, что когда-то у них была старая баня, но как-то сама собой развалилась и дед на ее месте решил построить новую. Мне кажется, что я и сам принимал участие в ее возведении или очередном обновлении. Баня наша начиналась с узких сеней, носивших гордое название «примыльник», к одной стене была прилажена доска, служившая лавкой, над которой были прибиты какие-то самодельные крючки для верхней одежды, у другой — рядом со входом в саму баню, стояла большая бочка с холодной водой. Прямо за дверью слева располагалась сложенная из кирпича топка с каменкой и вмурованным котлом. Котел был не обычным, а каким-то немецким, со стальной нержавеющей внутренней поверхностью, внизу в него был врезан большой латунный кран. За котлом следовал широкий полок, чуть ниже одна широкая ступенька, служившая одновременно и лавкой. Правая сторона помещения была пустой, на ней стояла пара-тройка небольших переносных скамеек, тазы, да, пожалуй, и все. Свет Божий в эту избушку проникал сквозь одно маленькое окошечко, тем и довольствовались. Осенью и зимой, когда быстро темнеет, на специальной полочке коптил керосиновый фонарь. Помню, что старшие все время боялись, чтобы мы, моясь и обдаваясь, не брызнули на него, стекло к этому фонарю найти в те времена было весьма сложно. Позже, где-то в году шестьдесят пятом, в баньку провели электричество.

Банное священнодейство начиналось почти с самого утра. Необходимо было, по-первости, принести дровишек, да не лишь бы каких, а специальных, сухих и не хвойных пород. Потом наносить воды и в бак, и в бочки, а воду носить приходилось издалека, или со станции, или от «Магазинных», это уже позже дед перед домом колодец выкопал. Вскорости после обеда начинали баньку топить, топить по-настоящему, обстоятельно и долго, чтобы под каменкой и котлом образовался толстый пласт пышущих огненным жаром углей. Как только над углями переставали плясать маленькие, злые, голубенькие язычки огня, надо

было закрыть вьюшку, а на каменку положить специальную металлическую заслонку с приклепанной посередине ручкой. Главное было не пропустить этого момента, поэтому топящуюся баню без присмотра старались не оставлять. Когда внуки подросли, дедушка Никодим посылал нас «пильнаваць агонь». Вот и все. Двери плотно затворялись, и баня начинала томиться, вбирая в себя энергию и тепло сожженных деревьев. Наконец наступал самый ответственный момент, после недолгих препирательств, кому идти первыми, мужикам или бабам, мужики побеждали, и мы шли в «Нее».

Баня стонала от жара. Раскалено было все: и печь, и стены, и лавки, и потолок, казалось, плесни на стенку воды — и она зашипит. Мы, мелкота, прижав уши, рассаживались по услоникам и с ужасом ожидали неизбежного. Нас парили первыми. Конечно же, я верещал, жарко было и даже страшно, ты как бы куда-то улетал, что-то с тобой происходило, и юный мой разум еще не мог всего этого объяснить, потом незаметно и осторожно, словно глубокий сон, приходило тихое блаженство. Дед холодной воды на лицо да на голову малость плеснет, и ничего — терпимо. Зато как неповторимо благоухает распаренный свежий березовый веник. У нас почему-то дубовыми не принято было париться. Может, оттого, что дуб — дерево Перуна и оно священно, а может, и по каким другим причинам. Только притерпишься к размазывающим тебя по вселенной горячим волнам, которые бегут перед веником, как снизу слышишь елейный голосок Игорька или Сереги, старшеньких, двоюродных:

— Деда, а там на каменке уголечек какой-то тлеет, видишь?

— И де ж гэта?

— Да вот же, дед, вот!

— А матри яго!

И на раскаленные камни летит ковш воды, настоянной на мяте, чабреце или душице. И новые, новые волны накрывают тебя с головой. И неведомо, где и когда ты из них вынырнешь, и плоть твоя отстает от костей, и душа твоя отделяется от тела, и становишься ты неотъемлемой частью великого и неистребимого мира, имя которому Бог. Однако, чтобы все это понять и вместить в себя, мне понадобились годы и годы, и слава тебе, Господи, что мне есть кого сегодня парить и кому, вспоминая своего деда, заливать водой горюч-камень.

А еще в бане гнали самогонку, но это тема совсем другого рассказа.

Бабушки

Как и у всякого законнорожденного внука, у меня были две бабушки. Два абсолютно разных человека, оставивших в моей жизни два светлых, незабываемых следа. Во многом благодаря им я стал тем человеком, книгу которого вы сегодня читаете. Бабушки, бабушки, мои любимые и милые, как вам теперь спится в вашем далеком жилище? Вот сижу в своей тихой подмосковной баньке, пишу эти строки, а учащенно бьющееся сердце уже далеко-далеко, в том сладком и недоступном для чужого взгляда мире, имя которому память.

Так уж сложилось, что деревни мои, по-нашему вёски, распределились в моей жизни не совсем равномерно. «Ресты» с «Горбовичами» было и осталось больше, а «Завожанья» с «53-м разъездом» меньше.

Реста. Здесь прошло мое детство. Несмотря на то, что я родился в железнодорожной больнице Могилева, всегда пишу в анкетах, что родился именно здесь, нисколько не обижая соседнюю с нашим поселком деревню Горбовичи, которая считается официальным местом моего появления на свет.

Реста — это бабушка Ева, зычный голос, властный и упрямый подбородок, кулацкая хватка, чисто выметенный двор, подпол с канистрами самогона, стол — полная чаша, ломящийся для любого самого захудалого гостя, хотя захудалых гостей для бабушки не существовало. На кухне и в комнатах перед войной построенного дома простенькие бумажные иконки. Про Бога бабушка вспоминала перед праздниками или когда что-то не ладилось в делах, приснился дурной сон, скотина прихворнула, от тетки долго писем нет, мало ли еще что могло приключиться. Обращения эти были ненавязчивые, словно между прочим, и следовали уже после того, как бабушка сгоняла на попутной подводе в соседнюю деревню погадать к Аксинье, проконсультировалась с парой-тройкой авторитетов в знахарстве, все подробнейшим образом обсудила с закадычной подругой-соседкой, бабой Аделей Бардиловской, сама чего-то пошептала, поплевала, поскребла гусиным крылом. Зато уж в церкви Ева Ивановна молилась от всей души, с поклонами и слезой, правда, по малолетству я так и не запомнил, исповедовалась ли она когда-нибудь, бывала ли у причастия. Мне кажется, с причастием и покаянием у белорусов дела обстоят весьма проблематично, большинство из нас считает, что посещения церкви, зажжения свечей перед образами, покаянной молитвы и откровенного разговора со Спасителем или Богородицей вполне достаточно для надежды на милость и прощение, а все остальное придумали власти и попы, чтобы выкачивать из людей деньги. Бабушка, мне кажется, именно этого принципа и придерживалась.

Особой статьей незлобного бабушкиного гнева были наши развлечения, прежде всего рыбалка и купание до дрыжиков на «Амхинецком» или на «Лявоново», когда-то так назывались самые купальные места на неширокой и мирной Рудее. Мне кажется, до сих пор в ушах звенит бабушкин голос: «Валерька, лиха матри твою, утопишься, домой не приходи!» Надо сказать, что жизнь внуков и внучек (а свозили к бабке всех шестерых) была строго регламентирована и наделена персональными обязанностями: прополка, поливка, догляд многочисленных цыплят, утят, гусят, сбор тли и колорадских жуков, уборка двора, участие в заготовке сена, пилка дров и прочее, прочее, прочее, не говоря об обязательных походах по грибы и ягоды. Гляжу на своих детей и внуков и диву даюсь: в отличие от них, у нас никогда не было проблем с аппетитом и сном, и никто из нас понятия не имел, что такое аллергия или насморк в разгаре лета. Самой большой проблемой было перед школой отдраить ноги, черные от загара и въевшейся грязи. Сегодня трудно и представить, как это можно было бегать по ржищу босиком! Недавно попробовал, скинул свои модельные туфли и лихо так зашагал вслед за комбайном, однако лихости не получилось, да и пройти-то удалось всего шагов пять, не больше. Исколовшись и косолапя, вернулся на межу. А тогда мы в полном смысле слова носились по полю, и ведь все было нипочем! Три летних месяца про сандалии и иную обувь вспоминали редко.

Мы были детьми, игравшими в свои игры в еще не заросших траншеях недавно отгремевшей войны. Нас окружали ее отголоски: инвалиды, трофейные патефоны и велосипеды, ржавое и поломанное

оружие, все исправное взрослые кто выбрасывал, а кто припрятал в укромных местах на всякий случай. Артиллерийский порох. Из этих серых тонких макаронин запускали ракеты, жгли, как бенгальские огни. Патроны, гильзы, какая-то немецкая амуниция, коробки, мешки с большими фашистскими орлами — все это жило рядом с нами. Помню, мой матрас, который периодически набивали свежим сеном, был сшит из мешков, украшенных свастикой, и спал я на нем лет до шестнадцати; были еще штык-ножи и много всякой военной разности. Да, чуть не забыл, у нас во дворе как обязательный атрибут находилась большая стальная «фрицевская» каска, прилаженная к длинной березовой палке, ею чистили выгребные туалеты и вычерпывали жижу из скотского приямка. Надо отдать должное толерантности моих земляков: некоторые черпали также и красноармейскими шеломами. Немецких касок было больше, скорее всего, из-за того, что, увы, в отличие от нас, они своих погибших хоронили, на могилах ставили кресты, вешали на них таблички с именами и почти всегда стальные шлемы. Наши же, если отступали, совсем не хоронили своих убитых, присыпали прямо в окопах, а чаще всего оставляли на попечение местных жителей или неприятеля. Безусловно, похоронные команды все же иногда работали и несчастных хоронили в общей яме, как правило, без гробов, под одной палкой с пятиконечной звездой. Каски, оружие, а иногда и обмундирование собирали, и после кое-какой чистки и ремонта оно вновь пускалось в жутковатый оборот.

Жизнь в бабушкином доме была тесно связана с железной дорогой. Дед Никодим до глубокой старости работал стрелочником. Наверное, поэтому железнодорожная станция была для нас знакомым и доступным миром, со своими запахами, звуками, гордостью за городской хлеб в тяжелых деревянных, а потом и алюминиевых ящиках, которые привозили раза три в неделю на пригородном поезде из Могилева и продавали только поселковским. Новогодние елки в красном уголке станции, Дед Мороз с мешком под портретами Ленина и Сталина, и конечно же, подарки, пахнущие мандаринами! Бьюсь об заклад, сегодня мандарины так не пахнут! Кто постарше, помнит этот запах, в бумажном пакетике дешевые конфеты, печенье и два, только два мандарина или один небольшой апельсин. Со стыдом вспоминаю, как неохота было делиться этими вкусными нездешними яблоками и с родственниками, и с друзьями по деревенской улице, ведь в колхозах новогодних подарков в то время не было. Руки мерзнут, отламываешь излучающую солнечный свет и летний аромат дольку, даешь по очереди откусить друзьям, и каждый кусает немножко, чтобы не подумали, что жадный, самая большая частичка доставалась последнему. Теперь и подумать странно, что такое могло быть. Цитрусовые корки никогда не выбрасывали, а в обязательном порядке сдавали бабушке, которая их сушила, а потом заваривала вместе с чаем или настаивала на них самогон.

Здесь, в этой бесхитростной жизни, входили в меня древние токи загадочных радимичей, от которых, петляя в веках, тянется незримая нить отцовского рода.

Нет уже «53-го разъезда» с трехминутной остановкой пригородного поезда. Нету, стерт прогрессом, словно мел со школьной доски. А ведь разъезд этот периодически всплывал в моей жизни на протяжении целых восемнадцати лет. Два или три маленьких строения в глухом лесу,

казарма станционного начальника, крохотный огородик и воняющая разогретыми на солнце шпалами железная дорога. С поезда прямо на насыпь спрыгивали редкие гости, а кто-то, толкая впереди себя мешки и кошелки, ухватившись за поручни, с сопением и матюками карабкался в вагон. Звонил станционный колокол, трубил рожок, гудел паровоз, и, зашипев паром, звякая сцепками, поезд неторопливо уползал в сторону невообразимо далекого Богушевска.

На разъезде нас как правило встречал дедушка Константин или кто-то из заважанских, подъезжавших за своими, а иногда не приходил никто. Встретят или нет, заранее мама не знала, но всегда надеялась. А потом была лесная дорога длиною километров в девять с гаком. До сих пор никто точно не определил длину белорусского гака. Если на подводе да летом, то это незаметно и даже весело, кругом ягоды, грибы, а вот если зимой, пешком да фактически ночью… О, я знаю, как замерзают слезы обиды и страха на щеках! И как страшат живые тени в лунном, морозном лесу! Наверное, после тех детских страхов я и перестал бояться ночного леса и даже полюбил его.

Чем для меня была эта дорога? Я долго не знал ответа на этот, казалось бы, простой вопрос. Ответ пришел сам собой: тот лесной путь был естественной машиной времени. Преодолев положенные километры, я попадал из относительной цивилизации в мир древней Беларуси, из середины века двадцатого в середину девятнадцатого столетия, из языкового суррогата трасянки в заповедную сказку родной мовы.

«Бабушка Феня, бабушка Феня, платочек кофейный...» — старые мои стихи, а имя у бабушки было Федора, но деревенские звали ее на кривичский манер Хадося, Тадора, а иногда Тэкля, хотя это уже ближе к русской Фёкле. Худенькая, небольшого росточка, живая, вечно согнутая работой, улыбчивая и очень набожная. С бабушки можно было в равной степени писать и икону, и портрет кривичанки. Безбрежная доброта и смирение поразительным образом сочетались в ней с несгибаемой волей и настойчивостью.

Электричества в Завожанье не было года до шестьдесят пятого, были керосиновые лампы для зимних колядных застолий, а так по хозяйству управлялись при лучине, летом же и вовсе старались обходиться без света. Исключение делалось только для гостей, которые по городской привычке любили почитать перед сном. Здесь, в забытом всеми уголке, жил дух чего-то таинственного и уходящего. Здесь я узнавал, для чего служат различные деревянные приспособления, части которых встречались мне и в Ресте. Оказывается, вот это странное, громоздкое сооружение ни много ни мало целый ткацкий станок, да к тому же работающий! И бабушка зимними вечерами ткала кросны, а до этого почти все лето совершались длительные приготовления: пахалась земля, высаживался лен, потом он необычно цвел, набирал силу, затем его надо было «брать» — по стебельку вытаскивать из земли, вязать в снопы и ставить в «бабки», дальше мочить, мять, трепать, чесать, сучить нитку и уже только после всего этого ткать узкое полотно. В мое время из самотканой холстины уже не шили одежды, а использовали ее для домашних рушников, занавесок, подзоров и каких-то сакральных действий. Дежу с тестом для хлеба покрывали только самотканым, испеченный хлеб тоже выкладывался остывать на палицу, застланную чистым домашним холстом. Исключительно в домотканое заворачивались различные примочки, компрессы, им покрывались заговоренные

вода, соль, масло. Все, что касалось давнины, не терпело металла и должно было быть изготовлено только руками человека при соответствующих молитвах и заговорах.

Бабушка и дед молились всегда. Дед, конечно, с меньшим усердием и менее многословно. Он вообще был молчуном; за свою долгую жизнь, а прожил он до ста двух лет, дед Костусь убедился, что молчание почти всегда дороже пустого разговора, может, поэтому он сторонился людей и предпочитал больше бывать в лесу или на работе.

Бабушка знала уйму сказок, старых, не вычитанных в книжках, да она и читать-то толком не умела, а рассказывала нам те, что передавались из поколения в поколение. «А вось гэтую казку мне казала ажно моя прабаба…» — так часто начиналось бабушкино повествование. Долгое время я безуспешно силился вспомнить эти сказки, чтобы записать, но, увы, ничего не выходило, не вспоминалось. Расстраивался, злился, что вроде бы тот сказочный мир живет во мне, кажется, его волшебные образы где-то совсем рядом, вот протяни руку, ан нет, не получается.

Однако время летит поразительно быстро, вот и сам я стал дедом, уже мои внуки просят рассказать им сказку. Вот тут все и стало на свои места, просто, наверное, пришло время, и старинные небылицы начали сказываться как-то сами собой. И удивительным образом они сами собой начинались со слов: «А эту сказку мне рассказывала еще твоя прабабушка…» Дальше по-русски говорить не получалось, волшебство из сказки уходило, она делалась пресной, похожей на плоский американский мультик. Я понял, что народные сказки, как и народные песни, на другой язык перевести нельзя, чужим языком их можно только пересказать.

Странно, внукам эти старинные истории на малопонятном для них языке нравятся, и слушают они их с затаенным дыханием и открытыми ртами. И еще, дважды повторить одну и ту же сказку одинаково у меня не получается. Я этого не замечаю, и благодарные слушатели терпеливо поправляют, списывая ошибки на забывчивость деда.

Вот такие сказки были у бабушки Фени. Наверное, действительно живое слово, записанное на бумаге, теряет свое волшебство и таинственность и может жить только в благодатном поле живого родного языка.

Бабушка не умела читать и писать, и от этого мучилась, ей хотелось самой прочесть Священное Писание. Библию в те годы купить было невозможно, да и хранить подобную литературу в доме считалось делом рискованным. Однако у бабушки это сокровище было и хранилось в только ей ведомом месте. Извлекалось по праздничным дням, и если я оказывался под рукой, меня заставляли читать вслух эти непонятные тексты. Писание было на церковно-славянском языке, хорошо хоть в новой орфографии. Вот так, спотыкаясь на незнакомых словах, поправляемый бабушкой, я делал свои первые шаги к Богу.

И последняя картинка из Завожанья, которую бережно хранит моя память. Я приехал попрощаться с бабушкой и дедушкой, через неделю предстояло уходить в армию. Помню, в тот вечер, как в детстве, долго читал старикам Евангелие. А потом настало хмурое утро, и я пошел по дороге вдоль покосившейся изгороди в свою первую неизвестность, надо было спешить на поезд, но вдруг что-то екнуло внутри, оглянулся: бабушка тихо плакала и крестила меня вслед. Больше живой я ее не видел, но то крестное знамение хранит меня и поныне.

Пишу эти слова, а в голове всплывает название книги известного сербского поэта Благое Баковича — «Повраток на Итаку». Как это

важно не прозевать, не забыть поворот на свою Итаку, поворот к своему Дому, к своим Истокам.

СШ № 24

Так уж получилось, что школу я помню гораздо хуже, чем другие периоды моего могилевского прошлого. Похоже, как-то мы с ней умудрились не совпасть, и хотя в течение долгих десяти лет пересекались с завидной регулярностью, все же настоящая моя жизнь текла вне этих стен.

С самого раннего детства меня непреодолимо тянуло учиться. Лет с пяти я ходил проситься в школу в Горбовичах, но по причине малолетства меня туда, конечно же, не взяли. Зато почти всю зиму я просидел в классе другой сельской школы, в деревне Завожанье, что под Богушевском. Там жили мамины родители. Школа была начальной и представляла собой большой деревянный дом; в одной половине жила семья наставников Весяловских, с сыном которых я дружил, а в другой размещался один-единственный класс с шестью партами в два ряда, одним учительским столом и двумя досками на стене. В первую смену здесь постигали премудрость знаний ученики первого и третьего классов, во вторую — второго и четвертого. Ни электричества, ни света в деревне не было, учились при керосиновых лампах. В пятый, шестой и седьмой класс надо было идти пять километров через глухой лес в Леднивичи, а чтобы закончить десятилетку, топать приходилось еще дальше, в Асинники, а это километров одиннадцать. Сейчас этих школ уже нет, Горбовичскую перенесли в новое здание, а в Завожанье школа умерла вместе с деревней, за тридцать лет от почти сотни дворов осталось пять. А вместе с деревней постепенно ветшает, скукоживается и дух народа, его достоинство и неповторимая самобытность.

Итак, я тянулся к учебе, а меня заставляли получать отметки. Учебу я понимал как навык, который дает вполне осязаемый результат. К примеру, учишься свистеть, итог — молодецкий свист; косить — ровный покос; читать — горы книг; думать — свое мнение; верить — добро и сострадание. А в школьной учебе все было совсем не так, нас более учили послушанию, чем самостоятельности в жизни. В старших классах запоем читал о Сухомлинском и его методе учебы-игры, читал и завидовал.

И все же память хранит тысячи маленьких осколков школьной жизни: солнечные блики на темно-зеленой крышке парты, довольно странного, но вполне удобного сооружения, которое следовало опрокидывать на бок при уборке класса. Парты красились ежегодно к первому сентября и периодически с остервенением мылись, потому что тяга человека к наскальным рисункам и письменам, одним словом, к древнему бумагомарательству, выплескивалась на ближайшие подходящие для этого поверхности: парты, столы, стены. Каких только историй не писалось на них, какие трагедии не разыгрывались!

Помню белые конусы казенных чернильниц-непроливашек. Нехитрое приспособление, состоящее из усеченного конуса со встроенной внутри воронкой, которая не давала выливаться чернилам, но свободно позволяла перу проникнуть внутрь. Была даже такая октябрятская общественная нагрузка — «раздавальщик чернильниц», которую я одно время и исполнял.

К большой перемене школа наполнялась смачными запахами буфета, и тогда учеба уже никак не желала влезать в мою стриженую голову. Я летел по лестнице, и пятнадцать копеек прилипали к вспотевшей от нетерпения ладошке. Однако не всегда этот пятиалтынный водился в моем кармане, иногда мама, порывшись в своем стареньком кошельке, выдавала скудный пятак, а этого хватало лишь на стакан теплого чая и маленькую, не совсем белую булочку.

Из учителей больше других, пожалуй, запомнилась географичка Дыбова. Вероятно, потому что география была непременным атрибутом моих мечтаний о путешествиях, а может, еще и потому, что сама учительница была красивой, молодой и часто выводила нас на природу.

Мария Израилевна Вальдман навечно вклинилась в память теоремой про «Пифагоровы штаны». «Надо-таки запомнить это раз и навсегда, а хто нет, тот будет мучительно шукать мене летом, слышите, дети?» Теорему я так и не выучил, а может, просто забыл, а вот «Пифагоровы штаны» ношу и поныне.

Еще помню школьную достопримечательность — худую, подвижную, курящую физичку по прозвищу Керогаз. Если не ошибаюсь, в девятом классе была контрольная, которую я успешно завалил, но получил казенную «тройку». Кто-то возмущался, дескать, я почти все решил — и «тройка», а кое-кто вообще ничего — и тоже «трояк». «Он от меня всегда будет иметь свой «трояк», — и прямой, как указка, палец направлялся в мою сторону, — а ты уже имеешь крепкое «два», вместо той хилой «трешки», что я вкатила в твою тетрадь. Ему, — указующий перст снова тыкался в мою ушастую голову, — судя по его сочинениям, физика не сильно понадобится, вспомните меня, он будет писателем, а вот тебе без Ома с Вольтом не обойтись, потому сам переправь «тройку» на «два», и продолжим наш скорбный путь к запоминаниям, потому как для знаний у вашего класса мозгов не хватает».

Странный инструмент наша память. Казалось бы, серая пелена забвения плотно прикрывает прошлое, но пошевели ее немножко — и посыпались, посыпались самые неожиданные, самые забытые образы, звуки, запахи — и всеобъемлющая власть действительности куда-то уходит, и ты уже там, в той, несегодняшней реальности, ты видишь себя со стороны, молодого, наивного, смешного, и вот уже кружится нескончаемое кино твоей прошлой жизни, только успевай смеяться или смахивать непрошеные слезы.

Пишу эти строки и все отчетливее вижу наш «А» класс, лица ребят и девчонок, и мне боязно встречаться с нынешней реальностью моего прошлого. Может, поэтому я ни разу не приходил на встречу выпускников — раньше все некогда было, а сегодня уже и некуда — школу закрыли, а почему, никто мне толком объяснить не может. Жаль, конечно, — писателем я стал, а книгу свою принести некуда. Растворилась по окрестным школам моя первая в жизни. Грустно. Вот стоит это угрюмое двухэтажное строение рядом с девятым магазином на улице Белинского, насупилось темными, давно не мытыми окнами, но мне чудится — отопри заколоченную дверь, и тебя обступит школьная тишина, чутко ждущая тарахтения звонка, хлынет теплой волной шум перемены, зазвучат далекие голоса, и может, тебе посчастливится услышать в общем гаме и свой собственный голос…

СЕРГЕЙ ГРИНКЕВИЧ

Любовью души врачевать

Три ягоды

Багряной листвою сорят осенины.
Над речкой студеной, по тропочкам узким —
Рябина, черемуха и калина,
Три ягоды русских.

Кровавые кисти сладят на морозе,
И ветви поникли, как руки рабыни.
Кого ты помянешь слезой нетверезой —
Вином из рябины?

Себя ль? Разоренную кем-то отчизну?
Душе простудившейся баня в усладу:
Рябиновым квасом на каменку брызни,
И дух перехватит от жара и чада,

Отъест мыльным щелоком с совести сажу.
Воспрянешь, соколик ты мой разудалый.
И скулы наспевшей черемухой свяжет,
Чтоб легче рыдалось.

За все навсегда будто мамой прощенный,
Пороки на сердце твоем и порезы
Прижжет своей горечью неподслащенной
Поречной калины целебная трезвость.

Бабье лето

Тополь золотом сеет, как дождь или душ.
Так отрадно, не ведая боли,
Осязать листопадную горечь и сушь
Альвеолами легочных долей.

В бытии обозначен едва перелом:
Обволакивает мирозданье
Ненавязчивой лаской и дряблым теплом
Неизбежного увяданья.

Тело просит телесного, как ни глуши,
Манят спелой черемухи кисти.
В тихий омут души, будто тонут ножи,
Опускаются узкие листья.

Словно лист, ускользающий в воду, лови
Жест и взгляд.
Не показывай виду,
Что подруги надули и сплетни сплели,
Что наябедничали обиды.

Впопыхах прикусила губу до крови —
И саднит от черемушной сласти,
Выжимая слезу. В поздней бабьей любви
Терпкой жалости больше, чем страсти.

Педагогические стансы

Скромна учительская доля:
Рутинный труд и скудный хлеб.
Не светят ни почет, ни воля.
И над тетрадками ослеп.

Да, укатали сивку горки.
Где быть уму — там книжный жмых:
Хранилище сентенций горьких,
Цитатник истин прописных.

А застарелые обиды
Острее битого стекла.
Удаче молодой завидуй:
Своя-то ртутью утекла.

Чем мерить глубину стакана,
Чем медным лбом крушить бетон, —
Нырнуть за ширму балагана
И рыжим выкатить шутом.

Где раем ад провозгласили
И стилем жизни — смертный грех,
Одно есть средство от бессилья:
Циничный стёб, надрывный смех.

Но: глазу — тускло, сердцу — пусто.
Скажи, куда себя девать?
Есть, говорят, еще искусство
Любовью души врачевать.

Петр Витязь: «Сотрудничество никогда не прекращалось...»

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, академик ***Петр Александрович Витязь*** — всемирно известный ученый. С его именем связано создание в Беларуси целой отрасли в промышленном производстве и направления в науке, связанных с порошковой металлургией. Сегодня Петр Александрович входит в состав Президиума НАН Беларуси, является координатором ряда научно-технических проектов Союзного государства Беларуси и России. С 2000 года был членом Общественной палаты Союзного государства, с 2005-го — сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, в настоящее время является заместителем председателя Белорусско-Российской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. К нему я и обратилась с вопросами о взаимодействии белорусских и российских ученых.

— Петр Александрович, готовясь к интервью с Вами, выписала цитату из статьи известного российского ученого, доктора экономических наук Ю. Ф. Година, который защитил вторую докторскую диссертацию по теме «Усиление интеграционного взаимодействия России и Беларуси в условиях становления Союзного государства»: «В отличие от механического объединения, органическая интеграция обладает стимулирующим, синергическим эффектом, позволяющим целому быть больше простой суммы частей. Это значит, что интеграция по такому варианту действительно позволяет получить материальные, интеллектуальные и иные средства, каких ни один из участников не имел бы, действуй он автономно». («Наш современник», № 12, 2010 г., стр. 135). Хотелось бы услышать Ваше мнение о результатах сотрудничества в научной сфере ученых двух стран в рамках Союзного государства. Эта тема приобретает особое значение, так как в России инновационное развитие объявлено в числе важнейших государственных приоритетов.

— Это сотрудничество сложилось не сегодня и не вдруг. Если говорить о Национальной академии наук Беларуси, ранее Академии наук БССР, то многие институты у нас были созданы благодаря Советскому Союзу, российским ученым, которые приехали сюда: физик Б. И. Степанов (Институт физики им. Б. И. Степанова), А. В. Лыков (Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова). Можно назвать многих других замечательных российских ученых, благодаря которым создавались здесь научные школы, именами которых они теперь называются. Это было и до Великой Отечественной войны, и после нее. Взаимодействие все время было. И после распада Союза и создания независимых государств сотрудничество не прекращалось. Хотя и не так интенсивно, как в СССР, но оно продолжалось между институтами, между научными школами. Однако после создания Союзного государства сотрудничество заметно активизировалось, приобрело системность. У нас появились Совет Министров, Постоянный Комитет Союзного государства, которые нацеливали на расширение масштабов взаимодействия. Был сформирован бюджет Союзного государства, начали создаваться программы промышленного, в том числе научно-технического сотрудничества. С первых дней создания этого интеграционного объединения Академия наук Беларуси стремилась участвовать в формировании совместных программ, в их выполнении и продвижении в жизнь.

П. А. Витязь на VI форуме проектов и программ Союзного государства.

Сотрудничество, как правило, идет по приоритетным направлениям в рамках Союзного государства. В отличие от Российской академии наук, у нас Академии наук делегированы определенные права государственного органа. В частности, мы можем выступать как заказчики по союзным программам. Для нас это важно. Поэтому мы вместе с российскими коллегами формируем программы. А там заказчиками выступают Министерство образования и науки, Министерства промышленности и торговли, Минздрав и соцразвития, Роскосмос и другие министерства.

— Не затрудняет работу то, что приходится все программы в России согласовывать через министерства?

— Весь процесс уже отработан. Хотя сложности, конечно, есть. Не все просто идет. Зачастую нам надо доказывать, что такая-то программа нужна и почему. Например, многие говорили, что по компьютерам, а тем более по суперкомпьютерам, мы отстали навсегда и никогда не догоним ведущие в этом направлении страны. Пришлось и российским, и белорусским ученым доказывать, что есть новые идеи и возможности. После долгих экспертиз такая программа была утверждена, и в результате было создано пять супер ЭВМ семейства «СКИФ», которые вошли в мировой рейтинг 500 самых мощных машин мира. Две из них — суперкомпьютерные системы Республики Беларусь. Союзные научно-технические программы направления «СКИФ» продемонстрировали высокую эффективность сотрудничества и стали брендом Союзного государства. В настоящее время создается целая гамма суперкомпьютеров семейства «СКИФ» не только у нас, в Беларуси, но и в России, и они предназначены как для решения научно-технологических задач, так и для образования, — многие университеты уже этим пользуются. Есть хорошая перспектива применения суперкомпьютеров для решения практических задач многих отраслей экономики. На базе этого строится единое информационно-вычислительное высокопроизводительное пространство Союзного государства.

— Как финансируются эти программы?

— Бюджет формируется государствами-участниками за счет ежегодных согласованных отчислений. Все совместные программы, проекты, мероприятия финансируются за счет бюджета Союзного государства, где 1/3 — это белорусская доля, 2/3 — российская. Белорусская доля расходуется на финансирование работ белорусских участников, российская — российских. Совет

Министров разрабатывает проект бюджета Союзного государства, Парламентское собрание — утверждает, а Постоянный Комитет Союзного государства организует его исполнение. Составляется сводная бюджетная роспись, распределяются лимиты бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств сторон. После этого открывается финансирование.

— Сначала, наверное, проходит конкурс проектов?

— Проходит работа в два этапа. Сначала разрабатывается концепция программы. Когда она согласована в государствах-участниках, рассматривается и утверждается Советом Министров Союзного государства. Далее идет формирование программы, которая утверждается по вышеуказанной схеме. Процедура отработана, но она сложная, и иногда программы формируются 2—3 года. Система требует совершенствования, этим занимается Постоянный Комитет Союзного государства.

Кроме суперкомпьютеров второе отработанное направление, которое идет и будет идти хорошо, — это космические программы. Они тоже начались с того, что Беларусь в свое время имела достаточно хороший результат по инновационным информационным технологиям, по оптике, электронике и т. д. На основании этого была сформирована и успешно реализована первая программа в космической области «Космос-БР» (1999—2004 гг.) и последующие: «Космос-СГ», в которой впервые разработаны и внедрены программные алгоритмы комплексной оперативной обработки мониторинговой информации от космических и наземных средств; и «Космос-НТ», в рамках которой создана Белорусская система дистанционного зондирования земли.

— Проекты финансируются для того, чтобы потом они приносили какую-то отдачу, реальный инновационный эффект?

— Естественно. Вот поэтому реализуется не одна программа по приоритетным направлениям, а несколько и последовательно. Одна переходит в другую. Решаются взаимосвязанные практические задачи. На базе суперкомпьютера семейства «СКИФ» создаются мощные машины. В суперкомпьютерах разрабатываются и применяются системы с параллельной архитектурой. Они решают сложные задачи, имеют высокую производительность до $25x10^{12}$ операций в секунду и большую память.

Подготовлены проекты концепций программ Союзного государства «Исследование и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» (шифр «СКИФ-Недра»), направленной на создание новой инновационной платформы для повышения технологического уровня сервисного сектора государств-участников СГ на основе импортозамещения, и «Разработка технологий создания и эффективного использования информационно-вычислительного высокопроизводительного пространства (киберинфраструктуры) Союзного государства (шифр «СКИФ-СОЮЗ»), направленной на разработку упреждающего научно-технического задела в области технологий высокопроизводительных вычислений и их эффективного использования в науке, образовании, а также в интересах развития различных отраслей экономики и социальной сферы, укрепления военно-промышленного потенциала и безопасности Союзного государства.

— Наука не может быть замкнутой. Ученые решают общие проблемы, но насколько продуктивны творческие контакты между ними?

— Наука всегда была интернациональной. Она не может быть белорусской — наука может быть в Беларуси, хотя в народе говорят «белорусская наука». НАН Беларуси сотрудничает со многими научными центрами других стран. Но особенно плодотворно — с Российской Федерацией. Сегодня в рамках Союзного государства мы имеем возможность объединять свои ресурсы для достижения прорывных результатов как в фундаментальной науке, так и в

части обеспечения ощутимого эффекта за счет внедрения новейших технологий и разработок на практике.

Мы с российскими учеными постоянно общаемся — проводим конференции, симпозиумы, выставки, семинары Беларуси в России, и России в Беларуси. В начале 2012 года в Москве прошел форум «Союзное государство в интересах народа», в котором и я принимал участие, выступил с докладом.

— В настоящее время над какими совместными союзными проектами работают ученые?

— У нас сейчас выполняется пять программ: «Нанотехнологии-СГ», «Стандартизация-СГ», «БелРосТрансген-2», «Прамень», «Стволовые клетки».

«БелРосТрансген-2» — это уже вторая программа. Первый совместный проект «БелРосТрансген» был реализован в течение 2003—2007 гг., и в результате был получен ряд важных и новых научных результатов, связанных с созданием трансгенных животных — коз и способов получения на их основе человеческого белка — лактоферрина, который является сырьем для производства продуктов питания или же лекарственных средств нового поколения. В настоящее время ученые и специалисты Института биологии гена РАН и Института физиологии НАН Беларуси и РПУП «АкадемФарм» прорабатывают возможность реализации в интересах сторон новой программы «БелРосФарм». Она позволит создать высококачественные товары и продукты, пользующиеся спросом на мировом рынке.

В настоящее время реализуется интересная программа по стандартизации, связанная с Роскосмосом, — создание стандартов для космических целей, чтобы мы говорили на одном техническом языке. По итогам реализации «Стандартизации-СГ» будет достигнуто нормативно-техническое обеспечение единых требований и правил проведения работ в области космической техники.

Начата с IV квартала 2011 года программа «Прамень», в которой участвуют Институт физики НАН и с российской стороны — Академический физико-технологический университет и объединение «Светлана» (Санкт-Петербург). Программа связана с электроникой и появилась благодаря нашему земляку, лауреату Нобелевской премии, академику Жоресу Ивановичу Алферову и призвана ускорить работу в таком перспективном направлении, как создание приборов на основе полупроводниковых светодиодов (в основе которых гетероструктуры), диодных и импульсных лазеров. А это и мобильные телефоны, плазменные телевизоры, волоконные оптические линии связи и многое другое. Задача для белорусских и российских ученых — не отстать от тенденций современной мировой науки, промышленных технологий.

Также начато выполнение программы «Стволовые клетки». На стадии проработки еще десяток программ. Некоторые уже прошли, а какие-то еще на стадии согласования.

— Я читала в газетах, что за 2011 год освоение финансовых средств по союзным программам было недовыполнено?

— Программы выполняются в принципе в полном объеме. А расходовано бюджетных средств, в частности, по программе «Космос-НТ» 72,4%, «Нанотехнологии-СГ» — 77,6%. Это связано с финансовым кризисом — упал курс белорусского рубля, а все затраты были привязаны к российскому рублю. Деньги уже были потрачены, и не было возможности перестроиться. Новые программы у нас выполнены на 95—99%. Программы выполняются на хорошем научно-техническом уровне с пользой для нашей страны и в целом для нашего Сотрудничества. Особенно сейчас повышается их роль в связи с вступлением в Таможенный союз, ЕврАзЭС.

— Как происходит отбор проектов для союзных программ?

— Мы систематически проводим совместные президиумы Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук — поочередно, в Минске

Суперкомпьютер.

и в Москве. А для оперативной работы есть Межэкономический совет, который начал работать с 2004 года. Это ежегодные встречи, обмен мнениями. Вот сейчас готовимся к очередному. Уже утвердили повестку дня. Мы выступаем за то, чтобы Совету предоставить функции экспертизы научно-технических программ и проектов при Постоянном Комитете Союзного государства. Ведь ученые лучше знают и какой есть задел, и что можно выполнять, и какая отдача может быть.

— Я знаю, что НАН Беларуси активно сотрудничает с Сибирским отделением РАН. Они тоже участвуют в Союзных программах?

— С Сибирским отделением наук мы начали работать давно, у нас подписано с ними двухстороннее соглашение. Сегодня совместно мы выполняем десятки инновационных и интеграционных проектов. Встречаемся и проводим конференции совместно и на расстоянии — сейчас техника позволяет. Как старшее поколение ученых, так и молодые. Но, к сожалению, пока мы не сумели добиться, чтобы у нас были с ними союзные программы. Это связано с тем, что заказчиком должно быть какое-то российское министерство. Мы только смогли добиться, что имеем программы с учеными Санкт-Петербурга, благодаря и нашему авторитету, и авторитету Ж. И. Алферова, при содействии тогда еще губернатора Валентины Ивановны Матвиенко. Мы выступаем с инициативой, чтобы ученые из разных регионов России участвовали в союзных программах. Чтобы разрешили министерствам округов тоже быть заказчиками программ. Будет хорошо, если такое решение будет принято. Хотелось бы, чтобы была и для ученых в номинации науки и техники премия Союзного государства, как награждаются художники и писатели. Этот вопрос тоже прорабатывается.

Хотя у ученых есть и свои межакадемические — РАН и НАН Беларуси — премии. Например, с Сибирским отделением РАН у нас утверждена ежегодная премия имени нашего земляка академика В. А. Коптюга, которая присваивается совместным решением за совместные работы. Премии РАН и НАН Беларуси в этом году будут присваиваться в трех номинациях. Они являются важным моральным стимулом развития сотрудничества.

— Петр Александрович, идя на встречу, ознакомилась с Вашим кругом обязанностей. Это впечатляет. Невозможно даже запомнить сразу, в каких проектах Вы участвуете. Как Вы все успеваете?

— Прихожу на работу в 7.30, ухожу в 21.00. В субботу тоже, бывает, работаю — много документов, нужно заниматься аспирантами, докторантами,

писать статьи и монографии. Нужно развивать созданную школу и передавать все накопленные знания молодым.

— Вы в хорошей физической форме. Как удается ее удерживать при таком режиме работы?

— В студенческие годы активно занимался баскетболом, другими видами спорта, теперь ежедневно хожу пешком на работу и с работы. В свободные субботу и воскресенье езжу с сыном на дачу. Там свежий воздух, сад и различные хозяйственные работы, которые люблю выполнять.

— Вы занимаетесь многими проектами, наукой. Хватает ли времени и сил еще и на преподавательскую работу?

— Раньше преподавал много, теперь иногда, когда меня приглашают, читаю лекции. Не хватает времени. У меня есть учебники, по которым учатся. Недавно, в марте, мои подопечные защитили очередные две докторские диссертации по проблемам порошковой металлургии и защитным покрытиям. Я являюсь председателем ГЭК в БНТУ. Был первым заместителем председателя Президиума НАН Беларуси, а когда исполнилось 75 лет, написал заявление с просьбой освободить от занимаемой должности, планировал идти работать в лабораторию, в которой являюсь научным руководителем. Но меня назначили на должность руководителя аппарата НАН Беларуси. Поэтому наряду с оперативной работой аппарата Президиума курирую многие научные направления, в том числе и программы Союзного государства.

— А на 2012 год проекты союзных программ уже обсуждались?

— Часть уже называл, еще более 10 находятся в разной стадии прохождения. У нас разработаны концепции программ — «СКИФ-ОРБИС», «ИНИТЕХ», «Мониторинг», «Плазматех», «Коваль», «Отходы АЭС», «Нуклид» и др.

Мы строим атомную электростанцию, поэтому в ближайшее время перед нами намечаются две задачи: прежде всего нормативная база, как утилизировать отходы, а второе, как их собирать, перерабатывать. У нас в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» выполняются темы по ускорению распада радиоактивных отходов, поскольку они долгоживущие, разрабатывается технология. Есть специальная установка, мы изучаем, как ускорить их распад. Кроме того, есть правила сбора, консервации, захоронения. Надо нормативную базу дорабатывать, совершенствовать. Все разрабатывается с учетом требований МАГАТЭ.

— Вы человек технического склада ума, как относитесь к гуманитарным наукам?

— Гуманитарную науку мы недооцениваем. Технику можно создать, экономику можно поднять, а вот облагородить душу человека, обогатить его внутренний мир, культуру — гораздо сложнее. Если людей не воспитывать, то это тотальное бедствие. Ведь гуманитарные науки — это не только язык, литература, культура, искусство, но и история, философия, право, экономика… Посмотрите, что творится в мире — кризис, межнациональные и социальные конфликты, мятежи и террор. Нам повезло: у нас крепкое государственное управление, поэтому легче решать любые проблемы. Надеемся, что в рамках Союзного государства, ЕврАзЭС многие вопросы гуманитарной и социальной сферы будут решаться совместными усилиями более эффективно.

— К сожалению, у нас в обществе есть небольшая прослойка, которая крайне болезненно относится к сближению Беларуси и России. Не только пугают потерей политического суверенитета, но научно-технологической отсталостью наших партнеров. Предлагают кардинально изменить вектор сотрудничества с Востока на Запад. Мол, только с Запада к нам придет прогресс.

— Есть и такие, но они преследуют корыстные цели. Не в интересах народа, государства, а в своих личных интересах. Не буду касаться политических

аспектов такой откровенно русофобской позиции (об этом много пишут в прессе), а коснусь научной сферы. В определенной среде бизнеса и интеллигенции сложился искусственный, весьма односторонний стереотип: мол, Россия (Восток) — это отсталость, в Запад — это процветание, прогресс и изобилие, поэтому надо повернуться лицом к Западу и закупать только их продукцию и технологии.

Этот стереотип опасен тем, что он ориентирует нас не на самостоятельное творчество, не на развитие отечественной науки и своей мощной производственной базы, а на бездумное потребление чужого, на стимулирование зарубежных компаний, бездарное расходование своих валютных и природных ресурсов. Такой подход — бесконечное заимствование всего зарубежного вместо поддержки отечественных научных разработок — приводит в конечном итоге к деградации, к самым негативным социально-политическим последствиям. Потому что культивирует в сознании людей чувства неполноценности и бесталанности, прививает комплекс творческой пассивности и интеллектуальной зависимости — мол, зачем что-то изобретать, если все можно купить готовое за рубежом. Именно это и закладывает основу потери самостоятельности и перспективности любой нации, любой страны.

Думаю, не случайно наш Президент с такой настойчивостью продвигает идеи импортозамещения, развития отечественного научно-производственного потенциала. И требует активизировать усилия как ученых, так и производственников в областях разработки и внедрения новейших технологий и инноваций во все сферы жизни. В этом видится благополучие страны, достоинство и творческие способности нашего народа. И с этой точки зрения для нас особую ценность представляет системное и разностороннее сотрудничество с Россией, пусть и не столько продвинутой, как Запад, но близкой по духу, богатой ресурсами и нацеленной на модернизацию. Вместе мы эффективнее сможем развивать важные именно для наших стран научные разработки, сможем избежать технологической и интеллектуальной зависимости, поднять свой престиж в мире, постоянно укрепляя свои научные школы, развивая свои институты, свои корпорации. Но такой подход требует много сил и энергии от ученых, руководителей и специалистов разных уровней. А вот это как раз и не устраивает тех, кто привык жить не напрягаясь, за чужими спинами пряча свою никчемность и пустоту, всегда уповая на то, что «заграница нам поможет». Конечно, таких не заботит ни уровень развития отечественной науки, ни благосостояние народа, ни будущее страны. Для них главное — личный интерес.

Даже есть «деятели», которые говорят, что нашу Академию надо реформировать на западный манер. Я понимаю Президента Беларуси, который говорит, что надо приблизить Академию к реальному сектору, но когда говорят «давайте сделаем на базе Академии клуб ученых», — это значит потерять школу, потерять научную базу, разрушить многоуровневый интеллектуальный комплекс. Надо понимать, что высшая школа никогда не может конкурировать по производству научных знаний с Академией наук. Вот недавно я был в Киеве, на юбилее президента Национальной академии наук Украины, всемирно известного ученого, академика Б. Е. Патона (50 лет, как он возглавляет Академию). Там тоже собравшиеся ректоры вузов обсуждали эти вопросы. Ранее был в Москве, в Академии наук, на совещании, где присутствовали тоже многие ректоры ведущих вузов. И в Москве, и в Киеве ученые говорили, что наука Высшей школы должна быть, но настолько, чтобы готовить необходимые кадры. Это прежде всего. Им по времени на обучение выделяется 800 часов в год. Они не могут посвятить время науке в полном объеме, но каждый должен заниматься своим делом. Университеты могут заниматься наукой вместе с академическими институтами — готовить кадры, изучать. Самое главное у нас сегодня: наряду с развитием культуры и знаний не потерять школы, которые созданы, которые еще есть. Сохранить и развить их с учетом развития страны.

И прежде всего надо сохранить фундаментальную науку. Вот задача Союзного государства — Национальной академии наук Беларуси вместе с Российской АН как раз создавать те направления, которые будут работать в наших интересах. Много есть тем, связанных с космосом, атомной энергетикой, нано- и биотехнологией, оптоэлектроникой, информатикой, созданием новых материалов и др. У нас есть возможность эти знания использовать и в земных условиях. Только тот, кто такие направления имеет, сможет эти знания аккумулировать и использовать во многих отраслях. Этот процесс должен быть не закрыт, а открыт. Если даже частным предприятиям эти знания передать, то продукцию они будут выпускать у нас, рабочие места будут создавать у нас.

— Вы поздравляли академика Б. Е. Патона. В кулуарных разговорах не жалеет ли он, что Украина не входит в Союзное государство?

— Патон очень большой патриот. Он первый почувствовал после развала Союза, что значит потерять контакты, и создал МААН — Международную ассоциацию академий наук стран СНГ, в которую также вошли Вьетнам, страны Восточной Европы (как наблюдатели). Он всегда был сторонником интеграции, очень тепло относится к Беларуси. Патон — не просто ученый, это легенда. Он прошел большой путь в науке, всегда выступал за интеграцию. Очень помог Беларуси в совершенствовании БелАЗов. Для мощных белазовских конструкций он разработал специальную сварку. Его сваркой пользуются на земле, в космосе, под водой. Сейчас он разработал даже сварку человеческих тканей, она внедрена и в Беларуси. Борис Евгеньевич, несмотря на свои 94 года, полон идей, работает и вместе со своими учениками делает открытия. Многие новые направления, институты им созданы.

— Петр Александрович, столько много интересных союзных проектов и программ, есть финансирование. Значит ли это, что молодые ученые находят себе работу и не стремятся уезжать на Запад?

— Я выскажу свою точку зрения. Нельзя ученому сидеть в закрытой комнате. Это для него очень стесненные условия. Он должен видеть, что другие делают. Я никогда не стал бы тем, кем стал, если бы в свое время, в середине 1960-х, не пробыл год на стажировке в Шведском институте исследования металлов. Я там не только закрепил английский язык, но и освоил новые методики, изучал их опыт, чтобы потом применять все лучшее у себя на Родине.

У нас институты готовят специалистов широкого профиля — это хорошо, это как опыт накапливать знания. Но после окончания института выпускник еще не специалист. В Швеции я получил более узкую специализацию, ознакомился с новыми направлениями. Ученые должны ездить на конференции, научные стажировки, общаться. Конечно, нет гарантий, что ученый вернется, но по себе знаю, я там не смог бы жить — мне там душно. Почему говорю о духовности — если мы будем это прививать у человека, то он там не останется. Тому, кто хочет только заработать, безразлично, где жить. У нас есть и обратный поток: есть ученые, которые приезжают обратно. Нужно создавать социальные условия, условия для мощной экспериментальной базы. Очень непростой вопрос — оперативное обновление экспериментальной базы.

— А в теперешнее время в Академии она обновляется?

— Мы стараемся. Поскольку денег недостаточно, идем по пути создания центров коллективного пользования, хотя тоже есть проблемы.

Академия — это не только научные организации, это своего рода корпорация, в которой есть все — и наука, и производство, и подготовка кадров. Сейчас НАН Беларуси — это научно-учебный, производственный комплекс, который активно взаимодействует по приоритетным направлениям как с университетами, так и предприятиями.

— В общем, наша наука выживает…

— Я не согласен с вашим словом «выживает». Это было раньше, когда действительно выживали. Сейчас развиваться можно. Просто сегодня необхо-

димо находить нужные направления не с точки зрения знания, а с прицелом на завтрашний рынок. В одиночку рынок не займешь. Поэтому надо создавать вот такие международные проекты, чтобы с ними выходить на рынок. Не только научной продукции, но и создавать по ней технологии, новые товары и т. п. Мы так и работаем — в обоих направлениях.

— Суперкомпьютер — это уже признанный продукт, приносящий отдачу?

— Это практическая разработка. Есть заказы как на суперкомпьютеры, так и на программы. Информационные программы развиваются очень быстро. Мы еще не вышли на такое массовое производство, потому что там нужно решать задачи, где необходимы очень большая память и быстрота действия, — это относится к космическим программам, атомным, недрам и т. д. Все, кто этими проблемами занимается, без суперкомпьютера физически не могут их решить. Поэтому на его базе у нас разработаны и программы. Они помогают запустить спутник и решать задачи по космическому использованию и многие земные — лесоиспользования, картографии, транспортной логистики… Десятки задач решаются в интересах народного хозяйства. Уверен, наша совместная работа во всех сферах деятельности Союзного государства будет способствовать дальнейшему росту национальных экономик, и следовательно, росту благосостояния, духовности, культуры народов Беларуси и России.

— Петр Александрович, разрешите задать Вам личный вопрос: как складывалась Ваша судьба? Благодаря кому или чему Вы пришли в науку?

— Судьба очень простая. Родился на хуторе у деревни Блудень, сейчас Первомайская Березовского района. В пяти километрах была школа. Сказать, что учился хорошо, не могу, потому что надо было заниматься хозяйством: семья была крестьянская, большая — пять братьев и две сестры. До 1949 года у нас были свои 10 га земли. Надо было пасти коров, пахать, сеять, убирать. Школу окончил в 1955 году, поступил в Лесотехнический институт, в 60-м окончил. Учился хорошо, в основном на повышенную стипендию. Занимался спортом, работал на целине. После окончания вуза пошел на завод «Ударник». Там была отраслевая лаборатория порошковой металлургии, меня туда пригласил Олег Владиславович Роман — мой учитель. Я ему очень благодарен. С тех пор увлекся наукой. Это направление развивалось, а вместе с ним росли и мы. Отраслевая лаборатория была преобразована в Проблемную, затем на этой базе были созданы Институт порошковой металлургии, конструкторское бюро, построен завод порошковой металлургии, которые были объединены в ГНПО порошковой металлургии. Основной задачей объединения было и есть разрабатывать новые материалы, технологии и создавать на их базе производства для машиностроения, электротехники, электроники, специальной техники и др., готовить вместе с профильной кафедрой БНТУ инженерные кадры и кадры высшей квалификации — более сотни кандидатов и докторов наук. Только под моим руководством подготовлено 23 кандидата и 14 докторов наук. Под руководством академика О. В. Романа я защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, был избран членом-корреспондентом, позже — академиком НАН Беларуси. В 1997 году был избран вице-президентом НАН Беларуси, а с 2004 года — первым заместителем Председателя Президиума НАН Беларуси. С этого года назначен руководителем аппарата Президиума НАН Беларуси и продолжаю свои научные работы как научный руководитель и исполнитель.

— Большое спасибо за то, что нашли время для беседы. Новых Вам успехов в науке и хорошего здоровья!

Беседовала Татьяна КУВАРИНА.

АЛЕКСАНДР ВАЩЕНКО

Рыцарь науки

7 апреля 2012 года исполняется 150 лет со дня рождения белорусского ученого, этнографа и фольклориста Адама Егоровича Богдановича, отца знаменитого белорусского поэта Максима Богдановича.

Адам Богданович родился в местечке Холопеничи Минской губернии в семье крепостных крестьян, и всем тем, чего он достиг в жизни и науке, он обязан исключительно своему таланту, упорству и книгам, ибо, кроме Несвижской учительской семинарии, других учебных заведений он не заканчивал.

Осенью 1868 года в шестилетнем возрасте маленького Адама отдали в школу. Она размещалась в бывшем больничном здании времен графа Хрептовича. Все учились в одной большой палате. Никакого разделения на группы не было, а переходили от книжки к книжке: когда ученик заучивал на память одну — ему давали следующую, и так далее. Благодаря отличной памяти и старанию Адам быстро переходил от книжки к книжке и обгонял старших учеников. Уже за первую зиму обучения мальчик научился читать, и это открыло ему дверь в удивительный мир человеческой мудрости и знаний. Книга на протяжении всей жизни будет его верной спутницей, утешительницей и советчицей. Весной 1873 года мальчик успешно выдержал публичный экзамен и в двенадцатилетнем возрасте в числе трех лучших учеников получил свидетельство об окончании курса учения в Холопеническом народном училище.

А дальше была трудовая школа. Кроме помощи отцу и матери по хозяйству маленький Адолик вместе с местечковыми ребятами уже с десяти лет стал ходить на панский двор для поденных заработков. Рабочий день летом длился от восхода до заката, и за два первых сезона мальчик получал по 10 копеек, а затем, с возрастом, по 15 и даже по 20 копеек в день, что было существенной прибавкой в семейный бюджет.

Весной 1876 года семья Богдановичей переехала в Минск. И с этого времени у четырнадцатилетнего Адама начинаются четырехлетние скитания по различным ремесленным выучкам. Юноша, все свободное время проводивший за чтением, видел бессмысленность своего будущего. Он хотел вырваться из этого замкнутого круга, учиться не на нарах в кузнице, не на верстаке у Минкевича, не в теплушке кондитерской Роберта Шенинга, а свободно, в школе, и поэтому стал готовиться к поступлению в Несвижскую учительскую семинарию, что и произошло в 1879 году.

Семинаристы были скромными, трудолюбивыми и смирными выходцами из крестьянской массы, а режим дня был почти монастырский: с 8 часов утра до 11 вечера продолжались занятия, работа в мастерских, а весной и осенью — в саду и огороде. Юноши должны были присутствовать на утренних, вечерних молитвах и всех богослужениях, соблюдать посты и носить почти «народническую» форму — красную рубаху и полукафтан. И уже здесь проявился гордый и независимый характер Адама: вместо красной он одевал белую блузу, как более «революционную». У него ее отбирали, но он опять проявлял упорство. Унизительным

для него было требование, чтобы при встрече на улице с директором или учителем даже в мороз семинарист должен был на почтительном расстоянии снять фуражку и идти с непокрытой головой. Юноша не выполнял это требование. На окрик: «Сними шапку!» — Адам отвечал: «Это рабский обычай, а я не раб».

Книги Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Шелгунова, Михайлова, Флеровского пробудили революционное самосознание юноши. Позже Адам Егорович напишет: «Жизнь и книга сделали из меня народника, затем социалиста и, наконец, революционера. Перестав быть революционером, в смысле принадлежности к той или другой революционной партии, в первой половине 90-х годов, после полной ликвидации партии «Народной Воли», народником я не переставал быть во всю жизнь. Всю жизнь я работал среди крестьян, отстаивая всемерно крестьянские интересы» (А. Богданович. Революционное движение в г. Минске и Минской губернии в 80-х и в начале 90-х годов).

В 1880 году среди семинаристов образовался кружок саморазвития и самообразования, который впоследствии составил основное ядро народовольческой организации народных учителей, связанных через Егорыча (подпольная кличка Адама Богдановича) с Минской руководящей группой. Через посредничество ученика духовной семинарии А. И. Хлебцевича Богданович знакомится с руководителями семинарской группы минских народовольцев И. М. Околовичем и А. М. Мицкевичем и 1882 году вступает в ряды «Народной Воли». В 1885 году он был переведен в Минск на должность заведующего первым городским начальным училищем и сразу же был включен в состав руководящей группы народовольцев. «Егорыч» зарекомендовал себя как отличный учитель и пропагандист. Это была опасная и трудная работа. Вот что писал об этом периоде жизни отца Павел Адамович Богданович в биографической справке, написанной по просьбе Юлиана Сергеевича Пширкова: «Легко сказать «был членом партии «Народной Воли». А ведь это значит переживать все то, что с этим связано, и переживать в тот период, когда дела партии шли на убыль, когда начались провал за провалом, пережить столь крупные ренегатства, как ренегатство Тихомирова и другие, переживать последние содрогания умирающей партии, когда она оказалась обезглавленной, когда центр уже не существовал, а периферия работала, не подозревая, что она работает без центра. Всю работу приходилось вести в атмосфере сыска, обысков, арестов… В результате этой напряженной работы у А. Е. Богдановича пошла кровь горлом и стала развиваться чахотка».

По предписанию врачей Адам Богданович оставляет работу в школе и выходит из «Народной Воли», которая к тому времени фактически уже перестала существовать. У него сохранились прекрасные дружеские отношения с бывшими товарищами по партии, со многими из которых он переписывался, но недремлющее НКВД еще не раз напомнит ему об этом «сомнительном» периоде его биографии.

В это время Адам Егорович знакомится с Марией Афанасьевной Мякотой, которая после окончания 3-классного женского училища в Минске и женской учительской школы в Петербурге приехала в Минск. Подвижная, веселая, с искристыми глазами и роскошной косой девушка сразу же обратила на себя внимание молодого учителя. В 1888 году молодые люди поженились. Жениху было 26 лет, а невесте — 19. Адам Егорович получал хорошее жалованье при казенной квартире с бесплатным отоплением и освещением, поэтому молодожены могли позволить себе сходить в театр или купить понравившуюся книгу. И здесь же в Минске в доме Коркозовича по Александровской улице (теперь улица Максима Богдановича) родились их сыновья: Вадим — 18 марта (н. ст.) 1890 года и Максим — 9 декабря 1891 года.

В июне 1892 года семья Богдановичей переезжает в Гродно, где Адам Егорович поступает на службу в Крестьянский земельный банк. Еще будучи семинаристом, он записал некоторые бабушкины сказки и через учителя П. А. Введенского переслал их Павлу Шейну, который через широкую сеть

корреспондентов собирал белорусский фольклор. Адам Богданович продолжает записывать белорусские сказки, песни, легенды, загадки, обряды. Только часть этих материалов напечатана в «Материалах для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» (т. I, СПб, 1887; т. II, СПб, 1893; т. III, СПб, 1902) и различных газетах, а многое безвозвратно утеряно. В эти годы Богданович является активным корреспондентом «Гродненских губернских новостей», «Минского листка» и других периодических изданий. Он пишет статьи по белорусской этнографии, литературной критике, театральные рецензии, публицистику, переводы и случайные заметки. В машинописном «Перечне моих научных и литературных трудов», составленном в 1927 году (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства), ученый называет 44 своих статьи. Удивительная трудоспособность!

В 1896 году Адам Егорович был переведен на службу в Крестьянский банк Нижнего Новгорода, а через одиннадцать лет в Ярославль, где прожил до конца. У Богдановича были рекомендательные письма от товарищей-народовольцев, и, прибыв в Нижний, он отправился на квартиру А. М. Пешкова (Максима Горького), в то время еще скромного сотрудника «Нижегородского листка». Его встретила молодая жена писателя Екатерина Павловна: «Приняла меня хозяйка — очень юная женщина с миловидным лицом, красивыми глазами и роскошными волнистыми волосами, собранными на затылке в тяжелый клубок. От всей ее обаятельной фигуры веяло свежестью и чистотой» (А. Богданович. Страницы из жизни Максима Горького). Эта удивительная женщина, чьим именем назван лес на священной горе в Израиле, спасшая из застенков НКВД тысячи невинных людей, будет верным товарищем Адама Егоровича до конца его дней и еще не раз подаст ему руку помощи. С самим Алексеем Максимовичем Адам Богданович сразу же нашел общий язык на благодатной почве любви к книгам. Оба были страстными книголюбами и постоянно соревновались в приобретении уникальных и редких книг. Позже их дружеские отношения переросли в родственные: в 1899 году Адам Егорович женился на Александре Павловне Волжиной, родной сестре жены Горького.

В 1900 году в Нижний с труппой Ярмарочного театра приехал на гастроли Федор Иванович Шаляпин. Горький познакомился с великим русским певцом, и это знакомство переросло в тесную дружбу. В воспоминаниях Адама Богдановича «М. Горький и Ф. И. Шаляпин в Нижнем» Федор Шаляпин предстает эдаким русским барином с налетом богемности. Почему? Потому что сам Адам Егорович, к тому времени уже занимавший определенную ступень в табели о рангах, всегда был скромен в быту и на людях. Примером скромности был и Максим Горький, любимой одеждой которого была простая косоворотка. Шаляпин же даже дома любил щеголять во фраке с белоснежной манишкой, в открытом жилете с золотой цепочкой на животе. К тому же свою статью Богданович писал в то время, когда после гастролей по США Шаляпин не вернулся на родину. Это вызвало резко отрицательное отношение к нему в Советской России.

И вот здесь встает дилемма, решать которую приходилось многим творческим личностям в первые годы советской власти: что лучше — остаться за границей, мучиться тоской по родине, но реализовать свои возможности, или вернуться домой и стать красивой ширмой кровавого сталинского режима? Горький выбрал второй путь. Под его пером Беломорско-Балтийский канал, 227 километров которого построены на костях десятков тысяч заключенных, превратился в образцовую стройку социализма и идеальную школу перевоспитания слегка заблудших людей. Когда же он начал осознавать ужасную правду и попробовал вырваться из пут режима, внезапно умер его сын Максим, на похоронах которого Алексей Максимович рыдал, как деревенский кликуша (со слов Адама Богдановича, присутствовавшего на траурной церемонии). Екатерина Павловна была убеждена, что к смерти сына приложили руку агенты НКВД. Да и смерть самого Горького до сих пор окружена тайнами и загадками…

1 декабря 1920 года Адам Богданович был назначен на должность заведующего научной библиотекой при Ярославском историческом музее и одновременно он читал лекции по истории культуры в Ярославском художественно-педагогическом и музыкальном техникумах, а по истории театра и драматическому анализу — в театральном техникуме. Одновременно Адам Егорович продолжал писать научные работы и воспоминания.

Адам Егорович почти полвека отслужил на государственной службе и 25 февраля 1931 года по состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых. Он получал академическую, а потом персональную пенсию в 150 рублей. Но у него на руках было четверо больных родственников, и только постоянная помощь Екатерины Павловны Пешковой позволяла ему сводить концы с концами. И именно благодаря ее ходатайству Адам Егорович был освобожден после того, как в 1932 году он был арестован ГПУ и провел в заключении три недели. Последней несбывшейся мечтой ученого была поездка на родину. В письме к племяннице Вере Ивановне Кунцевич он с грустью пишет: «Есть у меня еще одно задушевное желание — это съездить в Минск и в Холопеничи: тянет туда. Но это трудно осуществить. Во-первых — две поездки были бы тяжелы для нашего бюджета; а во-вторых, для меня это было бы делом рискованным: поездка в Холопеничи меня бы так взволновала, что я, вероятно, и сложил бы там свои старые кости под березами моих предков».

Умер А. Е. Богданович 16 апреля 1940 года в Ярославле. Каким мужеством, стойкостью и верой в будущее нужно было обладать, чтобы пережить смерть восьмерых своих детей, упорно трудиться каждый день, не зная, будут ли твои работы опубликованы! Однако он верил, что благодарные потомки по достоинству оценят его титанический труд.

Воспоминания «М. Горький и Ф. И. Шаляпин в Нижнем»[1] печатаются с разрешения Литературного музея Максима Богдановича в Минске.

---

[1] Машинописный текст воспоминаний А. Богдановича «М. Горький и Ф. И. Шаляпин в Нижнем» хранится в Литературном музее Максима Богдановича (ед. хр. 12, к. п. 8969). Обработка текста и комментарии А. П. Ващенко. Печатается впервые.

АДАМ БОГДАНОВИЧ

М. Горький и Ф. И. Шаляпин в Нижнем

Отрывок из воспоминаний

В год Всероссийской выставки в Н. Новгороде (1896) Алексей Максимович, женившись, прочно обосновался в Нижнем, на своей родине. Эта связь длилась с короткими перерывами (как высылка в Арзамас, поездки в Крым для поправления здоровья) восемь с небольшим лет (1896—1904).

Все это время жизнь семьи Пешковых изо дня в день протекала на моих глазах. Тесная дружба с Алексеем Максимовичем и родственные связи с этой семьей[1] были тому причиной.

Подробные мои воспоминания об этом периоде, весьма плодотворном по литературному творчеству писателя и общеизвестной и оживленной его революционной деятельности, помещены в сборнике «М. Горький на родине» (Горький, Облиздат, 1938 г.).

В настоящем очерке я даю один эпизод из этого периода, показывающий, как Алексей Максимович умел использовать всякие возможности в общественных интересах и все обращать на пользу пролетариата и облегчения революционной работы в его среде.

Вместе с тем, в этом очерке найдутся некоторые черточки, небезынтересные для характеристики великого писателя и знаменитого артиста.

В августе 1900 года состоялось личное знакомство А. М-ча с Ф. И. Шаляпиным. Это было первое знакомство: находящиеся в литературе сведения о их раннем знакомстве в Казани и пр. относятся к области «творимых легенд».

Дело было очень просто. Шаляпин, уже прославленный певец, приезжал в Нижний на гастроли в Ярмарочном театре. А. М. пошел на один из первых спектаклей, кажется, на «Фауста». Исполнение Шаляпиным своей роли ему так понравилось, что он тут же, со свойственной ему экспансивностью, пошел за кулисы и познакомился с ним, выразив свое восхищение пением и игрой.

На следующий день Шаляпин с утра появился в квартире Пешковых на Канатной и водворился здесь до конца гастролей. Тут он пил, ел, спал и пел. Много пел, пел без конца, исполняя целые партии из оперы Бойто «Мефистофель», положившей начало его европейской известности; пел партию Мефистофеля из «Фауста», партию Ивана Грозного из «Псковитянки», Бориса Годунова из оперы Мусоргского, князя Владимира из «Игоря» и др. Пел с увлечением, без всякого аккомпанемента, изображая местами подсказ оркестра, подавая себе короткие реплики партнеров, переходя с баса на сопрано, принимая соответствующие позы и подчеркивая жестом игру. Пел отдельные песни и романсы самых разных композиторов, и русских, и европейских.

Обстановка этих своеобразных спектаклей, доставляющих всем нам истинное наслаждение, была такова: постоянно накрытый стол, то с чаем, то с завтраком, то с обедом, водка, закуска и превосходное красное вино. Чередуясь, мы переходили из залы в столовую, из столовой в залу и слушали пение этого замечательного артиста.

В перерывах между пением он рассказывал разные эпизоды из своей биографии, про свое детство в Вятской губ., в доме отца, занимавшегося выделкой валяной обуви; про свою выучку в скорняжной мастерской в Казани; про поступление в архиерейский хор, а затем в театральный; про поездку с оперной труппой по

Волге и затем в Ставрополь, где он впервые заменил заболевшего артиста в ответственной роли, кажется, в «Евгении Онегине»; про поступление в хор московской частной оперы в театре Солодовникова и выучке в Филармонии; первые выступления в ответственных ролях в той же частной опере; про свои успехи в ярмарочном театре во время всероссийской выставки в Нижнем и женитьбе на танцовщице итальянке из балета той же оперы Ёле Игнатьевне[2] с хитрым расчетом научиться итальянскому языку, без чего нельзя-де завоевать европейского признания и т. п.

Так как существует его печатная автобиография[3], стенографически записанная с его слов и выправленная А. М-чем, то я здесь только отмечаю по памяти отдельные моменты его ранней биографии, просто для полноты картины происходящего в первые дни знакомства знаменитого писателя с знаменитым артистом.

Особенно подробно Шаляпин останавливался на своей поездке в Италию, в Милан, после обучения итальянскому языку у Ёлы Игнатьевны, по приглашению Бойто, в целях воскрешения заживо погребенного 20 лет назад «Мефистофеля», оперы названного композитора. Его итальянский успех раскрыл ему двери в Большой оперный театр в Москве. Но я на этом останавливаться не буду, ибо полагаю, что все это написано в его автобиографии.

Утром Шаляпин, восстав от сна и одевшись, обычно производил пробу голоса, напевая в разных тонах: «О-о-о-го!»

— Гм, черт его возьми: сиповато выходит, — говорил он. — Того и гляди спадешь с голоса.

Опять проба, опять тянется о-о-о-го, октавы ввысь и с верхов вниз, — все громче и звучней.

Распевшись и убедившись, что голос весь тут, налицо, он, успокоившись, говорил: «Как только почувствую, что голос пропадает, идет на убыль, тотчас же катну в Америку: там хапну тысяч 100 и баста! С меня довольно».

Оживившись за кофе или завтраком, иногда он начинал петь, иногда уезжал на репетиции, всегда неохотно (черт бы ее побрал — надо!), и возвращался к обеду и, если не было в тот день спектакля, начинал петь и пел до позднего. Его мощный голос звучал так громко, что было слышно на улице, и под окнами собиралась огромная толпа слушателей; являлся от нее посол с покорной просьбой открыть форточки. Вся лестница была заполнена слушателями, для них слегка открывалась дверь. Вскоре начиналось «шествие цветов»: просовывалась в дверь рука с букетом, который кто-нибудь принимал и относил к Шаляпину, за ней другая, иногда третья… Так устанавливался контакт между благодарной улицей и артистом, который, впрочем, относился к этим знакам благодарности презрительно или равнодушно.

Иногда он пел после обеда в день спектакля и, увлекшись, не обращал внимания на время. От антрепренера Айхенвальда приезжали гонцы с просьбой поспешить. Тут он надевал пальто, но и одевшись, стоя в передней, в нашем окружении, продолжал прерванное пение или исполнение какой-либо партии. Чистое горе с ним было антрепренеру: нередко он опаздывал, а были случаи, когда приходилось отменять спектакли.

Алексей Максимович неизменно посещал все его спектакли и с ним же возвращался. Его увлечение было сильным, да и нельзя было не увлекаться.

А что делалось в театре? Появление в фойе театра или коридорах двух знаменитостей приводило истеричек и кликуш в неистовство: были случаи, что бросались Шаляпину на шею, целовали и просили чего-нибудь на память. Приходилось от них, говоря попросту, отбиваться.

Предприимчивый фотограф Дмитриев не преминул использовать этот интерес, и тотчас же в его витринах появились Горький и Шаляпин в паре на огромном картоне, и пущены в продажу кабинетные карточки. Это вызвало просьбы о подписании: живуч фетишизм!

А. И. Шмидт, репортер «Нижегородского листка», женщина весьма музыкально образованная (дочь профессора Московской консерватории), являлась неоднократно на Канатную спросить Шаляпина относительно его понимания той или другой пьесы,

ее музыкальных и сценических достоинств, его понимания характера того или иного персонажа, им изображаемого. Я присутствовал при этих интервью. Меня поразили та огромная разница в том, как тонко чувствует Шаляпин и мастерски воспроизводит ту или другую сложную роль и как он, грубо говоря, в полном смысле вульгарно, ее словесно объясняет. Для примера приведу его объяснение типа Ивана Грозного. Я видел, как он умно и метко его изображал в «Псковитянке». Он прекрасно чувствовал психологию лица и суть положения и превосходно передавал свои чувства и свое понимание в исполнении. Но в интервью он ответил: «Грозный? Что ж… По-моему, Грозный — это просто хороший урядник».

В таких случаях, когда Шаляпин был беспомощен в словесной передаче, приходил ему на выручку его секретарь барон Стюарт, университетски образованный человек, большой меломан, которого Шаляпин третировал непозволительно: он выступал на помощь своему неречистому патрону и облекал его грубые изречения в литературные формы, совсем непохожие на то, что говорил Шаляпин. А затем под тонким и умным пером Анны Шмидт появлялась превосходная рецензия шаляпинской игры и шаляпинского понимания сложных характеров и положений.

Покончив с гастролями и получив от хромоногого антрепренера изрядный куш, Шаляпин пригласил Алексея Максимовича и близких ему лиц есть пельмени на Песках. Это значит на песчаных дюнах Оки, во временном ярмарочном трактире. Компания была небольшая: А. М. с Екат. Павловной, их приятель П. П. Малиновский с женой, Айхенвальд с женой да я. Мы расположились на веранде. Появление двух знаменитостей привлекло внимание посетителей, и они стали заглядывать в окна на веранде. Шаляпин громко крикнул:

— Человек! Задерни занавески. Там какие-то свиные рожи заглядывают.

Пока приготовляли пельмени, между Шаляпиным и Айхенвальдом произошел такой, не лишенный значения разговор:

— Сегодня твои рабочие, — сказал Шаляпин, — мне устроили скандал. Дал им 25 руб. на чай, а они возвратили мне их обратно. Говорят: «Покорно благодарим Ф. И. Вашей милости: возьмите Ваши деньги себе». Что им, мало, что ли?

— Это такой народ, Ф. И., — заискивающим тоном отвечает Айхенвальд, — что их ничем не ублаготворишь. Они получают у меня немало, а все недовольны.

П. П. Малиновский спрашивает:

— А сколько их у Вас?

— Тринадцать человек, — отвечает Айхенвальд, — почти по два рубля выходит, а им все мало.

На этом разговор кончился: пельмени подали.

Не так-то легко было склонить Шаляпина дать концерт в пользу «Народного дома»[4], не законченного постройкой, но А. М. чудесным образом достиг своей цели. До сих пор по части благотворительных выступлений Шаляпин был совершенно непреклонен. Он объяснял свои отказы тем, что если дать один концерт в пользу, скажем, студентов или курсисток, так потом от них не будет отбоя. На сей раз он уступил: дал согласие. Так, благодаря А. М-чу, была пробита некоторая брешь в чистоте и целостности характера и отсюда вытекающего общественного поведения знаменитого артиста.

Он стал готовиться к концерту. Отменно разнообразную и обширную выработал программу концерта из русских и иностранных композиторов. Была приглашена пианистка Виноградова аккомпанировать на рояле, и начались репетиции в той же квартире на Канатной. Те же толпы под окном и на лестнице и то же «шествие цветов». На репетиции он пел вполголоса, иногда только, воодушевляясь, подчеркивал полным голосом отдельные особо значимые места.

Мы слушали, затаив дыхание. Его грубой выразительности лицо здесь преображалось и принимало в патетических или значительных местах одухотворенное, благородное выражение. Когда он исполнял известный романс Глинки «В двенадцать часов по ночам», его лицо изменилось: из обычно красного стало бледным, черты лица сделались более тонкими, и упавшая на лоб прядь волос придала ему разитель-

ное сходство с Наполеоном; а исполнению он придал такой мистический оттенок, что жутко переживалась эта мистерия.

На меня это непретенциозное исполнение в простой домашней обстановке, без позы и театральных аксессуаров, что придавало исполнению более искренние чувства простоты и задушевности, произвело более сильное впечатление, чем исполнение того же концерта в театре. Там было больше искусства, но и больше искусственности. Когда он пел, он казался другим человеком: так велика была его способность к перевоплощению.

Концерт был дан в городском театре. Себе на помощь, для передышек, он вызвал из Москвы артистку Антонову (сопрано). Исполнялось все чрезвычайно старательно. Были тут самые выигрышные его «номера», от знаменитой «Блохи» до кинемановской песни «Как король шел на войну» с тончайше введенными «колокольцами лиловыми». Много было сильнейшего, потрясающего драматизма и тончайшего, нежнейшего лиризма. На бесконечных вызовах пробовал он декламировать «Бурлака» Никитина, но декламация была весьма ординарной, совсем не то, что пение. Публика, конечно, и это слушала с благодарностью. Успех был огромный, и чистый сбор дал около 2 000 руб. на доброе дело.

Еще перед концертом Шаляпин говорил А. М-чу:

— Пристал тут ко мне один пермский купец Мешков. Говорит, что у него 300 т. в кармане. Хорошо бы его этак пощипать в пользу «Дома». Надо постараться.

И вот когда в театре возникла мысль чествовать артистов ужином, в числе приглашенных оказался и Мешков. Собралось на ужин по подписке человек 20. Из городских гласных были Горинов и Сироткин, один из главарей раскола. Не без умысла посадил Шаляпин Мешкова рядом с собою, как виновником торжества. Ужин был заказан в лучшей гостинице и проходил, как вообще проходят такие ужины, с приветственными тостами и речами. Под конец Шаляпин встал, чтобы отвечать на приветствия и, как выяснилось, чтобы «пощипать» Мешкова. Он начал речь приблизительно в таких словах:

— Господа! Говорить я не мастер, не то что петь: говорить не по моей части. Вот мастер слова — ваш Алексей Максимович, вот наше солнышко красное! Я вот все время в Нижнем вращаюсь вокруг этого солнца: оно и светит, и греет. Доброе дело он затеял: постройку Народного дома, а денег не хватает. Ваши толстосумы, ваши денежные мешки не идут ему на помощь. То ли дело в других городах, в Перми, например. Среди нас присутствует почетный гражданин города Перми (рекши имя, отчество) Мешков. Вот так человек! Вот пример для нижегородских толстосумов: карман у него толстый, но и рука щедрая. Широкая русская натура! Он один построил в своем городе «Народный дом», да еще собирается строить университет. Вот пример для ваших денежных мешков. Я хотел бы, чтобы мои слова дошли до их ушей.

А теперь вот что: давайте соберем сбор посильных пожертвований в этой почтенной компании. Пусть дает каждый по своим средствам. Берите пример с меня: я дал концертом 2 000 руб. Я не скажу, сколько у меня капиталу. А впрочем, отчего не сказать? У меня 30 тысяч. И вот на 30 я дал две тысячи. Так и вы давайте, да своих толстосумов тряхните: пусть раскошелятся. Итак, начнем. Но доброе дело, по православному обычаю, надо начинать с молитвою. (Истово и серьезно крестится.) Во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь. Да… Но, может быть, вам что-нибудь спеть по духовной части? Я могу… (Поет на церковный лад: громогласно, раскатисто, по-протодиаконски.) «Во — он — мем!» Потом тонким тенором, речитативом: «И духови твоему, прокимен глас четвертый: як поихав я на мельницю, мои кони збэсылыся; и возопих аз гласом велиим: «Господи! Укроти ярость коней моих». И слышен был глас с небес: «Тпру, тпру, тпру!..»

Вышло смешно, но никто не смеялся. Сироткин и Горинов смущены. Мешков неловко улыбается.

— Человек! Карандаш и бумагу! (Подают.)

— Но с кого начать? Справа? (Справа сидит Мешков.) Нет, начнем слева, чтобы справа был конец, всему делу венец.

Подходит к Антоновой, сидевшей на первом месте.

— Ну-с! Раскошеливайся!

— Да я же участвовала. С меня довольно.

— Ну-ну, что-нибудь, сколько можешь (та что-то подписывает). Потом по очереди, к Екатерине Павловне, потом к барону Стюарту; тот смущенно подписывает. Слышно негодующее замечание Шаляпина: «25 руб. выбросил. Легко разбрасываться за мой счет!» Барон краснеет.

И так Шаляпин обходит всех, вплоть до Мешкова.

— Господа! Успех подписки превзошел мои ожидания благодаря щедрости (имя, отчество) Мешкова, который подписал 300 руб. Да здравствует Мешков!

Сидевший рядом со мной С. И. Гриневицкий[5], редактор «Нижегородского листка», вполголоса сказал, обратившись ко мне:

— Какой хам!

Возмущенно встал из-за стола и ушел. Я остался, но не мог не согласиться, что хамства было довольно.

Речь и все прочее переданы мною почти со стенографической точностью.

А теперь, чтобы заодно покончить с Шаляпиным в его отношениях к М. Горькому, я должен сказать, что через год или несколько более Шаляпин дал второй концерт в пользу «Народного дома» уже в самом помещении этого дома. Концерт вышел на славу и дал почти такой же сбор, как и предыдущий. Эти два концерта представляют те два перышка луковицы, которыми, по известной белорусской легенде, вытягивают скупцов из ада.

Еще раз я встречал Шаляпина уже в квартире Пешковых на Мартыновской в 1903 году, где он гостил с женой во время своих гастролей.

Как раз в это время сестра Шаляпина, проведав о славе своего брата, приехала из Вятской губ., чтобы свидеться с ним. Во время ярмарки пришла на Мартыновскую женщина, по-крестьянски одетая, и сказала:

— Сестра я Ф. И., родная сестра. Приехала повидаться с братцем…

Доложили Шаляпину: сестра, мол, хочет с Вами повидаться. Вышел он в переднюю, высокий, важный, в манишке чрезвычайной белизны, в открытом жилете с золотой цепочкой на животе, — разительный контраст с приниженной и бедно одетой сестрой.

— Здравствуйте, Ф. И.! Как Вас Бог милует, — сказала она, низко кланяясь. — Вот приехала повидаться с Вами…

— Здравствуй (имярек). Как живешь?

Сказано было лениво, холодно, на некотором расстоянии, без соприкосновения.

— Живем, слава Богу! Известно — работаем, трудимся... Сказывают, Ф. И., что Вы женаты, и супруга с Вами. Как бы хотелось повидать Вашу супругу…

Шаляпин обернулся к двери и крикнул:

— Ёла! Вот сестра моя хочет тебя видеть! — и вышел.

Вышла Ёла Игнатьевна, приземистая и отяжелевшая итальянка, и остановилась в выжидательной позе, со сжатыми руками на животе. Сестра кланяется.

— Здравствуйте, сестрица. Не знаю, как величать Вас. Вот привел Бог свидеться.

— Здравствуй. Ты приехаль… Эта карашо…

Разговор был короткий: величаво поклонилась и ушла. Встреча, видимо, была тягостной для этих нежных господ, так далеко отошедших от своей деревенской родни. Едва ли «солисту Его Величества» было приятно живое напоминание об этой родственной связи. И, видимо, ни он сам, ни его жена не знали, что им делать с этой сестрой, как быть и как себя держать. Чужую роль, скажем, Мефистофеля, он великолепно мог изображать, а вот в таком простом житейском случае таланта не хватило. Да и сердце ничего не подсказало.

Горький и Шаляпин были своего рода плутарховской парой: их долго ставили за одну скобку, как братьев-близнецов, как талантливых выходцев из народа. В этом несомненное сходство. Но только в этом: один талантливый писатель, другой великолепный певец и неплохой актер. Во всем же остальном полная противоположность, антиподы.

В это время Алексей Максимович и Шаляпин проехали по Волге от Нижнего до Ярославля. Шаляпин высматривал место для постройки дачи и облюбовал Плес.

В Ярославле была сделана остановка. Они осматривали местные достопримечательности. Потом А. М. мне передал такой курьезный случай. Когда они осматривали Ярославский музей древностей, именовавшийся «ДревнеХранилище», одновременно с ними осматривал гофмейстер[6] Жедринский с сыном. Подошли эти знатные туристы к редкостной «подорожной», выданной от имени императора Константина и, как редкость, выставленной в особой раме за стеклом.

— Папа! Когда же это царствовал Константин? — спросил любознательный сын гофмейстера.

— А это, знаешь, в междуцарствии… Там Анна Ивановна, Елизавета Петровна: так между ними. Впрочем, недолго царствовал: еще в младенчестве умер.

Такие были гофмейстерские познания в русской истории.

После этой поездки и наступившей революции 1905 г. дороги Горького и Шаляпина основательно разошлись.

---

[1] Максим Горький и Адам Богданович (вторым браком) были женаты на родных сестрах Волжиных.

[2] Ёла Игнатьевна — итальянская балерина Иола Торнаги, первая жена Шаляпина, с которой они обвенчались в 1896 году. У них с Федором Ивановичем было шестеро детей. Иола Торнаги долго жила в России и только в конце 1950-х годов по приглашению сына Федора переехала в Рим. Умерла в 1965 году в Италии в возрасте 92 лет.

[3] «Страницы моей жизни». Ф. И. Шаляпин. Собр. соч. в 3-х томах. Т. 1, М., Ис-во, 1976.

[4] Народный дом, или Здание просвещения, труда и отдыха в Нижнем Новгороде планировался как культурно-просветительский центр для простого народа. Открылся 5 сентября 1903 года концертом Шаляпина. Это было трехэтажное здание, помещения которого можно было использовать в качестве театра, залы собраний на 1200 человек и чайной-столовой. Во время революции 1905 года Народный дом являлся центром революционной пропаганды и агитации. Впоследствии был перестроен в театр оперы и балета им. А. С. Пушкина.

[5] Гриневицкий Станислав Иванович — товарищ А. Богдановича по «Народной воле», был административно выслан в Шенкурск. Работал в провинциальной печати в Минске и Житомире. А. Богданович порекомендовал его в качестве редактора «Нижегородского листка». Скончался в Нижнем в 1926 году.

[6] Гофмейстер (от нем. Hofmeister) — управляющий двором, стряпчий — придворный чин III разряда в Табели о рангах. В обязанности гофмейстера входило управление дворцовым хозяйством и штатом придворных.

ЗИНАИДА КОМАРОВСКАЯ

«Перед Пушкиным я в большом долгу»

Як многа сумясціў ён у
сабе, гэты ўсеабдымны
геній, чыё дыханне мы
адчуваем кожную хвіліну
поруч з сабой!
Якуб Колас

Творчество А. С. Пушкина сопровождало Якуба Коласа с самого детства.

Впервые крестьянский мальчик с Наднеманской земли узнал об Александре Сергеевиче от своего дядьки Антона. Долгими зимними вечерами, сидя у печки, где весело потрескивали поленья, в лесной хате в Альбути, слушали его дети. До чего славно звучали в его исполнении стихи Пушкина!

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…

Или строки:

Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи.
Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звездами.

Всем, кто слушал, казалось, что Пушкин бывал здесь, в этих местах, ходил по знакомому до каждой травинки лесу, где они, дети, с удовольствием проводили все дни напролет. И конечно же, неслучайно первые стихи Якуб Колас написал на русском языке. О влиянии Александра Сергеевича на формирование себя как поэта в статье «Друг человечества», посвященной 150-летию со дня рождения А. Пушкина, Якуб Колас, уже будучи известным, писал: «Я хорошо помню: в детские годы в моей пастушеской сумке лежал небольшой, изрядно потрепанный томик пушкинской поэзии. К тому времени я уже кое-как научился читать, и чтение стало моей страстью. В подходящие минуты, где-нибудь на опушке бора или в прибрежном ивняке, я с удовольствием читал поэмы и стихи Пушкина, заучивая их на память. Я мог прочесть наизусть от начала до конца «Полтаву», «Братьев-разбойников», «Цыган» и много лирических стихотворений. Умом я тогда, может быть, не понимал еще этой бессмертной поэзии, но своим детским сердцем чувствовал непреодолимую власть чарующего пушкинского стиха, гармонию формы и содержания. Многие стихотворения Пушкина вызывали во мне близкие, родные образы…

Не будь Пушкина с его «Евгением Онегиным», «Медным всадником», «Вольностью» и посланием «В Сибирь», «Капитанской дочкой» и сказками, не было бы, наверное, и моих поэм «Новая земля» и «Хата рыбака», лирики и прозы».

Слова Якуба Коласа «Мой родны кут, як ты мне мілы», ставшие символом любви и преданности своему краю, перекликаются с пушкинскими «…но клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какую дал нам Бог» (А. С. Пушкин к П. Я. Чаадаеву, 19.10.1836).

Безусловно, неслучайно потянуло Якуба Коласа перевести пушкинскую «Полтаву» на белорусский язык. По словам песняра, он начал работу с большим волнением, преодолевая сложности передачи ясного, легкого языка поэмы, ее движения и дыхания.

Думал он и о посвящении А. Пушкину какого-нибудь своего произведения, но, очевидно, не решился. В письме к Мозолькову Е. С. от 23.V.1949 г. он пишет: «Перед Пушкиным я в большом долгу: ведь ничего не посвятил ему, волшебнику поэзии, непревзойденному художнику поэтического слова. А ведь этот гений, как никто, волновал мою душу».

Волею судьбы имя А. Пушкина постоянно сопровождало Якуба Коласа по жизни.

Один из фактов биографии белорусского поэта. В пригороде Вильнюса, в Павильнисе, находился дом жены Якуба Коласа, Марии Дмитриевны Каменской. Теща Якуба Коласа, Мария Тимофеевна Каменская, построила его в Виленской железнодорожной колонии для своей дочери. Неподалеку, в предместье Вильнюса Маркучай, располагалось имение младшего сына А. Пушкина Григория и его жены Варвары Мельниковой-Пушкиной. После смерти мужа Варвара Пушкина продолжила начатую мужем благотворительную деятельность: материально поддерживала бедных, дала возможность учиться сиротам. В Павильнисе Якуб Колас и Мария Дмитриевна жили летом 1913—1915 гг., и не исключено, что могли бывать в доме Пушкиных. Согласно исследованиям Г. Тумаса, поэт, направляясь в Вильнюс, в редакцию газеты «Наша нива», тропинкой спускался в низину, шел возле ручья, дубов, иногда останавливался отдохнуть, переходил железную дорогу, шел мимо усадьбы Пушкиных. Константину Михайловичу эти живописные места напоминали родную Столбцовщину.

В 1940 году, после смерти Варвары Мельниковой-Пушкиной, по ее завещанию, в имении был создан Литературный музей А. Пушкина.

В доме Каменских в Павильнисе к 80-летию со дня рождения Якуба Коласа Постановлением Совета Министров Литовской ССР от 6 августа 1960 г. № 415 было решено создать музей народного поэта Беларуси. Однако в связи с тем, что здание не подлежало реставрации, этот процесс был остановлен.

Часть вещей из дома Каменских была перевезена в библиотеку № 7 в Павильнисе, другая хранится в фондах Литературного музея имени А. Пушкина. Среди них — металлические подсвечники с дарственной надписью, медный подсвечник и особенно ценный для нас портрет отца Марии Дмитриевны — Дмитрия Александровича Каменского (фотокопия этого портрета, находившаяся до войны в доме Якуба Коласа, была уничтожена во время пожара в первые дни бомбежки Минска).

К 130-летию со дня рождения Якуба Коласа согласно заключенному соглашению о сотрудничестве между Государственным литературно-мемориальным музеем Якуба Коласа и Литературным музеем имени А. Пушкина в Вильнюсе планируется провести выставку, где впервые будут представлены вещи из дома Каменских: подсвечники, книги, неизвестные фото, которые бережно хранятся в музее А. Пушкина.

Поэзия Пушкина для Якуба Коласа была источником вдохновения. В статье «Солнце нашей поэзии» он признавался: «Я просто люблю его. Люблю каждую строчку: от уничтожительной эпиграммы «Воспитанный под барабаном, наш царь лихим был капитаном», до тончайшего лирического восьмистрочья «Я вас любил…».

В письме к Е. С. Мозолькову от 3 января 1952 г., в котором Якуб Колас благодарит переводчика своих произведений за поздравление с Новым годом, невзначай замечает: «Нехорошая зима в этом году. Вспомнил, что такая погода была во время Пушкина, что зафиксировано в его «Евгении Онегине».

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе.
Зимы ждала, ждала природа —
Снег выпал только в январе:
На третье в ночь…

В своих многочисленных выступлениях Якуб Колас очень часто обращался к творчеству А. Пушкина. Так, на III съезде советских писателей, выступая с речью о роли мастеров пера в строительстве здорового общества, Якуб Колас подробно остановился на стихотворении Пушкина «Пророк», написанного, по словам народного поэта, в тех символично-аллегорических образах, которые были хорошо понятны современникам Александра Сергеевича. Колас отмечал, что поэт должен, как считал Пушкин, иметь ясный глаз, чуткий слух, отзывчивое, горячее сердце, чтобы откликаться на все события жизни.

В начале Великой Отечественной войны Якуб Колас эвакуировался в Ташкент, куда была переведена АН БССР. Годы жизни поэта вдали от Родины (1941—1943) были сложными: тяжелое материальное положение, безуспешные поиски сына Юрия (как стало позже известно, он погиб в первые месяцы войны), недомогание жены, свои болезни. Однако даже тогда поэт старался помочь нуждающимся, его сердце было переполнено состраданием к людям.

И каково же было чувство поэта, когда он узнал о бедственном положении потомков великого Пушкина, оказавшихся в Ташкенте! В фондах музея хранится письмо Я. Коласа к секретарю ЦК КП(б) Узбекистана Ломакину Николаю Андреевичу: «Уважаемый Николай Андреевич! Обращаюсь к Вам с настоящим письмом по следующему поводу. В Ташкенте по улице Карла Маркса, д. № 7 проживает правнучка Пушкина Вера Кастановна Красовская (девичья фамилия Ганнибал) вместе со своим сыном 23 лет. До войны они жили в Ленинграде, затем были эвакуированы на Кавказ в район Кисловодска. Пять месяцев они находились под немецкой оккупацией, во время которой их ограбили — лишили всего имущества. Сын был некоторое время в рядах Красной Армии. По болезни его освободили от военной службы. В Ташкенте они испытают острую нужду в условиях своего быта. Кроме 800 граммов хлеба на три души они не получают никакого снабжения. Праправнук Пушкина 23-летний молодой человек очень талантливый художник-график. От голодания он теряет зрение, не имеет ни обуви, ни одежды. Я обращаюсь к Вам с большой просьбой, Николай Андреевич, заинтересоваться судьбой этого семейства и оказать материальную помощь голодающим потомкам великого русского поэта Пушкина. Я хотел лично зайти поговорить с Вами по этому вопросу и представить некоторые образцы работы праправнука Пушкина, но Вы были на заседании.

С товарищеским приветом Якуб Колас, народный поэт Белорусской ССР и депутат Верховного совета БССР. Ташкент, Пушкинская ул. 84, комн. 39. 12.VIII.1943».

Это письмо говорит о том, что Якуб Колас общался с потомками Пушкина, бывал у них. Как сложилась их судьба, помогла ли просьба белорусского народного поэта хотя бы немного улучшить их материальное положение, нам неизвестно. Мы были бы признательны за информацию, если таковой располагают исследователи-пушкинисты.

Хочется обратить внимание на то, что в Ташкенте Якуб Колас жил на улице Пушкинской, в доме 84. Интересно, что послевоенный дом писателя в Минске, где сегодня размещается его музей, находился также по ул. Пушкина, 56. В кабинете народного поэта на рабочем столе стоял бюст Пушкина, хрустальная ваза с изображением русского гения, поэзия которого была неиссякаемым источником вдохновения белорусского песняра.

ВЯЧЕСЛАВ РАГОЙША

Зрением сердца

Было это в самом конце 1971 года. Небольшая группа белорусских писателей (Юлиан Пширков, Владимир Павлов, Карлос Шерман и автор этих строк) по приглашению Совета по художественному переводу и Совета по белорусской литературе СП СССР выехала в Москву для обсуждения проекта юбилейных многотомных изданий произведений классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа. Издания эти планировались (и, кстати, вышли) в московском издательстве «Художественная литература» — Янки Купалы в трех томах (1982) и Якуба Коласа в четырех томах (1982—1983). Буквально накануне отъезда, когда была уже сформирована группа для обсуждения запланированных изданий и даже куплены билеты на фирменный поезд «Минск — Москва», из столицы государства пришла горькая весть: умер Александр Твардовский. В группу срочно включили Василя Быкова, личного друга и соратника покойного, и обязали ее кроме основной задачи, ради которой и ехали в Москву, исполнить роль официальной делегации Союза писателей Беларуси на похоронах выдающегося русского писателя.

Понятно, и в ночном поезде, и на следующий день — в здании Дома литераторов, на Новодевичьем кладбище, где проходило прощание с автором знаменитого «Василия Теркина», — разговор все время сводился не к переводам, а к Твардовскому. Вспоминали его теплые взаимоотношения с Якубом Коласом, Аркадием Кулешовым, другими белорусскими литераторами, его участие в съездах Союза писателей Беларуси, стихи, посвященные нашей республике («Слово о земле», «Приглашение гостей», «Минское шоссе») и др. Василь Быков рассказывал о встречах и доверительных разговорах с Александром Трифоновичем, о том, что тот помнил о своих белорусских родословных корнях и гордился этим. Однако на следующий день на запланированном, но перенесенном на сутки совещании в Союзе писателей СССР внимание наше было сконцентрировано уже на его основной повестке — состоянии и задачах воспроизведения поэтических и прозаических произведений Янки Купалы и Якуба Коласа средствами русского языка.

На совещании должны были выступать многие известные русские поэты, переводчики и литературоведы. Среди них — Александр Иосифович Дейч, профессор, дважды доктор наук — филологических и искусствоведения, широко известный в СССР и за его пределами своими исследованиями по истории русской, украинской и западноевропейской (прежде всего немецкой) литератур. В 1967 году за монографию «Поэтический мир Генриха Гейне» он был удостоен Международной премии Генриха Гейне. Мы знали Александра Дейча не только как автора глубоких литературоведческих трудов, но и как автора интересных документальных повестей «Амундсен», «Тарас Шевченко», «Гарри из Дюссельдорфа. Повесть о Генрихе Гейне», «Ломикамень. Повесть о Лесе Украинке» и некоторых других произведений. Знали и то, что он переводит с немецкого, английского, французского, украинского языков, что как заведующий редакцией литератур народов СССР в Гослитиздате весьма многое сделал и делает для пропаганды этих литератур среди русскоязычного читателя, особенно — творче-

ства Тараса Шевченко, Леси Украинки, Максима Рыльского и других классиков украинской литературы (как переводчик, редактор переводов, составитель, автор предисловий и послесловий изданий). Поэтому хотелось услышать авторитетное мнение Александра Дейча о «русском Янке Купале» и «русском Якубе Коласе», а может быть, и его желание принять активное участие в запланированном издательском проекте.

К сожалению, Александр Иосифович выступить тогда не смог: тяжелая болезнь приковала его к постели. Кстати, где-то через три месяца мы простились с ним навсегда. Но хорошо помнится, как все обрадовались, когда председательствующий на том совещании Сергей Баруздин объявил: Александр Дейч через свою супругу Евгению Кузьминичну передал свое выступление, и она его нам зачитает. Выходило, что даже тяжело больной Дейч думал о Купале и Коласе, о белорусской литературе! На имя Совета по белорусской литературе СП СССР он направил послание, в котором дал общую оценку русским переводам «проникнутой некрасовским народным началом» поэзии Якуба Коласа, указал на отдельные недостатки, упущения этих переводов. Поэзию Якуба Коласа он назвал «уверенной, могучей, до конца отданной народной стихии». Предлагал организовать всесоюзный конкурс на лучшие переводы произведений Янки Купалы и Якуба Коласа на русский язык.

Через некоторое время — благодаря в первую очередь Евгении Кузьминичне Дейч — открылись и некоторые другие интересные факты приобщения Александра Дейча к белорусской культуре и литературе. Причем, как оказалось, это приобщение происходило во все периоды его жизни и творчества, буквально везде: в Киеве, где 13 мая 1893 г. Дейч родился, окончил гимназию и романо-германское отделение Киевского университета, в Москве, где он, с небольшим перерывом, жил и работал, начиная с 1925 года, в журналах «Огонёк», «Прожектор», «За рубежом», в газете на французском языке «Журналь де Моску» (вот бы поискать там его публикации!), в Ташкенте, куда, как и Якуб Колас, эвакуировался в тяжелое военное время…

Говоря об Александре Иосифовиче, нельзя не сказать и о его верной подруге, жене и помощнице Евгении Кузьминичне Дейч (до замужества — Малкиной), благодаря которой явился и этот литературоведческий очерк. В этом году на православное Рождество ей исполнилось 92 года. Почтенный возраст! Однако вы видели бы ее — всю одухотворенно-окрыленную, улыбчиво-радостную, полную энергии, планов, замыслов, разных хлопот… Кажется, ей нет и половины отмеренного временем. В Москве, видимо, не найдется ни одного значительного литературного мероприятия, в котором не приняла бы активного участия Евгения Кузьминична. Да что там родная Москва! Сегодня она в Москве, Туле, Киеве, Сухуми, завтра — в Париже, Берлине, Варшаве… И всюду она желанный гость: выступает на научных конференциях, делится своими воспоминаниями, привозит и передает для литературных архивов и библиотек ценные рукописи и книжные раритеты. Да и ее московская квартира — словно литературный салон с богатейшей библиотекой и семейным архивом, а вместе с тем — и своеобразный Дом творчества, в котором можно не только поработать с редкими рукописями, журнальными и книжными изданиями, но при острой необходимости и пожить некоторое время. Не может не восхищать ее самоотверженность и самопожертвование в отношении к мужу — как при жизни, так и после его смерти. Известно, что Александр Иосифович плохо видел, а через некоторое время и совсем ослеп. Сколько нужно было сил, мужества, терпения, чтобы собственными глазами увидеть и воссоздать желаемое им: только бы не нарушился привычный ритм его научных и литературно-творческих занятий! После смерти мужа Евгения Кузьминична, как немногие их ближайших родственников великих людей, всю себя посвятила увековечению памяти об Александре Дейче: изданию еще неизвестных и переизданию опубликованных трудов писателя и ученого, проведению юбилейных мероприятий, ему посвященных, сбору и публикации воспоминаний

о нем… В частности, в составленной ей и изданной в Киеве книге «Между сердцем и временем. Воспоминания об Александре Дейче» (2009) из рассказов более шестидесяти друзей, знакомых, учеников из разных стран возникает личность мировой величины, щедро сочетавшая в себе огромный талант ученого, писателя (в его библиографии насчитывается свыше 2000 работ!) и красоту человеческой души. На книгу появилось уже более 40 (!) отзывов в журналах и газетах на русском, украинском, армянском, азербайджанском, осетинском и других языках.

Чтобы выразительнее представить человеческий и творческий облик Евгении Кузьминичны, приведу небольшие отрывки из ее недавних писем ко мне. Из письма от 28.02.2012 г.: «К сожалению, я недавно попала в больницу. Цифру 92 отметила в больнице. Мерцательная сердечная аритмия. Сейчас уже дома. Работаю над томом переписки Рыльского с Дейчем. Удивительно интересная переписка, просто оторваться невозможно (так отражено время!). Но комментарий трудный, поэтому работа продвигается медленно. Две недели жила у меня директор Музея Рыльского. Помогала современной техникой, с которой я не всегда справляюсь…» В июне этого года Международный фонд Янки Купалы и Государственный музей песняра проводят очередную Международную научную конференцию — X Купаловские чтения. Я послал Евгении Кузьминичне приглашение на эту конференцию. Вот отрывок из ее письма от 19.03.2012 г.: «Только что получила Ваше письмо с приглашением на юбилейные Купаловские чтения. Жаль, но я не смогу вырваться, так как полностью занята подготовкой тома переписки: Рыльский — Дейч… Надо все успеть, а я еще в разных комиссиях, в проведении вечеров и обсуждений. И здоровье о себе дает знать — 93-й год пошел. Три инфаркта пережила… Но не жалуюсь, недавно летала на конференцию в Стокгольм. Все прошло удачно. Но сейчас с утра до вечера — над томом переписки. Так что поездки полностью отменены». При этом Евгения Кузьминична сообщает имена и адреса нескольких московских ученых, которым, по ее мнению, следует послать приглашение на конференцию…

С Евгенией Кузьминичной я впервые встретился и познакомился на упомянутом совещании в СП СССР в декабре 1971 года. Потом мы не однажды встречались, уже как добрые знакомые, в разных местах и в разное время: в Москве (в том числе на праздновании 90-летия со дня рождения Дейча), во Львове (в дни 130-летия Ивана Франко), в нашем Минске (на научных конференциях)… Евгения Кузьминична познакомила меня с книжным собранием Александра Дейча, с некоторыми документами семейного архива, интересовавшими меня.

В семейном архиве сохранилась, в частности, дореволюционная гимназическая тетрадь Дейча, а в ней — ранние переводы его владельца из Генриха Гейне, Тараса Шевченко. Обнаружилось в ней и несколько переводов из «Жалейкі» (1908) Янки Купалы. Можно только удивляться предвидению киевского гимназиста, почувствовавшего гениальность в первом же поэтическом сборнике белорусского песняра и сразу же присовокупившего его к звездам первой величины на небосклоне европейской поэзии. С другой стороны, как это прекрасно свидетельствует о популярности купаловского поэтического слова еще тогда, на заре минувшего столетия, и где? — среди гимназической молодежи Киева!

В том же Киеве Александр Дейч издавал литературно-художественный журнал на русском языке «Куранты», рассчитанный главным образом на студенческую молодежь. В журнале (сейчас он — большая библиографическая ценность, его нет даже в Государственной библиотеке России в Москве) публиковались Анна Ахматова, Корней Чуковский, Михаил Кольцов, Николай Гудзий и др. И вот в шестом номере «Курантов» за 1910 год появилась статья некоего В. Яцына «Поэт из деревни. Творчество Янки Купалы». В статье анализировались стихи из «Жалейкі», хотя, как известно, к 1919 году у Янки Купалы вышло уже несколько книг. Не свой ли собственный экземпляр «Жалейкі» одолжил критику Александр Иосифович, чтобы в тот сложнейший период гражданской войны и иностранной интервенции напомнить украинским и русским читателям «Курантов» о белорусском песняре?

Позже, уже в советское время, Александр Дейч лично познакомился с Янкой Купалой. Они не однажды встречались, по-дружески беседовали, обсуждали разные дела. По воспоминаниям Евгении Кузьминичны, Дейчи не раз посещали народного поэта Беларуси в гостинице «Москва», где он обычно останавливался во время довольно частых поездок в столицу СССР.

В 1920—1930-е гг., работая в центральных периодических изданиях, а также в послевоенное время, возглавляя в Гослитиздате редакцию литератур народов СССР, Дейч не забывал и белорусскую художественную литературу, делал все возможное ради ее популяризации. В частности, для периодики и радиовещания он сам написал ряд ценных материалов о фольклоре, культуре и литературе белорусов, в том числе и прежде всего — о творчестве Янки Купалы и Якуба Коласа. Что касается франкоязычной газеты «Журналь де Моску», то в ней буквально все публикации о белорусской литературе принадлежат перу Александра Дейча.

Во время Великой Отечественной войны Александр Дейч жил в эвакуации в Ташкенте, куда судьба забросила и Якуба Коласа с семьей. Жили они в одном доме — тогдашнем общежитии Академии наук (ул. Пушкинская, 84). Вот как уже после войны описывал Дейч тот дом в литературоведческом очерке об Айбеке «Душа Узбекистана»:

«Во время войны в Ташкенте, на Пушкинской, 84, в четырехэтажном доме жила большая колония московских и ленинградских ученых и писателей. Вечерами собирались на верхнем этаже в большом зале. Здесь можно было услышать фортепьянную классику в исполнении Александра Гольденвейзера. Едва он прикасался к клавишам, легко и свободно лилась мелодия, и казалось, в пианисте живет сила тех молодых лет, когда он восхищал игрой Льва Толстого в Ясной Поляне… С. М. Михоэлс дарил слушателям импровизации и рассказывал об артистических замыслах своего коллектива. Якуб Колас, Иосиф Уткин, Владимир Луговской, Николай Ушаков читали стихи».

Во время войны А. Дейч вел дневник, который сохранила и любезно предоставила мне для просмотра Евгения Кузьминична. Остались на его страницах записи знаменитого ученого и писателя, в которых зафиксированы и некоторые неизвестные нам факты из эвакуационного житья-бытья автора «Новай зямлі». Как известно, Якуб Колас тоже вел в Ташкенте свой дневник, названный им «Кнігай Ташкенцкага быцця». Но это было уже в 1943 году. В дневнике Дейча описаны некоторые события коласовского «ташкенцкага быцця» годом ранее. Вот выдержки из дневника Александра Дейча:

«6 апреля 1942. Сегодня вечером у меня — Константин Михайлович [Якуб Колас. — ***В. Р.***], Н. Н. Ушаков с Т. Н. [Татьяной Николаевной, женой Ушакова. — ***В. Р.***], Е. С. Бертельс, Соломон Михайлович Михоэлс, пришедший позже из театра, В. М. Жирмунский, В. Ян… Пришедший Ник. Кирьякович Пиксанов принес заказанное мною для литгруппы Совинформбюро «Славянское искусство и его вклад в мировую культуру» и «Горький в борьбе за дружбу народов». Увидев Константина Михайловича, захотел прочитать вслух статью о Горьком. В ней дается много фактов о связях Горького с белорусской литературой и белорусской культурой. Очень современно прозвучала цитата из благодарственного письма Горького белорусской академии, избравшей в свое время его своим почетным академиком. Якуб Колас прослезился… Он сделал несколько важных и конкретных замечаний… Попросили Коласа прочитать свои стихи. Он читал горькие ностальгические стихи, созвучные всем нам. Многострадальная, разоренная белорусская земля, и голос его звучал, как голос пророка. Читал по-белорусски прекрасно. Поэт глубокого дыхания, тончайший и замечательный лирик, стоический, мужественный человек. Надо будет попросить Мишу Голодного или Володю Луговского перевести на русский язык…»

«5 мая 1942. Гольденвейзер играл Бетховена. Очень трагично воспринимал музыку Якуб Колас. Истинно поэтическая душа!...»

Александр Дейч в своем дневнике фиксирует чтение Якубом Коласом отрывков из поэмы «Рыбакова хата», над которой поэт тогда работал, выступление его

на пленуме Союза писателей Узбекистана и многое другое. Позже некоторые дневниковые записи военного времени помогли Дейчу воссоздать в литературоведческих трудах точные события и даты тех суровых лет. Наподобие той же публикации «Душа Узбекистана»:

«Ташкент военных лет жил незабываемым творческим горением. 12 декабря 1942 года открылся пленум правления Союза писателей Узбекистана, посвященный 25-летию советской литературы и ее задачам в период Великой Отечественной войны. Организационный дар Хамида Алимджана [в то время первый секретарь правления Союза писателей Узбекистана. — ***В. Р.***] сплотил многонациональную семью писателей. На этом пленуме после доклада об узбекской советской литературе за 25 лет выступали с докладами и речами Якуб Колас, К. Чуковский, Е. Бертельс, В. Жирмунский, И. Добрушин, М. Нечкина, Д. Благой, М. Голодный, С. Михоэлс и многие другие. Под знаком дружбы народов, окрыляющей творчество советских писателей, проходил этот пленум и литературный вечер, заключавший его. На этом вечере (14 декабря 1942 г.) с чтением своих стихов выступали Хамид Алимджан, Гафур Гулям, М. Шейхзаде, Чусти, К. Чуковский, М. Голодный, В. Луговской, Якуб Колас, Микола Терещенко».

Однако вернемся к московскому совещанию 1971 года. К высказыванию Александра Дейча, зачитанному Евгенией Кузьминичной, которое все мы слушали с неослабевающим вниманием и которое предопределило тон следующих выступлений на том же совещании. Вот что хотел сказать, и сказал устами своей супруги, Александр Иосифович, опытнейший переводчик и редактор переводов, в своем, как оказалось, последнем в жизни высказывании-завещании. Завещании, которое, несомненно, имеет не только историческое значение. Многие из тех задач, которые предлагал решить Дейч в декабре 1971 года, в практике воссоздания произведений Янки Купалы и Якуба Коласа на русском языке не решены, к сожалению, до сего времени. Привожу неизвестное у нас высказывание Александра Дейча, выражая вместе с тем сердечную благодарность Евгении Кузьминичне Дейч за возможность опубликовать его полностью:

«Я читал и перечитывал стихи Якуба Коласа в оригинале и переводах и все больше чувствую белорусского поэта не только в поэзии, но и в жизни. Хорошо помню тяжелые годы войны, когда в Ташкенте мы жили в одном доме на Пушкинской, 84. В большом среднеазиатском городе, переполненном эвакуированными, наш дом, превращенный в общежитие Академии наук, выглядел творческим центром… Помню, как Константин Михайлович приходил ко мне в большую необставленную комнату и читал стихи, особенно «Хату рыбака» — поэму, которая, как гомеровская «Илиада», складывалась вокруг основного ядра во все новые и новые песни — главы.

И вот сейчас, перечитывая эту поэму, я словно слышу ровный голос поэта, лишенный всякой аффектации, спокойно плывущий в лоне стиха.

Поэзия Якуба Коласа — именно такая, могучая, преданная народной стихии, властно зовущая вперед. Правильно говорили о ней, что она проникнута некрасовским народным началом. Прошло почти десять лет со времени издания последнего сборника Якуба Коласа на русском языке. Сейчас, в исторической перспективе, особенно видны и достоинства, и недостатки переводов. Есть уже некоторый золотой фонд переводов поэзии Якуба Коласа — М. Исаковского, С. Городецкого, П. Семынина, Б. Иринина. Но в то же время есть переводы случайные, не поэтические, потерявшие обаяние подлинника. Для успеха нового издания нужен, прежде всего, тонкий и чуткий редактор-составитель (в свое время таким прекрасным редактором был П. Семынин).

К сожалению, обычно сборники составлялись так, что творчество Якуба Коласа представлялось резко двутонным — в миноре вся дореволюционная поэзия и в мажоре — послереволюционная. Действительно, если Некрасова именовали «поэтом гнева и печали», то Якуба Коласа можно назвать поэтом печали и счастья. Однако его печаль была не бессильной и бездейственной: в стихах

дореволюционных есть провидение того будущего, певцом которого он стал впоследствии. Весь вопрос в умелом отборе стихов, в соблюдении соответствующих пропорций, чтобы избежать прямолинейности и схематизма.

Но дело надо начать с текстологического разбора переводов. Я, например, даже при первом чтении обнаружил ряд пропусков в переводах, пропусков непонятных и непозволительных. Взять, к примеру, стихотворение «Раскуты Праметэй». В переводе почему-то опущена строфа, в которой определенно названы имена «титанов труда» современности (стихотворение написано в 1935 году):

Хто і скуль яны, героі,
Дземчанка, Стаханаў,
Што ідуць напорным строем,
Крокам веліканаў?

Опущенная строфа лишает стихотворение конкретности, и это не единственный случай. А как часто меняются и искажаются образы, данные поэтом! Прочитав стихотворение «Узбекістану» сначала в русском переводе, я был удивлен, что поэт называет его «краем гор». Смотрю в оригинале: «Край-друг Узбекістан». Строка ложится в русскую строку без искажения.

Еще одно замечание. Если даже в прозаическом переводе не проходит безнаказанно участие в одном произведении двух или нескольких переводчиков, то еще болезненнее это сказывается на переводах поэтических. Большое эпическое полотно «Хата рыбака» переведено тремя переводчиками — С. Городецким, П. Семыниным и Б. Ирининым. Все это имена бесспорные, и тем не менее чувствуется разнобой в отдельных песнях — начиная от подхода к стиху оригинала и кончая соблюдением точности. Три разных поэтики. Впечатление такое, что «Хата рыбака» написана не одним поэтом…

Хорошо помню весь процесс работы Якуба Коласа с П. Семыниным над поэмой «Новая земля». Автор огорчался, что впервые вышедшая в русском переводе С. Городецкого «Новая земля» в 1934 году предстала перед русским читателем с большими искажениями. П. Семынин проделал огромную работу по редактированию перевода, дополнительно переведя несколько глав поэмы. Помню, что автор принимал в этой работе самое активное участие. И вышедший в 1949 г. русский перевод поэмы выгодно отличался от предыдущего издания. Но, к великому огорчению, русский читатель до сего времени не имел возможности познакомиться с полным переводом этого замечательного произведения.

Недавно мы обсуждали новый сборник переводов литовской поэтессы Саломеи Нерис, и тут обнаружилось, что новые поэтические силы внесли много свежести в передачу ее стихотворений. Был устроен конкурс на лучший перевод, и это дало самые отрадные результаты. Быть может, настало время перенести этот опыт и при издании белорусских классиков: Янки Купалы и Якуба Коласа».

…Случилось так, что болезнь глаз, начавшаяся еще во время Великой Отечественной войны, со временем привела Александра Дейча к полной слепоте. Однако сердцем писателя и ученого он остался не только мудрым, добрым, но и зрячим. Зрением своего сердца он с юношеских лет и до последних дней жизни видел и белорусскую литературу, ее народных поэтов Янку Купалу и Якуба Коласа.

АЛЕСЬ КАРЛЮКЕВИЧ

От Бреста — до Барановичей: адреса русской литературы в Беларуси

Есть ли у художественного слова география? И как ее определить? Брать за основу содержание того или иного произведения? Учитывать адрес, где оно было написано? Или же заглядывать в биографию автора, отмечая для будущего литературно-географического исследования место его рождения?..

Вот, к примеру, перелистываю книги русского поэта Валерия Липневича, ныне живущего в Подмосковье, — «Дерево и река» и «Неведомая планета». Одна издана в Москве, другая — в Минске. «Дерево, река, человек — // как кора старой вербы над ней. // Дерево, река, человек — // слова будто разные, // да все об одном. // Деревья впадают в небо, // как реки в море. // Краткое и зеленое // струится медленно // к вечному и голубому. // Куда текут и впадают // наши жизни? // Медленно — словно дерево. // Стремительно — как река», эти строки из стихотворения «Дед», завершающего книгу «Дерево и река». Знаю, что, как и все остальные, оно написано в деревне Дудичи Пуховичского района, что на Минщине, «в дедовой хате»... Но если это стихотворение рассказывает о родном, близком человеке, показывает, если хотите, социальную и политическую историю прежней Беларуси и даже преподносит урок экономической географии («Дед глядит со стены. // Острые, как два сучка, // глаза пронизывают насквозь. // — 100 коней // одного пана везут! // Сколько ж коров за такие деньги? // За две раскулачивали...»), то в книгах есть произведения и другого характера, «не местечкового»...

Пожалуй, некоторые вопросы, в том числе и те, что следовало бы еще задать, останутся в моем документальном повествовании без ответов. Давайте просто вспомним хотя бы некоторые дороги и тропинки Беларуси, по которым прошла, где оставила свой след великая русская литература. И маршруты для нашего литературного путешествия я предлагаю следующие. Покинув пуховичские Дудичи, давайте отправимся на Брестчину. Хотя расставаться с деревенькой на берегу Птичи не очень и хочется. В той же «дедовской хате» несколько лет подряд была дорогой гостьей замечательная поэтесса Татьяна Реброва. А стихотворение Андрея Вознесенского «За речкой Птичь» — о соседствующем с деревней музее материальной культуры «Дудутки». В деревню Птичь — она находится совсем недалеко от музея, через речку, — в гости к журналисту Андрею Захаренко не раз приезжал санкт-петербургский драматург, прозаик, лауреат многих стихотворений Аркадий Пинчук. У Валерия Липневича повесть есть — «В кресле под яблоней» (опубликована в журнале «Новый мир»), где каждая страница — о Дудичах, окрестностях деревни, о реке с ласкающим сердце, каким-то воздушным названием Птичь. Концовка у повести грустная, пронизывающая сердце:

«...Сижу на маленькой скамеечке — мамина — спиной к горячей печке. Осторожно черпаю плотную, почти твердую простоквашу из трехлитровой банки на коленях. Ее любимая еда — с картошкой или, как я сейчас, с батоном. Праздник печеной картошки перенес на завтра.

Последние солнечные лучи золотят бока моим вербам, трогают верхушки вишен в канаве, заливают обломанную черешню под моим окном. Может, уже завтра, растроганная майским теплом, брызнет молоком своих почек в доверчивую синеву неба, подарив ему еще одно, самое малое, облачко.

Вот и прошел первый майский день первого года третьего тысячелетия.

Первый весенний день без матери».

...И все-таки надо спешить в Брест. Может быть, только переехав мост через Птичь, вспомним еще, что в этих местах, в пуховичско-руденских лесах партизанил русский поэт и прозаик Всеволод Саблин. Еще во время немецко-фашистской оккупации он создал в партизанской типографии поэтический сборник «Мстители». Еще в 1942 году Всеволод Саблин написал стихотворение «В ружье, белорусский народ!»:

Народ в ярме, земля в плену…
Позор и стыд молчать!
Твой долг — спасать детей, жену,
Отечество спасать!

Твой дом — с винтовкой за плечом
Скорей идти в леса,
С фашистским биться палачом
До смерти, до конца.

Народ, в ружье! Нельзя терпеть,
Нельзя рабами быть!
Уж лучше стоя умереть,
Чем на коленях жить.

…Русские писатели издавна связаны с Брестом. В городе над Бугом в 1813—1816 гг. служил Александр Грибоедов. Между прочим, в одном полку с отцом Льва Толстого. В Бресте Грибоедов написал свои первые произведения. Знакомые того периода стали прототипами некоторых персонажей в комедии «Горе от ума». Брест начала XIX века — это и судьбы, и фрагменты творческих и жизненных испытаний Федора Глинки, Вильгельма Кюхельбекера, Петра Вяземского, Александра Шаховского. В 1867—1869 гг. в Бресте жил русский прозаик Федор Решетников (1841—1871). Здесь он завершил работу над третьей частью романа «Глумовы». Местную жизнь описал в очерках и в комедии «Прогресс в уездном городе». Имена Грибоедова, Кюхельбекера, Решетникова и других русских поэтов, прозаиков хорошо известны белорусским исследователям, тем, кто занимается литературным краеведением. В Бресте есть даже улица, названная в память о Федоре Решетникове. Произведения этого самобытного литератора, как и творческие страницы биографии Александра Грибоедова, подробно прочитаны В. Я. Ляшук и Т. Н. Снитко в книге «Літаратурная Берасцейшчына».

С Брестом связаны судьбы двух русских православных писателей. К сожалению, упоминаются они не часто. Речь идет о Константине (его отчество история нам не оставила) и Алексее Константиновиче Зноско. Об отце и сыне. Некоторые страницы их биографии раскрываются в монографии Ю. Лабынцева и Л. Щавинской «Православная литература белорусов современной Польши» (Москва, 2000). Константин Зноско родился в 1865 году в местечке Острино Гродненской губернии. Участвовал в Первой мировой войне — полковым священником 8-го Финляндского стрелкового полка. Служил настоятелем Свято-Николаевской православной церкви в Бресте. Вместе с единомышленниками создал в городе над Бугом «Русский дом», а еще участвовал в открытии Русской гимназии. Константин Зноско является автором житийных, гимнографических произведений, ряда антиуниатских сочинений. Некоторые из них переиздаются в разных странах и в наши дни. Назовем хотя бы отдельные из произведений русского церковного писателя: «Житие и страдания святого Афанасия, игумена Брестского» (Варшава, 1931), «Римская неправда о главе Вселенской церкви: Разбор католического учения о панском примате в связи с книгой И. А. Забужного «Православие и Католичество» (Варшава, 1932), «Виленская Островоротная или Остробрамская чудотворная икона Божией Матери» (Варшава, 1932), «Латинизация православного богослужения в униатской церкви» (Варшава, 1932), «Исторический очерк церковной унии: Ее происхождение и характер» (Варшава, 1933; переиздана в Москве в 1993 г.), «Князь Константин Константинович Острожский и его деятель-

ность в пользу Православия» (Варшава, 1933). Умер Константин Зноско в Бресте 18 июня 1943 года.

Алексей Константинович Зноско (1912—1994) во многом повторил судьбу своего отца. Также праведно и искренне служил православным священником. Служил сначала в Барановичах, затем в Свислочи — на Гродненщине. С 1946 года — в польском Вроцлаве.

С 1949-го по 1953 год, более четырех лет, находился в заключении. Власти обвинили во враждебном отношении к Польской Народной Республике. С 1960 года служил в Варшаве, преподавал в Христианской технологической академии. А до этого, в 1959 году, в Прешовском университете (Словакия) защитил докторскую диссертацию. Алексей Константинович издал книги «Акафистное творчество Русской Православной Церкви (1628—1959)» (Варшава, 1989), «Опыт личного акафистного творчества» (Варшава, 1989) и ряд других произведений. Умер церковный писатель, большие дороги которого начинались в Бресте, в Ломже в 1994 году.

Брест можно по праву считать особым персонажем русской поэзии, русской прозы. В ноябре 1956 года в городе был открыт Музей героической обороны Брестской крепости. Есть в этой обители исторической памяти специальный стенд, посвященный Сергею Смирнову (1915—1978), автору документальной книги «Брестская крепость», отмеченной Ленинской премией. Одна из улиц города носит и имя Сергея Смирнова, который, кстати, являлся еще и почетным гражданином Бреста. В краеведческом справочнике «Литературные места Беларуси, книга первая: Брестская, Витебская, Гомельская области» (авторы — Адам Мальдис, Лидия Кулаженко, Светлана Саченко) есть такое уточнение: «Произведения Брестской крепости, городу посвятили… белорусские поэты… Стихотворения на эту тему написали поэты… русские Сергей Орлов, Сергей Островой, Лев Ошанин, Николай Доризо, Владимир Кузнецов, Роберт Рождественский… и др.». И далее: «Событиям, связанным с заключением подписанного в крепости Брестского мира 1918, посвящены произведения… Владимира Канивца «Брест, 1918»… Валентина Пикуля…»

За лаконичным «и др.» на самом деле скрывается уникальная Брестская литературная, героико-художественная Атлантида. Во-первых, для начала следует вернуться в 1939 год. Осенью группа русских поэтов оказалась среди военных журналистов и политработников. Семен Кирсанов, Борис Горбатов, Александр Твардовский, Дмитрий Кедрин, Владимир Луговской, Евгений Долматовский, Илья Френкель, Яков Хелемский — у каждого из них нашлись слова, чтобы запечатлеть сентябрь 1939-го… Одно из стихотворений Якова Хелемского так и называется — «В тридцать девятом»:

…О, если б мог я силу дать стихам,
Чтоб строки сохранили для потомков
Черты мальчишки с тощею котомкой,
Бегущего по праздничным шляхам,

Чтоб не забыли люди осень эту,
Погожесть распахнувшихся дорог,
Когда народ шагал из мрака к свету,
Как сирота, спешивший на восток.

Возможно, тогда, в 1939-м, у Якова Хелемского сформировалось устойчивое мнение, представление о своем предназначении как переводчика яркой, сочной белорусской поэзии. Для многих читателей в России, на постсоветском пространстве мастерство, духовный мир Петруся Бровки, Аркадия Кулешова, Максима Танка, Пимена Панченко, Рыгора Бородулина, других белорусских поэтов открывались благодаря именно переводам Якова Хелемского. Кстати, именно за переводческую работу Яков Александрович был отмечен Государственной премией БССР имени Якуба Коласа (1980 год). А эти строки, адресованные Аркадию Кулешову, написаны Хелемским в 1958 году: «Белорусские реки // Звучат, как пастушьи жалейки. // Зазвенит Вилия — // Отзовется журчанье Вилейки. // Колоннады стволов // Протяну-

лись над Птичью и Случью // Милых рек имена, // Словно русла лесные, певучи. // Ивы смотрятся в Друть, // А березы бурливой весною // Входят в воду по грудь // И любуются Березиною. // Беловежская пуща, // Полесские старые чащи // В бочажках отразились, // В затонах, спокойно журчащих».

Из 1939 года и стихотворение Владимира Луговского «Беловежская пуща». «Снег летит все студеней и гуще, // И трехтонки проходят гуськом. // Говорит Беловежская пуща // Монотонным ночным языком…»

Но, конечно же, самая большая часть в предполагаемой «брестской антологии» русской поэзии освещает тему Брестской крепости, подвиг ее защитников в 1941 году. «Легенда о защитниках Бреста» — стихотворение Льва Ошанина. Первая его военная командировка в Беларусь тоже относится к 1939 году. В Великую Отечественную войну врачи посчитали поэта негодным к военной службе. Но поэт вопреки такому решению побывал на многих фронтах. Чаще всего выезжал в части и соединения 3-го Белорусского… Судьба другого поэта, который родился и вырос в Дагестане, и вовсе достойна отдельного повествования и, наверное, отдельного историко-литературного поиска. Аварский поэт Мухтар Абакаров родился в 1918 году. С ноября 1939-го служил в пограничных частях в районе Бреста. Там и принял бой с фашистами. Летом 1941 года был тяжело ранен. После госпиталя вернулся в родное село Амитли Хунзахского района. Затем снова пошел на фронт. Воевал бойцом Дагестанского кавалерийского эскадрона в звании старшины. Погиб в 1944 году. Василь Макаревич перевел на белорусский язык два стихотворения аварского поэта — «Город Ельня», «Баллада о капитане Гимбате Ганиеве». Может быть, разлаженные литературные связи не станут помехой для выяснения обстоятельств «белорусской биографии» россиянина аварца Мухтара Абакарова.

Среди защитников Брестской крепости — и русский поэт Михаил Иванович Петров. Попал в фашистский плен. Несколько раз был ранен. Жизнь этого человека, его непростая военная судьба вдохновили другого русского поэта Олега Шестинского на создание поэмы «Одиссея Михаила Петрова». После Великой Отечественной Михаил Иванович долгие годы жил в городе Новая Ладога.

Воевал в Беларуси и русский поэт Леонид Решетников. Был военным корреспондентом танковой армии. А после Победы офицер служил в Бресте. Брестской крепости Леонид Решетников посвятил стихотворение «Счастье». А поэт Алексей Романов войну встретил в казармах Центрального острова Брестской крепости. С боем удалось вырваться из окруженной цитадели. Вступил в ряды народных мстителей. Под Барановичами немцы окружили отряд, в котором воевал поэт Алексей Романов. Вчерашний защитник Брестской крепости попал в плен. Много времени провел в Германии. В концлагере занимался подпольной работой среди военнопленных. Его стихотворение «Не забывай!» перевел на белорусский Степан Гаврусев.

Петя Клыпа — один из юных защитников Брестской крепости. Поэму мужественному герою с непростой судьбой посвятил известный русский поэт Марк Лисянский:

Нет, война — не смерч в пустыне,
Не история, а рана,
Не зажившая доныне.
Наши первые печали
Стали славой поколений.
Мы о Бресте ведь узнали
Из немецких донесений.
А о тех, кто был в сраженье,
И о тех, кого убило,
Не писали, к сожаленью,
И куда писать-то было!
Наградных не посылали,
Орденов не выдавали,
И в газетах не писали,
И в чинах не повышали!

А они — дорогу жажды,
Жизнь и смерть,
Огонь и воду —
Все прошли — и не однажды! —
За всемирную свободу.

Покидая Брест, не будем спешить выходить на большую дорогу. Пока что заглянем в Каменец, проедем в заповедную Беловежскую пущу. Вспомним стихотворение Ярослава Смелякова «Белая вежа». Вероятно, мало кто не знает в Беларуси этот памятник — каменецкий столп, Белую вежу. Согласно Ипатьевской летописи, построена она между 1276 и 1288 годами. Руководил строительством мастер Алекса. Заказчик — волынский князь Владимир Василькович. Вежа должна была стать пограничным оборонительным форпостом. Место избрали самое что ни есть подходящее — на возвышенности на левом берегу реки Лесная. Со стороны реки к веже подступала болотистая низменность, с трех сторон окружал ров. Высота пятиярусной вежи — около 30 метров, толщина стен — 2,5 метра, внешний диаметр — 13,6 метра. Поверхность стен прорезана бойницами… Сегодня Белая вежа — символ Брестчины, да и, пожалуй, всей Беларуси, символ исторической славы Отечества.

Башня Белая вежа,
словно башни Кремля:
очертания те же,
та же наша земля.

Ты стоишь на границе,
высока и стара,
красных башен столицы
боевая сестра.

Меж тобою и ними
зыбкий высится мост,
золотистый и синий,
из тумана и звезд, —

и для Ярослава Смелякова, которого с Беларусью соединяют родственные узы, Белая вежа — тот духовный стержень, что соединяет времена и пространства.

Беловежская пуща, Белая вежа — притягательные символы в поэтических изысканиях Николая Добронравова, Андрея Вознесенского, других русских поэтов.

Но география художественного слова зовет нас в дорогу. Мы возвращаемся к дороге, которая соединяет Брест с Москвой. Адреса, где будем останавливаться, укажут нам известные и не очень произведения русской литературы, поэтические и прозаические искания писателей народов России.

Из Бреста доезжаем до Кобрина. Осенью 1813 года здесь служил Александр Грибоедов. С городом, его окрестностями связана судьба русского прозаика Константина Георгиевича Паустовского (1892—1968). Он находился в городе во время Первой мировой войны в составе санитарного отряда. Паустовский и Беларусь — тема многоплановая и достаточно непростая. Фактически здесь, в Беларуси, среди раскатов артиллерийской канонады, бесконечной пулеметной, оружейной пальбы, среди крови и мытарств, вырастал, формировался огромный писательский талант Паустовского. И об этом хотелось бы поговорить несколько подробнее. В «Повести о жизни», во второй ее части «Беспокойная юность» один из разделов носит название «Местечко Кобрин». «Из Бреста мы вышли в местечко Кобрин, — так начинается повествование. — С нами ехал на своем помятом и исцарапанном форде пан Гронский.

Брест горел. Взрывали крепостные форты. Небо вздымалось позади нас розовым дымом…» И далее: «К вечеру мы вошли в местечко Кобрин. Земля, черная, как каменный уголь, была размешана в жижу отступающей армией. Косые дома с нахлобученными гнилыми крышами уходили в грязь по самые пороги.

Ржали в темноте лошади, мутно светили фонари, лязгали расшатанные колеса, и дождь стекал с крыш шумными ручьями.

В Кобрине мы видели, как увозили из местечка еврейского святого, так называемого «цадика».

Гронский рассказал нам, что в Западном крае и Польше есть несколько таких цадиков. Живут они всегда по маленьким местечкам…»

В Кобрине санитары остановились в синагоге. На улице проходили походные кухни. Голодная толпа беженцев рвалась к котлам с пищей. Обезумевшие, голодные люди со стеклянными глазами затоптали, подмяли мальчика, которого опекали и хотели накормить санитары. «Мы со Сполохом кинулись к мальчику, но толпа отшвырнула нас. Я не мог кричать. Спазма сжала мне горло. Я выхватил револьвер и разрядил его в воздух. Толпа раздалась. Мальчик лежал в грязи. Слеза еще стекала с его мертвой бледной щеки…»

Следы писателя К. Паустовского — и в других местах Беларуси. Путешествовать маршрутом автора «Золотой розы» можно с его «Повестью о жизни» как с литературно-туристическим путеводителем. Есть и такие белорусские страницы: «В Барановичах я отряда не застал. Он уже ушел дальше, на Несвиж. Мне не хотелось даже на короткое время возвращаться в госпиталь. Трудно было встречаться с людьми. Я переночевал под городом в путевой железнодорожной будке по дороге на Минск, а утром выехал в Несвиж…» А в конце главы — и адрес: «Свой отряд я догнал в селе Замирье под Несвижем». Замирье — это Городея. Городской поселок и одноименная железнодорожная станция находятся совсем недалеко от Несвижа. До Городеи от Несвижа — 19 км. Зная, что в городском поселке живет учитель, интересующийся краеведением, я несколько лет назад попытался его разыскать — Бориса Константиновича Скачко. Но, к сожалению, опоздал. Борис Скачко уже умер. Вдова исследователя местной истории Аграфена Александровна Скачко любезно согласилась показать архив мужа. Смотрим черновики, фрагменты краеведческого повествования о поселении, которое известно с XVI столетия. Перелистав сотни страниц, находим историю Городеи начала XX века. Автор рассказывает о жизни, быте своих земляков. Какой была Городея во времена Паустовского? Еще в 1914 году по местечку в праздники маршировал духовой оркестр. На все местечко — 5 питейных домов, 17 торговых лавок.

Среди других листочков из архива краеведа вместе с Аграфеной Александровной находим страничку с заголовком «История становления медицины в Городее»: «В годы войны и революции помощь населению оказывали военные медики. В 1914—1917 годы в Городее находился большой военный госпиталь, лечивший солдат Западного фронта». Значит, все верно — в нем и служил санитаром Паустовский.

Интересны наблюдения писателя, которые приводятся в «Повести о жизни»: «Белоруссия выглядела так, как выглядел бы старинный пейзаж, повешенный в замызганном буфете прифронтовой станции. Следы прошлого были еще видны повсюду, но это была только оболочка, из которой выветрилось содержимое.

Я видел замки польских магнатов — особенно богат был замок князя Радзивилла в Несвиже — фольварки, еврейские местечки с их живописной теснотой и запущенностью, старые синагоги, готические костелы, похожие здесь, среди чахлых болот, на заезжих иностранцев. Видел полосатые верстовые столбы, оставшиеся от николаевских времен.

Но уже не было ни прежних магнатов, ни пышной и бесшабашной их жизни, ни покорных им «холопов», ни доморощенных раввинов-философов, ни грозных Судных Дней в синагогах, ни истлевших польских знамен времен первого «повстания» в костельных алтарях. Правда, старые евреи в Несвиже могли еще рассказать о потехах Радзивилла, о тысячах «холопов», стоявших с факелами вдоль дороги от самой русской границы до Несвижа, когда Радзивилл встречал свою любовницу авантюристку Кингстон, о многошумных охотах, пирах, самодурстве и шляхетском чванстве, глуповатой спеси, считавшейся в те времена паспортом на вельможное «панство». Но рассказывали они об этом уже с чужих слов…»

В одной из поездок санитар Паустовский попал под обстрел. Был ранен в ногу. Выпал из седла. Лошадь, к счастью, вытащила ухватившегося за стремя раненого поближе к своим. Константин успел зажечь фонарик. Затем потерял сознание. По свету фонарика его и нашли солдаты-телефонисты. Месяц Паустовский пролежал в госпитале в Несвиже. Там и узнал — случайно, из старой газеты, — что на фронте погибли два его брата: «Убит на Галицийском фронте поручик саперного батальона Борис Георгиевич Паустовский». «Убит в бою на Рижском направлении прапорщик Навагинского пехотного полка Вадим Георгиевич Паустовский».

Константина отпустили в Москву, к матери. Из Несвижа он уезжал через Замирье. В Белоруссию потом вернулся, только чтобы уволиться. Причиной стало его прежнее письмо из Городеи-Замирья. На Западный фронт приезжал император. Как писал Паустовский: «Он «посетил» и Замирье. Ко времени его приезда было приказано привести село в порядок. Это выразилось в том, что из лесу привезли много елок и замаскировали ими самые дрянные халупы». Письмо, где санитар рассказывал штатскому приятелю о визите императора, попало в военную цензуру. Больше Паустовского, предупредив, что он отделался легким испугом, на фронт не пустили.

А Замирье-Городея, Несвиж, минские и гродненские проселки остались в судьбе и памяти Константина Паустовского на всю жизнь. И «всплыли», как адреса художественного и жизненного опыта, только через тридцать лет, когда писатель начал работу над «Повестью о жизни».

…Уже через многие годы после смерти писателя было опубликовано стихотворение Константина Георгиевича Паустовского, написанное в сентябре 1915 года в местечке Снов — это совсем рядом от Замирья:

Ночевали в сараях. Дожди застилали
Хмурым утром суровую польскую даль.
Ругань. Злоба. По грязным шоссе громыхали
Днем и ночью обозы. Все крепче печаль.

Где-то за лесом дальним назойливым громом
Батареи ворчали, трепался наш флаг
Над покинутым барским ограбленным домом.
И все близился твердый, испытанный враг.

Дети плакали ночью. Их бросила мама.
Кто-то трупы убитых спешил хоронить,
И пугала глубокая скользкая яма.
Здесь не надо жалеть, здесь не надо любить.

Вспоминались мне радуги зыбкого моря,
Яркий смех, плен узорных сентябрьских садов,
Предзакатные сны, светлоокие зори,
И в заре — опьяненная мукой любовь.

…И если уже сделали мы остановку, побродили по адресам Паустовского, то, может быть, заглянем и на Дрогичинщину? Во-первых, думаю, что интересным мог бы показаться следующий факт. Еще в 1908 году в деревне Брашевичи на средства русского книгоиздателя Ф. Павленкова (на 200 рублей!) была открыта бесплатная народная библиотека. А в Бездеже (там еще существует уникальный и, наверное, единственный в мире музей фартучков) родился русский прозаик Дмитрий Стонов (1893—1962). Одно из наиболее ярких его произведений — роман «Семья Раскиных» (1928).

Адреса русской литературы на Брестчине — это еще и места службы Александра Блока на Полесье в Первую мировую войну. Белорусский писатель-документалист Николай Калинкович (1950—1990) подробно рассказал о сопричастности автора поэмы «Двенадцать» с Беларусью в своей замечательной книге «Полесские дни Александра Блока» (Минск, 1985). А сейчас мне хотелось бы процитировать несколько строк из письма поэта, адресованного матери. Написано 21 августа 1916

года в полесских Колбах: «…Утром выезжаешь верст за пять, по дороге происходит кавалерийское ученье — два эскадрона рубят кусты, скачут через препятствия и пр. Раз прошла артиллерия. Аэроплан кружится иногда над полем, желтеет, вокруг него — шрапнельные дымки, очень красиво. За лесом пулеметы щелкают. По всем дорогам ездят дозоры, вестовые, патрули, во всех деревнях и фольварках стоят войска. С поля виднеется Минск, вроде града Китежа — приподнятый над туманом — белый собор, красный костел, а посередине — поменьше — семинария. Один день — жара, так что не просыхаешь ни на минуту, особенно верхом. Другой день — сильная гроза, потом холодно, потом моросит. Очень крупные звезды. Большая Медведица довольно низко над горизонтом, направо — Юпитер…» Да, в эти белорусские месяцы Блок не написал ни одного стихотворения. Но ведь сами полесские дни были, существовали в его биографии, наверное, и след какой-то оставили…

Своя сопричастность с Полесьем, Беларусью — и у московского поэта Бориса Савича Дубровина. И не только потому, что есть у него стихотворение «Камни Бреста»: «Незажившая рана // Погибших героев — // Обожженной стены полоса // В длинных молниях шрамов // Глазами пробоин // Поколениям смотрят в глаза. // Над моим изголовьем // Темнеют в ночи // Сквозь пространства и времени дым // Обагренные кровью // И пламенем камни, // Одаренные духом живым…» Несколько лет назад мне довелось побеседовать с поэтом. И вот что я услышал от поэта Бориса Дубровина:

— …Когда я воевал на 1-м Белорусском фронте, времени смотреть по сторонам фактически не было. Но еще раньше я немало что узнал о Беларуси. Во мне течет полесская кровь. Мама — Ася Хазан, — уроженка деревни Лемешевичи, что на Пинщине. Отец — комиссар из 1-й Конной… В гражданской жизни был начальником цеха в конструкторском бюро Туполева. В 1937 году папу арестовали и расстреляли. А маму взяли за недоносительство на «врага народа». 6 лет отсидела в Нижнем Востогане Остяко-Вогульского округа. Затем находилась на поселении на станции Усть-Тальменка Новосибирской области… Смотрю на Беларусь, встречаюсь с белорусами — и в душе, и на сердце только светлые чувства. Я и песню написал о российско-белорусской дружбе…

Возвращаемся на большую дорогу. Впереди у нас — Барановичи. Свои записи о впечатлении от встречи со станцией Барановичи оставил великий русский писатель, автор трилогии «Хождение про мукам» Алексей Толстой (1882—1945). В барановичской деревне Столовичи проходил службу в 1815 году русский поэт Кондратий Рылеев. Есть версия, что именно в это местечко на встречу с поэтом-декабристом приезжал поэт Тамаш Зан. Барановичи были и на пути прозаика, поэтессы, детской писательницы Софьи Захаровны Федорченко (1880—1959). Она служила сестрой милосердия в Первую мировую войну. Работала в том же санитарном поезде, что и Константин Георгиевич Паустовский. Подобно санитару Паустовскому Софья Федорченко собирала впечатления о войне, чтобы затем сделать их предметом своего художественного осмысления. Правда, уже тогда, в 1914—1917 гг., она выбрала свой метод, свою личную творческую формулу. Вот что рассказывает об этом литературовед Владимир Глоцер: «Федорченко долго думала о форме для книги. Перепробовала «разные формы, даже роман». Случайно, во время спектакля в театре, она написала первый фрагмент из «Народа на войне» «каким-то неожиданным способом»: «…с непривычки, — вспоминала Федорченко, — я даже слегка испугалась, влезла в шкуру рассказавшего мне этот случай солдата и абсолютно забыв себя самое». Это действительно была необычная форма повествования о войне, когда в виде лаконичного, в несколько печатных строк, солдатского монолога рассказывалось о каком-либо неожиданном эпизоде из солдатской жизни, о мирочувствовании солдата или воспоминании о своем доме, жене, детях, в целом, в мозаике этих высказываний, вырисовывалась картина войны, жизни на войне и жизни в тылу. В каждом высказывании был, как правило, заключен маленький рассказ, сюжет, а в своей совокупности эти отрывки из солдатских разговоров, чрезвычайно колоритные по языку, создавали правдивый образ народа на войне…»

Впервые отрывки из книги «Народ на войне» были опубликованы в журнале «Северные записки» в 1917 году. И следом — в журнале «Народоправство». Алек-

сандр Блок, не зная, кто автор повествования, прочитав первые публикации, сделал следующую запись в своем дневнике: «Интересны записи «Солдатских бесед», подслушанных каким-то Федорченко…» И еще: «Но записи Федорченко всего интереснее, хотя не знаешь, кто он и что окрашивает, что слышит, что выбирает. Выходит серо, грязно, гадко, полно ненависти, темноты, но хорошо, правдиво и совестно». При жизни издать книгу «Народ на войне» полностью (а всего записи составили три тома) Софье Федорченко не удалось. Третий том был напечатан только в 1983 году. А в 1990-м были изданы все три тома вместе.

Первая мировая в окрестностях Барановичей — это и судьба удмуртского поэта Никифора Корнилова (1894—1976). В 1914 году его призвали в царскую армию. В Петергофе окончил школу прапорщиков. Отправили его на фронт, в район Барановичей. В армии Н. Корнилов участвовал в революционном движении. Был избран в комитет солдатских депутатов. Стал кандидатом в члены РКП(б). Никифор Корнилов — автор самой известной и самой любимой удмуртским народом песни «Сказал «прощай» и уехал…»

Если посмотреть на карту Беларуси, то неподалеку от Барановичей можно увидеть озеро Свитязь. Это, правда, уже Гродненщина, Новогрудский район. Но отдыхать сюда едут и из Барановичей.

А мне на память пришло стихотворение Андрея Вознесенского «Свитязь». Появилось оно на свет вовсе не случайно. У Андрея Вознесенского — своя сопричастность и с Беларусью, и с Новогрудчиной, и с озером Свитязь.

Опали берега осенние.
Не заплывайте. Это омут.
А летом озеро — спасение
тем, что тоскуют или тонут.

А летом берега целебные,
как будто шина, надуваются
ольховым светом и серебряным
и тихо в берегах качаются.

Наверно, это микроклимат.
Услышишь, скрипнула калитка
или колодец журавлиный —
все ожидаешь, что окликнут.

Я здесь и сам живу для отзыва.
И снова сердце разрывается —
дубовый лист, прилипший к озеру,
напоминает Страдивариуса.

Последний раз А. Вознесенский приезжал на Свитязь летом 1998 года. Читал стихи у памятника Адаму Мицкевичу. Ранним утром прошелся у озера Свитязь. А пригласили его тогда на Новогрудчину белорусские друзья: легендарный председатель колхоза «Советская Белоруссия» дважды Герой Социалистического Труда Владимир Леонтьевич Бедуля, заместитель председателя Союза писателей Беларуси Виктор Герасимович Жак. К приезду Вознесенского и фестиваль поэзии на Свитязи организовали, и книгу стихотворений — «Свитязянский венок» — выпустили. Нашлось в сборнике место и другим «белорусским» стихотворениям Андрея Вознесенского.

А мы пока прервемся в нашем литературно-географическом путешествии. Остановимся считай что в самом начале пути. Хотя адресов русской литературы в Беларуси не счесть. Но об этом расскажут другие страницы.

ВЛАДИМИР ГНИЛОМЕДОВ

Где прожил жизнь — там Родина*

Белорусские поэты и писатели в отдельных случаях при вынужденных обстоятельствах не раз обращались к русскому языку. На первых порах, начиная свои литературные дороги, отдали дань русскому языку классики Якуб Колас, Максим Богданович, Змитрок Бядуля и др. К. Крапива, находясь в Красной Армии и сотрудничая в армейской печати, писал по-русски, но оказавшись в Минске, в белорусскоязычной среде, охваченной к тому же белорусизацией, пишет только по-белорусски. Такой же путь прошел М. Чарот. Белорусскоязычным поэтом он стал в 1918 году, когда оказался в Минском пединституте.

Писать по-русски начинал и известный белорусский поэт и драматург М. Громыка. А также — об этом мы уже говорили — многие белорусские литераторы и журналисты, сотрудничавшие во фронтовой печати в период Великой Отечественной войны.

На русском и белорусском языках работает в поэзии Алла Никипорчик из Гродно (род. в 1957). Ее белорусскоязычные стихи вышли в сборниках «Сляза і малітва» (Мн., 2006) и «Пад бахаўскую такату дажджу» (Мн., 2007), русскоязычные — в книге «На грани — счастья» (Мн., 2010). Мир лирической героини поэтессы обращает на себя внимание высокими нравственными устремлениями и помыслами, чистотой и непосредственностью переживаний. В основе ее стиха — мысль, впечатление, тонкое душевно-психологическое движение. Наиболее уверенно А. Никипорчик чувствует себя, как нам кажется, в форме краткого философского изречения, лирической импрессии:

Мир — калейдоскоп.
И мир — тень.
…Прикрой меня ладонью
ото лжи[1].

По-русски и по-белорусски также пишет современный могилевский поэт Д. Дмитриев (род. в 1978).

Иногда волей житейских судеб некоторые русские поэты из России переезжают в Беларусь. Уже в зрелом возрасте оказалась в Беларуси русская поэтесса Т. Краснова-Гусаченко. Живет в Витебске. У нее много поэтических сборников и удачных, живых стихов, насыщенных реальными, непридуманными переживаниями, отражающими жизненный путь автора.

Среди полей и трав высоких
Я отыскала дом родной,
Там выше крыш была осока
И лопухи — глухой стеной…

---

*Окончание. Начало в № 4 2012 г.
[1] Никипорчик А. На грани — счастья. — Мн: Беллитфонд, 2010. С.185.

Такие строки волнуют своей житейской правдой, рассказом о судьбе лирической героини.

Поэт Георгий Киселев (род. в 1939) — уроженец Вологодской области, земляк Николая Рубцова, волею судьбы оказался в Беларуси, где в настоящее время и проживает. Белорусская тема зазвучала в творчестве поэта:

Здесь, слава Богу, не трясет!
И за рубеж не рвусь
Поклонником чужих красот
Я, русский белорус…

И вдохновляют в унисон
Народною судьбой
Меня Грюнвальдской битвы звон
И куликовский бой…

Горжусь и гонорюсь
Цветением твоим, страна,
Я, русский белорус![1]

А гомельский русскоязычный поэт Дмитрий Ковалев в свое время переехал в Москву и стал поэтом столично-русским, не потерявшемся в таком крупном литературном центре.

«Дух дышит, где хочет», — сказано в Библии, но русский язык в Беларуси имеет свои особенности. Далеко не все русскоязычные поэты, уроженцы Беларуси, владеют им мастерски. Опять вспоминаются начинавший Иосиф Симановский и его критик Николай Гумилев. «Хуже всего, что Иосиф Симановский совсем не владеет русским языком, — сетовал, прочитав его книгу «Новый Мир», Н. Гумилев. Вместо «бился» он пишет «биялся», «изгас» — вместо «погас»; у него встречаются выражения вроде «пульсовы стуки», «в извив цепенея», «жаждный крик»[2]. Нам кажется, что язык бобруйского поэта не избежал местного влияния…

К этим рассуждениям хочется присовокупить и небольшое личное воспоминание. В Москве приходилось бывать неоднократно. Утром выходишь из поезда на перрон, направляешься на площадь перед Белорусским вокзалом, садишься в троллейбус и все это время слышишь колоритную московскую русскую речь. Удивительно напевную, интонационно слаженную, свежую в лексическом отношении, с неповторимым мелодичным аканием. Кажется, люди не столько разговаривают, сколько на гармониках играют. Это тот язык, который вдохновлял русских классиков и питает поиски современных писателей России. Наш же «белорусский» русский язык, ориентированный прежде всего на обеспечение коммуникативной функции, немало утратил в своем образном содержании, метафоричности, семантических оттенках, многообразии синтаксических конструкций. Этот широкоупотребляемый язык, что называется, правильный, но все-таки, в плане художнических требований, в значительной степени оскудевший, ординарный. Но, конечно, большие поэты на то они и большие, что способны преодолевать трудности, они ищут, заглядывают и в Даля, и в Фасмера, и в Ушакова, обогащаются в языковом отношении и добиваются своего. Таким был уже упомянутый Д. Ковалев, таков наш современник А. Аврутин и многие другие.

Весьма известный английский поэт Уистен Хью Оден составил довольно интересный список вопросов, на которые обязан ответить литературный критик, когда он рассматривает творчество того или иного поэта. Речь идет о пейзаже в стихах поэта,

[1] Белая вежа. 2011. № 1. С. 4.
[2] Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990. С. 95.

климате и этнических особенностях края, где он проживает, природе языка, религии, отношении к существующему общественному строю и государственному правлению, к экологии, архитектуре, окружающему поэта быту. То, о чем говорит Оден, как раз и составляет национальную, так сказать, сторону процесса становления и формирования творческой индивидуальности, ее духовно-психологического менталитета. Поэта, писателя делают поэтом, писателем чувство родины, как бы оно ни сказалось в его стихах, широко ли, крупно или скромно, в масштабе городского микрорайона, деревни. «В первом своем проявлении патриотизм, — писал Н. А. Добролюбов, — даже и не имеет иной формы, кроме пристрастия к полям, холмам родным, златым играм первых лет и пр., но довольно скоро он формируется более определенным образом, заключая в себе все понятия исторические и гражданственные».

Проблеме русификации и одновременно белорусификации посвятила свое стихотворение «Возрождение» Л. Яковенко:

Я буду изгоем в родной стороне
За то, что в краю белорусском
Нелепое счастье даровано мне —
Меня воспитали по-русски.
На русской,
шляхетской,
хохляцкой крови
Замешана горькая доля —
К родному народу не ведать любви
И волю встречать как неволю.
Убитое слово из гроба встает,
Смелее раскройте объятья!
Пусть мова очнется
и вечно живет.
…А душу мою закопайте[1].

Стихи выстраданные, но никак нельзя одобрить последний жест поэта, душу надо беречь, ведь она частичка души мировой…

Завещанная Гоголем и Блоком «тема о России» очень популярна среди современных русскоязычных поэтов Беларуси.

Вот, например, стихи Н. Наместникова, обращенные к России и вынуждающие вспомнить незабвенного Салтыкова-Щедрина:

Посеян на крови,
взошел на трупах
и осиян мерцаньем кумача…
Я узнаю тебя,
мой город Глупов,
по выщербленным стенам кирпича.
По дворничихам,
бьющим лед ломами,
фуражкам серым
и — не обессудь —
заборам с непотребными словами,
в которых этой жизни соль и суть[2].

Россия видится поэту в свете ее исторических особенностей и недостатков, сложного настоящего и непредсказуемого будущего. Чувствуется усталость по поводу ее нынешнего положения. Драматические судьбы России, по мысли автора, во многом обусловлены ее собственными наклонностями.

Сосредоточены на судьбах России Анатолий Беспертных, А. Тропин, А. Павловская, А. Геращенко…

---

[1] Современная русская поэзия Беларуси… С. 195.
[2] Там же. С. 117.

Некоторые поэты считают, что у них несколько «родин». Л. Турбина говорит: «Да, у меня две Родины… Где прожил жизнь — там Родина. Я прожила ее в Беларуси. А в Москве жила до моих трех лет, пока в ноябре 1945-го родители не переехали в Ленинград»[1].

Национальная идентичность — вопрос далеко не праздный, он волнует поэтов, но следует признать, что определить национальный характер русскоязычной поэзии Беларуси далеко не просто.

С национальной, так сказать, точки зрения интересно стихотворение талантливой поэтессы А. Черной «Вместо биографии»:

Над моей судьбою с минарета
Прокричал молитву муэдзин
В час, когда по холоду рассвета
Шли, толкуя о судьбе поэта,
Габдула Тукай и Насреддин.
Но поверх тиснения Корана,
Что учило древнему —
«рахмат»,
Ужасом блокадного тумана
Праздник Уразы и Рамазана
Отодвинул синий Ленинград.
А судьбе того казалось мало:
Укоряла — медленно плетусь
К встрече,
что фатально предстояла
С таинством названья
— Беларусь.

Центробежные силы уравниваются центростремительными. Порознь в литературном мире неуютно. В конце 90-х годов прошлого века появилось понятие «минская школа» и одноименная издательская серия. В 2009 году в этой серии вышел первый выпуск альманаха поэзии «Минская школа»[2], в котором напечатаны стихи М. Гончарова, А. Жданова, Е. Казанцевой, И. Поглазова, Д. Строцева, А. Круппа, Я. Ананко, В. Кудревича, Т. Светашевой и др. «Минская поэтическая школа, — поясняет Д. Строцев, — это опыт очаговой нонконформистской культуры, опыт драматического самостояния художника в кривозеркалье, опыт фатальной невстречи автора и аудитории. Представителей Минской школы объединяет не групповая солидарность, не концептуальная общность, а тождество социального, культурного и экзистенциального опыта.

Незнание о существовании предшественников и современников рождает особый минский культурный феномен — чувство «незанятого» пространства, восторг первопроходства и упоенное освоение диких территорий»[3]. Д. Строцев прав в том, что поэты «минской школы» очень разные, непохожие, — это естественно, так ведь и должно быть. Поэзия — это само многообразие. «Я» у каждого поэта выявляется по-разному. Здесь имеют значение неповторимость личности, мировоззрение, психологический склад, проблематика, художническая смелость, мастерство и эстетический вкус. Поэты «минской школы» чувствуют себя достаточно раскованно, стремятся разговаривать со своим читателем именно на языке поэзии. «Минская школа» креативна, ее волнует вопрос самоидентификации, она сама себя создает — и это ее право. У молодой поэтессы Т. Светашевой есть как раз стихи на эту тему:

Объявляю себя
создателем минского мифа!
Город — мир,
город — миф,

---

[1] Материалы творческих встреч с писателями. Вып. 2. С. 180.
[2] Минская школа: Альманах поэзии. Выпуск 1. Мн.: «Новые мехи», 2009.
[3] Там же. С. 124.

ничего для тебя не жалею!
Мою юность — возьми —
пусть горит на твоих аллеях!
Я тебя не предам,
Проживаю свою невечность
Золотистым, живым
Муравьем на твоем предплечье[1].

В «минской школе» есть поэты интересные, значительные. В 1991 году появился первый сборник стихов и песен Е. Казанцевой «Вечер городской», в котором автор представила свои жизненные наблюдения и социально-бытовую реальность, ее окружавшую.

Поэтесса обращается к становлению чувства, к такому состоянию души, которое обещает рождение некого нового качества. От песни к песне, от стиха к стиху росло ее мастерство, расширялись возможности ассоциативного мышления, обострялось чувство формы. Поэзия 90-х годов активно взаимодействует с прозой и драматургией. Возникают такие явления, как «лиризация литературы», «прозаизация поэзии», «драматизация лирики», что ведет к возникновению новых эстетических качеств, связанных с усилением процесса индивидуализации поэтического переживания. Критика в это время не раз отмечала, что во многом изменилась сущность поэтического, тайна поэтического феномена, в котором под воздействием социально-мировоззренческих и духовно-эстетических факторов выразительнее стала ощущаться необходимость опоры на изначальное, вечное, потребность в сближении с «прозой» жизни, стремление к постижению ее сложности, утверждению в чувствах и переживаниях современника общечеловеческого начала.

Эти тенденции в немалой степени воплотились в поэтическом творчестве Елены Казанцевой (род. в 1956), которая начинала в жанре авторской песни. У нее не встретите стихов звучно-публицистического характера. На первом плане — человеческое, интимно-человеческое начало, наполненное пульсацией жизни, ее драматизмом, ощущением того, что сладкое и горькое одно без другого не существуют.

После долгих раздумий Л. Н. Толстой сказал: «Индивидуальность — это искренность. Если будете искренни, то всегда будете индивидуальны». Абсолютная искренность — мечта поэта, но она, как и абсолютная истина, недостижима. И все же! Искренность и задушевность — первичные черты поэзии Е. Казанцевой, ее личного самовыражения, стремления к эмоциональной правдивости. Ее творчество отличается очень личным характером, и это — его достоинство. Она не скрывает, что стихия повседневности имеет большую власть над ее героиней, создает определенный шарм.

Ты помнишь, пограничник, — было лето.
И ты домой тогда ходил пешком.
А я, горячим солнышком согрета,
в «Кулинарию» шла за пирожком.

И наволочки — белые, льняные —
висели на веревке во дворе.
И бегали машины заводные
на радость бестолковой детворе.

И в платье из дешевого поплина
я ночью выходила на балкон:
пила вино болгарского разлива, —
и больше не жалела ни о чем[2]…

---

[1] Минская школа. Выпуск 1… С. 115.
[2] Там же. С. 28.

* * *

Способность удивляться, несомненно, является добродетелью поэта, однако этим дело не должно заканчиваться, с этого-то все начинается. Поэзия не может удовлетвориться одним обаянием непосредственности. За эмпирическим освоением новых явлений возникают новые горизонты и стремления, стремления поэтов постичь сущность того, что происходит, сущность современных проблем и конфликтов. Выше речь шла о требованиях Уистена Хью Одена к литературному критику, рассматривающему творчество поэта. В развитие этих требований английского поэта хотелось бы напомнить и об обязанности критика (кроме вопросов местного, так сказать, характера) проявлять интерес к отражению в этом творчестве общих основ бытия, духовной и биологической природы человека, его экзистенции, значительности и ценности накопленного опыта. Сегодня это особенно важно. Обращаясь к сложным проблемам, волнующим современников, поэзия осмысливает жизненный материал на новой, более широкой идейно-философской основе. Пример такого поэта — Константин Михеев. В своих исканиях он — противоположность Е. Казанцевой. В его поэзии совмещаются эпохи и пространства, его не устраивает «средняя норма» бытия. Лирический герой К. Михеева отличается интенсивной внутренней жизнью, пристальным вниманием к ходу истории и человеческому поведению. Напряженный духовный поиск поэта породил беспокойные «Январские стансы», обращенные к современникам и человеку вообще, к его месту в мире, предназначению и судьбе.

Кто же мы? В тихом затишье дремлющие тростники?
Слезы на Божьей ладони? В ангельских дланях клинки?

Счастье — лишь звон подковы. Горе — лишь горсть земли.
Прожили мы бестолково, прожили как могли.

Ах, нищета изобилья вкупе с обильем тщеты.
Мы никого не любили, кроме своей пустоты.

Как желобки в пенале школьники в час перемен,
праздно ее заполняли взятым взаймы и взамен.

Воины мертвых ратей, хмель на чужом пиру
всюду пришлись мы некстати, всюду не ко двору.

И недаром, как видно, коли Бог весть почему
ныне бредем мы с повинной — неизвестно к кому.

Вечный судья нашим ссорам, сжавший бразды судьбы,
взором сверкнет — и сором выметет нас из избы[1].

Поэт ориентировался на высокий слог. Вспоминается Ф. Тютчев:

Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей метет…[2]

Поэты-философы покоряют пространство и время. Предмет поэзии К. Михеева — весь мир со всем, что его составляет, с началом и концом времен, и личность при этом выступает как своеобразное средство поэтического выражения действительности. Мысль поэта парит настолько высоко, что обильный поток современной действительности не особенно его интересует. Привлекает другое. Поэт стремится к универсальному постижению человеческого опыта, к историческим ассоциациям. Но, конечно, глубинная, «гелиоцентрическая» сила

[1] Современная русская поэзия Беларуси… С. 109.
[2] Тютчев Ф. Стихотворения, письма. М., 1957. С. 97.

притяжения, исходящая от современности, остается и, как можно убедиться, действует.

К. Михеев — этого у него не отнимешь — умеет вжиться в историческую эпоху, событие, личность, по-новому раскрыть их сущность, дать оценку с современных позиций. Для его мышления характерны семантическая уплотненность и неоднозначность. Поэтическое мышление у него строится по законам квантовой физики, согласно которой наблюдатель (поэт) не может быть изолирован от объекта и видеть только некую объективную истину. Он не объективную истину видит, а своим наблюдением, восприятием изменяет ее, создает свой объект. Глубокое впечатление оставляет в этом смысле стихотворение «Велимир», посвященное русскому поэту начала XX в. Велимиру Хлебникову.

* * *

Как рождаются стихи? Прежде всего из чувства удивления перед красотой мира, из ощущения, что человеческая жизнь — это счастье, подарок судьбы! Эта мысль, нам кажется, всегда питала поэзию Любови Турбиной (род. в 1942). «Поэзия Л. Турбиной, — писал о ней Иван Шамякин, — это исповедь тонко чувствующей и остро воспринимающей действительность женщины, для которой любовь — внутренний стержень миропредставления. Ее стихи и энергичны, и свежи. Автор, как можно почувствовать по стихам, добрый и совестливый человек, не снимающий с себя ответственность за все ошибки и просчеты пройденных лет, охраняющий память семьи и предков, с Богом в душе»[1]. В середине 80-х годов Л. Турбина написала стихотворение «Покаяние»:

Все это помнила подробно:
Что головы нельзя поднять,
И вместо близких самых бревна
Оплакивать и обнимать.

Не щепки в сторону — опилки
Текут беззвучно, в никуда…
И милость принятой посылки
Мне изъявлялась. Но когда?

До моего рожденья, где-то
Давно, за два десятка лет,
И мой, по лживому навету,
Был молодым расстрелян лед.

И знак беды к нам в хромосомы
Внедрился — вынырнул со дна:
С прищуром, пристально, знакомо
Взглянул с экрана сатана.

И тьма гнездится в сердце — где мы?
Навеки выжжено клеймо:
Коснулась вслух запретной темы —
И взгляд с прищуром — из трюмо.

События, картину эпохи автор, вслед за кинофильмом Т. Абуладзе «Покаяние», переводит на язык своих субъективных переживаний и добивается убедительных результатов. В стихах отражается драматизм внутреннего состояния лирической героини, психологическая напряженность, стремление сказать что-то важное.

Значительное место в ее поэзии занимает интимная тема, тема любви.

[1] Турбина Л. Наша надежда жива, если плачем. — Мн., 1991. С. 42.

В остальном лирическое «я» автора высвечивается недостаточно. Не хватает событийности, даже того, что иногда пренебрежительно называется бытом, «бытовухой», ежедневной рутиной. Часто имеет место рефлексия, не выходящая, однако, из берегов вполне здравого смысла.

* * *

Рассматриваемые нами поэты очень разные, и причисление их всех к «минской школе» выглядит довольно условным, но в таком причислении, «прописке» есть свой смысл. Все-таки они «минские». Это помогает понять почву, на которой они «произросли» и которая их в какой-то степени объединяет.

* * *

Представление об Ю. Сапожкове (род. в 1940) как о поэте дает сборник его стихов «Точка невозврата» (Мн., 2006), в котором автор делится своими жизненными наблюдениями и мыслями, согретыми неравнодушным отношением к человеческому бытию. «Стихи Юрия Сапожкова, — пишет о нем критик В. Маслюков, — стихи по нежности своей романтичные.., безбоязненно распахнутые, как распахнуто в сад окно, — стихи Сапожкова беззащитны. Как беззащитно вообще все искреннее и чистое. Не утвержденные общественным мнением, не оприходованные славой, они выходят в свет не только без брони, но, кажется, даже без одежд. Нагие»[1]. С этими (пусть и метафорическими) суждениями критика хотелось бы поспорить. Стихи Ю. Сапожкова вполне способны за себя постоять, не так уж они и беззащитны. Наоборот, они достаточно содержательны и отличаются завидной художественной отделкой. Они продуманны. Лирический герой поэта находится, как он сам себя осознает, между прожитым, к которому нет возврата, и будущим, тревожащим своей неизвестностью. Вот стихотворение «Точка невозврата»:

Уйти от старых берегов,
Как уходил уже когда-то…
Есть в обиходе моряков
Понятье — точка невозврата.

Теперь уже в последний раз!
Что впереди — успех, утрата?
Есть в жизни каждого из нас
Такая точка невозврата.

И, как ни медли, предстоит
Тебе решить — что ложь, что свято,
Расслышать, что душа велит
Пред этой точкой невозврата.

Когда назад уже не сметь,
И время надвое разъято,
И что-то гонит, как на смерть,
Тебя за точку невозврата[2].

Ю. Сапожков — сторонник философского нарратива. В большинстве своих стихов он выступает как рассказчик, как интересный собеседник. Портрет этого рассказчика — лирического героя поэта виден в стихотворении «Утреннее»:

---

[1] Маслюков В. Время и слово // В кн.: Сапожков Ю. Точка невозврата: Стихи. — Мн., 2006. С. 4.

[2] Сапожков Ю. Точка невозврата: Стихи. — Мн., 2006. С. 14.

Не жди, когда твои суставы
Вдруг, как составы, затрещат.
Пока на старость нет управы,
Есть бег по десять верст подряд.
Спасайся жизненною тряской,
Проточною водой забот,
Не дай душе покрыться ряской —
Зеленой ржавчиной болот…[1]

Он умеет очень тонко соединить чисто описательные моменты (пейзажи, воспоминания о прошлом, наблюдения и т. п.) с философскими раздумьями, раскрытием внутреннего мира человека, его чувствами и переживаниями, радостями и неудачами, утратами. Глубокие, хотя и сдержанные, эмоции перебиваются простыми жизненными наблюдениями и подробностями, ощущением важности обычного и привычного. Но чаще всего Ю. Сапожков раздумывает о вечном: жизнь, смерть, любовь, грех, молодость, старость, память, природа, Бог и т. п. Успел перебрать, кажется, все темы мировой поэзии и нигде не ударил лицом в грязь, памятуя о том, что самая новая и самая оригинальная поэзия часто та, которая напоминает нам о старых истинах.

У поэта хорошее чувство юмора — это тоже не малое его достоинство. Он остроумен, в каждом стихотворении есть мысль, наблюдение. Лаконичные стихи Ю. Сапожкова напоминают мудрые, отточенные афоризмы:

Возраст беззащитен от любви.
Любовь защищает от возраста[2].

«Ум видит все со стороны. // Со стороны сердца», — это сказано поэтом как будто о себе самом.

В книге много лирических этюдов:

Был на Захарова фуршет,
Читал Камейша о богине,
А я все думал об Ирине
И почему ее все нет.
Красавиц было там немало —
Духи, наряды, камни, грим…
Но лишь она одна блистала
В тот день отсутствием своим.
Хотел и я при всем народе
Прочесть стихи на этот счет…
Когда к нам Женщина приходит,
Ее всегда недостает[3].

Такая простота с ее щедрой содержательностью приходит только со зрелым взглядом на жизнь.

Хотелось бы, чтобы поэт четче фокусировал взгляд на мир, углублял понимание его единства, при всем многообразии. Помнится, в «Дне поэзии», вышедшем в далеком 1972 г. в Москве, было помещено письмо А. Твардовского К. Ваншенкину в ответ на присланную им книгу стихов. В книге, писал Александр Трифонович, «просто нет плохих стихов, — в самом проходном стихотворении — то зоркость глаза, то мысль, то выражение, — что-нибудь да есть». И книжка в целом хорошая, говорит Твардовский, «хвалить ее будут с полным основанием», отмечая творческую продуктивность Ваншенкина, но, продолжает он далее, «я не нашел, чтобы эта продуктивность была в плане и духе какой-то генеральной думы, увлечения каким-нибудь чувством, задачей, поиском, — нет, всего понем-

[1] Сапожков Ю. Точка невозврата… С. 30.
[2] Там же. С. 178.
[3] Там же. С. 57.

ногу, но в основном та же очень приятная (пока что!) любовь ко всем житейским цветам и оттенкам, готовность откликнуться на все, что идет в душу: на снег, на дождь, на прочитанную книгу, прослушанную песенку, замеченную подробность той или иной картины, — и откликнуться хорошо, выразительно, однако уже, простите мне, с некоторой набитостью руки в малых секретах творчества»[1].

Вероятно, есть смысл и Ю. Сапожкову подумать над этим замечанием А. Твардовского.

* * *

Марина Куновская (род. в 1969) — поэтесса, журналист, переводчик. Она показала, что способна на свое, незаемное слово, которое пришло из жизни. Это тот случай, когда в поэте живет журналист, социолог, пытливо всматривающийся в окружающее, умеющий наблюдать, думать и делать выводы. М. Куновская хочет осмыслить мир, в котором живет и о котором, перефразируя Ленина, можно сказать, что все перевернулось и не спешит «укладываться». Она избегает непосредственного самовыражения — писать о себе. Большинство ее стихотворений имеют посвящения: «Хорошим девчонкам из глубинки», «Оптимистам», «Романтикам революции», «Классным дамам», «Девственникам», «Подругам из кружка английского», «Поклонникам русской литературы», «Вечным студентам», «Ударникам труда», «Долгожителям», «Народным писателям», «Комиссии по национальному вопросу» и т. д., и т. п.

Жизнь в стихах М. Куновской предстает бесконечно многообразной, сложной и изменчивой. Иногда это карнавал различных персонажей, типов и ситуаций. Кризис духовности видится автору в измельчании человека, в поглощении его толпой, в нигилистическом отношении к прошлому и внутреннем разладе.

* * *

К сугубо традиционным поэтам, но достаточно оригинальным, можно отнести Елену Кошкину.

Как мало в мире общих добрых мест.
Давай умножим их, пока мы есть.
Пусть что-нибудь затеплится в пыли
На улице, которой мы прошли.

Пусть что-нибудь окажется длинней
Недлинных улиц и недолгих дней…[2]

В 2002 г. в минском издательстве «Новые мехи» в серии «Минская школа» вышла книга стихов Елены Кошкиной «На грани исчезновения». Установка поэтэссы — на внутреннее самовыражение, на камерность. В ее стихах вы, может быть, не найдете бытийного многообразия жизни и человеческих отношений, но состояние женской души она передает. «Для кого пишет Елена Кошкина? — спрашивает автор предисловия и дает ответ: — Уверен: для себя самой…»[3] Стихи, однако, показывают, что это не так, что поэтесса совсем не безразлична к тому, что переживают люди.

Гладкость, напевность, закругленность — фирменные черты ее поэтического стиля, но в подтексте ощутим драматизм. Поэтесса, кажется, догадывается, что

[1] Ваншенкин К. Письмо Твардовского. — День поэзии. 1972. — М., 1972. С. 217—218.
[2] Кошкина Е. На грани исчезновения: Стихи. — Мн., 2002. С. 41.
[3] Там же. С. 3.

в современном обществе имеет место непримиримая и жестокая война всех против всех. В одном из интервью Е. Кошкина говорила, что «поэзия — это искусство примирения с жизнью. Это очень трудно. Это очень важно. Это не значит примириться и приспособиться к подлости, несправедливости, ко всей черной стороне жизни, а это значит — стараться сохранить мир и не утратить терпения, терпимости, умения прощать, пытаться делать хоть что-нибудь в ближайшем от тебя жизненном пространстве лучше, добрее, справедливее, не жалуясь по возможности и не бунтуя бессмысленно»[1].

Господствующая тема лирики Е. Кошкиной — тема любви, одиночества, которое она стремится преодолеть, хотя, судя по стихам, это ей плохо удается. Любовь, дружба, верность, честность и т. п. — несомненные жизненные ценности ее лирической героини. Она владеет даром преисполняться «неизреченными чувствами», как выразился когда-то один из русских поэтов в эмиграции, даром устремленности в мечту, грезу, в нечто почти трансцендентное.

Поэтесса умеет сопереживать, она не боится признаться в своей слабости и малости, но она верит в человека. Вера, надежда, любовь, милосердие — это выстраданное, это ее ориентиры в современном мире. Стихи Е. Кошкиной — и это их достоинство — из высоких «эмпирей», от абстракций, способны опускаться на грешную землю, сливаться с ее поэзией, с женским началом, несущим облагораживающее, умиротворяющее влияние. Во многом это типично женская поэзия, при этом достаточно содержательная и несомненная. Одно из лучших стихотворений — «Музыка».

Она подхватит на крылья жизнь,
Озвучит и охранит.
Она говорит с тобою, когда
Никто не говорит…

Ты поймешь, что все звучит на земле,
Окликает тебя, зовет.
И если это слышит душа —
Значит, она живет[2].

Поэтесса убеждена в своем праве на выражение очень личных чувств, уверена в их ценности, в том, что они не противоречат стремлению «говорить с небом». Поэзия стала для нее родом терапии, которая позволяет и помогает автору избавляться от собственных страхов и обид. Ведь мир прекрасен: яркий свет солнца, таинственная глубина неба, окружающая природа, пейзажи, летние утра и вечера…

* * *

Серьезная литература, поэзия обязательно должны решать принципиальные вопросы бытия человека в данной стране, вопросы его бытия здесь и сейчас. Минских русскоязычных поэтов в немалой степени занимает человек, его внутренний мир, отношение к жизни, и в этом смысле поэзию можно назвать эстетическим человековедением. Окружающий мир рассматривается как поле действия человека, его становления, как среда, во взаимодействии с которой он вырабатывает имманентные черты своего характера и поведения. Характер — это психические особенности, нрав человека, его нравственные свойства и качества, свойства души и сердца. Характер, как и судьбу, изменить трудно, а может, как утверждают некоторые психологи, и вовсе нельзя. Характер связан с личностью человека, участвует в ее формировании, влияет на ментальные установки.

---

[1] Там же. Выпуск 2. — Мн., 2009. С. 66.
[2] Кошкина Е. На грани исчезновения… С. 48—49.

Ментальные установки — это значит представления о мире, судьбе, жизни и смерти, гражданском долге, достоинстве и правах и т. п. — осваиваются человеком по мере того, как он участвует в социальной жизни общества и незаметно для себя впитывает, вбирает в себя его коллективный опыт, нормы поведения, духовные и нравственные архетипы и образцы. Все это остается в исторической памяти, представляющей собой своеобразный хронотоп прожитого и пережитого — единство и связность пространственных и темпоральных аспектов мировосприятия, получающих в поэзии свой духовно-эстетический эквивалент.

«Клоун» — так называется книга стихов Б. Нормана, изданная в Минске в 2003 г. Это, скорее всего, поэт-любитель, но поэт. Его стихи отличаются некоторой рассудочностью, однако есть среди них, несомненно, удачные.

В 2011 году увидела свет книга (кажется, первая) стихов В. Бестолкова под названием «Тридцать семь». Тридцать семь, в данном случае — это возраст автора, по роду занятий он предприниматель, из числа тех, кого называют «средним классом». О себе он рассказывает (в стихотворении «Себе посвящаю»):

Меня достаток в сон не уволок.
Я яростно гоню долой дремоту.
Но вынужден признать, пока не смог
Сформировать, создать, построить что-то.

Я не донес до разума людей
Крамольные свои слова и фразы.
Я не озвучил собственных идей
В противовес политикам ни разу.

Я не открыл им своего лица.
Не воплотился Гамлетом на сцене.
Хотя имею тот же дух бойца,
Но обречен не выходить из тени.

Чего еще не создал, не достиг:
Вполне посильных рубежей карьеры,
Научных знаний многих не постиг,
Как и в религии познаний веры.

Зажат в пределах собственной души,
Зашитой в твердой оболочке тела,
Мечтающей о подвигах больших
И о масштабах собственного дела…[1]

Чем не портрет нашего современника? И портрет, на наш взгляд, во многом типический, а главное — искренний. Видно, что это человек беспокойный, ищущий, многое в жизни повидавший и познавший, но отдающий себе отчет в том, что еще далеко не все. И что еще хочется заметить: это человек колеблющийся. Отсюда в некотором роде рассудочно-размягченный характер некоторых стихов, которым не хватает упругости и мускулистости, мешают длинноты. По крайней мере, В. Бестолкову есть над чем работать.

Современная поэзия обращена к сознанию личности. Вместе со всей литературой она берет на себя значительную часть той очистительной работы в сфере духовной жизни, в которой имеет потребность общество. Современные поэты стремятся сохранить настроенность на поиск, напряженно всматриваются в облик современника, ищут совестливого героя.

В человеческой душе всегда сосуществовали два начала: сердце и разум. Об этом еще раз напоминает русскоязычная поэзия Изяслава Котлярова, живущего в Светлогорске Гомельской области. О себе он говорит:

[1] Бестолков В. Тридцать семь: стихи. — Мн., 2011. С. 94.

В этом нет никакого резона —
делать общим свой собственный век.
И живу я от всех отстраненно,
ибо каждый — себе человек.

И живу-то я как-то подспудно
здесь, где свет к нам приходит из тьмы,
где еще до сих пор почему-то
«я» мое не вмещается в «мы»[1].

Есть у него и лучшие, и худшие стихи, а есть просто отличные, движимые искренним желанием автора заставить человека поверить в себя, в свои силы, гармонизировать окружающий мир, открыть его красоту. Поэзия И. Котлярова направлена на расширение житейского опыта человека, ориентирует его на самоусовершенствование.

Поэзия, особенно лирическая, требует, как известно, чтобы поэт оставался самим собой, чтобы в стихах выявлялась его истинная сущность. И. Котляров к этому как раз и стремится. Слово у него имеет собственную глубину и наполненность, свой смысл и тайну. В известной «Теории литературы» Р. Уэллека и О. Уоррена отмечается, что «есть поэты объективные и субъективные. Первые, как Китс и Т. С. Элиот, утверждают способность поэта «устраниться», вместить в себе и выразить мир, отказавшись в чем-то от собственной индивидуальности; другие, наоборот, стремятся всячески выдвинуть свою индивидуальность, дать автопортрет, их увлекают исповедь, самовыражение»[2].

Духовная, лирическая, психологическая насыщенность в одном и другом случае разная. И. Котляров относится ко второму типу поэтов. Его герой не человек-борец, не общественный деятель, не аналитик — главный акцент поэт делает на рефлексию, на исповедальность и чувство. Душевную опору он находит в поэзии, содействующей росту и развитию мировоззрения, пониманию того, что окружает человека, что заслуживает его пристального внимания и вдумывания. Глаз поэта устремлен за поверхность вещей, за пределы чувственного, в духовное. В стихах И. Котлярова много рефлексии, есть отрешенность и даже мистика, но не это, на наш взгляд, главное. Главное, мысль поэта, что жизнь — это не ремесло и даже не работа, взятые сами по себе, а словно бы подарок сверху, подарок неба. Цель жизни — в самой жизни, в ее каждодневном течении.

Талант поэта-философа, каким можно считать И. Котлярова, редок, потому что для этого мало только эмоционального ощущения жизни, необходима зрелость мировоззрения и жизненная мудрость. У И. Котлярова все это есть, и это плодотворная основа для творческого поиска.

* * *

Общая черта современной белорусской русскоязычной поэзии — незаангажированность. Хорошо это или плохо? Известный французский поэт Жак Кокто как-то по-фрондерски обронил: «Нет ничего вульгарнее, по моему разумению, чем произведения, которые тщатся что-то доказать»[3]. Броско сказано, но доказательство доказательству рознь. Поэтическое доказательство — образное, непринужденное, незаметное, если хотите, но зачастую именно оно доказывает присутствие поэта в мире и определяет движение его мысли.

Еще в 60-е гг., да и раньше, можно было наблюдать, как отстаивала свои позиции в поэзии философская мысль, независимая от установленной идеологической догматики, во многих случаях защищавшая общечеловеческие моральные и духовные ценности. Эта традиция жива и сегодня. Современная поэзия учится

---

[1] Дзень паэзіі 2005. — Мн., 2005. С. 101.
[2] Уэллек Р. и Уоррен О. Теория литературы. — М.: Прогресс, 1978. С. 92.
[3] Кокто Ж. Орфей // Кокто Ж. Тяжесть бытия. — СПб.: Азбука-классика, 2003. С. 145.

думать, думать самостоятельно, и это можно считать многообещающей тенденцией развития в ней философского начала, отмеченного жаждой познания, неубывающей энергией творчества. Этими чертами, нам кажется, отмечены стихи близкого М. Богдановичу русскоязычного Р. Лапушина. Эмоциональность его отношения к миру, ощущение времени имеют несомненную философскую основу:

Мне повезло. Я жил в ту пору,
Когда еще цвели деревья,
Когда в распахнутый апрель
Из школы дети выбегали,
И воздух вздрагивал от счастья,
И дождь траву в расщелинах будил,
И слез еще хватало, чтобы плакать
О каждом, кто из жизни уходил[1].

Выдающийся гуманист XX в. Альберт Швейцер утверждал, что обычное, простое раздумье о смысле жизни уже само по себе имеет ценность. Это подтверждают современные поэты.

Женщина навстречу шла и шла
Вне забот, столетий, предрассудков.
Нет в календарях того числа,
Времени на циферблатах суток!

Жаркий полдень. Деревянный мост
Над речушкой мелкой, безымянной,
И предупреждающее ос
Сонное гуденье, запах мяты.

Продолженье. Осень принесла
Листья со стихами ветров дальних.
Нет прекрасней мига и печальней —
Женщина навстречу шла и шла[2].

Мысль автора этих стихов поэта-барда М. Мермана устремлена в вечное, невыразимое, в бытийные основы и истоки пребывания человека на земле.

Проницательные мудрецы, писатели разных времен стремились вглядеться в человека, захваченного сильнейшим эмоциональным порывом, войти в мир тончайших душевных переживаний, распознать в них тайны жизни, суть вещей, суть мира, суть человеческих отношений. Классик американской и мировой литературы XX в. У. Фолкнер считал, что истины «существуют не для того, чтобы их находить… Они даны для того только, чтобы некоторые хрупкие участники человеческого сообщества их постоянно искали». Думать о великом — удел и обязанность поэта, и хорошо, когда это диктуется любовью к жизни, человеку, красоте. Современная поэзия жива «предельным вопрошанием» — вопросами, обращенными к бытию, миру, человеку, всему сущему. Утверждая неподвластность жизни с ее стихийностью, бессознательностью, эмоциональностью, иррациональностью, абсурдностью рациональному измерению, она апеллирует к человеческому разуму, развивает интеллектуальный потенциал личности.

В Гомеле родился и жил писавший по-русски очень неординарный поэт Феликс Мыслицкий (1950—2009). В аннотации к книге его поэзии «Невыплаканный ветер» сказано: «Феликс Мыслицкий — поэт-лирик, его философское мышление в оригинальной словесной одежде подчас сюрреалистично. В стихах много подсознания, прозрений и загадочности. Слова звучат на фоне какого-то гула — это волны вечности»[3]. Ф. Мыслицкий оставил после себя стихи, в которых вечное и современное соединены в одном глубоком переживании:

---

[1] Лапушин Р. Между листьями и снегом. Лирика. Мн., 1993. С. 45.
[2] Мерман М. Возвратная частица… С. 30.
[3] Мыслицкий Ф. Невыплаканный ветер: Стихотворения и поэмы. — Мн., 2008. С. 2.

Напомнят Чернобыль, Гоморра, Содом
Еще раз народам о Боге,
Взорвется стоящий на бомбах их дом,
Обрушится Господу в ноги.

Чернобыльский Лот, сквозь печаль облаков
Не кровь ли сегодня сочится?
Стряхнуть бы нам пыль иорданских веков,
Отмыть бы от цезия лица…[1]

Чернобыльские стихи — наиболее впечатляющие страницы стихотворного наследия Ф. Мыслицкого, в них отразилось личное — «муки памяти» (В. Липатов).

Мировоззренческим фундаментом современной русскоязычной поэзии Беларуси больше всего являются неклассические философские концепции, «философия жизни», находящая свое воплощение в конкретных поэтических образах. «Философия жизни» у каждого философа своя. Это еще в большей степени относится к поэзии. Поэзия тоже личностная, непохожая. Личной печатью отмечено творчество М. Гончарова. М. Гончаров — поэт «минской школы», автор книги стихов «Серебряный шар» (2001). В его стихах, как и у Ф. Мыслицкого, много мотивов теологического характера. В той или иной форме поэт напоминает о «первых днях творения», о критическом отношении человека к самому себе, о необходимости целостного взгляда на мир.

В основе философской поэзии М. Гончарова лежит мысль-переживание. Его интересует сфера внутреннего в человеке, пространство души, пути реализации заложенного в человеке божественного потенциала. М. Гончаров в немалой степени подвержен рефлексии, то есть своему свойству (или способности) анализировать свой душевный мир и судить о нем. В то же время некоторыми гранями своего поэтического мышления он соприкасается с «культурологическим» мышлением К. Михеева.

Русскоязычная поэзия Беларуси — поэзия городская, ее больше интересует не первая, а вторая природа, «индустриальная», сотворенная человеком, но живы и традиции природоописательной лирики. Тема «человек и природа», лирика пейзажа имеют давние традиции в литературе. Не раз и не два именно с ними критика связывала понятие мелкотемья и бессодержательности. И напрасно. Дело — в самом поэте, во внутренней значительности его личности, в органической сращенности ее со своим временем, с его ведущими социальными силами и тенденциями. Да, в так называемой пейзажной поэзии всегда была опасность излишней описательности, холодно-спокойного созерцания. Современная поэзия, как и вся литература, требует активного подхода к жизненным явлениям.

В 2011 году в Минске вышел сборник стихов П. Голушко под названием «Шведский дневник, или Записки путешествующего поэта». В настоящее время поэт живет в эмиграции, в Швеции. То, что его окружает, — все для него новое, с которым соприкасается незабытое «старое». В результате и появляется философская «искра».

Поэт склонен возводить к философскому обобщению факты своей частной жизни. Поводом для философских размышлений стала, например, поездка в поезде, мелькающие за вагонным окном пейзажи.

Чувствуется, что лирический герой поэта находится в состоянии интенсивного переживания, отсюда фрагментарность, импрессионистичность восприятия им действительности, размышление выступает как поток сознания, не лишенный внутреннего драматизма.

* * *

Чтобы глубже понять поэта, необходимо выяснить его связь с традициями, устремленность в будущее, стилевой облик. Этот вопрос с необходимостью выясняет для себя прежде всего сам поэт.

---

[1] Там же. С. 102—103.

Самые глубинные традиции закреплены в поэтике, в родо-жанровой структуре произведения, ориентации поэтов на формы художественной выразительности стиха. В этом смысле в русской поэзии существовали и существуют две линии развития, две традиции: «гармоническая» и «негармоническая», или, соответственно, «пушкинская» и «державинская». В. Белинский писал о стихе Пушкина: «Античная пластика и строгая простота сочетались в нем с обаятельной игрою романтической рифмы; все акустическое богатство, вся сила русского языка явились в нем в удивительной полноте; он нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руке богатыря… Если б мы хотели охарактеризовать стих Пушкина одним словом, мы сказали бы, что это по превосходству поэтический, художественный, артистический стих, — этим разгадали бы тайну пафоса всей поэзии Пушкина…»

Критик, в сущности, дал характеристику не только пушкинскому стиху, но и «пушкинской» линии развития русской поэзии. Но была еще и другая традиция — «державинская», родоначальником которой является Державин и его наследники поэты-«любомудры» (С. Шевырев и др.). На эту традицию опирался Ф. Тютчев, затем И. Анненский, в XX в. она проявила себя в творчестве В. Маяковского, М. Цветаевой, в «экспрессивном косноязычии» футуристов. Для пушкинской линии, или стилевого направления, свойственна конкретно-эмоциональная образность, для державинской традиции — условно-ассоциативная. В современной русскоязычной поэзии Беларуси к этой традиции следовало бы, на наш взгляд, в первую очередь отнести Д. Строцева и Д. Плакса.

Д. Строцев родился в 1963 г. в Минске, по образованию архитектор. Стихи его собраны в книгах «38» (1990), «Виноград» (1997), «Остров Це» (2002), свидетельствующие, что автор не испытывает интереса к правдоподобным формам, предпочитая формы деформированные, утрированные. Подобных поэтов называют авангардистами. Авангардисты, как известно, считают себя носителями прогресса и борются с косной мещанской публикой во имя великого сияния будущего дня.

Первая книга Д. Строцева — «Лишние сутки», которую автор называет «роман в стихах». Немного странно, что поэт-авангардист обратился к этому старому, вышедшему из моды жанру, не дающему полностью раскрепоститься. Другое дело — стихи.

Критик Н. Чайка недавно писала: «Я бы сказала, что русское стихосложение со времен Пушкина не претерпело значительных изменений. И как бы мы ни сопротивлялись этому, все эксперименты в стихосложении завершались и продолжают завершаться возвратом к традиционному классическому стиху»[1]. Но это далеко не так! Сборник «38» Д. Строцева начинался такими «авангардными» стихами:

подумалось
а не написать стих
левой ногой
или другой ногой
правой
но чтобы стих был
корявый
без ритма
без какой-нибудь рифмы
да разве нуждаемся
воспарив мы
в каких-то там
формальностях[2].

Остроумен в этом плане и Д. Плакс (род. в 1971), что проявляется, например, в следующих строках:

[1] Белая вежа. 2011. № 2(4). С. 228.
[2] Строцев Д. «Тридцать восемь». Мн., 1990. С. 7.

Широкий читатель.
Узкий писатель.
Широкому не известен.
Узкому не интересен[1].

Иногда поэтов одолевает сниженная смысловая чувствительность, стихи, приобретая что-то в эстетическом облике, теряют смысловую чувствительность и превращаются подчас в загадки. Одолевает невнятица, заменяющая содержание. Ассоциативные сближения нередко выглядят слишком далекими. Говорить в связи с такими и им подобными стихами о каких-то определенных, сколько-нибудь очерченных гранях человеческого характера не приходится. Т. Светашева цитирует и комментирует Д. Строцева:

я хожу кругами за окном
за углом, кругами, за домами
что стоят напротив, за окном
я хожу кругами, размышляю
о высоком мире за окном

Здесь сквозное назойливое повторение способствует воплощению авторского замысла, созданию атмосферы кружения на месте»[2]. Но что из этого?

Исследователи (Т. А. Светашева и др.) отмечают в творчестве Д. Строцева «феномен игры». Целью такой игры, — пишет Т. А. Светашева, — является освобождение сознания от разного рода клише и стереотипов: идеологических, эстетических, языковых. Освобожденное сознание готово к активному изображению и восприятию мира и себя в нем»[3].

Игра — понятие серьезное, масштабное, можно сказать, космическое. «Вечность — играющее дитя», — утверждал Гераклит. Томас Манн отметил в одном из писем: «Было время, когда один великан Шиллер мог сказать: человек лишь тогда человек, когда он играет. В такие серьезные и трудные времена, как наше, это звучит формально, и все-таки я уверен, что та священная и освобождающая игра, которую называют искусством, всегда будет необходима человеку, чтобы он чувствовал себя действительно человеком»[4].

Но само по себе «игровое» сознание не гарантирует успех. Это в полной мере относится к поэзии, стихам.

Играй, так сказать, да не заигрывайся. Убедительно писал об этом, рассуждая о поэзии, А. Андреев: «Мастерство, игровая стихия — страшный соблазн поэта, вообще всякого творческого человека: это соблазн имитации. Ничто не губит так, как мастерство. Чем больше нарабатывается мастерства, тем меньше может быть поэта. Существует даже выражение (отчасти справедливое): унизиться до приема»[5].

Плохая для поэзии примета: непонятно, когда были написаны эти стихи — недавно или, скажем, в 20-е годы кем-нибудь из «крученых» футуристов. В отдельных случаях (у Д. Строцева) выручают посвящения определенным лицам — это, по всей видимости, наши современники. Излишне предаваясь игре, «дробной», как говорят белорусы, поэт удаляется от реальной действительности, боясь встречи с ней, стремится к безопасному текстуальному пространству, к так называемой гиперреальности.

В стихах Д. Плакса, впрочем, как и Д. Строцева, при наличии «игровых приемов», много рассудочности, не хватает органики. Такая поэзия не требует человека всерьез и целиком, а только частично, в искусственных положениях.

[1] Плакс Д. Дневник Сая Туомбли. — Санкт-Петербург—Минск, 2001.
[2] Минская школа: Альманах поэзии. Выпуск I. — Мн., 2009. С. 94.
[3] Русскоязычная литература Беларуси конца XX — начала XXI века. Сборник научных статей. Мн., 2010. С.
[4] Манн Т. Письма. М.: «Наука», 1975. С. 49.
[5] Андреев А. Осколки целого… поэзия… гармония // В кн.: Аврутин А. Наедине с молчанием. Мн., 2007. С. 10.

Художественное произведение, в том числе и стихи, предполагает какое-то напряжение чувства и мысли. Здесь его нет. Но, может быть, есть другое, может быть, они таким образом учат человека «терпеть самого себя»? Как раз к этому — «человек должен научиться терпеть самого себя»[1] — призывает немецкий философ-экзистенциалист Макс Шелер.

Впрочем, ни Д. Строцев, ни Д. Плакс, ни другие авангардисты не призывают читать свои стихи. И на этом, как говорится, спасибо. Проза Д. Строцева представляется мне более интересной. Это — очерки «Кавказ радости», составленные из целого ряда занятных историй, возникших в путешествиях по Кавказу.

* * *

Поэзия всегда существовала наперекор всему. Существует и в наше непростое время, когда приземленные, утилитарные интересы людей с очевидностью преобладают над интересами духовного порядка, отодвинули их на задний план. Однако, как это ни удивительно, человек, несмотря ни на что, не перестал, не разучился воспринимать красоту, удивляться новизне, волноваться, радоваться и грустить, находясь в постоянных связях с жизнью, ее многообразной повседневностью, неостановимым ходом и развитием.

Современность — это то, чего мы еще не знаем, не освоили, не изучили. Это — поток жизни, «поток действительности», как сказал один критик. Настоящая поэзия — это слово, обращенное к современнику, открывающее ему новое видение мира и самого себя. Поэта не может не интересовать новое, то, чем живут люди, чем живет он сам.

Человек сегодня в опасности. Научно-технический прогресс продолжает оказывать заметное влияние на рациональные начала человеческой жизнедеятельности, на профессионально-общественную ориентацию личности и создавать опасность, условно говоря, голого интеллекта, явного перевеса прагматических мотивов над духовно-нравственными. Происходит дегуманизация человека, а вместе с ним и дегуманизация литературы, выражающаяся в разных формах. Продолжается процесс автономизации человеческой личности, что ведет к отдалению индивида от общества, утрате коммуникабельности и одиночеству. Это — с одной стороны. С другой — человек сегодня часто живет только необходимостью приспособиться к обстоятельствам, модой, которая регламентирует его внешний облик, поведение, вкус.

Современная русскоязычная поэзия Беларуси — явление, но оно мало известно современникам. Самого определения «русскоязычный», на наш взгляд, достаточно: «условие» — поэтическая речь на русском языке. Сегодня многие деятели литературы и искусства повернулись в сторону постмодернизма. Постмодернизм не враг национальному, но и не большой приятель: как художественно-интеллектуальное направление он устремлен в сторону глобализации современной культуры. Русскоязычных поэтов Беларуси беспокоит вопрос о самоидентификации. Поэт вправе отстаивать право на самого себя, на самовыражение. Современный русскоязычный прозаик Беларуси Геннадий Гриневич вспоминает: «Писать я начал тогда, когда появилось о чем писать, то есть когда было хоть и мало прожито, но много пережито и, главное, понятно, что мой жизненный опыт, впрочем, как и всякий другой, уникален и может быть для кого-то забавен и любопытен»[2]. Мысль верная. В писательских признаниях и открытиях мы ищем ответы на важнейшие вопросы современности, хотим ощутить ее на вкус, понять, какая она и какой должна быть. Поэзия — спутница времени, взаимосвязь реального и идеального. Снова возникает необходимость в художнике, поэте, который

---

[1] Проблемы человека в западной философии: Переводы. М., 1988. С. 75.
[2] Материалы творческих встреч с писателями. Вып. 2. С. 163.

бы сам был воплощением идеала, собой, из своих слов и дел создавая феномен духовного благородства, который бы перерастал рамки литературной фикции и становился магнетическим центром самой действительности (как, скажем, Лев Толстой). Поэт — хранитель и создатель духовных ценностей. Таким хочет видеть его общество.

Современная поэзия почувствовала тягу к вечным вопросам человеческой экзистенции, она пытается решить, какое поведение человека способно сохранить его самого. У нас сегодня очень популярен итальянский философ, культуролог, литературовед, романист, исследователь ключевых, «бытийных» особенностей человеческого опыта Умберто Эко. Он писал: «Сегодня мы требуем от поэзии, а часто и от прозы, не только выражения чувств, рассказа о действии или нравственного урока, но также и символических озарений, бледного эрзаца истины, которую мы более не требуем от религии». Религия как бы уже ничего нового сказать не может, повторяет самое себя, а поэзия — это живое творчество человека, неостановимая пульсация мысли и чувства. Но настоящая поэзия, конечно, имеет потребность в диалоге с Небом, она не может не верить в Высшую силу.

В стихах белорусских русскоязычных авторов много поэтического искусства, умения, мастерства, и это хорошо. Русскоязычная поэзия Беларуси (впрочем, как и проза, драматургия, и иные жанры) в целом развивается успешно. Она, кстати сказать, по-прежнему испытывает большое влияние русской поэзии Серебряного века (А. Аврутин и др.).

Теперь несколько слов о недостатках. Слабость многих произведений русскоязычной (впрочем, как и белорусской) поэзии последних двух десятилетий в том, что их авторы часто только созерцают и описывают жизнь, а не оценивают ее на основе высших человеческих ценностей. Результат всего этого — упадок нравственной активности поэзии, отсутствие этического момента как составной части эстетического переживания. Вряд ли, на наш взгляд, о русскоязычной поэзии Беларуси можно сказать, что в ней в достаточной полноте отразилось то, о чем мы говорили выше, — самобытность и состоятельность России, судьбы русского народа. Исключением здесь может быть разве что творчество только некоторых поэтов — А. Жданова, В. Блаженного, А. Аврутина…

Современная русская поэзия Беларуси в значительной своей части характеризуется герметической интеллектуальностью, поисками внутри самой поэтической структуры, внутри языка. Белорусская русскоязычная поэзия более традиционна, архаична в позитивном смысле этого слова.

Еще раз напомним, что нельзя мириться с игнорированием социального содержания искусства. В книге П. Голушко «Шведский дневник, или Записки путешествующего поэта» встречаем такие довольно наивные строки:

> «Поэт этим произведением хотел сказать…»
> Да я под Оффенбаха канкан станцую в гробу, если подобная
> фраза когда-нибудь прозвучит над моими стихами…
> Может быть, я сам никогда не узнаю, что хотел написать,
> перебирая клавиши…[1]

Воспринимается это не более чем поэтическое кокетство, потому что даже этими своими воинственными строчками поэт уже сказал о том, о чем хотел: о своей кажущейся, иллюзорной независимости.

Русскоязычная поэзия Беларуси, на наш взгляд, нуждается в более тесных связях с жизнью. Современная русскоязычная поэзия Беларуси нередко оставляет впечатление книжности, инфантильности в вопросах общественной жизни, в которую она включена явно недостаточно. Ее, к сожалению, мало интересуют заботы белорусского возрождения — язык, история, литература, своеобразие

---

[1] Голушко П. Шведский дневник, или Записки путешествующего поэта… С. 46.

края в целом. Живя в Беларуси, многие всего этого, что называется, в упор не замечают. Может быть, поэтому не замечают во многих случаях и саму русскоязычную поэзию. Русскоязычная поэзия Беларуси на протяжении десятилетий воспринималась зачастую как маргинальное явление русской культуры, слабо связанное с культурой белорусской. В белорусской поэзии, в том числе и в современной, можно провести довольно убедительную стилевую дифференциацию, в русскоязычной поэзии Беларуси это, на наш взгляд, сделать затруднительно. Талантов же, интересных творческих личностей здесь немало. Ни у кого нет ключей от нового Сезама, который бы отворился по первому требованию поэта, пусть даже и самого талантливого.

Сегодня все очевиднее становится, что в искусстве никто не владеет готовыми ответами, что ответы надо искать самому. Поэты все более убеждаются, что «все впереди» и процесс познания действительности бесконечен. Они не ограничиваются, как иногда случалось раньше, внешней констатацией известных и часто бесспорных положений, а стремятся исследовать их глубже и всесторонне, увлекая за собой и читателя.

Их по-прежнему интересует сущность вещей, сущность мира, сущность человеческих чувств. Ими руководит необходимость, обостренная временем до болезненности, отыскать истину, неотделимую от высокой нравственности и красоты, подняться до поэтического озарения. Они по-прежнему верят, что поэзия врачует людские души.

ВАСИЛИЙ КИСЕЛЕВ

В самое трудное время

Партизанская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны

С первых дней войны для советских войск в Белоруссии сложилась очень трудная обстановка. Нацистское командование бросило на московское направление через Белоруссию самую мощную военную группировку — группу армий «Центр», насчитывавшую до 50 отмобилизованных и имеющих уже опыт войны дивизий, в том числе 9 танковых и 6 моторизованных. В результате 28 июня противником был захвачен Минск, 10 июля — Витебск, 26 июля — Могилев, 20 августа — Гомель, к сентябрю оказалась оккупированной вся территория республики. Под Минском уже к началу июня были окружены и в дальнейшем разбиты в боях одиннадцать наших дивизий. Многие их командиры и бойцы погибли или попали в плен, часть перешла к партизанским действиям.

Советские и партийные органы имели всего 2 месяца для организации партизанского движения и хоть небольшого обучения засылаемых через линию фронта или оставляемых при отступлении Красной Армии кадров партизан и подпольщиков. Они уже с первых шагов столкнулись со значительными трудностями в этой работе. На их причины указал Первый секретарь ЦК КП(б)Б в годы войны и в 1942—1943 гг. начальник Центрального штаба партизанского движения[1] П. К. Пономаренко: «В предвоенные годы вопросы борьбы в случае возникновения войны практически не разрабатывались, и это отразилось на темпах организации и развертывания партизанского движения в первые месяцы войны».

Одной из причин такого положения являлось распространенное мнение, что если империалисты развяжут войну против Советского Союза, то она будет проходить на территории противника. Полевой устав Красной Армии 1939 года ориентировал на быстрое перенесение войны на территорию напавшего врага.

Другой причиной являлась недооценка партизанского движения в условиях войны больших армий с массовым применением танков и авиации. Бытовало мнение, что действия партизан в таких условиях обречены на быстрое подавление и не смогут стать фактором, сколько-нибудь значительно влияющим на ход военных действий…

Наряду с этими отрицательными факторами были и другие, вызванные складывающейся неблагоприятной для нас военной обстановкой.

Во-первых, массовое перемещение людей в связи с эвакуацией — в короткие сроки смогли уехать на любом транспорте или уйти пешком в советский тыл до 1,5 миллиона человек; привлечение около 2 миллионов человек городского и сельского населения для осуществления работ по строительству оборонительных сооружений, постройки переправ, восстановлению разрушенных железнодорожных путей; мобилизация более 500 тысяч военнообязанных в ряды Красной Армии.

Во-вторых, противник, используя господство в воздухе, систематически наносил массированные удары авиацией по городам, железнодорожным станциям и шоссейным узлам; в ряде прифронтовых районов выбрасывал многочислен-

[1] Далее — ЦШПД.

ные воздушные десанты, забрасывал в тыловые районы десятки диверсионно-разведывательных групп, переодетых в форму пограничников, милиционеров, военнослужащих, пытавшихся наряду со сбором информации и проведением террористических акций сеять панику и ложные слухи.

Все это настоятельно требовало от сотрудников и органов государственной безопасности быстрых и решительных мер как по оказанию помощи в организации народной борьбы против сильного и беспощадного врага, так и по личному активному участию в партизанском движении. Они обладали и знаниями, и опытом ведения разведывательной и контрразведывательной работы, определенными навыками конспирации, организации тайной связи, диверсий, имели и некоторую военную подготовку, и запасы оружия и боеприпасов.

На третий день войны, 24 июня 1941 года, Совет Народных Комиссаров СССР принял специальное постановление о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами противника в прифронтовой полосе. Уже к середине июля 1941 года, как указывается в справке от 19 июля Наркомата внутренних дел БССР, было организовано 78 истребительных батальонов с 13 тысячами человек личного состава. Они состояли в основном из коммунистов, комсомольцев, колхозного актива. Командный состав этих батальонов назначался из числа руководящих работников райкомов партии и сотрудников НКВД—НКГБ. По областям количество и численность истребительных батальонов выглядели следующим образом: Полесская обл. — 18 батальонов, в составе которых 2440 человек, в Гомельской — 19 батальонов (2643 человек), в Витебской — 26 батальонов (3648 человек), в Могилевской — 14 батальонов с 4169 чел., в Минской — 1 батальон с 167 чел. Они действовали в городах и районных центрах. Наряду с истребительными батальонами и для их поддержки, особенно в сельской местности, были организованы добровольные военизированные группы содействия. В июле в 300 таких группах насчитывалось почти 27 тысяч человек.

Однако мало было создать истребительные батальоны и группы содействия, мало было отобрать в них патриотов, очень нужно было оружие и боеприпасы, а также опытные кадры для организации успешной борьбы с вражескими шпионами, диверсантами и провокаторами. И здесь могли помочь органы и работники НКВД—НКГБ БССР. По указанию ЦК КП(б)Б с 15 по 20 июля 1941 года для пополнения и укрепления личного состава этих подразделений в районы Полесской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей были направлены 535 человек оперативного состава и передано для вооружения 7 тысяч винтовок с боеприпасами. В ряде случаев передавались и пулеметы.

Сотни чекистов цементировали, обучали, руководили и вели за собой добровольцев, вступивших в истребительные батальоны и военизированные группы поддержки. Вот несколько примеров борьбы истребительных батальонов с противником.

4 июля 1941 года пост истребительного батальона, находившийся на охране телеграфа в г. Гомеле, заметил световые сигналы, подаваемые из парка. Были задержаны два человека, одетые в военную форму, которые оказали вооруженное сопротивление. Вслед за ними в парке были арестованы еще двое подозреваемых. Фашистская авиация так и не получила наводки для бомбежки важного узла связи.

На шоссейной дороге Гомель—Довск вдруг появились милиционеры-регулировщики, а по ней на запад шла интенсивная переброска наших войск. Однако патриоты вовремя разоблачили эту очень опасную диверсионную группу гитлеровцев, переодетых в форму наших милиционеров. У вражеских разведчиков было задание незаметно занять регулировочные посты, выявлять направление движения советских частей, состав грузов, умышленно создавать пробки, направлять автотранспорт по ложному пути. Расчет делался на неразбериху и страх перед представителями «органов», но враг просчитался.

В начале войны гитлеровцы производили высадку воздушных десантов в ряде районов Белоруссии. Обычно забрасывались группы диверсантов по 20—60 чело-

век с мотоциклами и велосипедами и 4—6 человек с рациями. Операции по ликвидации диверсантов и десантов часто проходили с боем. Так, командиру Могилевского истребительного батальона сообщили, что недалеко от мясокомбината, во ржи, скрываются фашисты. Сколько их, как вооружены — информации не было. Уничтожение врага было поручено оперативной группе во главе с работником НКВД А. С. Баньковским. Вскоре они обнаружили десантников противника — и завязался упорный бой. А. С. Баньковский бросился вперед, решив отрезать немецким разведчикам пути отхода, и открыл меткий огонь. Он сражался до последнего вздоха, не дав врагу уйти. В целом истребительными подразделениями Могилева было ликвидировано более 150 диверсантов и шпионов, в Гомеле — 115, по 10—15 групп диверсантов и террористов было выявлено и уничтожено в Мозырском, Речицком, Ельском, Петриковском районах Полесской и Гомельской областей.

Помогали они будущим партизанам в создании баз. В июле—августе 1941 года при активном содействии истребительных батальонов было сосредоточено в тайниках значительное количество оружия, боеприпасов, продовольствия, одежды, обуви. Партизанские базы закладывались в Суражском, Меховском, Рогачевском, Петриковском, Лельчицком, Ельском, Лоевском, Октябрьском, Россонском и в других районах республики.

Во многих случаях сами истребительные батальоны становились базой для организации партизанских формирований. Этот процесс шел под руководством партийных комитетов с участием представителей органов госбезопасности и НКВД. Например, 107 бойцов Меховского батальона (Витебская обл.) 18 июля 1941 года создали партизанский отряд. Взвод разведки в нем возглавил бывший командир батальона чекист М. И. Дьячков. Несколько позже он стал командиром отряда, а с весны 1942-го — командиром 2-й Белорусской партизанской бригады.

В подготовке перехода истребительных батальонов в партизаны чекисты играли самую активную роль. Анализ списков членов подпольных троек только по районам Полесской области показывает, что в каждой из них были сотрудники НКГБ. Так, в состав тройки Ельского РК КП(б)Б входили партийные работники З. Я. Черноглаз, И. Л. Козинцев и чекист А. П. Шило. Они осуществляли подбор людей для партизанских отрядов, подготавливали базы, создавали запасы вооружений и боеприпасов. Ими на основе истребительных формирований в конце августа 1941 года создано 3 партизанских отряда: Кочищанский в количестве 51 человека, Скороднянский — 71 человек, Махновичский — 89 человек. Кроме того, тройка — «Ельская оперативная группа» — располагала отрядом в 23 человека.

С первых дней и недель войны чекисты также непосредственно включались в состав направляемых в тыл врага партизанских групп и отрядов. Уже на восьмой день войны, 29 июня 1941 года, ЦК КП(б)Б принимает постановление о направлении за линию фронта 28 диверсионных групп. В каждую из них входили сотрудники органов госбезопасности и милиции. 6 июля созданы по решению ЦК 29 партизанских отрядов, состоявших из 460 коммунистов и комсомольцев, в том числе 150 — чекисты, т. е. до 30% личного состава.

Помощь зарождавшемуся партизанскому движению продолжалась — в отряды и группы народных мстителей Наркомата НКГБ—НКВД направлялись кадры — вплоть до октября 1941 года, до момента, когда в связи с наступлением фашистских войск на Москву фронт далеко откатился на восток и были прерваны связи с партизанами. Эта помощь была очень важна, т. к. сотрудники органов обладали определенным опытом и знаниями по ведению разведки и контрразведки, имели обширные связи среди местного населения, могли помочь советом или предостеречь от непродуманных шагов еще малоопытное партизанское командование. Многие чекисты сражались в партизанских отрядах рядовыми, постепенно завоевывая авторитет и уважение среди бойцов и командиров, преодолевая инерцию страха и недоверия, вызванных репрессиями 30-х годов.

Характерна жизнь и борьба чекиста С. С. Сумченко. Он родился в крестьянской семье в 1906 году в Украине. Согласно решению ЦК КП(б)Б, партийно-

советские работники районного звена должны при угрозе оккупации переходить на нелегальное положение и организовывать борьбу против гитлеровских захватчиков. Сумченко в составе группы партийных и советских работников Осиповичского района в конце июня 1941 года остался в тылу врага для выполнения этой задачи. 2 июля они встретились и объединились с группой работников НКГБ—НКВД, посланных наркоматом для борьбы с десантами противника, а в случае захвата территории Осиповичского и Кличевского районов фашистами они должны были развернуть диверсионную работу.

Уже 28 июля 1941 года группы партизан под командованием С. С. Сумченко и И. М. Стельмаха уничтожили баки с бензином и керосином на Гродзянской нефтебазе. 10 сентября группы под руководством чекиста С. А. Мазура и председателя райисполкома Н. Ф. Королева разгромили Гродзянский и Погорельский полицейские гарнизоны. Партизаны осенью 1941 года сожгли 2 моста на шоссейной дороге Минск—Бобруйск и пустили под откос эшелон с военной техникой, шедшей к фронту.

В конце марта 1942 года на базе трех мелких партизанских групп был создан 210-й партизанский отряд в количестве 48 человек. Начальником штаба был назначен С. С. Сумченко. Отряд уже к началу августа 1942 года насчитывал 176 человек. С сентября 1942 года Сумченко стал его командиром.

По имеющимся данным, только с апреля до августа 1942 года этим отрядом подорвано 18 эшелонов врага, в том числе 5 — с военной техникой, 5 — с живой силой, 8 — с боеприпасами и горючим. Особо удачной стала диверсия 14 мая, когда в результате крушения двух встречных эшелонов движение по железной дороге было задержано на двое суток. Из засад на шоссе были разбиты четыре грузовые и две легковые автомашины. Народные мстители успешно разгромили четыре гитлеровских гарнизона, было убито 12 фашистских солдат и офицеров и 54 полицейских. Отряд занимался также агентурной и войсковой разведкой, для чего была выделена специальная группа из опытных и проверенных партизан, во главе которой стояли чекисты. Разведка отряда во многом опиралась на всемерную помощь и поддержку местного населения и имела 64 связных. Благодаря хорошо поставленной разведке 210-й отряд не только успешно бил врага, но и обезвредил 23 гитлеровских шпиона.

В характеристике от 14 декабря 1943 года, данной секретарем Осиповичского подпольного райкома партии Г. М. Войтенковым, указывалось, что С. С. Сумченко «деловой, смелый командир, хороший организатор, любящий свою работу. Пользуется авторитетом среди рядовых партизан и командного состава». Погиб он 10 января 1944 года, возвращаясь в расположение партизанского отряда после выполнения специального задания с группой партизан. Они были внезапно окружены превосходящими силами гитлеровцев, приняли неравный бой и погибли.

НКГБ БССР предпринимал меры, направленные на создание своих специальных партизанских отрядов. Летом 1941 года были сформированы и вели боевую деятельность в тылу врага 15 таких отрядов, насчитывавших в своих рядах около 800 человек. Они направлялись главным образом в районы наиболее важных коммуникаций противника — аэродромов и посадочных площадок, места расположений гарнизонов оккупантов и резервов вермахта, военной техники, баз и складов. Крупные специальные партизанские отряды чекистов должны были вести операции против живой силы врага, более мелкие — осуществлять диверсии на важных военных объектах или проводить организаторскую и пропагандистскую работу среди местного населения и военнослужащих Красной Армии, оказавшихся в окружении, с целью всемерного развития народной борьбы. Такие отряды действовали в 7 областях республики: в Вилейской — 3, в Витебской — 1, в Гомельской — 2, в Минской — 3, в Могилевской — 3, в Пинской — 2, в Полесской — 1. В три области — Барановичскую, Белостокскую и Брестскую — в связи с их быстрой оккупацией и удалением от линии фронта такие отряды не посылались.

Наряду с формированием специальных партизанских отрядов НКГБ БССР организовал по указанию ЦК КП(б)Б из числа сотрудников 45 мобильных разведыватель-

но-диверсионных групп общей численностью более 1200 человек. Они действовали с июля по ноябрь 1941 года в Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской, Пинской и Полесской областях. В их задачу входило: выявление вражеской агентуры, уничтожение предателей и изменников Родины, ведение глубокой разведки в тылу вермахта. В известной мере они дублировали функции специальных партизанских отрядов. Они были одним из источников, из которых партийные подпольные комитеты на первом этапе войны черпали кадры для партизанского движения, в первую очередь, для организации системы действенной разведки и контрразведки.

По данным БШПД, в составе партизанских отрядов, бригад и соединений на территории республики сражались с оккупантами 1853 сотрудника органов НКГБ—НКВД — территориальных, особых отделов Красной Армии, пограничных войск. Из них, по сведениям БШПД на 1 июля 1944 года, 26 являлись командирами или комиссарами партизанских отрядов или бригад, 12 — начальниками штабов. Среди них, например, Г. П. Герасимов, командир 1-й Дриссенской бригады в 1942—1943 гг., в которой насчитывалось 729 человек; начальник штаба 2-го отряда им. Д. Т. Короленко А. П. Жуков, погибший в апреле 1944 года; Г. А. Кирпич, командир отряда с марта 1942 года, а позже бригады «Чекист» — в ней действовало 7 отрядов с более чем 800 партизанами (Могилевская область); С. М. Кондаков, комиссар бригады им. С. М. Кирова с июня 1943 по июль 1944 гг. (Барановичская область) и многие другие.

16 февраля 1942 года руководство ЦК КП(б)Б предложило подготовить и забросить на территорию республики 100—120 групп, каждая численностью 8—10 человек. При этом не менее 20 из них должны были иметь рации. Рекомендовалось в состав каждой группы включать как партийного работника, так и чекиста.

Органы госбезопасности выделили лучших своих представителей. С января по сентябрь 1942 года по линии ЦК для улучшения и развития партизанского движения были направлены 22 группы с 290 бойцами, в числе которых находилось 22 чекиста — П. А. Павленко, Т. И. Урлин, В. Н. Царьков, А. Е. Василевский и другие. Ряд из них впоследствии стали секретарями подпольных райкомов партии — Г. Л. Комар, И. И. Мироненко, Ф. С. Михайлович и другие. Почти все посланные в составе этих групп в 1942 году чекисты затем были назначены заместителями командиров отрядов или бригад по разведке, или начальниками особых отделов.

Борясь против фашистской агентуры и предателей Родины, партизаны смогли нанести гитлеровской разведке и создаваемым оккупационными властями формированиям местной полиции значительный урон. Как можно судить по справкам ЦК КП(б)Б от 15 января и 11 апреля 1942 года, партизанские отряды сумели выявить и уничтожить осенью 1941 года и в первом квартале 1942 года 632 фашистских прихвостня — шпионов, провокаторов, предателей и полицейских. Это во многом сорвало или значительно ослабило планы и действия врага по разгрому зарождавшегося партизанского движения. Нанесли партизаны противнику и большие потери в живой силе. По неполным данным на 15 января 1942 года, они уничтожили около 10 тысяч солдат и офицеров вермахта.

По имеющимся данным, из 1853 чекистов погибли и умерли от ран свыше 140 человек, т. е. 8 процентов от их общего состава, что в среднем соответствовало в процентном отношении потерям личного состава партизан. Ни за чью спину чекисты не прятались, не отсиживались в партизанских лагерях и штабах, а вместе со всеми воевали с карателями, участвовали в диверсиях, проводили разведку и контрразведку.

После образования в мае 1942 года ЦШПД, а в сентябре Белорусского штаба партизанского движения[1], органы государственной безопасности оказали большую помощь в комплектации высокопрофессиональными кадрами как разведывательных отделов этих штабов, так и школ по подготовке квалифицированных

---

[1] Далее — БШПД.

разведчиков и контрразведчиков для партизанских бригад и отрядов. Эта система постепенно сложилась в течение лета—зимы 1942 года и успешно функционировала в 1943—1944 гг.

30 мая 1942 года для планомерного и целенаправленного руководства народной борьбой на временно оккупированной врагом советской территории решением Государственного Комитета Обороны создан ЦШПД при Ставке Верховного Главнокомандования, что указывало на то большое значение, которое придавало ему военно-политическое руководство СССР.

Разведотдел ЦШПД работал по четырем главным направлениям: руководил разведывательной деятельностью республиканских и областных штабов партизанского движения; готовил для партизанских формирований квалифицированные кадры разведчиков; обобщал и анализировал полученную из тыла врага информацию и составлял на ее основе различные документы для высшего военного и политического руководства страны, командования фронтов, Главного Разведывательного Управления Генерального Штаба Красной Армии и 4-го управления НКГБ СССР, занимавшегося разведывательно-диверсионной деятельностью по линии органов госбезопасности на всей оккупированной советской территории; организовывал и направлял разведку и контрразведку в партизанских соединениях, бригадах, полках и отрядах.

Так, в 1943 году разведотдел ЦШПД через разведку партизан Белоруссии установил или подтвердил ряд данных, представлявших большой интерес для советских войск, воевавших против фашистской группы армий «Центр» и других группировок врага: 477 воинских соединений и частей, из них 165 дивизий, 177 полков, 135 отдельных батальонов, в том числе 23 новые части, которые ранее никем не отмечались — 12 пехотных дивизий, 1 танковая, 2 кавалерийские, 4 запасные дивизии, а также 4 автотранспортных полка особого назначения для снабжения армий боеприпасами и горючим.

Для своевременного, точного и полного получения от партизан сведений о силах противника, другой информации и доведения им новых задач в области разведки и заброски подготовленных кадров, а также для вывоза ценных пленных, захваченных документов и образцов новой военной техники, в первую очередь в интересах сражавшихся советских войск, и разведотделы ЦШПД, а потом и БШПД, широко использовали радио- и авиасвязь. Если на 15 августа 1942 года связь поддерживалась через 20 раций, действовавших в партизанских бригадах и отрядах Белоруссии, то на 1 августа 1943 года — уже по 146, а в июне 1944 года, накануне освобождения Белоруссии, их количество возросло до 188. Общее количество радиограмм, содержавших разведданные и переданные по этим рациям за период с 1 августа 1943 года по 1 июля 1944 года, достигло 10 тысяч.

Стремительно росло количество партизанских аэродромов для транспортной авиации и оборудованных площадок для приема грузов и парашютистов. И если на 1 января 1943 года в республике, в районах дислокации партизанских бригад и отрядов, насчитывалось всего 3 аэродрома и 10 площадок, то через год было уже 22 аэродрома и 53 площадки. Нарастало и количество самолето-вылетов к народным мстителям.

С гордостью можно отметить, что шифры, разработанные чекистами и военными разведчиками и переданные партизанам для использования в радиосвязи, ни разу не были полностью дешифрованы фашистской службой радиоперехвата, несмотря на ряд попыток. Они так и не смогли ни проводить радиоигры с целью дезинформации или провокации, ни организовать перехват или ложное наведение наших транспортных самолетов на их посадку на свои аэродромы.

В сентябре 1941 года партизанские разведчики Витебской области передали через своего связного за линию фронта сведения о сосредоточении крупных танковых и авиационных сил для наступления на Москву и об ориентировочных сроках его начала. В августе 1942 года народные мстители Могилевской области сообщили в штаб Западного фронта важную информацию о переброске

11-й армии под командованием Манштейна из-под захваченного Севастополя в район Ленинграда для намечавшегося решительного штурма. Через месяц разведчикам Минского соединения удалось узнать и срочно передать по радио основные положения наступательного плана командования вермахта на осень 1942 года в направлении Сталинграда и Кавказа. Организовали получение этой информации заместитель начальника штаба соединения по разведке пограничник Р. Б. Берензон, посланный в тыл врага еще летом 1941 года, и начальник особого отдела соединения, контрразведчик майор С. С. Жуков, воевавший в 1941 году в составе танковых частей Красной Армии, а в 1942 году направленный в партизаны.

В том же месяце от партизан Полесской области через рацию спецгруппы переданы сведения о точном месторасположении и системе охраны строго засекреченной ставки Гитлера под Винницей. Эту информацию собрал и принес партизанам лейтенант госбезопасности А. Н. Прокудин. Он был ранен в августе 1941 года в оборонительных боях советских войск на Украине, когда выходил из окружения. В сентябре, скрываясь у патриотов, подлечился и с их помощью добыл новые документы, переоделся, установил связь с подпольным центром в Виннице. С помощью подпольщиков чекист смог собрать сведения о ставке фюрера и в июне 1942 года ушел на связь, стараясь перейти фронт, но, спасаясь от волны карательных экспедиций, попал на Полесье. Здесь А. Н. Прокудин, не колеблясь ни минуты, вступил в ряды партизан, где воевал до января 1943 года, когда был отозван в Москву.

Весной—летом 1942 года активную работу проводили группы ЦК КП(б)Б, Северо-Западная на Калининском фронте и Западная на Брянском. Ими руководили секретари Центрального Комитета Г. Б. Эйдинов и И. И. Рыжиков. В их состав были включены белорусские чекисты С. В. Юрин и П. Е. Крысанов, которые установили стабильную связь с десятками партизанских отрядов, действовавших в Витебской, Минской, Могилевской, Гомельской областях и получали сведения из Барановичской и Вилейской областей. С 1 июня по 5 сентября 1942 года на основе анализа полученной информации из тыла противника выпущено 16 оперативно-разведывательных сводок, которые направлялись в ЦК КП(б)Б, командованию фронтов, в штабы ряда армий, в ЦШПД. Была выработана вполне определенная и оправдавшая себя в то время форма организационного построения — областная оперчекистская группа. Она действовала в прифронтовой полосе, направляла на оккупированную территорию своих сотрудников, которым вменялось в обязанность вести разведывательную и контрразведывательную работу в отдельном партизанском отряде или группе отрядов, в бригаде, действовавших в одном районе.

Чекисты помогали организовывать, обучать и снабжать готовившиеся диверсионные группы из числа вышедших в советский тыл партизан, подпольщиков, бежавших из плена или оказавшихся в окружении военнослужащих Красной Армии. Всего за период с мая по ноябрь 1942 года Витебской оперчекистской областной группой организовано 15 таких групп с общим составом в 195 человек.

Особо результативной являлась группа под командованием Н. В. Соколова. С мая по ноябрь 1942 года ее бойцы спустили под откос 9 вражеских эшелонов, взорвали 4 железнодорожных и шоссейных моста, разгромили 4 волостных управы и 10 полицейских отрядов, уничтожили 22 грузовых автомобиля и вывели из строя более 700 гитлеровцев.

9 сентября 1942 года решением Государственного Комитета Обороны создан БШПД во главе со вторым секретарем ЦК КП(б)Б П. З. Калининым. Его заместителем по вопросам разведки и контрразведки стал партийный работник И. П. Ганенко. Разведывательный отряд БШПД был укомплектован квалифицированными работниками из числа чекистов и военных разведчиков. Его численность в связи с возрастанием объема и сложности решаемых задач выросла с 5 человек по состоянию на 1 октября 1942 года до 20 человек на 1 января 1944 года.

Органы безопасности и после организации разведотдела БШПД помогали ему кадрами. 3 декабря 1942 года в распоряжение БШПД по указанию ЦК КП(б)Б оперативно-чекистской группой НКВД—НКГБ по БССР откомандировано 11 квалифицированных сотрудников, имевших личный опыт организации борьбы в тылу врага, которых весной—летом 1943 года, после тщательной подготовки по условиям партизанского движения, послали вместе с подпольными обкомами партии или, если они уже действовали, то назначили руководить всей разведывательной и контрразведывательной деятельностью в штабах партизанских областных соединений.

Всю свою работу разведотдел БШПД вел на основе постоянно усложнявшихся планов, охватывавших период в несколько месяцев. Первый план, разработанный БШПД, охватывал период с ноября 1942-го по март 1943 года и затем был продлен до мая 1943-го. Среди его основных задач значилась организация разветвленной разведывательной сети в городах и на железнодорожных станциях, расширение радиосвязи со всеми основными районами партизанского движения, подготовка нескольких десятков заместителей командиров отрядов, партизанских бригад и полков по разведке путем обучения на краткосрочных курсах лучших партизан-разведчиков при штабах областных и зональных соединений и крупных формирований народных мстителей.

Разведотдел БШПД провел в 1943 году районирование зон деятельности органов разведки различных партизанских формирований с точным указанием территориальных границ их основной деятельности. Это помогло избежать ненужного дублирования, равномерно развернуть разведывательную сеть, шире привлекать к работе патриотов.

Все это позволило создать такую плотную систему получения информации о планах и силах врага, что, несмотря на строгие меры предосторожности, принимаемые фашистами, почти ничего не могло укрыться от партизанской разведки.

Разведка партизан сумела добыть часть строго охраняемых планов наступления врага под Курском и большое количество сведений о заброшенных в прифронтовые районы и в советский тыл шпионах и диверсантах, которые должны были как собирать данные о наших силах и их расположении, так и совершать акты террора и диверсий. В бригаду «Разгром» был доставлен, благодаря умелой работе разведки, видный сотрудник разведывательного отдела штаба фашистской группы «Центр», бывший белогвардеец Д. З. Шинкаренко (псевдоним — «Верный») с планами июльского наступления, а также документами и фотографиями на 500 шпионов и диверсантов, уже засланных за линию фронта. Он был переправлен со всеми материалами на самолете в Москву. Значительную помощь в этой исключительно результативной операции партизанам оказали чекисты из спецгруппы, позже спецотряда, «Артур». Советское командование довольно точно знало замыслы стратегов из германских штабов, а надежды фашистов на заброшенную агентуру не оправдались — сведений от них они не получили, органы советской контрразведки «Смерш» не допустили массовых диверсий и терактов, вовремя обезвредив диверсантов и шпионов.

Процесс централизации и объединения сил и возможностей разведки и контрразведки ряда партизанских отрядов, полков и бригад, действовавших на определенной территории, начался еще в 1942 году. В нем принимали активное участие не только партизанское командование и подпольные партийные органы, но и сотрудники НКГБ—НКВД БССР, боровшиеся с врагом в рядах народных мстителей. Они хорошо понимали необходимость максимальной концентрации сил и возможностей различных партизанских формирований в трудных и сложных условиях тыла противника.

Это в первую очередь было вызвано резким усилением карательных экспедиций фашистов и необходимостью учета горького опыта осени—зимы 1941 года, когда партизаны понесли большие и далеко не всегда оправданные потери из-за ударов сил оккупантов в количестве 160 000 солдат и офицеров. В 1942 году про-

тив нарастающего партизанского движения оккупанты бросили подразделения из 39 дивизий, а также 16 полицейских, 10 артиллерийских полков, 2 парашютно-десантных полка численностью в 250 тысяч человек. В 1943 году только в гитлеровских гарнизонах, регулярно ведущих борьбу с партизанами, находилось до 200 тысяч захватчиков и еще 180 тысяч охраняли транспортные коммуникации. В 1944 году, стараясь обезопасить свой тыл и готовясь к упорным боям с наступавшей Красной Армией, фашистское командование решило полностью разгромить партизан. Неприятель не только наращивал оккупационные войска, но и задействовал резервы группы армий «Центр». Против народных мстителей было направлено огромное количество войск — до 26 дивизий, из них 9 дивизий полного состава, больше 100 охранных батальонов, подразделения из 11 дивизий резерва, в том числе 2 танковые и до 170 бомбардировщиков. В составе войск насчитывалось до 380 тысяч солдат и офицеров. Оказывали в 1942—1944 гг. действенную помощь оккупантам в борьбе против трудящихся Белоруссии десятки различных изменнических, антисоветских и националистических вооруженных формирований общей численностью до 60 тысяч человек. Чтобы выстоять, а тем более наносить ответные мощные удары, нужна была массовая и хорошо организованная разведка.

Направленные в тыл врага вместе с подпольными обкомами партии чекисты не растерялись в сложной обстановке и действовали быстро и решительно. Им оказывали всестороннюю помощь командование партизанских формирований и подпольные партийные комитеты. В ряде мест не было единого центра разведки и контрразведки, а они создавались по зонам внутри областных соединений. Нередко ими становились командиры тесно контактировавших с партизанами спецгрупп НКГБ БССР. Так, в Брестской области в декабре 1943 года, по согласованию с подпольным обкомом партии, командир спецгруппы «Искра» М. П. Хохлов, заброшенной в тыл врага 28 октября 1943 года, был назначен одновременно начальником особого отдела Южной партизанской зоны. Он организовал целенаправленную и умелую разведку, которая получила много ценных данных о перебросках войск и строительстве оборонительных укреплений. Он сумел разоблачить матерых фашистских шпионов Н. Леонтьева и его жену Гертруду Вагнер.

Кадры руководителей разведки и контрразведки подбирались командованием партизанских сил и заместителями командиров соединений, а утверждались БШПД и ЦК КП(б)Б. При решении кадровых вопросов руководствовались директивой БШПД: «Работников разведки подбирайте на месте. С этой целью используйте лучших командиров, желательно бывших работников НКВД, командиров-пограничников, обязательно членов или кандидатов партии, лучших комсомольцев».

С этой целью был налажен учет чекистов-партизан и сотрудников НКВД, обладавших необходимыми знаниями и хорошо зарекомендовавших себя в боях. К лету 1944 года аппарат разведки и контрразведки увеличился по сравнению с летом 1943 года еще в 4 раза и выглядел следующим образом: в 10 областных органах и в 145 бригадах работали 271 человек, а в 810 отрядах — 927 человек. Среди них было 564 сотрудника НКГБ—НКВД, т. е. почти 50 процентов. Коммунисты составляли 62 процента.

Резко увеличивалась на протяжении 1943—1944 гг. и численность, как агентуры, так и войсковой разведки партизан. Если в середине 1943 года, по неполным данным, действовало до 8 тысяч агентурных разведчиков, то к лету 1944 года их было 24 тысячи, т. е. произошел рост в 3 раза за один год. Если численность подразделений войсковой разведки составляла в среднем в 1943 года до 5 процентов от общего числа партизан, то в 1944 года — уже 10—15 процентов, т. е. примерно 15 тысяч человек. В качестве связных отрядов и бригад с патриотами в гарнизонах врага, на железнодорожных станциях, в населенных пунктах, контролируемых оккупантами, в 1942 году выполняли смертельно опасную работу до 8 тысяч человек, то в 1944 году — уже 19 тысяч.

Все эти меры позволили партизанам Белоруссии, используя полученные разведданные, дать отпор многочисленным и мощным карательным экспедициям (более 60 в 1943 году), разгромить более чем 600 гарнизонов оккупантов в 1943—1944 гг., подорвать 6217 эшелонов и 19 бронепоездов только в 1943 году и взорвать еще 3620 эшелонов и 82 железнодорожных моста за первые 6 месяцев 1944 года.

Контрразведка партизан нанесла сокрушительный удар по вражеской агентуре и активным пособникам оккупантов. В 1943—1944 гг. взяли на учет 29 252 изменника и предателя Родины, помогавших врагу устанавливать и поддерживать кровавый и грабительский «новый порядок». Многие из них после войны были арестованы и судимы за свои преступления. Шпионов, террористов и провокаторов выявлено 8,5 тысяч, из них контрразведкой народных мстителей арестовано и расстреляно более 5,5 тысячи, а данные на остальные 3 тысячи были переданы органам госбезопасности после освобождения Белоруссии для их розыска.

По неполным данным, партизанские разведчики в результате акций возмездия уничтожили 306 человек из руководящего состава аппарата оккупантов и лидеров созданных фашистами антисоветских, националистических организаций. В советский тыл вывезено до 100 захваченных партизанами крупных гитлеровских шпионов, сотрудников различных спецслужб, преподавателей разведшкол, лиц, обладавших важными военными секретами.

Вездесущность и эффективность партизанской разведки и контрразведки, в которой большую роль играли чекисты, вызывали страх у фашистов. Штаб охраны тыла группы армий «Центр» вынужден был признать: «Повсюду сидят доверенные лица бандитов, разведаппарат которых работает ошеломляюще быстро и надежно». Уже после войны бывший начальник штаба «Вали-3» фашистский контрразведчик полковник Шмальшлегер, конкретизируя вклад партизан в успехи Красной Армии, писал, что доля разведывательных данных, сообщенных партизанами с весны 1943 года до лета 1944 года, составляла более 80 процентов всей добытой информации.

НИНА АНДРЕЕВА

Такое не забывается...

В редакцию поступает много мемуаров о войне. Мы их читаем внимательно, но, к сожалению, не все из них написаны на надлежащем уровне.

А вот воспоминания, написанные Ниной Михайловной Андреевой, которая долгое время работала учителем русского языка и литературы в средней школе № 8 г. Полоцка, а теперь находится на заслуженном отдыхе, как-то выделяются своей искренностью, какими-то такими выразительными эпизодами детства, которое и детством трудно назвать, — слишком рано дети войны повзрослели и стали всепонимающими «стариками». Но, тем не менее, даже в тех условиях они сохраняли непосредственность, находили забавы. Вместе с героиней мы вновь погружаемся в то время, узнаем много каких-то бытовых подробностей. Из незамысловатого рассказа рождается образ людей той эпохи, которые в самое трудное время оставались человечными: выручали друг друга, делились последним…

Надеемся, как пишет автор в редакцию, что воспоминания «с интересом прочтут люди моего поколения, кто во время войны потерял близких. А тем, кто родился после войны, я бы посоветовала прочесть для того, чтобы с еще большей благодарностью и уважением относиться к ветеранам, почаще вспоминать тех, кто навсегда остался молодым — погиб, защищая нашу Родину, спас мир от фашизма. Это благодаря им вот уже 67 лет мы живем под мирным небом, наши дети и внуки не испытали всего того, что выпало на нашу долю, на долю тех, чье детство пришлось на годы войны…»

Татьяна КУВАРИНА

Из своего дома в чужой

Война… Для трехлетней девочки пока это слово ни о чем не говорит, не пугает. Но тревога от взрослых передается и ребенку. Непонятно, почему под репродуктором (до войны репродукторы в виде черной тарелки висели на площадях и перекрестках) собираются люди, многие плачут.

Дома тоже почему-то мама с Верой (моей старшей сестрой) не такие, как всегда. Очень грустные.

Папа ушел в военкомат (новое для меня слово). Мама плачет. Глядя на нее, плачет и Вера.

— Папа едет на фронт. Там его могут убить, — объясняет мне сестра.

— Как убить? — спрашиваю я. Телевизоров не было, и дети не представляли, как людей можно убивать.

Видя, что я ее не понимаю, Вера говорит: «На фронте люди умирают».

Слова «война», «фронт», «убить», «смерть» соединяются во что-то страшное. Но представить отца мертвым я никак не могу: никогда еще, слава богу, мне не приходилось сталкиваться со смертью.

Потом вокзал. Много людей. Мама держит меня на руках и плачет. Вера тоже плачет. А мне так и хочется спросить: «Зачем дядей постригли наголо?» Раньше так стригли соседского Павлика и говорили, что от этого волосы будут лучше расти. Неужели у всех дядей, в том числе и у папы, так плохо с волосами?

Вот мы без папы. Мы с сестрой верили, что его не убьют и он скоро придет.

А вскоре в поселок пришли немцы. Грубые окрики, странная речь, похожая на лай собак. К нам приходят какие-то люди. Они что-то приказывают. Мама собирает вещи, укладывает их на тачку. Сестра выносит свои любимые книги, подаренные ей дядей-учителем. Какой-то страшный человек вырывает их у нее и тут же во дворе поджигает. Вера плачет. Мама еле сдерживает слезы: много ли возьмешь на тачку, почти все нажитое оставляем. А пустят ли еще что взять — не знает.

Нас с окраины, с Почтовой улицы, переселяют в центр, в еврейские дома, а на нашей улице в нескольких домах — гетто. Еще одно незнакомое и страшное слово. Мы с мамой потом ходили в наш дом, она хотела хотя бы что-нибудь из своей посуды взять, но нас не пустили.

А пока мы едем на новое место. Вернее, еду одна я на вещах. Мама впряглась в тачку, сестра подталкивает сзади. Рядом, впереди и позади, шли соседи: кто тащит узлы, кто тачку, а несколько женщин впряглись в телегу, нагруженную вещами. Раньше я видела, что в эту телегу впрягали лошадь. А еще по всему поселку кудахчут куры. Неужели им всем пришло в голову одновременно нести яйца? Нет, крик не такой. «Это их немцы ловят», — объясняет мне сестра. «А зачем им столько много?» — допытываюсь я. «В суп», — с грустью отвечает мама, чувствуя, что мои расспросы уже надоели Вере.

Я пытаюсь представить котел, в котором поместятся куры, которых поймали немцы, — ничего не получается.

В доме, в котором нам придется жить, уже поселилась семья. Мы заняли комнатку рядом (каждой семье по комнате). Соседи принесли откуда-то детскую кроватку для меня, самой маленькой. Даже в такое время добрые люди позаботились о ребенке. К вечеру в дом вселилась еще одна семья. В четвертой комнате с отдельным входом из коридора жил немецкий фельдшер.

С утра все взрослые уходят: одних немцы выгоняют на работу, другие отправляются по деревням, чтобы обменять на картошку (реже на зерно) какие-нибудь вещи или заработать немного овощей за помощь в хозяйстве.

Сестра Вера (ей в начале войны было девять лет) должна была мыть пол в комнате немецкого фельдшера, подметать в коридоре, во дворе, убирать на кухне. Ну и конечно, смотреть за мной. Но поскольку я просила есть, а дать мне чаще всего было нечего, то Вера не запрещала мне отправляться через калитку, соединяющую дворы, к соседям.

Наши соседи

С соседями нам повезло. Это была очень дружная многодетная семья Квятовичей. Отец их умер перед войной. А мама, тетя Женя, царствие ей небесное, воспитывала пятерых детей разных возрастов. Самой младшей была Женечка, на год младше меня, ее братишка Сева — старше меня на три года. Возле дома, в котором мы стали жить, были густые кусты сирени, акации и еще какие-то цветы. Мы с Севкой здесь играли в прятки. Иногда мы брали с собой и Женечку. Правда, она чаще всего и «водила».

Здесь же, под забором, рос клевер. Мы, чтобы заглушить голод, рвали его, сначала высасывали «сладенький нектар», а потом съедали цветки. Так было и в тот день… Вдвоем с Севкой мы лакомились клевером и через щели в заборе наблюдали за улицей. Послышалась немецкая гортанная речь, топот ног по мостовой. Это вели евреев на расстрел. На окраине поселка, как мы потом узнали, уже была вырыта огромная яма.

И вдруг мы увидели отца тети Жени, доброго Севкиного дедушку, который рассказывал нам сказки. Каратели толкали его в середину толпы. Дедушка был почти слепой. Немец вырвал у него палку, один конец которой дал дедушке в руку, а второй — какому-то мужчине. Потом фашист ударил старика, чтобы тот шел быстрее.

Я вскрикнула, но Сева зажал мне ладошкой рот.

Дедушка шел к дочери и своим внукам (он жил отдельно в своем домике), а немцы затолкали его в толпу евреев, а потом расстреляли.

В этот день я поняла, что человек может окаменеть от горя. Тетя Женя сидела молча, уставившись в одну точку. Старшие дети пытались ее успокаивать, но она никак не реагировала. Младшие, забившись в угол, со страхом смотрели на нее. Моя мама, пытаясь хоть как-нибудь вывести ее из этого состояния, сказала: «Так можно с ума сойти. И что тогда будет?» Сева прижался к матери, обнял ее и сквозь слезы попросил не сходить с ума, потому что сумасшедшим бреют голову. Он видел бритоголового юродивого Яшу.

С ума тетя Женя не сошла, только поседела. И в горе надо было выжить, чтобы не дать детям умереть с голоду.

В самом начале войны у Святовичей была корова, ее прятали от немцев в сарае. Чтобы прокормить ее, рвали траву. Старшие ходили за травой на поле. Немцы могли их убить. Каждый раз мать со страхом отправляла детей.

Нам, малышам, тетя Женя давала по стаканчику молока. Однако корову вскоре забрали немцы: то ли кто-то донес, то ли они сами выследили.

Когда буренушку уводили со двора, плакали все. Она на нас так жалобно посмотрела, что мне показалось — в коровьих глазах были слезы.

Я потерялась…

Одна из комнат в доме, где мы жили, была проходной. В ней жила женщина с красавицей дочкой Дашей. Немецкому фельдшеру она очень нравилась. Наверно, он и оставил ей на окне флакончик духов. Проходя в свою комнату, я его увидела. Только успела открыть флакон, чтобы понюхать духи, как он выскользнул из рук…

«Теперь меня немец застрелит», — испугалась я, залезла в свою кроватку, накрылась с головой и сразу же уснула.

Ни мама, ни Вера не видели, как я возвратилась: они стирали за домом белье. Мыла не было, настаивали золу и в ней кипятили белье в большом чугуне или в бачке.

Когда Сева принес мне последние полстакана молока, мама всполошилась: она думала, что я у соседей. Бросились меня искать. Во дворе нет, на улице тоже меня никто не видел. К бывшей мельнице напротив дома подходить мы боялись, там стоял немецкий часовой, который и застрелил безобидного юродивого Яшу.

— А к колодцу девочка не подходила? — спросила одна из соседок.

И через несколько секунд зарокотал коловорот: это Сева полетел в колодец меня искать. Бледного, мокрого, его быстро вытащили. Мальчика спасло то, что он не выпустил веревку из рук и из ведра не выпал.

Напуганная всем происшедшим, с плачем вбежала моя сестричка в комнату — я проснулась и выглянула из-под одеяла. Вот радости-то было! А Сева некоторое время заикался.

Партизаны

Вскоре около дома немцы вырубили кусты сирени и акации. Стало пусто, голо. Негде было играть в прятки. Сева не мог мне объяснить, зачем немцы уничтожили заросли. На мой вопрос мама ответила: «Чтобы партизаны не устроили засаду, ну, чтобы не спрятались». Но поскольку никаких партизан мы здесь не видели, а прятались там сами, я тут же маме и выдала: «А что, мы с Севкой партизаны?» — «Да замолчишь ли ты наконец!» — в сердцах промолвила мама и приказала не болтать про партизан.

А потом, очень скоро, я узнала, кто такие партизаны.

Ворота бывшей мельницы были как раз напротив окна нашей комнаты. На них немцы повесили паренька с доской на груди. На ней было что-то написано. Сестра прочитала: «Партизан». Мама завесила окно какой-то тряпкой, уложила меня в кроватку и тихо сказала: «Партизаны уничтожают немцев, они хотят, чтобы мы жили, как раньше, спокойно». Я тут же добавила: «Партизаны немцев побьют. Папочка вернется, и я не буду хотеть есть». — «Спи, — попросила мама, — красноармейцы и партизаны победят немцев. Только ты молчи».

Но я долго не могла уснуть. За окном поднялся ветер, и мне казалось: он раскачивает, как на качелях, паренька. С тех пор много лет я не могла слышать вой ветра: вспоминала виселицу с пареньком, на груди которого была доска. А окно долго оставалось занавешенным.

Нужна «ме»

Так получилось, что Сева стал моей нянькой, замечательной нянькой. Мама, если ее немцы не выгоняли на работу, отправлялась в деревню Мясоедово, за 17 километров от дома. Там жили ее приемные родители (она была сирота). Мама помогала им по хозяйству, в огороде, а дедушка с бабушкой (я их так называла) давали немного картошки, свеклы, а иногда и хлеба, который состоял из картошки, отрубей и горстки муки. А много ли она могла унести на себе, эта хрупкая, почти всегда голодная женщина, если идти так далеко.

Сестре Вере хватало работы: что-то сварить, меня накормить кое-как, постирать мои одежки. Благодаря маме у нас была смена белья. К тому же сестра очень уставала и иногда посреди дня ложилась отдыхать. Много позже, после войны, на рентгене врач спросил ее, когда она перенесла туберкулез.

Так что я оказалась под присмотром мальчика немного старше меня. Дело в том, что Женечка, сестра Севы, была здоровенькой девочкой, к тому же из их большой семьи кто-то всегда был дома. А я была больной (это и Севе объяснили): врач, когда я родилась, сказал маме, что с таким сердечком, как у меня, дети обычно живут до трех лет. Ошибся он: я прожила много лет, 46 из них проработала в школе. Наверно, трудности закалили меня, а мама и добрые люди не дали умереть. В деревне мама копала корни валерианы, сушила какую-то траву, делала отвары и поила меня. Часто это приходилось делать и моей сестричке Вере.

Сева боялся, что я умру, поэтому таскал меня всюду за собой, смотрел, чтобы я не упала и не плакала. Когда я начинала плакать, у меня почему-то синели губы, и я задыхалась. Но, как говорят, беда одна не ходит: скоро у меня стал прогрессировать рахит, искривились ноги. Ну а потом — коклюш. Когда я вспоминаю войну, то мне кажется, что я всю ее прокашляла. Иммунитет был ослаблен, и вылечить меня было невозможно, да и нечем. Когда у меня начинался приступ кашля, я чаще всего падала, поэтому или сразу ложилась на землю, или хваталась за того, кто был рядом. Однажды я оказалась на руках у немецкого фельдшера, жившего тоже в этом доме. А когда моя испуганная мама подбежала, он объяснил ей, что меня может спасти «ме» (коза, козье молоко). А где же ее взять? Нашли

«ме» в деревне, рядом с поселком. Мама за козочку отдала швейную машинку. Мы все полюбили Беляночку. За огородом Квятовичей был небольшой лужок, там мама ее навязывала. Прожила она у нас, по-моему, недолго. Немцу пришло в голову из пулемета стрелять выше спинки козочки, она стала метаться из стороны в сторону, блеять, будто звать на помощь. А фашист веселился, глядя на это страшное зрелище. Нет, он не застрелил нашу Беляночку — она умерла от разрыва сердца.

Вот так — ни козы, ни швейной машинки.

Младшенький невесту привел

На всю жизнь запомнила я один обед в доме Квятовичей (правда, такая «роскошь» была не всегда).

Все дружно сели за стол. Тетя Женя перед каждым положила по две картошинки в мундирах, а на тарелку насыпала крупной соли.

Я сидела за шкафом и оттуда выглядывала, делая вид, что занята Женечкиной куклой. А самой так хотелось есть.

Вдруг Сева взял одну картошину, вышел из-за стола и протянул ее мне. Она тут же отправилась в рот. Картошинка показалась мне такой вкусной.

А тетя Женя, улыбнувшись, сказала:

— Надо же, самим есть нечего, а младшенький еще и невесту привел.

Скорее всего, она не видела, что я за шкафом, так как никогда меня не обделяла, говорила: «Где семь (с ними жила еще тетя Таня — сестра тети Жени), там и восьмая не объест».

А когда совсем нечего было подать на стол, садились в кружок и пели. Некоторые песни тихо, задушевно («По долинам и по взгорьям»), цыганские, под гитару тети Тани, пели погромче, от души.

Семья была музыкальная, петь любили все, некоторые играли на гитаре. Где-то в середине шестидесятых годов, до поступления в мореходку, на сцене районного Дома культуры часто пел Сева, аккомпанируя себе на гитаре.

«Лошадка» и первый блин

Время шло. Зимой было трудней с продуктами (не было даже травы). Я уже не ходила, а ковыляла.

В нашем доме поселилась еще одна семья, тесная дружба с которой связала нас надолго. Особенно привязалась я к дяде Климентию, или, как мы, дети, называли, дяде Климяте (по болезни его не призвали в армию).

По утрам, когда я не хотела вылезать из-под одеяла, он говорил:

— Просыпайся, детка. Смотрит солнышко в окно, петушок пропел давно.

Но так как я отвечала, что всех петушков немцы сварили в большом-большом котле и съели, он «петушка» заменил на «лошадка ждет тебя давно».

Лошадка — это он, дядя Климята, потому что он катал меня на себе, а зимой — вокруг дома на санках. Он нашел их, старенькие, в сарае и сбил планками, чтобы не развалились.

Если удавалось раздобыть муки (это чаще всего была мельничная пыль; немцы разрешали женщинам, которых пригоняли на мельницу работать, обметать стены), пекли сочни. В эту муку, чтобы было больше, примешивали картофельные очистки, весной — лебеду. Дядя Климята всегда говорил: «Первый блин, самый вкусный, малышке». И я верила и съедала.

Когда же меня донимали приступы кашля или я спотыкалась на кривых ногах, он с горечью говорил: «Малышке бы фруктов и овощей — она бы поправилась».

Умер дядя Климята в 1947 году, когда еще была карточная система. И хлеба вволю не пришлось ему поесть, а он мечтал во время войны о фруктах и овощах. На его гроб положили большой венок из георгинов, первых послевоенных цветов, выращенных в палисадниках. Я тоже плела этот венок и плакала.

В поход за овощами

Что такое фрукты, тогда не знали. А вот овощи Сева для меня решил раздобыть. У них был небольшой огород, там какие-то овощи росли. Но их нужно было беречь для зимы. Летом же и лебеду есть можно.

За соседским домом немцы зачем-то заставили нарыть ям, а за ямами была их кухня. Очистки от картошки, свеклы, брюквы, гнилую морковь выбрасывали в ближайшую яму. Туда и стал водить Сева меня за овощами, т. е. за витаминами.

Все что можно было грызть, грызли, а картофельные очистки приносили домой. Правда, это богатство нам не всегда доставалось: часто женщины, работавшие на кухне, забирали из этого «все лучшее» домой.

И вот однажды нам повезло: нашли толстые очистки свеклы и кусок морковки. «Грызи — кашлять не будешь!» — приказал мой «диетолог».

В это время наверху, около кухни, немцы поставили большую скамейку и накрыли ее солдатским одеялом.

Морковь, конечно, досталась мне, а Сева, то ли чтобы не слышать, как я буду хрустеть этой морковкой, то ли захотел поиграть в прятки со мной, вылез наверх и нырнул под скамейку. И тут же немцы положили на скамейку кого-то, стали вокруг и заговорили.

Бедный мой дружок рванул из-под скамейки, а один из немцев так пнул его ногой, что Сева сразу оказался в яме, схватил меня за руку и потащил от этого страшного места.

А вечером мама рассказала, что партизаны убили предателя-полицая. Это ему немцы отдавали «почести». А столкнул Севу в яму немецкий фельдшер. Этим и спас его, ведь Севу могли убить.

Мое «приобщение» к религии

До войны в нашем поселке церкви не было: ее закрыли после революции. Во время войны в одном из домов стал вести церковную службу откуда-то взявшийся священник. Люди не очень-то шли молиться в такую церковь. После войны его судили как изменника Родины.

Чтобы привлечь людей, священник начал с того, что предложил покрестить детей. Немцы и бургомистр его поддержали. Более того, по поселку расклеили приказ: «Покрестить всех некрещеных детей. За неповиновение — смерть».

Мама повела меня в церковь. Там было много детей. Павлика и Любу Зайцевых (до войны они жили по соседству с нами) привела бабушка Левоновна. Всех детей разули, священник чем-то помазал подошвы, прочитал молитву. На уголке моего свидетельства о рождении (было приказано являться со своими метриками) написал: «Младенец Нина крещена». А этому «младенцу» шел пятый год.

После крещения бабушка Левоновна пригласила нас к себе попить чаю (заваренная подгоревшая корочка хлеба) с сахарином, раздобыть который было очень трудно.

После чая, пока еще взрослые сидели за столом, Павлик (а он очень картавил) стал на колени перед иконой, перекрестился со словами: «Мяца, сына, святаго духа», потом стукнул об пол лбом и произнес: «Гоп». Смысла молитвы

я, конечно, не поняла, да и Павлик, наверно, тоже не знал, но он сказал: «Если будешь молиться после еды, то всегда будет такой сладкий чай».

Вечером дома после скудного ужина я опустилась на колени и так же, как Павлик, помолилась «с гопом». Так я приобщилась к религии. Все рассмеялись. «С твоей молитвой больше нагрешишь», — заметила мама. Греха я боялась и больше так не молилась.

Мы в деревне

Фронт приближался. Слышен был гул самолетов. Во время бомбежки меня заталкивали в погреб под домом. Это сделать было нелегко: там было темно, холодно и страшно. Я разводила руки в стороны, цеплялась за стены и истошно кричала. Взрослые тоже спускались в это «бомбоубежище».

Потом мы оказались в деревне Малые Лежни. Это километров 15—17 от Шумилино. Староста развел беженцев (так нас называли сельчане) по домам. Нас, две семьи, определили к хозяевам, семья которых состояла из пяти человек.

Детей в деревне было много, но больше всех запомнился Васятка. Отец его был на фронте (позже получили извещение о смерти), а мать убили. Васятка переходил из хаты в хату: сколько семей жило в хате, столько дней и должны были его кормить. Эти воспоминания у меня связаны с запахом серы. Дело в том, что у Васятки была чесотка. Когда он приходил, мама и ему, и нам для профилактики серой мазала руки: мы же играли вместе. Ему еще мазали живот.

Васятку и нас «за дружбу» мама мазала серой несколько раз в каждый его приход к нам: то ли он от чесотки не успевал вылечиться, то ли мог снова заразиться, из хаты в хату перебегая. Зимой (и у нас, и у Васятки была очень скудная одежонка, не говоря уже об обуви) мы играли на разостланном на полу одеяле, а потом тут же и спать укладывались. Это одеяло было нашим богатством и спасало меня от холода и на полу в деревне, и в лесу, и в землянке. Я его очень хорошо представляю даже более полувека спустя.

Пережить последнюю военную зиму нам помогли хозяева: делились чем могли. Когда я простудилась, дедушка (отец хозяйки) несколько раз отдавал свою затирку. А потом мы голодали — ни у хозяев, ни у беженцев есть было нечего. Но радовались тому, что слышна была канонада («Значит, наши близко», — говорила мама) и что наступила весна.

Не успел еще снег сойти, как женщины стали перекапывать огороды и колхозное поле в поисках перемерзшей картошки. Из этих «гнилушек», как мы их называли, пекли оладьи… Тогда казалось, что ничего на свете вкуснее нет. Много позже, вспоминая военное детство, собрали весной такой картошки, под руководством мамы напекли оладий, попробовали есть — ничего хорошего. Дай Бог, чтобы такую «вкуснятину» не ели ни наши дети, ни внуки.

Канонада приближалась. Осколком снаряда убило женщину. Немцы, отступая, зверствовали. Женщины с детьми ушли поздно вечером в лес — там было безопасней. А ночью стало страшно: разразилась гроза, шумел лес. Мы шли, пока не встретили двух человек. Они-то и довели нас до партизанского лагеря. Промокших и измученных детей увели в землянки.

Когда красноармейцы освободили от немцев деревню, мы вместе с партизанскими семьями возвратились туда. Немцев не было. Не рвались снаряды. Вот была радость! Все надеялись на скорое окончание войны.

Домой, когда нет дома

Мы возвращаемся в наш поселок Шумилино. Мама тащит тачку со всем тем, что осталось. Вера меня то ведет, то несет. Когда она выбивается из сил,

сажает меня на тачку, на наш скудный скарб, и подталкивает ее. Возвращаемся домой…

Только дома нет. Многие дома были превращены в бункеры (по поселку проходила линия фронта, и немцы укреплялись), часть домов сгорели.

Сначала мы поселились в сарае знакомых (счастливые, у них и дом уцелел, и сарай). А чуть подальше от дома был недостроенный бункер: в земле стояли стены. Мама со своей двоюродной сестрой, ее дочкой и Верой взялись за строительство: настлали пол, накрыли (крышу сделали, как в доме, только стояла она на земле). Сосед сложил печку. Можно и зимовать.

Осенью тетя с дочкой-учительницей переехали в деревню, куда ее направили работать в школу.

А мама в нашем бункере приютила женщину с двумя маленькими детьми. Ее муж был партизаном, а после прихода Красной Армии стал солдатом. Младшей девочке (ее звали Раей) было месяца три, старшей — три года, когда пришла на отца похоронка. Их мать, тетя Маня, была в отчаянии.

Мама и тут нашла выход. Два топчана сдвинули вместе, а около стенки поставили еще один. Из пружин, собранных на пепелище, сделали матрац, который стал своего рода колыбелью для Раечки. Утром мама варила из силоса (в соседней деревне раскрыли силосную яму) «капусту» и, если было из чего, реденькую затирку. Потом мама с тетей Маней уходили на работу, а Вера — в школу (от настоящей школы остались только каменные стены, ее восстанавливали, а чудом сохранившееся кирпичное здание приспособили под нее). А я стала нянькой. Когда малышка начинала издавать слабенькие звуки (плакать у нее, по-моему, не было сил), я из ложечки поила ее этой силосной водой, кормила жиденькой затиркой, а потом прыгала на матраце, т. е. укачивала девочку. Слава Богу, ни разу не упала на нее, а свалиться с этих топчанов было невозможно: промежутка между ними не было.

Осенью и весной под топчанами была вода. Мы, конечно, болели, но это было не самое страшное. К зиме в бункер собрались крысы. Днем еще было ничего. А вот ночью… К весне они так обнаглели, что однажды ночью одна из них прокусила маме локоть. Мама вскрикнула, за ней закричала я. После этого боялась ночью спать — так испугалась.

Мама упросила своих приемных родителей на время взять меня в деревню. Там было сытней и не было крыс, но без мамы и Веры я плакала — и снова оказалась дома.

По воскресеньям меня отпускали к Севе, моей бывшей «няньке», и Женечке. Они жили в своем доме, где было спокойнее — не было воды под кроватями и наглых крыс.

Скорее бы окончилась война…

Самыми счастливыми днями были те, когда от папы приходили письма, милые солдатские треугольнички. Конвертов все боялись, в них было: «Ваш муж (сын) погиб в бою смертью храбрых».

От папы долго не было письма.

А однажды мы получили треугольничек, но подписан он был чужой рукой. Это по просьбе отца кто-то написал, что отец ранен при взятии Варшавы и теперь находится в госпитале. Живой!

Мама несколько раз ездила, вернее, добиралась на товарняках к папе в госпиталь: пассажирские поезда не ходили.

После ранения и операции отец на фронт не попал. Вместе с другими, непригодными к воинской службе, его отправили в Речицу. С одной рукой (другую еще надо было разработать: она не сгибалась в локте и отекала) — на лесозаготовки. Перед этим папа заехал на сутки домой.

Теперь мы были уверены, что папа вернется.

А тете Мане с ее маленькими детками ждать было некого. Днем она еще держалась, а по ночам часто плакала. Весной тетю Маню взяли на работу на машинно-тракторную станцию и дали жилье — полдома с большой русской печью. Вот было радости!

Во второй половине дома жила многодетная семья, которая часть забот о девочках взяла на себя. А потом маленькую Раечку определили в ясли.

Иногда я забегала к ним, чтобы поиграть с Зиной (старшей), ну и понянчить малышку: как-никак у меня был «опыт».

Благодаря помощи добрых людей выросли девочки тети Мани.

Весна сорок пятого года

Наконец-то можно выйти из сырого бункера. Как только сошел снег, дети стали бегать босиком. Помню, мама, боясь, чтобы я опять не начала кашлять, сплела мне лапотки, но в них было неудобно играть «в классики», да и к тому же никто в лаптях, кроме меня, не ходил — почти все босые.

Силосную «капусту» заменила крапива. Это сейчас варят крапиву с мясом, картошкой, приправой да еще сметаной заправляют. А вода и крапива с несколькими ложками муки или картошиной — это совсем другое.

Но и взрослые, и дети не унывали: скоро окончится война.

И вот, наконец, 9 мая! Все опять, затаив дыхание, стоят под черной тарелкой — репродуктором. Но теперь счастливы, улыбаются, обнимаются.

На площади митинг. Мы, дети, топчемся тут. Дядя Климята подхватывает меня, высоко поднимает и говорит: «Теперь встречай папу. Он скоро приедет».

С этого дня я часто ходила на станцию. Мне никто не запрещал — уже большая. Приезжали солдаты, а папы все не было.

Уже и щавель появился. Это было настоящим лакомством. Сырого щавеля мама много не давала: боялась за наши животы, которые так часто болели. А сваренный щавель ни в какое сравнение не идет ни с крапивой, ни со свирепицей (из нее тоже готовили).

Щавель и клевер — вот те витамины, которые, по-моему, и спасали нас, детей военных и первых послевоенных лет. Из сырого клевера мы высасывали, по словам бабушки Левоновны, «полезный нектар», а из сушеного пекли сочни, добавляя, если были, картофельные очистки, мякину или отруби.

На зиму нужно насушить много. А вокруг поселка ни щавеля, ни клевера не было. За ними отправлялись за несколько километров. В будни за щавелем с такими же голодными подростками ходила Вера. Я до сих пор помню ее торбу, к которой мама пришила лямки, чтобы можно было носить за плечами.

И теперь, когда я смотрю на поле цветущего клевера, вспоминаю маму, которая принесла его целую торбу из деревни. Она бережно расстелила цветочки на подстилке на солнышке, а мне приказала охранять. А я убежала на станцию, вдруг папа приедет…

С радостью и беда…

Позднее я все-таки встретила отца. Бегу на станцию, смотрю: боец идет. Я к нему: «Папа». А он только успел сказать: «Доченька», — и упал. Тут же, на улице, его стала трясти малярия.

Болезнь протекала тяжело: поначалу трясло каждый день. Приступ обычно начинался ближе к обеду, почти в одно и то же время.

Понимая, что к зиме нужно заселиться, отец старался до обеда строить домик, переделывая его из бункера. Поэтому жили в землянке, наскоро оборудо-

ванной здесь, возле строительства. По воскресеньям приходили помогать папины друзья и бывший сосед.

Мама где-то раздобыла часы-ходики, а я в 12 часов дня объявляла папе, что нужно уже ложиться в постель, скоро приступ, который продолжался несколько часов. Это было что-то страшное.

А вечером, после приступа, папа уходил на работу (его взяли ночным охранником в банк), ведь никакой пенсии не платили.

А потом заболела и Вера. Им с папой медсестра приносила желтенькие таблетки (хину, так их, по-моему, называли). У папы уже от них стали желтыми зубы. Вера боялась, что и у нее пожелтеют, поэтому старалась таблетки не пить. А я боялась заболеть — часто пила за нее. Наверно, Бог помог нам: у Веры болезнь протекала не так тяжело и скоро отступила, и я не заболела. А папу трясло больше года, сначала каждый день, потом через день.

Наконец-то мы перебрались в наш домик. Сколько было радости! Любимое место — русская печь, где мы с Верой в холодное время спали. Любимое блюдо того времени — затирка (кулеш, как мы его называли).

Помню, пришла к нам соседская девочка Рая (она была немного старше меня). Мама налила в алюминиевые миски затирки. Я, как всегда, взялась за ложку.

— Кто же так ложкой ест, — удивилась Рая, — ты же быстро все съешь и удовольствия не получишь.

Мама, заглянув за печку, где мы лакомились (макали палец в затирку и облизывали его), строго сказала: «Глистов пальцем в рот занесешь, полынь будешь пить опять». А полынь уже надоела. Я решила не рисковать и взяла ложку.

Самыми радостными днями были те, когда родители по карточкам получали хлеб, настоящий, душистый, целых три буханки на месяц: по одной на работающих и одну на детей. Эту буханку хлеба мы съедали сразу. Отец говорил: «Хоть раз наешьтесь».

Первая годовщина Великой Победы

9 мая 1946 года. Уже несколько дней папа не встает с постели. Малярия почему-то стала трясти, как говорит мама, злее.

Но праздник есть праздник. Мы с Верой идем к братской могиле. Там уже собралось много людей. Кто радуется, кто плачет. Играет гармошка. Наконец начинается митинг. Выступают бывшие бойцы, партизаны. Потом стреляют. «Это салют», — говорит какая-то тетенька.

В школе будет концерт, но мы туда не пойдем: у нас больной папа.

Не успели мы войти в дом, как навстречу нам выскочила мама. «Сиротки вы мои!» — заплакала она. Но тут же бросилась снова в дом. Там фельдшер склонилась над папой и что-то колдовала. Позже мне Вера объяснила, что фельдшер делала искусственное дыхание. Папа открыл глаза. Потом он часто рассказывал, что ему грезилось, будто он поднимается на гору, а там его друзья-однополчане, погибшие под Варшавой.

— Это кризис, — сказала фельдшер, — теперь жить будет.

Под вечер пришел дядя Ваня, друг папы, поздравить его с праздником. Папа был очень слабый, но живой.

День Победы и возвращение к жизни папы — в честь этих двух радостных событий мы пили желудевый кофе с конфетами-подушечками, принесенными папиным другом.

Желудевый кофе… Возле школы рос огромный дуб. Осенью мы собирали желуди, сушили. Потом мама молола — вот и кофе.

Первый раз в первый класс

К школе меня готовили все. Мама сшила из куска плащ-палатки юбку. Папе на базаре удалось купить две тетради по письму для первого класса. А Вера подарила карандаш. Потом появились ручка с пером-звездочкой и сумка из того же куска плащ-палатки.

Первого сентября открылись двери восстановленной, настоящей школы. В школу меня повела Вера. Первых классов много. Меня определили в первый «А», где самая красивая молодая учительница Анна Кузьминична Боркова.

В классе стояли большие парты. Они были настолько высокие, что мы на них залезали. За каждую парту посадили по три ученика.

— Раньше вы были просто мальчики и девочки, а теперь вы ученики. И это очень важно, — так начала первый урок Анна Кузьминична. Дальше она говорила, чему научит нас, как мы должны себя вести.

Пройдет одиннадцать лет, и я так же начну свой первый урок в сельской школе.

Потом мы разучивали песню.

— Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно… — пела я вслед за учительницей, болтая босыми ногами.

Позже папа сложил печку в доме одного знакомого, и тот в качестве оплаты отдал ботинки и кирзовые сапоги, которые его сыну уже были малы. Опять радость. Правда, в сапогах зимой ноги мерзли, но я научилась бегать в школу. Благо, было недалеко.

Осенью собрали первый послевоенный урожай со своего небольшого огорода. Большую часть картошки засыпали в подпол на семена (неприкосновенный запас). Прикупили в деревне брюквы (ее почему-то легче было купить, да и стоила она дешевле).

До Нового года не голодали. А потом — одни карточки. По ним очень мало продуктов выдавали. На базаре все было дорого, а зарплата у родителей — маленькая. Заготовленный летом клевер и высушенные с осени картофельные очистки перемалывали, добавляли горстку муки, если она была, — вот и сочни. Из брюквы варили первое. А под весну бывало время, когда вообще есть было нечего. В такие дни Вера в школу не ходила: у нее кружилась голова. Я же и голодная, если не болела, шла в школу: выучусь, стану учительницей, куплю себе платье и наемся.

А в школе за одной партой сидели я, Леня и Паша. Отец Паши работал на мельнице каким-то начальником, поэтому девочка не знала, что такое голод, и приносила в школу то кусок душистого хлеба, то настоящие блины. На перемене Пашка ела, а мы от запаха глотали слюну, нас подташнивало, а Леня даже упал в обморок. Однажды Паша в школу вообще пирожки с капустой принесла, положила сумку в парту и вышла. Леня залез под парту и переполовинил ее завтрак.

Вернулась Пашка. Во было крику! Можно было подумать, что она дома не наелась этих пирожков. Навзрыд плакал, наверно, от стыда, Леня. Подошла к нему Анна Кузьминична, обняла его за плечи, прижала к себе и сама расплакалась, а на Пашку — ноль внимания. Дети такого не прощают: мы ее после этого просто невзлюбили.

Однажды Анна Кузьминична вошла в класс: из гуманитарной помощи нашему классу достались калоши. Кому их дать?

— Я думаю, Ване, — предложила учительница, — отец у него погиб на фронте, мама болеет.

Ну конечно, Ване. По морозу он еще приходил в школу в каких-то стареньких бурках, а в оттепель сидел дома: они ж промокают. Да и ходить в школу ему далеко.

Несколько дней Ванька приходил в школу с блестящими калошами на бурках. Но однажды, когда на улице разыгралась метель, наш класс огласился ревом:

мальчик потерял калошу. Анна Кузьминична дала нам задание, попросила нас хорошо себя вести, а сама вместе с Ваней отправилась на поиски калоши. Прошло порядочно времени, пока учительница и Ваня с калошами под мышкой вернулись в класс. На перемене, раздобыв у технички бечевку, подвязали на бурки калоши.

В классе несколько человек заболели корью. Никакого карантина не объявляли, только расспрашивали родителей и просили: кто из детей переболел корью — пусть ходит в школу, кто не болел — пусть сидит дома.

Мама вспомнила, что я болела: она со мной даже в больнице еще до войны лежала. Продолжаю ходить в школу — и опять заболеваю корью, причем в тяжелой форме. Врач сказала, что корью дважды болеют очень-очень редко. Значит, я попала в исключение.

Позже, став учительницей, бывало, смотрю, как ученики пишут шариковыми ручками, и вспоминаю бутылочку с чернилами (чернильниц-неваляшек у нас не было), стоявшую на парте и очень часто опрокидывавшуюся на тетрадь, сшитую из мешков от цемента, и на мою юбку из плащ-палатки.

На юбку — это куда ни шло. А вот когда чернила вылились на платье, присланное папиной сестрой из Сибири, куда ее семья была эвакуирована, слез было! В посылке еще были две тетради в клеточку и шесть цветных карандашей. Какое богатство: маме некоторое время не надо разлинеивать тетради из мешков. А цветные карандаши… Мы с Севкой из них сделали 12 (каждый разрезали пополам) и поделили.

Съели чужое…

Зима 1946—47 годов выдалась холодная. А наспех построенный и еще не утепленный домик не очень-то держал тепло. Дров нужно было заготовить много. Леса вокруг Шумилино нет и не было, зато кустарника хватало. Вот и возили домой олешник осенью на тачке, а зимой на санках.

Отправлялись за дровами рано: с обеда отца трясла малярия. Осенью, пока тепло, если мама была занята по дому, или на огороде, или на работе, с отцом за дровами отправлялась я (сестра училась в первую смену, я — во вторую).

Мне казалось, что папу малярия начнет трясти раньше, и тогда он или умрет там, или его, упавшего, съедят волки. К тому же я держалась за тачку и семенила рядом с папой, а он уверял, что я ему здорово помогаю.

Зимой чаще всего за олешником ходила мама. Сколько же его пришлось перетащить из кустов домой! Мама говорила: «Если уж в голоде, то пусть хоть не в холоде».

А голод нас не забывал. Скудные запасы на зиму съели. Осталось немного картошки, но это святое — на семена.

На зарплату отца (охранника) и мамы (уборщицы) не очень-то много при той дороговизне купишь. Я не помню, что, кроме трех буханок хлеба на месяц на семью, давали по карточкам. Если что и давали, то, наверно, очень мало, потому что бывали дни, когда совершенно нечего было есть.

В один из таких морозных дней отец с матерью отправились за дровами. Сестра Вера в школу не пошла. Она, подросток, голод переносила тяжелее, чем я, и после того как упала у доски в обморок, совсем голодная в школу не ходила, чаще всего лежала.

У меня ангина. Сижу дома и пью на голодный желудок красный стрептоцид (был такой, им всех, по-моему, от простуды лечили). Чтобы отвлечь меня от голода, Вера на кровати играет со мной в школу.

Открывается дверь, врываются клубы морозного воздуха, а за ними входит Комаров Николай (он совсем молодой, но я зову его дядя Коля). Он из Городна,

из той деревни, где до войны учительствовал мой дядя Стася, которого фашисты сожгли в топке Дахау. Николай — бывший дядин ученик.

Так уж повелось, что из этой деревни заходят к нам дядины ученики и просто знакомые, когда приходят по делам в «район» (в райисполком), иногда ночуют. А дядю Костю (он работал вместе с дядей и теперь учит детей в той же школе) мы считаем родственником.

Вот и теперь у дяди Коли в «районе» какие-то дела. Он зашел к нам, отдохнул после дороги (пешком километров тринадцать по зимней дороге отмахал), повесил торбочку по типу вещевого мешка на гвоздь, сказал, что к обеду должен управиться — сегодня нужно возвратиться домой, и ушел.

— Больше Николай ничего не мог придумать, как оставить торбу с хлебом нам, голодным, — заворчала Вера.

— А откуда ты знаешь, что там хлеб? — спросила я. — Никакого хлеба в торбе нет.

— Ты что, не чувствуешь? А, это у тебя нос заложен. Спорим, что там краюха хлеба.

Я подставила табуретку, сняла торбочку, принесла Вере. Развязали… Там действительно лежала краюшка деревенского душистого хлебушка.

— Давай мы по маленькому кусочку… — попросила Вера принести ножик.

— Это же чужое, — произнесла я, но сама пошла за ножиком.

Какой вкусный был хлеб! С картофельными очистками (это мы определили, когда медленно жевали), с мякиной, но это был хлеб.

Встала на табуретку, повесила торбу на гвоздь. Прошло некоторое время.

— И зачем только мы ели этот хлеб, — жалобно произнесла Вера. — Еще больше есть хочется. Давай еще по маленькому кусочку. Да и ты свой стрептоцид выпьешь не на голодный желудок.

Снова залезли в торбу. Совсем понемножку хлебушка отрезали.

— У меня живот заболел, — захныкала я.

— Выпей воды, — посоветовала Вера.

Я вспомнила, что, когда был хлеб, мама чуть посыпала его солью и советовала съесть и водой запить. Не знаю, откуда она взяла этот рецепт от живота. Вот бы и теперь так. Я поделилась этой мыслью с Верой.

— Размечталась, — сказала сестричка, но послала, однако, меня за торбой.

Когда мы третий раз отрезали «понемножечку», то хлебушка там оставалось с гулькин нос. Мы прикончили остаток. Я повесила торбочку на гвоздик. Теперь осталось дождаться хозяина краюшки.

Появился дядя Коля. Я не стала ждать, пока он обнаружит пропажу, и заныла, указывая на торбу.

— Дядя Коля! Дядя Коля! Мы…

Но больше ничего я не могла сказать, так как слезы душили меня.

Добрый парень все понял без слов, подошел ко мне, обнял за худенькие, вздрагивающие плечи и стал успокаивать. Отвернувшись к стене, плакала Вера.

Весна. Война напомнила о себе

Как хорошо выскочить из полутемного домишки на улицу, где журчат ручейки, можно пускать бумажные кораблики. Не нужно натягивать на себя все, что есть, чтобы не мерзнуть в классе. А потом, после весенних каникул, когда немного подсохнет земля, прыгать в «классики». В них можно играть даже вдвоем, но чем больше человек, тем интереснее. Обычно собирались втроем или вчетвером. Сначала чертили на земле шесть квадратов в два ряда. Потом по очереди прыгали на одной ноге, двигая битку до тех пор, пока не попадали на линию, — пас. Тогда очередь прыгать переходила к другому игроку, а следующий (водила) следил за

Станислав Кореневский.
(Фото конца 1930-х годов.)

игрой, т. е. за передвижением битки (водит), чтобы, если — пас, то самому продолжить игру.

Перед этим трагическим днем Коля подошел к нам с Валей и говорит: «У меня такая красивая битка. Во биточка! Приходите завтра пораньше — покажу и поиграем».

В «классики» каждый играл своей биткой. У меня, например, битка была из резины от пушки, у Вали — баночка из-под гуталина, наполненная песком.

Назавтра, как и договорились, мы пришли в школу пораньше. Недалеко от школы выбрали место, начертили «классики». Колина битка была что надо. Какая-то разноцветная и даже блестела на солнце.

К нам подошла девочка Броня из первого «Б» класса.

Первой отпрыгала я и, увидев подходящую к школе нашу учительницу, побежала дежурить. Второй по очереди прыгала Валя. Третьим в игру вступил Коля, а Броня «водила».

Битку с небольшого расстояния бросают в первый квадрат. Ударилась эта удивительная битка о землю — взрыв. Броня погибла на месте. Вале мелкими осколками посекло ноги. Долго лечили, на ногах остались синие пятна. А Колю чуть спасли: его ранило в живот. Не знаю, где он нашел эту страшную «игрушку», оставленную фашистами специально для детей.

Помню, мы, притихшие, испуганные, сидим за партами. Учительница не может сдержать слез. Ей много пришлось пережить во время войны в партизанском отряде. Наверно, не раз она видела смерть, да и сама от нее была на волоске, выполняя боевые задания. Но такого, чтобы после войны, в мирное время, возле школы подрывались дети… Это не укладывалось в голове.

Война в судьбе нашей семьи

Отца моего мужа, Андреева Ивана Яковлевича, расстреляли немцы. Мать осталась одна с четырьмя малолетними детьми. Что пришлось им вынести во время войны — трудно представить.

Да и не легче было, когда после освобождения возвратились из леса в деревню, где ни кола ни двора: враги сожгли большую часть домов, в том числе и их. Тяжелая, непосильная ноша легла на плечи семилетнего мальчугана. Единственный «мужчина» в семье (остальные девочки), он старался помогать матери во всем, надрываясь на тяжелой работе, когда строили домик. Рано научился ходить за плугом, косить — в общем, делать всю мужскую работу.

Война осиротила и детей маминого родного брата Пузикова Ивана Егоровича. Его жена умерла перед войной. Дядя Ваня погиб в партизанах. Погибли и

трое его сыновей. В живых остались три дочери и младший сын (вырос, выучился и долгое время работал главным энергетиком НПЗ). Старший сын, Владимир, мой двоюродный брат, воевал с самого начала войны и дошел до Берлина. Последнее его письмо, присланное нашей семье, заканчивалось: «До скорой встречи на родной земле».

Не довелось Володе встретиться с родными: он погиб в Берлине 8 мая 1945 года.

Не дождались мы после Дня Победы и родного брата отца. С начала войны о нем ничего не было известно. Отец знал, что перед войной воинская часть, где служил дядя, стояла в Гродно.

После войны отец посылал запросы в военкомат, в Министерство обороны, в военный архив. Наконец пришел ответ…

Николай Митропольский.
(Фото на стенде школьного музея
г. Луганска (ранее Ворошиловград).)

Я навсегда запомнила тот январский вечер 1947 года, когда, придя из школы, я впервые увидела рыдающего отца. Он сидел за столом, на котором лежала «казенная» бумага. Мама и Вера, моя сестра, так были потрясены, что объяснять мне ничего пока не стали, очевидно, не хотели еще раз повторять эти страшные слова. Так как я уже читать умела, то прочла сама: «Ваш брат, Кореневский Станислав Иванович, сожжен в топках Дахау 24 июля 1942 года». В этот день ему исполнилось тридцать лет. До армии дядя работал в сельской школе учителем.

Семья моей тети учительницы Полины Ивановны была эвакуирована в Красноярский край, город Дзержинск. Ее сын Коля в это время учился в 10-м классе. Выросший в учительской семье, сам мечтал стать учителем.

Война… Почти каждый день он с товарищем после уроков отправлялся в Дзержинский военкомат с просьбой направить на фронт. Военком советовал им закончить школу. К тому же перенесенная в детстве Колей скарлатина дала осложнение на сердце.

Наконец ребятам повезло, военком согласился направить их в военное училище. Договорились: дома ничего не говорить.

Осенним утром 1941 года, в начале урока русской литературы, учительница Митропольская Полина Ивановна, Колина мать и моя тетя, отмечает отсутствующих. Дежурный называет одну фамилию, потом, запнувшись, добавляет: «И Митропольский».

— Где же ребята? — спрашивает Полина Ивановна.

— Ушли на защиту Родины, — ответил дежурный.

Потом долгожданные треугольнички сначала из военного училища, позже с фронта. А в конце февраля 1943 года тетя Поля получила извещение: «Ваш сын, Митропольский Николай Сергеевич, геройски погиб».

Могила Коли в Ворошиловграде (теперь Луганск), недалеко от школы, в которой после войны был создан музей. Один из стендов посвящен моему двоюродному брату. На нем некоторые его вещи, любимые книги и фотографии. На одной из

Николай Митропольский (крайний слева).
На обороте написано:«Н. С. Хрущев беседует с бойцами Сталинградского фронта».
(Фото начала 1943 года.)

них Николай со сцены читает горьковскую «Песню о Соколе». Не случайно под его портретом в музее ребята написали слова из «Песни».

Ушел из школы учеником — возвратился не учителем, как мечтал, а героем.

Прошло несколько лет. Как-то перелистывая новый номер журнала «Огонёк», тетя Поля вдруг увидела Николая (мать не могла не узнать сына). На развороте журнала была помещена фотография, под ней подпись: «Н. С. Хрущев беседует с бойцами Сталинградского фронта». Послала запрос в Военный музей, оттуда прислали фотографию, сделанную во время войны. На обороте написано: «Н. С. Хрущев беседует с бойцами Сталинградского фронта». Действительно, на переднем плане младший лейтенант Митропольский».

Родители Володи постоянно ездили в Ворошиловград на могилу сына. Много раз жители Ворошиловграда видели эту скорбную пару.

На примере только нашей семьи видно, сколько горя принесла война.

Борьба за идеалы

Судьба Максима Богдановича, классика белорусской литературы, продолжает волновать новые поколения читателей, а также исследователей национальной литературы, культуры в целом. Наступает время более глубокого осмысления его роли в раскрытии возможностей белорусского слова, его места в национальной литературе. В связи с этим увеличивается интерес ко всему, что окружало поэта, что способствовало развитию его таланта. Попрежнему часто высказывается мнение приблизительно такого содержания: «…Максим стал поэтом не благодаря, а вопреки воле отца…» Мнение, конечно, может высказываться любое. Но вот только достаточно ли аргументированно убеждение, что Максим Богданович и его отец Адам Егорович (а более точно Адольф Юрьевич) Богданович были противниками в плане духовном, национальном, идейном, художественном, стоит задуматься. А чтобы и вообще ответ получить, следует пристальнее вглядеться в саму судьбу, в научные и мемуарные труды Адама Богдановича. И вот появилась неплохая возможность приблизиться к поиску ответа на этот и, возможно, целый ряд других вопросов…

В издательстве «Литература и Искусство» увидела свет первая книга из своеобразного двухтомника Адама Богдановича «Я всю жизнь стремился к свету…». Основой данного издания стали рукописные воспоминания, которые сын Адама Егоровича — Павел Адамович Богданович (1901—1968) — передал в Академию наук Беларуси. В настоящее время рукопись хранится в Литературном музее Максима Богдановича. Она сверена с машинописным текстом научными сотрудниками музея А. Киселевич, П. Трус, С. Кисловой, Т. Ревяко. «Мои воспоминания» были опубликованы в 5—8-м номерах журнала «Нёман» в 1994 году.

Составитель, автор предисловия книжного издания «Моих воспоминаний», как и всего предполагаемого двухтомника «Я всю жизнь стремился к свету…», — известный белорусский краевед, историк белорусской литературы Александр Ващенко. Вообще судьба научных, историко-мемуарных работ А. Богдановича весьма драматична. В 1895 году в Гродно вышла монография 33-летнего ученого «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов». Хотя работа до сих пор не утратила своего значения, многие ее постулаты Адам Егорович в конце жизни пересмотрел. Но его основным научным трудом является двухтомная монография «Язык земли. Образование водоречных имен и от них происходящих». Работа эта включает более тысячи машинописных страниц. Монография была поставлена в план издательства Академии истории материальной культуры на 1935 год. Но вскоре пришли другие события и другие люди. Труд А. Е. Богдановича посчитали контрреволюционным и возвратили автору. А. Ващенко замечает во вступительной статье к двухтомнику: «…К тому же, в 1936 году умирает Максим Горький — единственный человек, который мог оказать конкретную помощь Адаму Егоровичу. Так печально закончилась история монографии «Язык земли…»,

опубликование которой поставило бы автора в число самых значительных ученых своего времени…»

Используя материал неизданной монографии, Адам Богданович работает над исследованием «Этнический состав народов славянских и русских» в 2 томах. На семидесятом году жизни Адам Егорович начинает писать «Мои воспоминания». Его перу принадлежат статьи мемуарного характера: «Страницы из жизни Максима Горького», «М. Горький и Ф. И. Шаляпин в Нижнем», «Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича», «К истории партии «Народная воля» в Минске и Белоруссии 1880—1892». Кстати, эти статьи вместе с «Пережитками древнего миросозерцания у белорусов» и войдут во второй том. Можно сказать, впервые научное и историко-литературное творчество Адама Богдановича предстанет в полном объеме. А это, несомненно, позволит сделать шаг вперед в богдановичеведении. Возможно, более активно в процесс изучения жизни и творчества Максима Богдановича и Адама Богдановича включатся и российские исследователи. А то, что творчество Великого Максима современно, не вызывает никаких сомнений. Недавно в Минске прошла международная научная конференция «Белорусская и русская литературы: типология взаимосвязей и национальной идентификации». Семь докладов так или иначе связаны с творчеством М. Богдановича: «Несколько русских перевоплощений «Зачарованного царства» Максима Богдановича», «Переводы сонетов Янки Купалы Максимом Богдановичем на русский язык», «А. Блок и М. Богданович в 1916 году (эмпатический взгляд)», «Творчество Максима Богдановича и Александра Блока в контексте белорусско-русского культурного взаимодействия», «Существо художественного творчества в интерпретации Максима Богдановича и Александра Пушкина», «Мы сдвоились меж собой…» перезовы жизни и творчества гениев (Пушкин, Мицкевич, Лермонтов, Тукай, Богданович)», «М. Богданович и А. Солженицын: конкретность критической мысли». Пространство для поисков и открытий безмерное!..

В трудах Адама Богдановича особенно интересны факты и наблюдения. Причем не только из своей жизни… «Я — ранний выходец, из среды белорусского крестьянства, — пишет А. Богданович, — выходец, имеющий голос. На мне лежит долг — я это чувствую — рассказать про то, что лично переживал и что переживали мои близкие, что я видел, наблюдал и слышал от других людей, людей старого поколения, заслуживающих доверия, про людей и их дела, заслуживающие внимания. Я помню себя с двух лет: это я точно могу установить. Но воспоминания раннего детства могут иметь психологический интерес или педагогический. Нельзя за ними признать общественного значения. Но мои сознательные наблюдения насчитывают по меньшей мере 60 лет. А то, что я слышал от своей бабушки Рузали и ее сверстников, охватывает еще 60 лет и даже более, ибо она передавала о том, что сама в молодости слышала от старших, — стало быть, охват моих и чужих воспоминаний приближается к началу XIX века, включая около 130 лет».

Воспоминания А. Е. Богдановича читаются как увлекательная повесть. Композиционно они привязаны к описанию жизни его семьи, людей «нам близких и с нами связанных». Но «понимание человека невозможно без понимания среды и прошлого», что также немаловажно.

Как известно, Адам Егорович родился в Холопеничах Крупского района. Один из первых разделов так и называется — «Холопеничи до «воли». Подробно рассказывая о родном местечке, автор мемуаров передает атмосферу девятнадцатого столетия, показывает социальную, политическую жизнь края. В одном из разделов А. Богданович описывает события, связанные с восстанием К. Калиновского: «Местный отряд сформировался около с. Лисичина (в 15-и верст.), где довольно много мелкой шляхты. Он шел по помещичьим усадьбам, запасаясь обозом, провизией и фуражом, а также вербуя людей. Деревня в этом

смысле была безнадежна. Крестьяне ясно видели или чутьем угадывали, что это движение прежде всего классовое, а потом — национальное. Кто формировал отряды или «банды», как их называли царские власти? Помещики, вчерашние владельцы крепостных душ. Из кого комплектовались отряды? Из тех же помещиков, мелкой шляхты и дворни, т. е. «подпанков» и «панят» — вчерашних непосредственных и злейших врагов крестьянства, их самых жестоких притеснителей.

Это решало вопрос.

Среди крестьян ходили слухи, что движение имеет целью восстановление крепостной зависимости…»

Воспоминания изобилуют яркими фактами, которые способны пролить свет на ту или другую сторону действительности. Как, например, описание почтовых связей между уездными городами и небольшими местечками. Случалось, что на помощь установившимся правилам и законам приходила частная практика: «…Простое письмо можно было кое-как получить через волость, а за денежным — поезжай в Борисов или в Лошницу, если спустя две недели получишь повестку. Положение крайне тягостное: чтобы получить из Борисова или Лошницы какую-нибудь пятишницу (пятирублевку. — *Ред.*), надо или пешком трепаться 35—36 верст, или нанимать подводу за 2, за 3 рубля, или искать случая — кому доверить получение. Все это для крестьянства весьма сложно и затруднительно.

Но жизнь внесла свой частный корректив в это общее положение. Таким почтовым коррективом был старый холопенический еврей Мэйер.

Это был невысокого роста старик с патриархальной бородой, еще крепкий на вид, который издавна совершал пешеходные рейсы между Холопеничами и Минском, захватывал в свой круг клиентуру всех селений, местечек и городов по пути. Шел он в Минск, с котомкой и палкой в руке, неделю. Оставался в Минске, разнося письма по адресам и получая заказы и обделывая свои и чужие дела неделю, и на обратный путь употреблял неделю же. Потом с неделю отдыхал в Холопеничах и принимал поручения и заказы, и вновь отправлялся в путь.

Вся жизнь этого старика проходила в ходьбе. Это была живая почта. Он не только вам передаст письмо, но он вам словесно передаст свои впечатления, как кто живет, что с ним случилось, он сообщит вам массу ценных сведений, которых в письме не передашь…»

И хотя воспоминания заканчиваются серединой 1880-х гг., из них можно видеть факты, которые затем повлияли на семейную атмосферу в доме, где рос Максим Богданович. И главный из них — отцовское отношение к книге. На страницах воспоминаний немало удивительно теплых этюдов о любви к книге, о том, что значило чтение для юного Адама Богдановича.

…В 2012 году исполняется 150 лет со дня рождения автора двухтомника «Я всю жизнь стремился к свету». К его юбилею вышел в свет первый том книги. Не за горами выход и второго. А для издания очередного двухтомника А. Е. Богдановича — «Язык земли. Образование водоречных имен и от них происходящих» — будем надеяться, не потребуется еще 100—150 лет.

Кирилл ЛАДУТЬКО

Память сердца

«Память сердца» — так назван сборник рассказов белорусских и русских писателей, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Уже само название этой книги, изданной Белорусской Энциклопедией имени Петруся Бровки, обещает читателю откровенный, волнующий рассказ о героическом и трагическом военном времени. Достойно продолжая художественную летопись Великой Отечественной войны, созданную писателями старшего поколения, нынешние литераторы в своих произведениях правдиво и ярко рисуют образы мужественных и самоотверженных защитников Родины, рассказывают о тех неисчислимых страданиях и унижениях, которые пришлось пережить советским людям на оккупированной врагом территории. Этим глубоко реалистическим произведениям присущи национальная гордость, высокое чувство интернационализма, вера в святые идеалы человеческого бытия и в скорую победу над немецко-фашистскими захватчиками. По сути дела они — о мужестве, стойкости и патриотизме советских людей, говоря словами А. Герцена, «духовное завещание одного поколения другому» о том, как надо свято любить и беречь свою Родину, защищать ее.

Нельзя без глубокого душевного волнения читать рассказ признанного мастера белорусской прозы Василя Быкова — «Незагойная рана». Этот, написанный с убедительной художественной выразительностью и силой рассказ передает безутешное горе, переживания старой женщины Тэкли, ждущей с войны едийственного сына. Казалось бы, не осталось уже никакой надежды у матери. Во всех официальных ответах на запросы Тэкли о судьбе сына значилось одно: в списках убитых не значится. А раз так... Может, он еще жив?! И долгими бессонными ночами казалось одинокой старухе, что кто-то стучит в дверь, чьи-то слышатся шаги на крыльце: не его ли, не он ли?

Вспомнились и мне суровые военные годы, трудное послевоенное детство. Сколько, сколько было их, вот таких обездоленных, как Тэкля, матерей, потерявших своих сыновей! Но не случайно говорят — надежда умирает последней. Солдатских вдов и матерей долго не покидала горячая, сокровенная надежда что-то узнать о погибших, пропавших без вести, теплилась на дне измученной души — пусть даже слабая, но вера. «Нет, не убит мой, не может быть, чтобы он погиб... Он еще объявится!» И эту волнующую фразу часто слышал я, школьник, от своих родных и соседей. А совсем недавно пришло письмо от знакомой, в котором она просила меня помочь ей собрать хотя бы какие-то сведения об отце-фронтовике, в конце концов, найти место, где он погиб и похоронен. К большому моему сожалению, я мог ей ответить лишь коротким стихотворением:

Ушел боец на фронт,
Пропал без вести.
Дочь родилась — увидеть не успел.
Но, может, не убит и уцелел?
В военной затерялся круговерти?
Так думала,
Надеялась жена.
Найти отца пыталась долго дочь.
Да кто и как им мог помочь?
Не оставляет адресов война.

Трагическая правда бесконечного горя матерей и близких, потерявших на войне сыновей и отцов, отражена и в других рассказах сборника. Ведь многие известные авторы — из того самого поколения писателей, которое выстрадало военное лихолетье, пережило войну. Все чаще их теперь в критической литературе именуют «дети войны», потому что все они, малолетние, были свидетелями героической борьбы народа против немецкого фашизма, высокохудожественно осветили в своих произведениях эту

волнующую тему. К ним прежде всего хочется отнести авторов сборника, замечательных прозаиков Ивана Чигринова, Ивана Пташникова и Янку Сипакова.

Характерно: и белорусскими, и русскими писателями война рисуется такой, какой она была на самом деле — суровой и жестокой, с кровопролитными боями, с невосполнимыми потерями, с трудными победами и горькими поражениями. Перед читателем встают героические образы бойцов и командиров Красной Армии, показаны их нравственная сила, горячее стремление защитить свою Родину, изгнать врага с родной земли.

Сильное впечатление производит рассказ «Выжить и победить» москвича Виктора Мануйленко. С дневниковой точностью повествует о боевой жизни танкового батальона майора Вологжина, приданного пехотной дивизии, «которая занимает оборону в десяти километрах от фронта».

Коротко о содержании произведения. Майор Вологжин получает задание от комдива незаметно для противника «окопаться» по всей линии обороны, именно вкопать танки в землю, тщательно замаскировав, придав им роль огневых точек в преддверии вражеского наступления. И в ходе выполнения этого задания, и особенно потом, в бою, вырисовывается образ майора Вологжина — человека смелого и деятельного, настоящего патриота Родины. Умело организовав оборону на своем участке фронта, он наносит ощутимый урон врагу, со своим танковым экипажем «тридцатьчетверок» подбивает несколько вражеских машин. Даже тяжело раненый, по воле случая оставшись в тылу наступающего противника, майор Вологжин не теряет присутствия духа, по сути дела, не выходит из боя: из своего хорошо замаскированного танка корректирует огонь наших артиллеристских батарей, остается жив, дождавшись возвращения наших наступающих войск.

Автору, бесспорно, удалось не просто показать человека на войне, а создать глубокий, художественно убедительный образ защитника Отечества. Надо полагать, такие жизнестойкие, сильные характеры рождало само военное время, суровые условия фронтовой жизни.

Обогащают книгу знакомые с детства произведения классиков белорусской литературы: Янки Брыля, Михася Лынькова, Пилипа Пестрака, Кузьмы Чорного, известных прозаиков, участников Великой Отечественной войны Антона Алешко, Николая Круговых, Миколы Лупсякова, Аркадия Мартиновича, Ивана Науменко, Алеся Савицкого и других авторов.

Но есть в сборнике удивительный рассказ, которым и хочется закончить отзыв на эту замечательную книгу. Он, рассказ, казалось бы, и не связан непосредственно с военными событиями: группа партизан получает в штабе специальное задание: …уже близок фронт, вот-вот будет освобождена от гитлеровцев и территория, на которой дислоцируется партизанский отряд. Но то, что совершают партизаны в эту тревожную, перед освобождением, ночь, не менее важно, чем выход подрывников «на железку»... Все было так неожиданно: в партизанском штабе приняли решение помочь местным крестьянам засеять поле! И несмотря на ночь, на то, что отступающий враг еще был рядом, они совершили великое человеческое действо, равное подвигу во имя жизни на земле. Партизаны засеивают крестьянское поле. Эту историю поведал сам бывший партизан, участник Великой Отечественной войны Алесь Савицкий в рассказе «Зеленое поле». Стоит ли говорить о том, как ночная операция растрогала загрубевшие в боях сердца партизан! Ведь на этот раз в руках были не автоматы, а зерно... Настоящей мелодией души звучат слова об одном из героев рассказа Данкове: «Данкоў быў хлебаробам, начная праца расчуліла яго, змякчыла, адкінула прэч усё вайсковае і пакінула толькі тое, што з'яўлялася галоўнай сутнасцю гэтага чалавека — яго любоў да працы на зямлі».

Евгений КОРШУКОВ

Поэзия повседневности

Минское издательство А. Н. Вараксина выпустило книгу очерков и стихов Анны Ароновой «Горки: люди и судьбы». Автор ступила на литературный путь в возрасте мудрости, когда не каждый решается на перемену судьбы. Но она сильный человек и однажды уже изменила свою жизнь, сумев превозмочь тяжелую болезнь. Об этом вскользь упоминается в книге, и это обстоятельство объясняет ту удивительную жизненную философию, которой наполнены ее очерки и стихи.

Книга представляет собой энциклопедию обыденности, причем в слове *обыденность* нет ничего уничижительного. Мы оцениваем времена по именам вождей и героев, по великим книгам и грандиозным зданиям. Жизнь обычных людей, таких, с которыми мы сталкиваемся на рабочих местах, в общественном транспорте, на рынке, на семейных праздниках, — эта подлинная, настоящая жизнь не оставляет следа. А между тем, она и есть суть времени.

Книга сопровождена фотографиями, последняя из которых подписана следующим образом: «22.06.45. Германия. Созрели черешни». На фотографии трое военных рвут спелую черешню. Один из них — отец Анны Ароновой. Трое мужчин, которым повезло выжить в страшной войне, у которых будет жизнь «после», которые смогут родить детей, построить дом и посадить не одно дерево. Для меня в этом смутном, не очень четком фотоснимке столько же драматизма и символики, сколько и во вражеских знаменах, брошенных к Мавзолею во время Парада Победы.

Книга наполнена зримыми и верными деталями, отражающими жизнь небольшого города и его обитателей на протяжении нескольких десятилетий. Чего стоит рассказ ветерана Великой Отечественной войны Семена Давыдовича Аксендлера о том, как они прервали новогоднее застолье немцев, разоружили их (сопротивлявшихся убили, война все-таки) и вместе с немцами продолжили встречу Нового года. Или уникальная пиар-акция аптекаря Подзерского, изобретателя крема от веснушек «Метаморфоза», который в 1900 г. отвез на Всемирную выставку в Париж веснушчатого мальчика. Половина лица его была обработана кремом. Мальчик-зебра принес Подзерскому золотую медаль выставки.

Очерки отражают человеческие судьбы и социальную среду. Это кладезь информации, необходимой специалистам по социальной истории: образование, медицина, воспитание детей, культурная жизнь — разнообразные сферы городской жизни запечатлены в очерках А. Ароновой. Если вы хотите детально понять культурную инфраструктуру белорусского районного центра Беларуси в 1990—2000-е, обратитесь к третьей части книги «Наши таланты: художники, поэты, музыканты». Исчерпывающий обзор. При этом для А. Ароновой важна не деятельность структур, подразделений системы культуры и образования, предмет ее интереса инициатива, энтузиазм бескорыстных работников культуры и искусства.

Еще одна отличительная особенность этой книги состоит в том, что ее автор является представителем позитивного взгляда на природу человека. Ее герои безупречны в своих добродетелях, у них нет второго дна. Мир героев Анны Ароновой кажется каким-то заветным уголком, куда многие из нас хотели бы попасть. Автор симпатизирует и сочувствует своим героям и заставляет делать то же самое своих читателей. На меня сильное впечатле-

ние произвел очерк «Жить вопреки», посвященный участнице партизанского движения Ольге Михайловне Волынцевой. Никаких писательских ухищрений, всего лишь пересказ страшных испытаний, с которыми пришлось столкнуться в годы войны молоденькой девушке.

Не менее выразителен материал, посвященный местному поэту Нине Ковалевой, прикованной к инвалидному креслу. Анна Исаковна не нравоучительствует, не призывает, не указует, она просто добросовестно фиксирует, что у Нины Дмитриевны, живущей со старенькой мамой, в доме нет телевизора (про пандус в подъезде я даже не заикаюсь). Как говорится: «умный — поймет».

Герои Анны Ароновой: честные скромные труженики, ветераны и пенсионеры, местные таланты, спортсмены, бизнесмены — все они в первую очередь добросовестные работники, безропотно принявшие свою личную судьбу и судьбу своей страны, созидатели материальных и духовных благ.

Конечно, в истории мировой литературы и публицистки были авторы и побойчее, и поизысканней, и поизобретательнее. Но вся беда в том, что эти корифеи существовали где-то далеко, в Горки Могилевской области они не заглядывали, горкинцами не интересовались. За них, проехавших мимо, эту работу выполнила Анна Аронова. Он открыла своим землякам калитку в вечность. Она их увековечила. Их лица, их высказывания, подробности их жизни доступны взгляду из будущего.

И еще на один аспект мне хотелось бы обратить внимание. Нашей стране, по европейским меркам не маленькой, не хватает местных брендов. Каменецкая башня прекрасна, Фарный костел в Гродно изумителен, Полоцкий Спасо-Евфросиниевский собор волнует возможностью прикоснуться к вечности… Но все они где-то там, а не рядом. Книга «Горки: люди и судьбы» полна потенциальных брендов (и потенциальных кумиров), которые способны если и не привлечь в районный центр толпы туристов, то, по крайней мере, наполнить сердца горкинцев вполне закономерной гордостью за свой край, сформировать уверенность в собственной уникальности и исключительности.

Журналист Анна Аронова открывает в своей книге себя как поэта. Нет, не только в своей очерковой прозе, но и, что называется, прямиком, в стихах. Хотелось бы привести одну строфу из ее стихотворения «Бессмертник», уже известного читателям «Нёман». Не зря писательница любит это жизнестойкое растение: наверное, много у нее с ним общего:

А вдруг он дает нам надежду,
Что можем и мы так цвести!
Что можем и мы совершенство
И вечность свою обрести?!

Иван СИВЕРЮХИН

ДЕЛЬФИНА.
Золотой голос Беларуси. Илья Курган.
Мн.: БелПринт, 2011.

Даже те, кто не слышал об Илье Кургане (сомневаюсь, правда, что такие есть), открыв эту книгу, будут захвачены ею. В слове «От автора» Дельфина, не пряча своих чувств, говорит: «Человек-легенда, достояние республики, белорусский Левитан — как только его не называли! Благодарные ученики в обращениях и письмах к своему бывшему учителю величали его «Любимый и дражайший Илья-свет-Львович», «Дорогой, глубокоуважаемый, прекрасный, несравненный, замечательный, добрейшей души человек, единственный на всей Земле, гениальный профессор, любимый всеми от мала до велика». Книга подкупает правдивостью, она позволяет больше узнать о гении белорусского эфира, замечательном педагоге и просто человеке. В разделе «Монолог» о пройденном пути рассказывает сам И. Курган. «Мой Курган» — свидетельства тех, чьи пути в разное время пересекались с ним, в том числе и учеников. Помещена также «Пьеса на двоих», действующие лица которой — Дельфина и И. Курган.

Якуб КОЛАС.
Сымон Музыка. Поэма.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2012.

Факсимильное издание одной из самых известных поэм народного песняра Якуба Коласа, которая впервые увидела свет в Государственном издательстве Беларуси в 1925 году — совместный проект издательства «Мастацкая літаратура» и Национальной библиотеки Беларуси. Конечно же, издание приурочено к 130-летию со дня рождения Якуба Коласа. Кстати, в прошлом году, также в связи с юбилеями, в издательстве «Мастацкая літаратура» вышли сборники «Вянок» Максима Богдановича и «Шляхам жыцця» Янки Купалы.

Дзяніс ЛІСЕЙЧЫКАЎ.
Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720—1839 гг.
Мн.: Медысонт, 2011.

Кандидат исторических наук Денис Лисейчиков работает заведующим отделом научного использования документов и информации Национального исторического архива Беларуси, является автором нескольких десятков статей по истории Церкви, которые публиковались в научных изданиях не только Беларуси, но и Польши и Украины. Верным этой теме он остается и в представляемой книге. Используя многочисленные источники, хранящиеся в архивах Минска, Гродно и Вильнюса, Д. Лисейчиков реконструирует повседневную жизнь униатского священника. Он отмечает, что «ўніяцкае парафіяльнае святарства адыграла значную ролю ў этнакультурных працэсах, што адбываліся на беларуска-літоўскіх землях, паколькі большасць насельніцтва беларуска-літоўскіх земляў у XVIII — пачатку XIX стст. вызнавала ўніяцтва. У інтэрпрэтацыі ўніяцкіх святараў да насельніцтва даходзілі здабыткі кніжнай усходнеславянскай культуры. Царкоўныя бібліятэкі нярэдка з'яўляліся адзінымі кнігазборамі на цэлую парафію».

Дзмітрый МАТВЕЙЧЫК.
Выгнаныя з роднага краю.
Мн.: Лімарыус, 2011.

Исследуется малоизученная проблема истории XIX столетия, связанная с эмиграцией участников восстания 1830—1831гг., выезжавших с территории современных Беларуси и Литвы. Общее количество оставивших тогда Родину составило примерно 1500—1700 человек, большинство из них оказались во Франции. Книга содержит богатый фактический материал. Поднятая проблема, что очень важно, освещается многогранно. Это видно даже из названий разде-

лов «Прычыны эміграцыі. Рассяленне эмігрантаў з беларуска-літоўскіх губерняў», «Гуртаванне ўраджэнцаў беларуска-літоўскіх губерняў у эміграцыі», «Самасвядомасць і самавызначэнне эмігрантаў з беларуска-літоўскіх губерняў», «Уплыў эміграцыі на грамадска-палітычны рух на Радзіме» и другие. Рассказывается также о писательской и издательской деятельности эмигрантов на чужбине, амнистии и возвращении на Родину.

Елена МИНЧУКОВА.
Венок судьбы. Роман. Серия «Библиотека писателей Беларуси».
Мн.: Харвест, 2011.

Скрупулезно, начиная со дня рождения (первая глава так и называется «Рождение») до ухода в вечность («Последний вздох»), Елена Минчукова прослеживает жизненный и творческий путь классика белорусской литературы Максима Богдановича. Со дня рождения его, как известно, в прошлом году исполнилось 120 лет. Соответственно, появились новые книги, авторы которых попытались еще раз постичь феномен, который называется загадкой Богдановича. На этом фоне «Венок судьбы» выделяется тем, что это художественный биографический роман со всеми, так сказать, вытекающими отсюда характеристиками. Возможно, не все в нем безупречно, однако нельзя не сказать и иного: автор изучила огромное количество документов, воспоминаний, касающихся М. Богдановича, и постаралась воплотить этот материал в художественном произведении.

Людмила РУБЛЕВСКАЯ.
Жених панны Дануси. Мистическая повесть, рассказы. Перевод с белорусского Людмилы Чеславской.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2012.

Это уже вторая книга Людмилы Рублевской в новой серии «Мастацкай літаратуры» «Готика — фэнтези — хоррор». И как первая, «Пляски смерти», новая книга рассчитана на читателя, любящего острые ощущения. Что ж, их он найдет предостаточно. В основу мистической повести «Ночи на Плебанских Мельницах» положены завораживающие легенды и предания о старом Минске. Оригинальны по своему содержанию «Старосветские мифы города Б*», где наблюдается синтез реалий белорусского местечка позапрошлого столетия и античных мифов. В рассказах, представленных в книге, возрождается стародавняя рыцарская шляхетская Беларусь.

Самотная зорка Венера.
Аповесці, апавяданні. Укладальнік Алесь Лесавік.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2012.

Серия «Вера. Надзея. Любоў», основанная в 2007 году, успела уже найти своих почитателей. Это и неудивительно, ибо книги, выходящие в ней, посвящаются вечной теме — любви. Которая, как известно, никого не оставляет равнодушным, поскольку, как сказал поэт, «любви все возрасты покорны». Как в жизни, так и в изящной словесности. Несомненно, что и очередной том этой библиотечки, «Самотная зорка Венера», будет встречен читателем с интересом. Как и в прежних, в книге помещены повести и рассказы разных авторов.

Уладзімір СЦЯПАН.
Адна капейка. Кніга прозы.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2012.

Свое предисловие к этой книге Лада Олейник назвала «Залатая капейка», уже этим давая понять, сколь высоко оценивает творчество Владимира Степана, в частности, она говорит: «Кніга Уладзіміра Сцяпана «Адна капейка» зойме ганаровае месца ў гісторыі айчыннай літаратуры, зробіцца істотным унёскам у наша прыгожае пісьменства.

Гэта зусім не простая капейка — яна залатая, каштоўная, вельмі высокай пробы».

У невядомых сусветах — In fremden Welten. Сучасная нямецкая літаратура. Укладальнікі Райко Ласончык, Андрэ Бём.

Мн.: Мастацкая літаратура, 2012.

В эту мини-антологию современной немецкой прозы вошли как произведения в оригинале, так и в переводе на белорусский язык. Перевоплощение это осуществлено впервые. Появление книги — результат большого проекта, организованного преподавателями Германской службы академических обменов (DAAD) для студентов из Мозыря, Гомеля, Гродно и Минска. Два года участники встречались на специальных семинарах, работали над переводами, обсуждали, доводили их до совершенства.

Ганад ЧАРКАЗЯН.

Горький запах полыни. Роман. Перевод с курдского Валерия Липневича.

Мн.: Мастацкая літаратура, 2012.

Ганад Чарказян — автор более 20 книг поэзии и прозы, а также книг для детей. Его новый роман — глубоко психологическое произведение, наполненное философскими раздумьями о жизни. Главный герой его, Глеб Березовик, попадает в афганский плен и проводит там много лет. За это время он узнает народ, принимает многое из его философии и жизненного уклада.

Василь СЛУЦКИЙ

Как стих Махтумкули...

С Туркменистаном связаны судьбы многих белорусских писателей. В 1946-м в Ашхабаде жил вышедший из сталинского заключения прозаик Борис Микулич. Во время Великой Отечественной неподалеку от столицы нес солдатскую службу поэт и прозаик Аркадий Мартинович. В Ашхабаде родилась Любовь Турбина. Как поэтесса она состоялась в Беларуси, хотя и пишет на русском языке. А еще «своя Туркмения» есть в судьбах Михася Карпенко, Любови Филимоновой, Николая Калинковича, Василя Ткачева. Гостили в туркменском краю Олег Лойко, Рыгор Бородулин, Алесь Жук, Алесь Емельянов...

Совсем недавно попал мне в руки ежегодник «День поэзии 1972», который представляет собой сборник стихотворений поэтов разных поколений. Под одной обложкой книги, вышедшей в минском издательстве «Мастацкая літаратура», встретились Микола Арочка, Иван Арабейко, Раиса Боровикова, Марина Барсток, Петрусь Бровка, Констанция Буйло, Зиновий Вагер, Анатоль Воробей, Борис Ганкин, Людмила Гончарова, Виктор Гордей, Нил Гилевич, Анатоль Гречаников, Леонид Дайнеко, Татьяна Дмитрусёва, Марьян Дукса, Людмила Заболоцкая, Валерий Законников, Алесь Звонак, Василь Зуёнок, Артур Вольский, Кастусь Ильющиц, Ольга Ипатова, Казимир Камейша, Галина Корженевская, Владимир Короткевич, Галина Карпова... Первая книга Констанции Буйло вышла в 1914 году, у других авторов стихотворение в поэтическом ежегоднике стало одной из первых или первой публикацией. Наряду с белорусскоязычными поэтами в «Дне поэзии 1972» выступили и литераторы, которые писали на русском: Эдуард Касперович, Петр Касьяненко, Наум Кислик, Игорь Малашков, Василий Пак, Леонид Рашковский, Юрий Сакович, Давид Симанович... Не надо забывать, что 1972 год — юбилейный для Советской страны, 50 лет со времени образования СССР. Составитель, редколлегия, издательство приняли следующее решение в связи с этим: представить в переводе на белорусский стихотворения поэтов каждой из советских республик. С Туркменистаном читатель познакомился через поэта Кара Сейтлиева. Юрась Свирка перевел его стихотворение «Гастелло», посвященное легендарному летчику-белорусу.

Но девять сейтлиевских строф — это не единственные «туркменские» страницы белорусского «Дня поэзии 1972». Со стихотворением «Туркмения» в ежегоднике выступил Бронислав Спринчан. «Рассвет и свежесть рощицы // И переливы нив // Искусные ковровщицы, // Сплели в один мотив», — так начинается «поэтический отчет» Бронислава Петровича о путешествии в Туркменистан.

...Так случилось, что с Брониславом Спринчаном мы встречались не очень часто. Оно и понятно. Из разных поколений. Бронислав Петрович родился в 1928-м... Я — в 1964-м... В Беларусь (уехал после окончания школы в 1981-м) вернулся в 1990-м. До 1995 года служил в армии. Но в 1990—2009 гг. почти до самой трагической смерти поэта, все же встречался с

Брониславом Петровичем, не единожды разговаривал с ним. Есть у меня и книга его с автографом. Но вот о Туркменистане как-то не поговорили. А ежегодник «День поэзии 1972» попал ко мне в руки не так давно. Уже после смерти поэта.

Над руслом оросительным —
Зеленый клин земли.
Рисунок выразителен,
Как стих Махтумкули.

В ковре с такой фантазией
Завязаны узлы,
Что весь он дышит Азией,
Как эрос «Гёроглы».

Творение отменное.
Гляжу я на ковер
И вижу всю Туркмению
От моря и до гор.

О своем интересе к «туркменскому» стихотворению Бронислава Петровича я рассказал его сыну — Вадиму Спринчану. Он работает редактором отдела поэзии журнала «Полымя». Пишет на русском и белорусском языках.

... «Да, отец был в Туркменистане», — сразу вспомнил Вадим Брониславович. И принес мне в подарок две книги стихотворений отца — «Ясень» (Минск, 1973) и «Свет любви: Избранное» (Минск, 1988). Открываю книгу, обложку для которой, заставки на отдельных страницах выполнили замечательные белорусские книжные графики Владимир и Михаил Басалыги. Но вот уже в книге «Ясень», вышедшей через год после «Дня поэзии 1972», стихотворение называется иначе — «Туркмении», автор тем самым не просто рассказывает об открытии не известного ему доселе края, а обращается к Туркмении, делится своими впечатлениями адресно. Произведение написано в 1971 году, по свежим впечатлениям от поездки:

С возвышенными думами,
Величествен
И прост,
Туркмен
Над Каракумами
Поднялся в полный рост.
Я рад,
что белорусские
Машины помогли
Ему прямыми руслами,
Широкими и узкими,
Заткать ковер земли.

Силен Серпом и Молотом,
Он
серый край пустынь
Оправил «белым золотом»
И позолотой дынь.

Ухоженной кетменями,
Украшенной трудом,
В лучах земле Туркмении
Цвести живым ковром.

Но в «Ясене» — три «туркменских» стихотворения. Кроме «Туркмении» — еще и «Река жизни», «Захмет». Читая произведения Бронислава Спринчана, вспоминаю поэзию Владимира Луговского, Николая Тихонова, их стихи, посвященные Туркменистану. Русские поэты открывали Восток в 1930-е... Бронислав Спринчан тоже по-своему делает открытия. Их содержание было привязано к осознанию главных ценностей окружающей поэта действительности. А ведь фундаментом жизненного обустройства и тогда, и сейчас является труд, созидающее начало. «Даже в желтой пустыне // Каракумский канал // Переплесками сини // Глухоту доконал. // Ивы // слева и справа. // Воздух мягок и свеж. // Обозначили травы // Жизни новый рубеж», — это из стихотворения «Река жизни».

Любые параллели в художественном деле неуместны. Но я опять задумался о Луговском (кстати, у Бронислава Спринчана есть замечательное стихотворение «У скалы Владимира Луговского в Ялте», написанное в 1966 году). Лирическая эпопея русского поэта «Большевикам пустыни и весны» (а есть у нее и другое название — «Пустыня и весна»), наверное, и для Бронислава Спринчана была путеводной звездой в открытии Туркменистана.

Третьим в подборке из поездки 1971 года (все три стихотворения вошли и в книгу избранного) стало стихотворение «Захмет».

Глядя в гаснущий костер,
Рассказал мне аксакал,
Как пескам наперекор
Люди строили канал.

Вкалывали от души
Украинец и казах...
Русской выделки ковши
Отражались в их глазах.

...Медленно журчала речь
Над вечернею рекой,
Мне из речи смысл извлечь
Помогал туркмен рукой.

Иллюстрируя рассказ,
На песке чертил предмет...
И при этом
всякий раз
С жаром выдыхал:
«Захмет».

И старался он не зря:
Над водой, где берег крут,
Понял я без словаря,
Что захмет по-русски — труд...

Немного расскажу о Брониславе Спринчане. Родился поэт 16 августа 1928 года в деревне Каниж Кировоградской области, в Украине. Окончил Кировоградский машиностроительный техникум. Работал на «Гомсельмаше» мастером кузнечного цеха. Потом — в заводской многотиражке. Заочно закончил Литературный институт им. М. Горького. Переехал в Минск. Долгие годы был редактром отдела поэзии журнала «Нёман». Первый сборник стихотворений — «Над кручами Сожа» — издал в 1957 году. Затем были другие книги: «В центральном пролете», «Ветер на откосах», «Плавка», «Надежды нежные ростки»...

«Туркменский цикл» Бронислава Спринчана опубликован также в книге избранных стихотворений — «Свет любви» (Минск, 1988 год). Предисловие к этому внушительному тому написал замечательный белорусский поэт, литературовед Олег Лойко: «Вообще правы те критики, которые говорят, что поэзия Б. Спринчана глубокими корнями уходит в белорусскую национальную почву. Думается, что в его поэзии, как и в прозе Ч. Айтматова, национальное начало стало настолько определяющим, что языковая форма не могла его стушевать.

Бронислав Спринчан — замечательный переводчик. Он успешно переводил современных белорусских поэтов, и эти переводы составили антологию белорусской советской поэзии. Но, как это сегодня видно, после спринчановских переводов поэтического наследия классика белорусской литературы Максима Богдановича — через переводы своих современников — он шел к большому, к тому, что уже только одно могло составить цель жизни человека: Бронислав Спринчан несомненно стал одним из лучших переводчиков стихов Максима Богдановича.

Особенно хочется подчеркнуть еще одно в Брониславе Спринчане, без чего его как поэта не было бы. Я имею в виду его недюжинную тягу к познанию всего прекрасного, что создано человеком в слове, его завидную память на стихи самых разных поэтов и еще — развитость в нем чувства гармонии, формы слова...»

До последних дней своей жизни Бронислав Спринчан как поэт жил ощущением настоящей гармонии, высокой художественной формы. Отрадно, что это ощущение сопряжено и с туркменской темой в творчестве белорусского поэта, украинца по национальности, литератора, писавшего на русском языке.

Игнат ШИЧКО

Авторы номера

САПОЖКОВ Юрий Михайлович. Родился в 1949 г. в Рязанской области. Окончил белорусский государственный университет. Журналист, поэт, переводчик. Автор шести сборников стихов и нескольких книг очерков. Живет в Минске.

КИСЕЛЕВ Георгий Иванович. Родился в 1939 г. на Вологодчине. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Поэт, критик, переводчик. Живет в г. Волковыск Гродненской области.

ИВАНОВ Николай Федорович. Родился в 1956 г. в Брянске. Учился в Московском суворовском училище, служил в Воздушно-десантном училище. Автор книг «Черные береты», «Гроза над Гиндукушем», «Наружка» и др. Живет в Москве.

ДОБРОНРАВОВ Николай Николаевич. Родился в 1928 г. в Ленинграде. Окончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького и Московский городской Учительский институт. Советский и российский поэт-песенник. Живет в Москве.

ДУЛЕПОВ Вадим Юрьевич. Родился в 1964 г. в г. Нижняя Тура Свердловской области. Окончил Московское военно-политическое училище. Автор сборников «Запомнить, чтобы забыть», «Дом на холме», «Зимние песни пешеходов». Живет в Екатеринбурге.

ЛИХОНОСОВ Виктор Иванович. Родился в 1936 г. на станции Топки (ныне Кемеровской области). Окончил историко-филологический факультет Краснодарского пединститута. Автор многих книг повестей, рассказов, очерков. Живет в Краснодаре.

ЩИПАХИНА Людмила Васильевна. Родилась в 1933 г. в Свердловске. Окончила Литературный институт имени М. Горького. Российская поэтесса, переводчик зарубежной поэзии. Автор более 40 книг стихов и переводов. Живет в Москве.

ШЕМШУЧЕНКО Владимир Иванович. Родился в 1956 г. в Караганде. Окончил Киевский политехнический институт, Норильский индустриальный институт и Литературный институт имени М. Горького. Автор сборников поэзии «Арифметика смерти», «Родиной пахнет ковыль», «Продолжение». Живет в Ленинградской области.

ЕКИМОВ Борис Петрович. Родился в 1938 г. в г. Игарка Красноярского края. Окончил Высшие литературные курсы. Автор более 200 произведений. Живет в в Волгограде и Калаче-на-Дону.

ЧЕРЕПАНОВ Федор Николаевич. Родился в 1962 г. на Алтае. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Автор книг «Гремячий ключ», «Устье каменных гор», «Гусиная пристань». Живет в Московской области.

ИПАТОВА Раиса Александровна. Родилась в 1946 г. в Смоленске. Окончила МЭИ и Литературный институт имени М. Горького. Автор книг «Однажды», «На фоне судьбы», «Азбука» и др. Живет в Смоленске.

ДВОРЦОВ Василий Владимирович. Родился в 1960 г. в г. Томске. Окончил художественное училище. Автор романов, повестей, сборников рассказов, пьес, стихов. Живет в Новосибирске.

ПОЛЯНСКАЯ Екатерина Владимировна. Родилась в 1967 г. в Ленинграде. Окончила СПбГМУ им. И. П. Павлова. Автор поэтических сборников «Бубенцы», «Жизни неотбеленная нить», «Геометрия свободы». Живет в Санкт-Петербурге.

ШИШКИН Александр Павлович. Родился в 1955 г. в Москве. Окончил МГПИ им. В. И. Ленина, Финансовую академию при Президенте РФ, Институт «ЮрИнфоР-МГУ». Автор книг стихов «Corpus Animae», «Стихи на заданную тему». Живет в Москве.

ПОПОВА Елена Георгиевна. Родилась в г. Лягтца (Польша). Училась на факультете журналистики БГУ, окончила Литературный институт имени М. Горького. Драматург, прозаик. Автор множества пьес, поставленных театрами разных стран. Живет в Минске.

ПЕРЕВЕРЗЕВА Ольга Владимировна. Родилась в 1969 г. в Минске. Окончила Минский педагогический институт. Автор статей и эссе по психологии социума, поэтического сборника «Имя на память». Живет в Минске.

БОРОВИКОВА Раиса Андреевна. Родилась в 1947 г. в деревне Пешки Березовского района Брестской области. Окончила Литературный институт имени М. Горького. Поэтесса, прозаик, переводчик. Автор многочисленных сборников поэзии, прозы, книг для детей. Живет в Минске.

ДУКСА Марьян Николаевич. Родился в 1943 г. в Мядельском районе Минской области. Окончил Белорусский государственный университет. Автор многих книг поэзии. Живет в д. Солы Сморгонского района.

КАЗАКОВ Валерий Николаевич. Родился в 1952 г. на станции Реста (д. Горбовичи) Могилевской области. Окончил Высшее военно-политическое училище и Литературный институт имени М. Горького. Автор поэтического сборника «Философия звука» и книг публицистики и прозы. Живет в Москве.

ГРИНКЕВИЧ Сергей Алексеевич. Родился в 1960 г. в Лиде. Окончил Арктический факультет Ленинградского высшего инженерно-морского училища имени адмирала Макарова. Поэт. Публиковался в периодических изданиях России. Живет в Пермской области.